Княгиня М.К.ТЕНИШЕВА

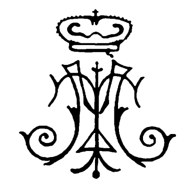
ВПЕЧАТЛЕНИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

«ИСКУССТВО»

СТРАНИЦЫ МИНУВШЕГО

Княгиня М.К.ТЕНИШЕВА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ



«ИСКУССТВО»
Ленинградское отделение
1991

ББК 63.3.(2)5
Т33

Автор вступительной статьи
и составитель альбома иллюстраций
Н. И. Пономарева

Фотоработы Н. И. Сюльгина

Т $\frac{4401000000-019}{0(25)-91}$ без объявл.

Оглавление

Имя Марии Клавдиевны Тенишевой (1867?—1928) относится к именам, незаслуженно забытым. Оно, как и некоторые другие, как бы «выпало» из истории отечественной культуры. Даже сама память о ней не сохранялась. Улица в Смоленске, названная именем Тенишевой в 1911 году, когда Мария Клавдиевна стала почетным гражданином города, после ее смерти была переименована. Не хранит память о ней и музей «Русская старина», уникальное собрание русских древностей, подаренное ею Смоленску в 1911 году; коллекция музея, многократно перетасованная и скрытая от наших глаз, гибнет в запасниках.

А что же Талашкино — имение М. К. Тенишевой под Смоленском? Талашкино — всемирно известный в свое время центр русской культуры рубежа XIX—XX веков, который сегодня должен быть не менее известен, чем мамонтовское Абрамцево. И там замерла духовная жизнь, а последним, чудом уцелевшим памятникам архитектуры грозит гибель от разрушительной реставрации...

Но вот рукописи, по утверждению Булгакова, к счастью, не горят. И те 35 тетрадок, что сохранила после смерти Тенишевой ее подруга княгиня Екатерина Константиновна Святополк-Четвертинская, а затем в 1933 году опубликовало Русское Историко-Генеалогическое общество во Франции, теперь — почти через 60 лет — увидели свет и на родине Марии Клавдиевны.

И это событие большой важности не только потому, что мы выполняем долг перед памятью Тенишевой и тем восстанавливаем историческую справедливость, но и потому, что возвращаем отечественной культуре хотя бы частицу того, что было ею сделано.

К сожалению, из-за многолетнего незаслуженного забвения на родине потеряно много «исследовательского» времени и значительная часть фактов биографии Тенишевой уже не восполнима.

Ушли из жизни почти все, знавшие Марию Клавдиевну, все ученики ее сельскохозяйственной школы, потерян во Франции ее архив; пока не удается найти ее родных, живших в 20-е годы с нею в Париже. И каждый день множит эти потери...

Почему же нам кажется необходимым сейчас по крупицам восстановить всю созидательную деятельность М. К. Тенишевой?

В первую очередь потому, что все тенишевские начинания столетней давности не потеряли своей актуальности в настоящее время. И от нашего понимания смысла деятельности выдающихся русских просветителей-меценатов, каким была М. К. Тенишева, которую современники называли «гордостью всей России», зависит главное — возможность продолжения начатого ими дела, но, увы, прерванного на взлете, как дело Тенишевой в Талашкине.

Книга давно стала библиографической редкостью, и ознакомиться с ней можно было лишь по фотокопиям или микрофильмам. Данное переиздание мемуаров Тенишевой, задуманное Ленинградским отделением издательства «Искусство», также готовилось по фотокопии, сделанной им с экземпляра, хранящегося в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. В самом конце работы в Ленинград приехал живущий в Париже Александр Александрович Ляпин — внук замечательного русского художника Василия Дмитриевича Поленова — и привез два экземпляра книги Тенишевой, одну из которых он передал в дар музею «Теремок» в Талашкине, а другую — автору этих строк.

Надо сказать, что А. А. Ляпин и другие представители русской эмиграции в Париже, хранящие память о М. К. Тенишевой и ее делах на благо отечества, оказывали нам посильную помощь в поисках архива и материалов, связанных с Марией Клавдиевной. Признаться, было больно сознавать, что там, в Париже, память о Тенишевой сохранилась лучше, чем на ее родине. Невольно сама М. К. Тенишева предсказала себе такой поворот судьбы: «Моя страна была мне мачехой, тогда как на Западе меня встречали открытые объятья».

«Впечатления моей жизни» — книга-исповедь. Она своеобразна в жанровом отношении. По утверждению Е. К. Святополк-Четвертинской, записки не предназначались Тенишевой для печати. Это были дневниковые записи. Но нас сразу удивит одна их недневниковая особенность — отсутствие дат. Нельзя предположить, что это дело случайное. Нет ни одного письма Марии Клавдиевны или написанной ею записки, где бы ни была проставлена дата. А в книге даты начинают возникать только во второй половине повествования. Финал же книги сфокусирован на дате, и не только на дате, но и на часе (писались эти строки в семь часов вечера 31 декабря 1916 года). «Теперь осталось всего лишь 5 часов до конца этого злополучного года. Что-то нам сулит 1917 год?»

Образ времени в книге — образ жизненного потока. Чем дальше от первой фразы: «Раннего детства туманное видение», чем ближе к «берегу», к финальной точке, тем отчетливее видны временные вехи... Думаю, правда, что не поэтический образ заставил Тенишеву сознательно не указать ни одной точной даты, которая подсказала бы год ее рождения, ибо фактам, изложенным ею в записках, — встрече с И. С. Тургеневым (не позже 1883 года), неправдоподобно раннему первому замужеству и рождению дочери, отъезду в 1881 году в Париж — никак не соответствует указываемый год рождения — 1867.

Лариса Сергеевна Журавлева — одна из немногих исследователей жизни и деятельности М. К. Тенишевой — нашла в документах другую дату ее рождения — 1864 год, — но и эта дата, вероятно, требует уточнения. Так, в статье Джона Боулта «Два русских мецената Савва Морозов и Мария Тенишева» под фотографиями Тенишевой стоят даты: 1857—1928 [*14*].

Мы коснулись этого вопроса только лишь потому, что исследование, стремящееся к истине, должно опираться на достоверные данные, и нам для того, чтобы восстановить картину жизни М. К. Тенишевой, предстоит еще окончательно установить дату ее рождения, пока скрытую от нас.

Тайной остается и происхождение М. К. Тенишевой. Своего отца девочка не знала. «Странно...— записывает Тенишева в дневнике. — Росла я под именем Марии Морицовны, и тут же, как во сне, мне припомнилось, что давно-давно, в туманном детстве, меня звали Марией Георгиевной».

В воспоминаниях Ольги де Клапье, ученицы Тенишевой в годы эмиграции, читаем следующее: «Отца Мани убили, когда ей было 8 лет. Она ясно помнила начавшееся после полудня необычайное оживление в большом особняке на Английской набережной. Когда запели „Со святыми упокой" и Маня опустилась на колени, среди женских всхлипываний позади ея часто раздавались слова: „Боже мой, Боже мой! Царя убили..."» [7, с. 75]. Речь идет об убийстве Александра II, если верить де Клапье,— отца М. К. Тенишевой...

«Впечатления моей жизни» — это дневники и воспоминания одновременно. Дневниковая запись дополнялась воспоминаниями, которые, в свою очередь, корректировали дневник. Вы, несомненно, ощутите мощную энергетическую насыщенность некоторых эпизодов книги. Эти «огненные» заметки были написаны явно под сильным впечатлением только что произошедшего события. Немало записей другого характера — тщательно продуманных, «остуженных», четко выстроенных.

По образному определению В. Лакшина, в книге сталкиваются «ад» и «мед» воспоминаний. «Ад» занимает большую часть дневника, что дает нам основание судить о степени одиночества и скрытности Марии Клавдиевны, когда только бумаге поверяла она случившиеся конфликты. «Меда» значительно меньше.

Небезынтересное предположение о происхождении «Впечатлений...» высказала О. де Клапье: «Мне хочется сказать, насколько эти „впечатления" не соответствуют ее личности. Эта замечательная женщина, с печатью гениальности, имела много талантов, но — да простит мне ее тень это утверждение — не писательский! У нее была тетрадь, в которую она много лет подряд вписывала по несколько страниц изредка, лишь раздосадованная какой-нибудь неудачей, огорченная обманом: известно испокон веков, что очень богатые люди часто бывают жертвами ловких и недобросовестных искателей легкой наживы, интриганов и просителей. Это вызывает горечь и досаду у жертв обмана...

Княгиня Мария, написав две-три страницы горьких сетований, успокоенная и веселая, спускалась вниз, шутила, ела что-нибудь запрещенное докторами, потихоньку от Киту (Екатерины Константиновны Святополк-Четвертинской. — *Н. П.*), гуляла по мокрой траве и совершенно больше не думала о людях, ее обманувших. Она уже избавилась от „навязчивой мысли".

Тетрадь же осталась и была издана. В ней нет ни слова об ее успехах, о радостях творчества, о дружбе, о том „громокипящем кубке, пролитом с неба", которым была ее жизнь» [7, с. 90—91].

Вероятно, именно эта особенность написания дневников и позволила Л. С. Журавлевой назвать книгу «небеспристрастной». «Тенишева своеобразно рассчиталась с обществом, — пишет исследователь, — она оставила воспоминания, где затронула теневые стороны больших художников, очень резко высказалась о высшем свете, церкви, царской армии, предпринимателях, торгующих „сахаром и совестью", то

есть агонизирующая Россия предреволюционной поры предстала в самом негативном виде на страницах воспоминаний. И в этом отношении это редкий документ, написанный не в далекой эмиграции по прошествии многих лет, а по следам событий, которые резко меняли жизнь и самой Тенишевой» [*4*, с. 74—75].

Воспоминания М. К. Тенишевой охватывают почти полувековой период — с середины 60-х годов прошлого столетия до новогодней ночи 1917 года. Места действия: Петербург, Москва, Париж, Брянск, Хотылево, Бежец, Смоленск, Талашкино, Флёново, русский Север и т. д. Герои книги — светлейшие умы эпохи, знакомством с которыми судьба щедро одаривала Тенишеву: Репин, Тургенев, Чайковский, Святополк-Четвертинская, Мамонтов, Врубель, Коровин, Рерих, Бенуа, Дягилев, Малютин, Серов, Лидин, Барщевский и многие другие.

Главная тема дневников-воспоминаний — преодоление: самой себя, собственной семьи, окружения, стереотипа светской жизни, «темноты» народной, «унылости российской жизни» и т. д. и т. п. Центральное событие воспоминаний М. К. Тенишевой — создание Талашкина — уникального духовно-культурного центра России рубежа веков, где была преодолена разобщенность творящих людей, где возрождалась и развивалась традиционная русская культура.

Основной конфликт книги — конфликт между созиданием и разрушением. Новое освещение получают и революционные события, свидетелем которых стала М. К. Тенишева. Ради сохранения истины заметим, что их описание и характеристика неполны, так как при издании «Впечатлений...» Историко-Генеалогическое общество вынуждено было сделать некоторые «дипломатические» сокращения.

Героиня книги — княгиня Мария Клавдиевна Тенишева — «настоящая Марфа-Посадница», как назвал ее Н. К. Рерих.

Портреты и немногочисленные фотографии сохранили для нас облик Марии Клавдиевны. Облик удивительно переменчивый. Она была высокой, статной женщиной с гордо посаженной головой, выражение лица иногда строгое и неприступное, иногда ранимое и усталое. Как «модель» она была очень популярна: ее лепили скульпторы Антокольский и Трубецкой, десять портретов написал с нее Репин, писали ее Коровин, Врубель и Серов. Пожалуй, серовский портрет точнее других смог передать внутреннюю суть Тенишевой и был особенно любим ею.

Читая чьи-либо воспоминания, мы всегда задаемся вопросом: кто же их автор, что он за человек, какими глазами смотрит на жизнь и как действует в ней. Как писал Л. Н. Толстой: «Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев — мы ищем и видим только душу самого художника».

Какая же душа открывается нам во «Впечатлениях моей жизни»?

Конечно, право каждого читателя самому ответить на этот вопрос, но мы позволим себе высказать свои соображения, понимая под душой «букет» человеческих потребностей...

Первой юношеской потребностью Тенишевой была потребность в любви и свободе, почти как у лермонтовского Мцыри:

Я вырос в сумрачных стенах,
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов — «отец и мать».

Это несмотря на то, что «сумрачными стенами» были стены аристократического особняка в Петербурге, а полное одиночество было при здравствующей матери, чей тяжелый характер разрушил всякий контакт с дочерью.

Детская ранимость искала защиты: «...стала я очень гордой и даже выработала себе манеру обращаться со всеми с утонченной холодной вежливостью». Клеймо «чужой», «незаконнорожденной» наложило отпечаток на характер: «У меня навсегда остались нелюдимость, недоверие к людям, страх сходиться, сближаться». Впоследствии Мария Клавдиевна всегда будет делить мир на «своих» и «чужих», причем при широчайшем общении круг «своих» всегда будет узким.

Пытливый ум Марии всегда домогался истины... Потребность познания, жажда учения стали ведущими после неудачного первого замужества, не давшего ни любви, ни свободы... Учиться пению решено было ехать в Париж. «Она была до крайности художественная натура, одаренная чудесным голосом, от которого все приходили в восторг»,— вспоминает Святополк-Четвертинская [*11*, с. 5]. Родные отвечают категорическим отказом на ее решение уехать. «Меня это не смутило», — пишет Тенишева. Это очень характерный для нее ответ. «В моей деятельности нет ничего „женского", все, что я начинаю, я довожу до конца, умею быть стойкой, энергичной и самоотверженной» — такая характеристика может показаться кому-то слишком самоуверенной, нескромной, но она совершенно справедлива.

Неуемная потребность познания была подкреплена твердой волей, сделавшей М. К. Тенишеву способной к борьбе, без которой не возможно никакое созидание. Но созидание немыслимо и без фантазии, а ею Тенишева была одарена богато. Она была способна творчески задумать и талантливо воплотить задуманное в жизнь — завидный дар, говорящий о внутренней силе.

Вот что пишет об особенностях характера М. К. Тенишевой Святополк-Четвертинская: «С ней никогда не было скучно. Она всегда охотно говорила об отвлеченных предметах, ценила людей культурных и умеющих последовательно работать в специальных отраслях. При этом любила шутить, иронизировать и даже в самое последнее время, больная сердцем, истощенная недугом, умела увлечь и развеселить своим остроумием. Работоспособность ее была изумительная: до своего последнего вздоха она не бросала кистей, пера и шпателей, эмалировала она превосходно и любила эту работу больше всего...

Ее энергия, мысли и предприимчивость далеко превосходили ее физические силы...

Потеряв состояние, здоровье, удаленная от всего того, что она создала в своей стране, она с великим мужеством выносила все лишения и работала сверх сил» [*11*, с. 5—6].

Судьба М. К. Тенишевой сложилась драматично. «Всю свою жизнь она не знала мертвенного покоя. Она хотела знать и творить и идти вперед» [*9*, с. 9]. Так оценил ее жизнь Н. К. Рерих. Но, как все мы знаем, путь вперед всегда тернист и многотруден. Помимо выпадающих на долю каждого человека разочарований, тяжестей и потерь, ей пришлось испытать, пожалуй, самое страшное — разрушение всего, что было с таким трудом содеяно. Конечно, не потеря состояния стала причиной глубокой личной трагедии, а потеря дела — духовного и просветительского, начатого ею для своего народа и народом же

разрушенного. Вероятно, Мария Клавдиевна не смогла смириться с этим в своей душе до самой смерти.

Естественной кульминацией ее деятельности явилось строительство Храма в Талашкине. Вот что сообщала о начале строительства газета «Смоленский вестник»: «В четверг, 7 сентября в имении Талашкино совершена закладка новой церкви во имя Преображения Господня.

Церковь сооружена для нужд местной сельскохозяйственной школы... Строится по личным указаниям владелицы в строго древнерусском стиле, будет богато расписана и разукрашена мозаикою и майоликою и обещает быть выдающимся в художественном отношении сооружением» [*8*].

Работу над созданием Храма Мария Клавдиевна продолжает в сотворчестве с Н. К. Рерихом: «...в прошлом году вы делали планы, что приедете по близости к нашей церкви, мечтали совокупно созидать „Духа"...» [*13*, л. 1].

Церковь, переименованная в Храм Святого Духа, неизменно называлась Тенишевой и Рерихом Храмом Духа — искались вершины проявления человеческого духа, отраженного разными религиями. «В последнее время ее жизни в Талашкине увлекала ее мысль о синтезе всех иконографических представлений. Та совместная работа, которая связывала нас и раньше, еще более кристаллизовалась на общих помыслах об особом музее изображений, который мы решили назвать „Храмом Духа"» [*9*, с. 10].

В основе творческих поисков лежала вера и философские искания выдающихся творцов, поэтому, естественно, произошло отступление от канона и церковь так и не была освящена, хотя уникальные рериховские фрески уж покрывали большую часть Храма. Вход в церковь украшала рериховская же мозаика, а семиметровый крест в дар церкви и в память В. Н. Тенишева, похороненного в крипте Храма, был вызолочен ювелирами-художниками Фаберже.

В 1938 году, в десятую годовщину кончины М. К. Тенишевой, Русское Историко-Генеалогическое общество во Франции издало в память о ней сборник «Храм Святого Духа в Талашкине» с богатейшим иллюстративным материалом.

Подробное описание архитектуры и убранства Храма А. Калитинский в предисловии к сборнику завершает следующими горькими словами: «После же большевистского переворота Храм был осквернен, обезображен и превращен в какое-то служебное помещение» [*6*, с. 11].

К сожалению, это соответствует истине. Крест с церкви был сброшен, а помещение Храма долгие десятилетия служило зернохранилищем с обязательной ежегодной обработкой стен дезинфицирующими химикатами. Поэтому сегодня не осталось и следа рериховской росписи.

Еще более страшная участь постигла прах хозяина усадьбы — князя Вячеслава Николаевича Тенишева. По рассказу очевидца событий Н. В. Романова, три гроба, в которых захоронили Тенишева (Мария Клавдиевна забальзамировала тело на 100 лет), были разбиты, а тело его усажено на гробовую доску черного дерева. Приехали три милиционера, извлекли тело из крипты (некоторые свидетели говорят, что оно было распотрошено), уложили вместе с доской на дровни и повезли к сельскому кладбищу. Там вырыли неглубокую яму (была зима) и сбросили в нее тело. Согнутое, оно упало головой вниз. Сверху

положили черную доску и присыпали ее землей со снегом. Было это зимой 1923 года.
Хочется думать, Мария Клавдиевна не узнала, что случилось с телом ее мужа, что стало с Храмом Духа...
Но чувство того, что, как карточный домик, рушилось все, что созидалось, не могло не убивать ее.
Однако и малоизвестный нам десятилетний эмигрантский период тенишевской жизни был пронизан творческой деятельностью и поиском в ее эмалевой мастерской в Париже, несмотря на наступающую болезнь. «Когда я увидел ее после долгой разлуки осенью 1925 года у нее, в Вокрессоне, — писал И. Билибин, — я был глубоко поражен, какую печать наложил на нее тяжкий недуг. Но не мог осилить этот недуг ее духа, ее любви к России и ко всему русскому; и когда временами Мария Клавдиевна чувствовала себя лучше, то она вся оживала, вспоминала прошлое, говорила о своем детище, о созданном ею в Талашкине, с его художественно-прикладными мастерскими, фотографии со своих богатейших и неоцененимых коллекций по русскому творчеству в музее ее имени в Смоленске, строила планы на будущее и все время, не покладая рук, работала» [*1*]. Действительно, никогда не опускала она рук, и всегда было ей присуще чувство пути, как называл это Блок.
Так суждено было случиться — пройти через жестокие испытания: создать многое, пережить десятилетия забвения и возродиться вновь — в памяти людской, в восстановительных делах потомков, в своей книге воспоминаний...

Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед,—

писала Цветаева. Так, наконец, настало и время Тенишевой, настало время нам с вами вспомнить все, что было ею сделано.

После обучения пению в Париже Тенишева отказывается от артистической карьеры... «По правде сказать, меня и не очень тянуло окунуться в этот омут (театр. — *Н. П.*)», — пишет она. Занятия живописью у Жульбера и в Академии Жюлиана в Париже, а затем два года в школе Штиглица в Петербурге и частные уроки у Гоголинского все же не дали возможности четко определить свой путь. Наступил период растерянности и депрессии: «Я очень устала душой, пусто было у меня на сердце и в голове».
И тут сама судьба посылает Марии Клавдиевне спасение — это знакомство с князем В. Н. Тенишевым и последующее замужество в 1892 году. Встретив равного себе по внутренней силе человека, получив имя, княжеский титул и состояние, которым Вячеслав Николаевич доверял ей распоряжаться, Мария Клавдиевна постепенно обрела себя и нашла наконец-то свое дело, в котором смогла полностью реализовать дарованные ей природой таланты, став известной на всю Россию меценаткой — княгиней Тенишевой.
«Могу сказать, что, проживши на этом свете много лет, я видела много богатств, употребленных на всякие прихоти, которым я не сочувствовала — пишет Е. К. Святополк-Четвертинская, — но лучшего употребления своего состояния, как княгиней Марией Клавдиевной, так и

князем В. Н. Тенишевым, я не встречала, а потому, не имея семьи, я окончательно посвятила свою жизнь их делам» [*11*, с. 6].

Пожалуй, главным делом М. К. Тенишевой было просветительство: ею было создано Училище ремесленных учеников (под Брянском), носившее имя своей основательницы, открыто несколько начальных народных школ в Петербурге и Смоленске, совместно с Репиным организованы рисовальные школы, открыты курсы для подготовки учителей и, наконец, сельскохозяйственная школа первого разряда во Флёнове (близ Талашкина).

«Созидательницей и собирательницей» назвал Тенишеву Рерих.

Музею Императора Александра III (ныне Государственный Русский музей) в 1898 году она подарила большую коллекцию акварелей русских художников; Смоленску в 1911 году передала в дар созданный ею музей «Русская старина» с уникальной коллекцией русских древностей; собрала богатую коллекцию эмалей, пожертвовала часть своих собраний Музею Общества поощрения художеств, Музею Общества школы Штиглица, Музею Московского археологического института. Представляла русское искусство на Всемирной выставке в Париже. Тенишева субсидировала издание журнала «Мир искусства» вместе с С. И. Мамонтовым, материально поддерживала творческую деятельность А. Бенуа, С. Дягилева и других.

М. К. Тенишева была замечательным художником-эмальером. Ее работы получили всемирное признание: напрестольный крест в серебре и золоте для Храма Святого Духа, икона Михаила Архангела и царевича Алексея к 300-летию дома Романовых, золоченое блюдо, преподнесенное в дар Смоленску, декор двери в Теремке с изображением Георгия Победоносца во Флёнове и т. д. Она постоянно экспериментировала, воссоздав в своей мастерской более двухсот новых оттенков непрозрачных эмалей. Ее работы выставлялись в Париже, Риме, Лондоне, Брюсселе, Праге и везде получали высокую оценку. В области искусства эмали «она заняла одно из первых мест среди современных ей мастеров» [*5*, с. 3], — писал А. Калитинский, издавший в Праге в 1930 году диссертацию М. К. Тенишевой «Эмаль и инкрустация». Как художник, собиратель и исследователь искусства Тенишева была избрана членом нескольких европейских академий.

И наконец, главное дело ее жизни — создание Талашкина — уникального культурного центра России рубежа XIX—XX веков, центра просвещения на Смоленщине.

Но никакое дело не осуществимо в одиночку. Многие соратники своей верой, соучастием, любовью и прямым сотрудничеством помогали Тенишевой осуществить задуманное.

«Дружба — это чувство положительнее всех остальных. Люди не прощают вам недостатки, дружба — всегда: она терпелива и снисходительна. Это — редкое качество избранных натур. В минуту, когда я погибала в разладе с собой, теряя почву под ногами, встреча расположенного ко мне человека, примирителя с жизнью, была для меня равносильна возрождению», — пишет Тенишева в своем дневнике.

Многие люди окружали Марию Клавдиевну. О каждом из них и об особенностях их сотворчества и содружества с Тенишевой можно говорить очень много, но далеко не все из них входили в круг «своих», самых близких.

Врубель и Рерих часто бывали в Талашкине. Мария Клавдиевна особенно была расположена к этим художникам, чувствуя в них родственные души, одаренные «редкой по богатству фантазией». Тенишевой всегда не хватало общения с человеком, живущим одними с нею художественными интересами,— и когда этот человеческий и творческий контакт возникал, она активно втягивала художников в орбиту своей деятельности. Так родились мозаики и фрески Храма Духа, выполненные Рерихом, и чудесные врубелевские росписи дек балалаек. Так же возникли Теремок и Театр Малютина, балалаечный оркестр Лидина и т. д.

Анализируя опыт Талашкина, можно, вероятно, утверждать, что здесь сложилось особое духовное сообщество художников, давшее нам ценнейшие произведения искусства. «Наши отношения — это братство, сродство душ, которое я так ценю и в которое так верю», — писала М. К. Тенишева.

Когда Мария Клавдиевна надумала открыть в Талашкине мастерские кустарных промыслов и рисовальные классы, М. Врубель рекомендовал ей художника С. Малютина.

За три года работы в имении сполна проявилась его буйная «сказочная» фантазия. Сотрудничая с Тенишевой, художник смог раскрыться в полной мере. По его проекту создан уникальный архитектурный ансамбль в Талашкине, построено здание музея «Русская старина» в Смоленске, «по его эскизам изготовлялось убранство интерьеров и экстерьеров, делалась мебель, сани-возки, расписывались дуги и балалайки, создавались вышивки. Малютин руководил столярной и керамической мастерскими, обучал сельских кустарей [*2*, с. 4].

Это, несомненно, была «золотая пора» художника, которую питало взаимопонимание с Марией Клавдиевной, повсюду (в том числе и на Всемирной выставке в Париже) пропагандировавшей и отстаивавшей его творчество. И, смею предположить, что со стороны С. В. Малютина были благодарность и восхищение княгиней и ее делами. Иначе разве мог бы появиться на свет его Теремок, по словам Лидии Ивановны Кудрявцевой, заведующей расположенным в нем сейчас музеем, «сказочное» признание в любви, где инициалы *МТ* многократно повторяются в красочном одухотворенном декоре.

С. Дягилев так писал о художнике в одном из номеров журнала «Мир искусства», целиком посвященном его творчеству: «Малютин тут (в Талашкине. — *Н. П.*) совершенно возродился, как растение, пересаженное в подходящую и здоровую для него почву... Не знаешь, где начинается прелесть творческой фантазии Малютина и где кончается прелесть русского пейзажа» [*13*, с. 158—159].

В круг «своих», самых близких, людей М. К. Тенишевой входили не только те, кто жил одними с нею художественными интересами, но и те, кто был близок ей по духу, но имел иные творческие привязанности и взгляды.

К ним относился и муж Марии Клавдиевны, с которым она прожила одиннадцать лет, — Вячеслав Николаевич Тенишев. Незаслуженно забытый, он, так же как и Мария Клавдиевна, имеет множество заслуг перед Россией. Тенишев был человеком новой формации — князь-капиталист, промышленник, которого прозвали русским американцем. Владелец крупнейших заводов, он был человеком разносторонне и глубоко образованным. С какими только областями человеческой дея-

тельности не соприкасались его интересы! Он был прекрасным музыкантом-виолончелистом (закончил консерваторию), этнографом и археологом-любителем. Его архив, содержащий «Программу этнографических исследований о крестьянах Центральной России», хранится ныне в Государственном музее этнографии народов СССР в Ленинграде. В Петербурге Тенишев основал коммерческое училище, ставшее широкоизвестным в стране; им изданы книги «Математическое образование и его значение» (1886 г.); «Деятельность животных» (1889 г.), «Деятельность человека» (1897 г.); Г. Попов издал в 1903 году в Петербурге «Русскую народную медицину», где обработал обширный материал, собранный Тенишевым. В 1900 году Николай II назначает Вячеслава Николаевича главным комиссаром русского отдела на Всемирной выставке в Париже. Думаю, что сам образ супругов Тенишевых, их совместные и в то же время «разнонаправленные» действия на благо Отечества, вклад в народное просвещение, их меценатство, широта интересов, высочайшая культура и образованность дают нам основание говорить о них как о лучших представителях русской аристократической интеллигенции конца XIX — начала XX века. Между тем взаимоотношения Марии Клавдиевны с мужем не были простыми. Он хотел видеть ее другой — светской красавицей при муже, не одобрял ее дружбу с художниками, «не любил искусства» и не разделял ее увлечения стариной — т. е. был по складу своему совсем другим, нежели она, человеком, но уважал начинания Марии Клавдиевны, во всем помогал ей, щедро субсидируя ее затеи. Думаю, что их совместная энергия была чрезвычайно велика. Это был творческий равнопотенциальный тандем — и особенно это, вероятно, проявилось во время устроительства и проведения Всемирной выставки в Париже в 1900 году, где их энергии сошлись, удесятерились... и дали ошеломляющий результат, судя по тому фурору, который произвел тогда Русский отдел выставки на парижан.

Рядом с Тенишевыми всегда была подруга детства Марии Клавдиевны — княгиня Екатерина Константиновна Святополк-Четвертинская (в девичестве Щупинская). Она не оставила Марию Клавдиевну после смерти мужа в 1903 году, не покинула ее и в эмиграции, ей выпало и похоронить Тенишеву.

Благодаря Екатерине Константиновне вы держите в руках эту книгу. Она бережно сохранила бумаги Марии Клавдиевны и спасла их от уничтожения. Екатерина Константиновна первая была инициатором создания во Флёнове школы грамотности, будучи владелицей родового имения Талашкино до покупки его Тенишевой в 1893 году. Она, как настоящий ангел-хранитель Марии Клавдиевны, всякий раз приходила ей на помощь в трудные минуты жизни.

Мы с тобой как два предплечья,
Как два глаза на лице.

Их дружба — пример удивительной человеческой верности друг другу. Характеры их были, судя по всему, диаметрально противоположны. Особенно это видно в их письмах, где интересно сравнить тенишевскую скоропись с неторопливой обстоятельностью Екатерины Константиновны. Вероятно, они прекрасно дополняли друг друга. Кстати, широкая просветительская деятельность Святополк-Четвертинской тоже ждет своего исследователя. «Зная, что я записываю впечатления моей

жизни, она об одном просила меня: по возможности меньше о ней упоминать, — пишет Тенишева. — Нас с ней сблизили сначала наши общие неудачи, и в области фантазий, надежд, широких замыслов мы говорили на одном языке». Думаю, было бы верным предположить, что без Святополк-Четвертинской не было бы знаменитой княгини Тенишевой, не смогло бы состояться Талашкино.

Все тяжелые годы эмиграции в Париже они провели вчетвером: две княгини, их няня — «девушка» Лиза — и Василий Алексеевич Лидин — организатор балалаечного оркестра в Талашкине. Его настоящая фамилия — Богданов, Лидин — артистический псевдоним. «Он был французом, родившимся в Петербурге. У его матери была очень известная мастерская дамских нарядов на Морской. Он был умен, хорошо воспитан, красив, был скромен, тактичен и неутомимо деятелен. Доброты был беспредельной и необычайно талантлив. Сам про себя он говорил: „Я великий человек на малые дела..."

В Талашкине он был всем: мастером музыкальных инструментов, преподавателем, дирижером, режиссером спектаклей. Принимал гостей, улаживал конфликты. В эмиграции без него обе княгини не выжили бы, во всяком случае, разорились бы сразу...

Никто, я думаю, так глубоко, больше тридцати лет подряд, не любил княгиню Марию, как он. Не думаю, чтобы он когда-нибудь ей об этом сказал»,— свидетельствует Ольга де Клапье, хорошо знавшая и Святополк-Четвертинскую, и Лидина по парижской эмиграции [7, с. 87—88].

На кладбище Сен-Клу под Парижем все они и похоронены в одной могиле. На плите выбиты четыре имени и четыре даты — даты их смерти: Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева — 1/14 апреля 1928 года, княгиня Екатерина Константиновна Святополк-Четвертинская — 7 апреля 1942 года, Василий Александрович Богданов-Лидин — 1 декабря 1942 года, Елизавета Грабкина (няня княгинь) — 5 февраля 1936 года. Ухаживает и следит за могилой внук художника В. Д. Поленова — Александр Александрович Ляпин.

Рерих назвал это эмигрантское сотрудничество, в котором по-прежнему кипела жизнь, Малым Талашкином, что совершенно справедливо, так как эти четверо продолжали творить и существовать по тем же, выработанным в Большом Талашкине негласным законам — законам высокого духовного сообщества, удесятерившего силы и творческие возможности каждого.

Талашкино в свое время объединило выдающихся творцов и просветителей и стало культурным центром России. Как же формировался этот центр? Что явилось его сердцевиной — смысловым стержнем? К чему тянулись и вокруг чего собирались люди? Талашкино Тенишева купила в 1893 году у Святополк-Четвертинской, и обе они взялись за создание «идейного имения», фундамент которого уже был заложен Екатериной Константиновной. Причем идейность принималась ими как просветительство — существовавшая здесь школа грамотности усовершенствовалась и преобразовалась в сельскохозяйственную школу I разряда, вскоре ставшую центром просвещения на Смоленщине; идейность включала в себя и осознание необходимости развития сельского хозяйства; и наконец, возрождение традиционной народной художественной культуры как живительной жизнетворческой силы.

Итак, сельскохозяйственная школа I разряда стала своеобразным центром, к которому тянулись. Для школы были выписаны лучшие учителя, собрана богатейшая библиотека, школа ориентировалась на последние достижения аграрной науки и имела богатейшую опытно-экспериментальную базу. Сельскохозяйственная экономия Талашкина была прообразом идеальной модели столыпинской фермы. Именно к индивидуальному фермерскому хозяйству готовили выпускников школы, впоследствии ставших лучшими в крае специалистами-универсалами. Здесь было все — от промышленного пчеловодства до промышленного коневодства.

В период первого кризиса традиционной русской крестьянской культуры Тенишева искала новый путь «подготовки сельских специалистов, патриотически настроенных», для которых духовные потребности стали бы ведущими, «засветился бы свет в глазах крестьянских детей».

Высоко ценя русское народное искусство, Тенишева создает при школе мастерские кустарных промыслов: резьба по дереву, керамика, вышивка — все эти традиционные народные ремесла входили в программу обучения.

Рисовальные классы в школе возглавил С. В. Малютин. Ежедневно проходили уроки церковного пения. В. А. Лидин (ученик В. В. Андреева) организовал школьный балалаечный оркестр.

Художественные мастерские непрерывно расширялись и из учебного заведения превращались в производство, настоящий промысел. Для сбыта изделий Тенишева открыла в Москве магазин «Родник» (1903 г.).

Серьезно занимаясь собирательством предметов русской старины, этнографии и археологии, Мария Клавдиевна открывает в Талашкине «Скрыню» — первый на Смоленщине и в России музей этнографии и русского декоративно-прикладного искусства, полагая, что наличие такого музея вблизи школы облагородит вкус учащихся и пробудит генетическую память. Эта скромная «Скрыня» со временем превратилась в знаменитый в свое время музей «Русская старина».

Можно предположить, что М. К. Тенишева сознательно внедряла в своей школе этнопедагогику — как самый эффективный способ воспитания личностей, способных к созиданию.

Существовал при школе и Затейный театр, также этнографического направления. В его спектаклях принимали участие все ученики и учителя школы, талашкинские крестьяне, гости...

Рерих назвал Талашкино «художественным гнездом», столь же знаменитым в свое время, как и подмосковное Абрамцево. «Нужны явления сильные, с широким размахом, — писал Н. К. Рерих, — таково и дело кн. Тенишевой, крепкое в неожиданном единении земляного нутра и лучших слов культуры» [*12*, с. 23]. Поэтому и тянулись сюда Репин, Врубель, Рерих, Нестеров, Васнецов, Коровин, Стравинский, испытывая потребность освоения здесь народных истоков.

Уникальность опыта Талашкина проявляется в собственных путях развития всех видов народного художественного творчества, развития С. Малютиным и другими художниками неорусского стиля. Особый тип жизни талашкинцев, основанный на включении традиционной культуры в современность, повлек за собой и развитие особого типа искусства, тесно связанного с повседневной крестьянской деятельностью.

Подтверждение нашим предположениям мы находим у очевидца тогдашних талашкинских событий В. Рябушкинской, урожденной Зыбиной, племянницы В. Н. Тенишева. «Все было приурочено к художественному, духовному и вместе с тем практическому развитию деревенского молодого поколения. Как в сложном узоре каждая черточка, переплетаясь с другой, составляет нужную часть общего рисунка — так в тогдашней жизни Талашкина все представляло одно гармоническое целое, а над всем этим вознеслась церковь во имя Святого Духа» [*10*, с. 13].

Что же сегодня в Талашкине? Из сотворенного в начале века не осталось почти ничего. А главное, нет и следа жизнетворческого духа. Все кажется мертвым.

Возрождение. Это слово сегодня у всех на устах. «Удивительно, сколько раз в жизни человеку приходится начинать сначала», — пишет Мария Клавдиевна в своих дневниках. Сейчас, думаю, пришло время восстанавливать все, сделанное в Талашкине Тенишевой. Не только ради возрождения музея, а ради возрождения духа и жизнетворчества нашего народа.

Хочется думать, что сбудется, наконец, то, что предрекал Н. К. Рерих в 1929 году в Гималаях, где он писал некролог Тенишевой. «...Сейчас в Смоленске большую улицу назвали Тенишевской улицей. Истинно по Тенишевской улице много народу ходило за просвещением и много народу еще пройдет в искании сужденных культурных возможностей. И теперь я живо вижу признательную память народа около имени Марии Клавдиевны.

Много легенд сложится на Тенишевской улице, и имя Марии Клавдиевны запечатлеется среди имен истинных созидателей» [*9*, с. 12—13].

Мария Клавдиевна была великим оптимистом, она имела дар смотреть в будущее и думать о нас с вами: «Да, я люблю свой народ и верю, что в нем вся будущность России, нужно только честно направить его силы и способности», — пишет она на страницах книги.

Очень надеюсь, что выход в свет «Впечатлений моей жизни» обратит внимание широкой общественности к имени М. К. Тенишевой и ускорит дело возрождения Талашкина, сделает возможным открытие в Ленинграде музея «Меценатства и просветительства князей Тенишевых»; привлечет к себе деятельных и устремленных людей, которые освоили бы и возвратили нашей культуре ее огромный жизнетворческий потенциал, основанный на просветительстве и преемственности народной художественной культуры.

Выражаю глубокую благодарность сотрудникам Смоленского государственного музея-заповедника Н. Н. Мишину, Н. К. Востриковой, Л. И. Кудрявцевой, Л. И. Новиковой, В. И. Склеeновой, а также сотрудникам архива музея за помощь, оказанную в подготовке издания.

При внимательном чтении «Впечатлений моей жизни» бросается в глаза, что в тексте нарушена хронологическая последовательность изложения. Для того чтобы читатель лучше ориентировался в последовательности событий, излагаемых в книге, в примечаниях даются даты этих событий, которые удалось установить.

Примечания, сделанные редакцией, обозначены арабскими цифрами.
Примечания к парижскому изданию 1933 года сохранены и выделены курсивом.

Орфография приведена в соответствии с ныне действующими нормами.

Литература

1. *Билибин И.* Памяти кн. М. Кл. Тенишевой//Возрождение. — 1928.— № 1052.
2. *Галынец Г. В.* Вступительная статья//Малютин С. Избр. произв.: [Альб.] — М.: 1987.
3. *Дягилев С.* С. В. Малютин и его работы в имении княгини Тенишевой в Талашкине Смоленской губернии//Мир искусства. — 1903.— № 4.
4. *Журавлева Л.* «Далось мне это не без борьбы»//Прометей. — 1987.— Т. 14.
5. *Калитинский А. П.* Предисловие//М. К. Тенишева. Эмаль и инкрустация. — Прага: 1930.
6. *Калитинский А. П.* Предисловие//Кн. М. К. Тенишева. Храм Святого Духа в Талашкине: [Альб.] — Париж: 1938.
7. *Клапье О. де.* Княгиня Мария Тенишева: К сорокалетию кончины//Возрождение. — 1968. — № 194.
8. [О закладке в Талашкине новой церкви]//Смоленский вестник. — 1900, 12 сент.
9. *Рерих Н. К.* Памяти Марии Клавдиевны Тенишевой//М. К. Тенишева. Эмаль и инкрустация...
10. *Рябушинская В.* Памяти княгини М. К. Тенишевой//М. К. Тенишева. Храм Святого Духа в Талашкине...
11. *Святополк-Четвертинская Е. К.* Княгиня М. К. Тенишева [некролог]//М. К. Тенишева. Эмаль и инкрустация...
12. Талашкино: Изделия мастерских М. К. Тенишевой: [Сб. ст.].— Спб.: 1905.
13. *Тенишева М. К.* — Рериху Н. К., 5 мая 1909 г., Париж//Архив Государственной Третьяковской галереи, ф. 44, д. 1392.
14. *Bowlt J. E.* Two Russian Maecenases Savva Mamontov and Princess Tenisheva//Apollo. — 1973. — No 142, Dec.

I

Раннее детство. Первые впечатления*

Раннего детства туманное видение.

Как сквозь сон растут неясные образы, мелькают отрывочные картины. Все смутно, неопределенно.

Я боялась матери, трепетала перед ней. Ее черные строгие глаза леденили меня... Мне было жутко...

Опять туман.

Снова смутная картина... Мерещится в слабой памяти что-то странное... Я проснулась на руках незнакомого человека. Несут меня куда-то в рубашонке. Мне холодно... Кругом темно. Потом новые лица, высокие комнаты, необозримо большие... Старушка, бабушка какая-то, ласкает меня, а больше всех ласкает — незнакомый человек. Он очень любит меня, играет, сказки сказывает...

Потом что-то случилось: незнакомого человека нет... Я его больше не вижу. А и он полюбился мне...

Еще рисуется в памяти: огромный тенистый сад, между толстыми стволами деревьев густые заросли... Тишина... Солнце теплыми пятнами проникает туда.

Я играю у балкона, но меня манит в эту темную гущу: там так таинственно... С каждым днем я делаюсь смелей. Все чаще и дальше ухожу туда, вглубь... Робкими шагами, на цыпочках, с затаенным дыханием, я пробираюсь, прислушиваясь к каждому шороху, вздрагивая от всего: хрустнет ли под ногой сучок, вспорхнет ли испуганная птичка — все пугает, сердце замирает — жутко... Иногда страх до того заберет, что я опрометью бегу обратно, в ушах шумит, дух замирает... Кудрявые волосы цепляются за ветки, а я бегу, бегу, задыхаясь...

Иногда меня с балкона зовут — надо бежать назад: не хочется, чтобы кто-нибудь знал мое убежище, это — моя тайна.

Понемногу густые липовые заросли сделались моими друзьями. Я привыкла к ним, мне в этой глухой чаще так хорошо, покойно.

Есть у меня там любимое местечко: пенушек. Я сажусь на него и слушаю... Слушаю, как кругом что-то дышит, копошится, живет... Там птички, букашки. Они привыкли, не боятся меня... Я люблю все это, я счастлива...

У меня есть друг: кукла Катя, которой поверяются на ухо все тайны. Иногда я бью ее, но тут же со слезами целую, прошу прощения. Все говорят: Катя страшная, волос почти нет, нос подбит. Я не верю, это невозможно. Катя для меня красавица! Кроме Кати у меня много нарядных кукол, тех я не люблю. Раз с одной из них я вышла в сад, а там бабы метут аллеи.

---

* *Кн. М. К. Тенишева родилась 20 мая 1867 г. в Петербурге.*

«Ах, барышня, какая у тебя цаца... Подари ее мне». Я отдала. Другая баба пристала: «Дай ты и мне тоже цацочку». Я сбегала за другой, и так пока всех не отдала — конечно, кроме Кати.

Вечером, ложась, я должна прибирать игрушки — гувернантка заставляет. Хватились — кукол нет. Допрос... Гувернантка повела к матери. Мать очень рассердилась, высекла.

По воскресеньям меня посылали в церковь, в двух верстах от нас, стоявшую на высоком берегу озера Маги *, окруженную белой каменной оградой. Молиться, сосредоточиться в церкви я еще не умела, но в церковь я ездила очень охотно. Меня манило туда одно зрелище, неизменно каждый раз возбуждавшее мое любопытство, поглощавшее меня всю. Я ждала его всегда с нетерпением. Это был деревенский дьячок, который особенно странно пел. Во время всей службы я ждала только этого одного момента, который раз навсегда приковал мое внимание — ни до ни после для меня ничто не существовало. Раскрыв рот, вытаращив глаза, я впивалась в дьячка, когда он, высокий, сухой, сутуловатый, с козлиной бородкой, в засаленном подряснике, вероятно глуховатый, заткнув ухо одной рукой, другой поддерживая себя за локоть, беззубый, запекшимися губами, каким-то дубовым, режущим голосом на всю церковь выводил: «Всякое ны-ы-не от... (вздыхал)... ложим по... (делалось ударение на „по“ и опять вздыхал)... пиче-е-ние... от-ло-о-жим по... (вздох)... пиче-е-ние... и живот (вздох)... варя-а-ащий...» и т. д.

После обедни батюшка всегда приглашал мою гувернантку Софью Павловну пить чай, а мне предоставлялась свобода, и я шла за каменную ограду погоста играть с Дуней, племянницей священника, тихой, хорошенькой девочкой моих лет. Мы гуляли, бегали, собирали землянику на могилках. В то время носили кринолины — конечно, моя мать одевала меня по моде, — но так как кринолин очень стеснял мои движения в играх, то я каждый раз старалась от него освободиться, преспокойно вешала его на один из крестов и тогда уже беззаветно отдавалась веселью.

Еще вспоминается... Я больна, лежу в своей кроватке под белым кисейным пологом. Давно ли лежу, не помню. Мне очень неможется... Голова горит, то холодно, то жарко, то дремлется... Очнусь — мысли путаются, ничего не помню... В комнате полумрак. Лампадка теплится. Няня спит на огромном клеенчатом диване, на котором я люблю скакать... Иногда зову няню шепотом. Та не слышит. Я безропотно смиряюсь. Опять лежу, гляжу и куда-то уйду, точно потухну...

Раз в такую пору, когда лампадка тихо, тихо теплилась, я лежала с полузакрытыми глазами... Вдруг над моей головой послышался шорох... Подняла глаза и обмерла: стоит надо мною мать, отодвинув рукой занавеску... Черные глаза холодно глядят. Другой рукой она провела по моему горячему лбу, медленно нагнулась... долго глядела на меня и тихо поцеловала...

Что-то дрогнуло во мне, сердце сладко защемило. В порыве небывалого счастья, обвив руками шею матери, я страстно прижалась к ее щеке воспаленными губами...

---

* *Новгородской губернии.*

Это длилось мгновение...

Мать тихо освободилась, провела по лицу душистой рукой со множеством колец и повелительным голосом дала няне приказание.

Она ушла... с нею счастливое видение.

Это был, кажется, единственный раз в моей жизни, что я обняла свою мать. Она никогда меня не ласкала.

Еще... У меня есть брат, большой, ему 15 лет. Он всегда грустный, редко со мной играет. Всего чаще он плачет. Мне его жаль. Мать его постоянно бранит, наказывает. Он тоже ее до ужаса боится.

Раз, вероятно, он очень провинился. Мать на него страшно сердилась, кричала. Потом, взяв за волосы, потащила в другую комнату, а там, кажется, очень наказала. Он долго жалобно плакал, о чем-то молил... Потом брат уехал. Я никогда в жизни его больше не видала.

Еще отрывочное воспоминание...

Помнится мне, меня подолгу отпускали гостить к одной в то время важной старушке, у которой стекалась вся Москва, княгине Вадбольской. Мне было весело в ее огромном доме с бесконечной анфиладой комнат, где привольно было бегать и играть. В конце анфилады была большая зала с органом. Его заводили для меня, я любила его слушать. Свет падал с двух сторон в эту залу, солнце заглядывало то с одной стороны, то с другой, ложась на полу яркими четырехугольниками, а я, играя, воображала себя мореходцем, что зала — это море, а освещенные места — острова, будто я на корабле плыву и к ним пристаю.

Я называла княгиню бабушкой и страшно ее любила. Она была очень важная, всегда окружена, всегда в черном шелковом платье и чепце. Все, кто приезжал к ней, целовали ее ручку.

Когда я гостила у нее, она клала меня спать в своей комнате, и когда мы просыпались, начиналась игра — перебрасывание маленькими подушечками, смех, шум поднимался страшнейший... Самое же веселье было, когда бабушка целым караваном поднималась ехать в баню.

В то время даже в самых богатых домах не было того комфорта, какой мы имеем теперь: ванну при каждой квартире, с проведенной теплой водой и всеми усовершенствованиями. Бабушка, как и все важные дамы того времени, ездила в баню. Это было целое событие. Запрягались огромные кареты, ехали горничные с тазами, бельем, и вся эта компания отправлялась в путь. В бане бабушку встречали с почетом, как постоянную старинную гостью, ей отводилось лучшее помещение в несколько комнат. Бабушка сама мыла мне голову, а после этого я лежала на диване, мне давали что-то прохладительное. Я очень любила сборы в баню. У меня была своя маленькая шайка. Назад все возвращались красные, довольные, с распухшими, как мне всегда казалось, лицами.

В этом доме я видела еще несколько раз того человека, который нес меня однажды на руках и который так меня ласкал...

Помню, раз мы только что приехали из-за границы. Путешествовали тогда тоже не так, как теперь. Путешествие было долгое, бесконечное, утомительное.

У моих родителей был дом в Москве на Арбате, в Калошином переулке. Мы приехали туда, и меня, измученную дорогой, скорей уложили спать в моей комнате во втором этаже вместе с няней. Я заснула как убитая. Но вдруг ночью поднялся шум, беготня разбудила меня. В эту минуту в комнату вбежал какой-то молодой человек, схватил меня с постели и понес. Дом горел. Мы очутились на улице, в толпе. Он спросил меня, куда я хочу, чтобы он меня отнес. Я сейчас вспомнила о бабушке и сказала: «Хочу к бабушке». «А где ваша бабушка живет?» — спросил он. Я твердо помнила дорогу к бабушке и назвала улицу и дом. Мы сели на извозчика и поехали. Но ни он, ни извозчик не знали Москвы, и я показывала дорогу, говорила, где направо, где налево, и таким образом мы подъехали к бабушкиному дому на Большой Никитской.

Бабушка еще не ложилась: у нее были гости. Меня внесли в переднюю и поставили на ларе. Бабушка страшно испугалась, когда ей в 12 часов ночи доложили, что у нас пожар и что меня принесли в одной рубашечке. Она выбежала в переднюю, взяла меня на руки и уложила спать, как всегда, в своей комнате!

Потом я узнала, что пожар произошел от поджога. Прислуга, незадолго до нашего возвращения, украла все серебро и, чтобы скрыть следы, подожгла дом. Все выбежали на улицу, потеряв голову. Человек, меня спасший, был студент, который, увидев огонь, прибежал помогать. Мать моя только успела сказать ему, что во втором этаже спит ребенок. Он побежал и вынес меня, но, вернувшись, он в толпе уже не нашел матери, и потому я попала к бабушке. И студент, и извозчик — оба оказались приезжими из провинции, но я не растерялась в этой суматохе и указала дорогу к бабушке, иначе не знаю, что бы со мной было.

Мне восемь лет. Я стала сознательней, но матери своей попрежнему страшно боюсь. Боюсь ее как огня...

Все в доме тоже трепещут перед ней. Ее громкий голос неумолимо звучит всюду. Утром, когда я еще сплю, издалека несется этот голос, приближается... Инстинктивно я вскакиваю, с замиранием сердца, торопливо одеваюсь. Няня Татьяна Ильинична украдкой подбодряет меня.

Иногда в доме все затихает, будто умерло: мать у себя в кабинете. Прислуга, врассыпную, пользуется затишьем. Тогда я пробираюсь к няне в комнату. Иногда мы играем в дурачки. Только с няней нельзя ни выиграть, ни проиграть: она признает только розыгрыш. «Так-то лучше,— говорит она,— а то какая же это игра, если один в дураках остается? Игра — это веселье. А весело ли быть в дураках?»... У няни в комнате весело: пахнет лампадкой, стоят банки с вареньем. Она угощает меня чаем и моим любимым вареньем, брусникой в патоке, своего изготовления.

Когда няня бывала в духе, она рассказывала сказки, выдуманные и настоящие, — про Царя Салтана, Конька-Горбунка, Аленушку и много других; настоящие же были ее воспоминания о том, когда она, еще крепостной, убежала от злой госпожи и долго потом ходила по святым местам, а там и воля вышла... Те и другие сказки я очень любила. Мы обязательно каждый раз обе плакали, когда она рассказывала, как про волю на Руси читали, как целовались, крестились от радости...

Когда в доме все затихало, я неслышно, на цыпочках, пробиралась в гостиную, оставив туфли за дверью. Там мои друзья — картины. Их много висит на стенах, одна к одной. В зале и столовой их тоже много, но они черные, неприветливые, пугают меня. На одной из них на черном фоне выделяется корзина с плодами и белое крыло большой подстреленной птицы: голова ее свесилась, перья взъерошены... Мне эту птицу очень жаль, не хочется глядеть. На другой — огромная рыба лежит на столе, окруженная виноградом. Рот у нее открыт, ей, верно, больно... Тоже неприятно.

В гостиной — другое дело. Там все картины веселые, цветистые... Моя любимая, всегда останавливающая мое внимание, представляет заснувшую в кресле даму у туалетного стола. Стол весь отделан тонкими кружевами, на столе много, много интересных вещиц, так и хочется в руки взять. На шлейфе атласной юбки дамы лежит черненькая собачка, но она не спит, сторожит хозяйку...

Там были и другие картины: женские головки, какие-то святые с глазами, поднятыми к небу, пейзажи с яркими закатами, замки. Все эти картины возбуждали во мне удивление, а трогала меня одна: широкий, цветущий луг, вдали лес и река, небо такое прозрачное... Она вызывала во мне тихую грусть, манила туда, в леса и луга. Я всегда вздыхала, глядя на нее. С нее всегда начинался мой обход, ею и кончался. Проходили незаметно счастливые часы, много неясных мыслей мелькало в голове, много вопросов...

Я думала: как это может человек сделать так, как будто все, что я вижу,— настоящее, живое? Какой это должен быть человек, хороший, умный, совсем особенный? Как бы мне хотелось такого знать... Этих хороших, умных людей называют художниками. Они, должно быть, лучше, добрее других людей, у них, наверное, сердце чище, душа благороднее?..

Насмотревшись, я убегала в свою комнату, лихорадочно хватаясь за краски,— но мне никак не удавалось сделать так же хорошо, как этим «чудным» людям, художникам.

Мелкие игрушки я предпочитала крупным и могла часами, тихо-тихо притаившись, копошиться в своем углу, разбираясь в моих любимых коробочках, или любоваться крошечными художественными бирюльками, которые прятались в особый шкафчик, купленный мною на собственные сбережения. Этот заветный шкафчик был для меня святая святых. В нем, кроме бирюлек, укладывались в ватку мелкие восковые фигурки — все избранное, любимое. Если бы кто-нибудь коснулся этих сокровищ, я, кажется, умерла бы от ужаса — до того я дорожила каждой вещицей, аккуратно запирая их на ключ — это был мой первый ключ.

Раз какой-то дядя привез мне из-за границы игрушку: обезьяну в пестром атласном платье на шарманке. Когда шарманку заводили, обезьяна начинала вертеть головой, вставала и кланялась. Меня торжественно привели в гостиную, завели шарманку, и все обратились в мою сторону, желая видеть мой восторг. Мать толкала меня, чтобы я благодарила дядю, а я глядела, глядела на это чудовище да как расплачусь!.. «Мне не надо ее»,— наконец проговорила я, всхлипывая. За это дали мне тумака и выгнали из комнаты. Я ушла, оскорбленная до глубины души, не тумаком, а самой вещью. Ни за что на свете не стала бы я играть такой игрушкой!..

Из заветных вещиц моих некоторые уцелели: шкафчик, несколько восковых фигурок, крошечные стаканчики, чашечки до сих пор напоминают мне мое детское коллекционерство, а милые бирюльки пропали в одном из переездов, так как никто не заботился о моих игрушках, и я часто не находила их на том месте, где оставляла.

Однажды весной отец мой сильно заболел. В доме говорят шепотом, ходят на цыпочках. В зале бегать больше нельзя. Меня отправили с гувернанткой в деревню, в Псковскую губернию. Там живут постоянно какие-то две тетки с маленькой племянницей Татой, бойкой, веселой и смелой болтушкой. Мы с ней никогда не видались, но скоро подружились. Тата немного старше меня.

Моя гувернантка, Софья Павловна, весь день сидит на балконе с тетями, болтает, вышивает. Они все тоже очень скоро подружились, и Софья Павловна перестала заниматься мной, точно не видит меня. Я, пользуясь полной свободой, сделалась тоже смелой, бегаю повсюду одна.

Часто с затаенным дыханием слушаю пение соловья. Я люблю это пение, так люблю, что всегда плачу, слушая его. Мне точно жаль чего-то, больно. А то, лежа на спине в траве, подолгу слежу за причудливыми облаками. Хорошо в деревне, привольно... Никто больше не бранит меня, не наказывает. Я громко пою в саду, заливаюсь, а песни все собственного сочинения, да длинные, сложные.

Сад огромный, вековой, тенистый. С одной стороны он кончается высоким крутым обрывом, внизу широкая река — Великая — течет, извиваясь, точно лента. За садом далеко по берегу виднеются старые ветвистые дубы, едва заметные развалины какого-то строения и заросшие травой бугорки — это могилы. Я очень любила это место, оно было какое-то трогательное.

Тата игрушек не любит, а предпочитает бегать или болтать. Она знает много интересного. Я тоже забросила игрушки и слушаю ее рассказы, лежа с ней рядом в густой траве.

Как-то раз она мне говорит:

— А ведь тот, кого ты зовешь папой, тебе вовсе не папа.

— А кто же он?

— Теперешний папа — муж твоей мамы*, но ты не его дочь.

— А кто же мой папа?

— Твой настоящий папа не был мужем твоей мамы, она его просто так любила.

Сердце застыло во мне, в висках застучало... Я старалась понять тайный смысл ее слов, но я была слишком мала, что-то ускользало... Я почти кричала, допрашивая ее: «Скажи, кто он?»

— Твой отец был князь В... Твоя мать разлюбила его и бросила.

— Отчего бросила?.. А... он любил ее?

— Да, но тебя он любил особенно. Даже тайком увез раз и отдал своей тетке, графине Р... Ты там долго жила, пока твоя мама не нашла и не отняла.

Мое изумление переходило в ужас. Она же неумолимо продолжала:

---

* *В это время мать кн. М. К. Тенишевой была замужем второй раз за М. П. фон Дезеном; первым ее мужем был К. Пятковский.*

— Он умолял ее оставить тебя ему и очень плакал, но она не согласилась и все-таки увезла. Чтобы лучше тебя спрятать, графиня Р... отдала тебя Великой Княгине... которая тебя очень любила и баловала.

— А он... мой папа, где он?

— Он умер. Ты сирота.

Я застыла, кругом меня все померкло... Дрожь пробежала по телу. Глаза горели без слез... У меня, которую никто не любил, никогда даже не ласкал,— у меня был свой родной папа, который любил меня и даже плакал по мне, и этого папы больше нет, он в могиле... Я сирота...

Вечером после ужина хватились меня. Всюду искали, перепугались до смерти: река так близка... Долго ли до беды?

Поздно, после долгих поисков, меня наконец нашли на одном из бугорков, заросшем травой, в глубоком обмороке.

На другой день я заболела желтухой. Лицо, руки, даже белки глаз пожелтели.

С этого времени я очень переменилась, сделалась еще впечатлительнее, серьезнее, стала задумываться, а в душе где-то глубоко затаилась грусть.

Кроме страха к матери, у меня проснулась критика — что-то в душе осудило ее. Она давно отталкивала меня своим вечным криком, несправедливостью не только ко мне, но и ко всем окружавшим. Не раз при мне прислуга и даже близкие, не стесняясь, судили ее и роптали. Тяжело было подходить к ней с постоянным чувством страха и трепета. Я устала дрожать, жить постоянно с натянутым вниманием, чтобы только не навлечь на себя неудовольствия, удары и самые строгие наказания... Сиротливое чувство защемило мое сердце, я чувствовала, что она меня не любит.

Мой продолжительный обморок наделал много шуму. Как только я немного поправилась, нас вызвали в Петербург, а через некоторое время отдали приходящей в частную гимназию Спешневой.

В гимназии я ожила, развернулась, сперва училась плохо и сделалась большой шалуньей. Странная двойственность сказалась в моем характере. Во время самого шумного веселья, которого я постоянно бывала душой, вдруг я покидала игру, во мне что-то сразу обрывалось, я задумывалась, становилась грустной, рассеянной... Вообще, как бы я ни была весела, меня никогда не покидало чувство горького сожаления о том, которого я мысленно идеализировала, и, бывало, целыми днями я жила под гнетом чего-то далекого, дорогого и непоправимого...

Софья Павловна была единственной из гувернанток, сумевшей приладиться к норову матери, терпеть и угождать ей. Я не любила и не уважала ее за то, что она подлизывалась к матери. Чувствуя мое равнодушие, она понимала, что я не дорожила ею и была бы счастлива от нее отделаться. Видя меня часто грустной, она ластилась ко мне, вызывала на откровенности. Ей хотелось чем-нибудь завоевать меня, покорить... Раз, за уроком музыки, видя мое расстроенное лицо, рассеянность, Софья Павловна, притянув меня к себе, приласкала и стала участливо расспрашивать.

Это было под вечер осеннего ноябрьского дня. Сумерки быстро надвигались. На душе было уныло. Гаммы и экзерсисы наводили

тоску. Я долго не сдавалась, отвечала уклончиво, закрыв лицо руками, неслышно плача. Она удвоила ласки. Сердце мое было переполнено горечи. Хотелось до боли поделиться с кем-нибудь тем, что накипело в душе, излить свое детское горе... Понемногу я открылась ей, выдала весь ужас детской души, все прошлые и настоящие мучения...

Она слушала молча, не прерывая меня. Когда я кончила свою исповедь, она молча встала, зажгла свечи и холодно заявила, что надо забыть все эти глупости, что нехорошо так судить свою мать.

С этого дня у нас начался ад... Чуть я не угожу ей, она с силой хватала меня за руку и тащила к двери, говоря: «Пойдемте к мамаше. Я ей все про вас скажу». Начиналась безумная борьба. Я дрожала всем телом, упиралась, плакала, умоляла, руки ей целовала, холодея от ужаса. Сцены эти повторялись неоднократно. Эта ограниченная, бездарная интриганка окончательно забрала меня в руки. Иногда за столом за невиннейшую шалость она ядовито шептала мне на ухо: «Vous verrez ce que vous aurez après le dîner!»[1] Я ненавидела ее.

Еще стряслось у меня одно крупное горе: продали мое милое Новое*, имение, с которым связаны были мои лучшие детские воспоминания, первые впечатления жизни, где впервые пробудилась во мне любовь к природе. Мое укромное убежище, густые заросли, старый сад, вековые деревья, бесконечное, широкое озеро... Как я любила, разувшись, бегать и играть на солнце на берегу, по бархатному песчаному заливу, купаться в пригретой солнцем воде, ловить руками серебристую рябь...

Я горько плакала, узнав, что никогда больше не увижу всего этого... Вместе с Новым отошли от меня навсегда немногие счастливые минуты моего детства... Очень жаль мне было Нового, и почти всю жизнь потом, когда оно мне снилось, я просыпалась в слезах...

---

[1] Вы увидите, что с вами будет после ужина! (*Фр.*)

* *Новгородской губернии.*

II

Школьные годы. Жизнь дома до выхода замуж

Мне стало дома невыносимо. Бывало, целыми ночами я плакала — молилась по-своему.

Мой отчим М. П. фон Дезен отлично все видел и понимал, но никогда не смел проявить ко мне симпатии или сожаления: он был бессловесный, получая каждый раз грубый отпор от матери за малейшее вмешательство в мое воспитание. Ко мне он был добр, иногда украдкой ласкал, как ласкают больного ребенка.

Когда никого не было дома, я забиралась к нему в кабинет, где в шкафах было множество книг, и читала без разбора все, что только попадало мне под руку.

Раз я напала на сочинение Фомы Кемпийского «О подражании Христу». Это было откровением...

Я была одинока, заброшена. Моя детская голова одна работала над всем, ища все разрешить, все осознать. Эта же книга, говорящая исключительно о духовной жизни человека, произвела на меня глубокое впечатление. В ней я нашла ответы на мои уже пробудившиеся духовные запросы, о которых никто не подозревал и не заботился... Никто никогда не говорил мне: не надо лгать, нехорошо красть... Все нравственные уроки я нашла в этой книге. Она внесла мне в душу примирение, утешила меня, поддержала... Всегда в тяжелые минуты, когда грусть сжимала мне сердце, я находила в ней отраду, опору: я уже не чувствовала себя одинокой. Раз познакомившись с ней, я почувствовала потребность все чаще и чаще иметь ее в руках, углубляться в нее.

Всем, что созрело во мне положительного, я обязана исключительно этой книге и самой себе.

Место ее было на нижней полке шкафа. Как-то раз я сидела на полу с книгой на коленях, углубившись в чтение, и не слыхала, как в кабинет тихо вошел М. П. Он тихонько вынул книгу у меня из рук и, посмотрев автора, отдал мне ее в полное распоряжение, побранив, однако, за нескромность и строго запретив трогать другие, даже запер шкаф на ключ.

Следующий автор, попавшийся мне под руку, в которого я так же серьезно углубилась, оставивший во мне неизгладимое впечатление, был Гёте. Многого в то время, как и в первой книге, конечно, понять не могла, но его детские годы, поэтичные повести, любовное описание красот природы и искусства, его путешествия пешком по Италии страстно охватили мой ум, дали пищу моему воображению. Найдя в Кемпийском учителя души, я нашла в Гёте учителя красоты, заставившего пробудиться мое сердце и воображение.

Я еще очень увлекалась Никитиным и Кольцовым, полюбила в них трогательную безыскусственную простоту описаний природы, в которых чувствовала что-то близкое, родное, и музыку их несложного, но искреннего стиха.

Однажды я прочла роман Лажечникова «Басурман» и, впечатлившись казнью молодого немца-доктора, несколько ночей кричала во сне, падая с кровати. Мне снилось, что я тот мальчик Алеша, который испросил помилование и прибежал на Лобное место в ту минуту, когда голова Басурмана уже скатилась.

Вообще, читая, я глубоко входила в положение каждого героя и так страдала за них, столько проливала горьких слез, как будто судьбы их и горе были моими личными. Но больше всего производили впечатление на меня те книги, где описывались страдания оскорбленного самолюбия: с этими положениями я никогда не могла примириться, кажется, я страдала и оплакивала в них себя.

Наконец меня отдали полной пансионеркой к Спешневой. Надоели моей матери мое бледное лицо и грустные глаза. С большим удовольствием рассталась я с Софьей Павловной. Она напоминала о себе только по субботам, приезжая за мной.

Вначале я училась неровно, плохо: внимание отсутствовало. Меня за это журили, увещевали, но так как у нас баллов не ставили, полагаясь на совесть учащихся, журение оставляло меня равнодушной — слыхивала дома и похуже, а совесть относительно алгебры и бедного Страннолюбского *, которого я приводила в отчаяние, ни минуты не мучила меня. Русская история и естественные науки были моими любимыми предметами.

В классе меня любили, я же имела только двух избранных подруг: Ступееву и Жемчужникову. Маша Ступеева, серьезная, благоразумная, отлично учившаяся, была дочерью смоленского помещика, и оказалось, что няня Татьяна Ильинична когда-то была крепостной ее родителей. Маша подолгу рассказывала мне о Смоленской губернии, любила природу и грустила по деревне. Кажется, это нас и сблизило. С Жемчужниковой мы ни о чем ни полслова: нас связывали только шалости — некогда было разговаривать.

У меня была простая система учить уроки. Утром Маша, а то иногда и всем классом мне рассказывали заданное. Обладая хорошей памятью, я отлично отвечала, почти слово в слово, передавая даже интонацию моих подруг, чем страшно их забавляла.

Если где-нибудь пролита вода, валяются бумажки или протянута веревка,— шли прямо, без ошибки ко мне и Жемчужниковой. Мы с ней шалили дружно, с воображением. Дело раз дошло до того, что мы приколотили к полу учительскую калошу. Вышла целая история: на беду калоша оказалась Страннолюбского, а он был желчный, заносчивый и принял дурно эту шутку. Хотя и собрали всех учениц для допроса, но никто ни минуты не колебался: глаза всех обратились на нас двух. Мы должны были извиниться перед учителем, а потом нас долго еще отчитывали и рассадили.

Мне кажется, что я так легко относилась к занятиям потому, что после безотрадного детства, скованная обстоятельствами, упор-

---

* *Один из преподавателей в гимназии Спешневой.*

но притесняемая, запуганная в том возрасте, когда ребенок обыкновенно развивается без страха и постоянного дерганья, я вдруг почувствовала свободу, а с нею огромный прилив жизни. Просто мне захотелось жить, шалить и веселиться беззаботно. Бывали дни, когда я положительно не могла сосредоточиться, усидеть на месте.

Мои воспитательницы, даже сама Спешнева, зная, вероятно, мои домашние условия, были снисходительны ко мне, и потому мои проделки никогда до дому не доходили, а чудная безбалльная система решала все вопросы. Нашалившись вдоволь, уходившись, я со временем сделалась серьезнее, стала лучше учиться, мною были довольны. Даже Страннолюбский со мною примирился.

Дома же меня, в сущности, не воспитывали, путем ничему не учили, а только запугивали, бранили и за всякие пустяки наказывали. Да и что я видела дома? Как протекала моя жизнь?

Моя мать никуда не выезжала. Она не любила равных себе. Жизнь ее проходила в стенах дома, где она была всегда окружена несколькими старухами разного типа. Были между ними и генеральские вдовы, полковницы и старые девы — все из благородных. Весь этот сонм разношерстных старух интриганок состоял на разнородных должностях: одни гадали, другие, более разбитные, приносили вести извне, сплетничая напропалую,— они составляли «тайную полицию», а из остальных составлялся каждый вечер неизменный вист, за которым происходили крупные истории.

Некоторые старухи жили подачками. Те же, у которых были пенсии, презирали приживалок, глядя на них свысока. А мать моя царила между ними и для потехи стравливала их друг с другом.

Одна из «тайной полиции», особенно ядовитая — Вера Арсеньевна,— ненавидела Софью Павловну, претендуя занять ее место, и часто вмешивалась в наши дела. Свою к ней антипатию она косвенно простирала и на меня, подозревая в нас солидарность. Огромное удовольствие доставляли мне стычки между этими двумя девами. Я злорадствовала в душе, когда Вера Арсеньевна налетала на Софью Павловну: это была моя отместка. В таких случаях обыкновенно шли на суд к моей матери, и тогда из ее кабинета раздавались неистовые возгласы, крики и плач.

Бедный отчим положительно дезертировал из дому — ему эта обстановка была невыносима, в особенности же когда «тайная полиция», выследив его, доносила куда надо, а кажется, было что доносить. Ну, попадало же ему...

Так как мать моя никогда и никуда не выезжала, то знакомств у нее не было. Наши знакомства вообще не были прочны. Не успеешь сойтись с подругой, как что-то происходило между родителями, и почему-то мы переставали видеться.

Ребенком я всюду ездила с гувернанткой или с одной из «благородных» старух, приживалок. Когда я подросла, меня стали поручать разным дамам, но почему-то моя мать не делала и не отдавала им визитов. Это и было одной из причин, по которым наши знакомства часто сразу обрывались. На нее одни смотрели как на чудачку, другие — более снисходительные — считали больной. Многие же прощали ради отчима, которого уважали.

Он был симпатичный, умный, образованный, но дома не имел никакого значения. Впрочем, он об этом нисколько не тужил и жил своею жизнью, имея много старых приятелей и хорошие связи.

Когда я попадала в общество, я всех дичилась, испытывая какую-то неловкость, чувствуя фальшивую ноту в отношениях к моей матери и ко мне. Эта неловкость бессознательно мучила меня, и я особенно пытливо, зорко присматривалась к людям. Подмечу ли недружелюбный взгляд, западет ли какое-нибудь слово, намек, уловлю ли улыбку — все производило впечатление и уязвляло меня до глубины души...

Мой пытливый ум стал домогаться истины. Я сознавала одно: что я не такая, как все дети, что это есть и всегда будет... Но что это? В чем дело? — я не понимала. Почему среди людей мне так часто бывало больно, обидно?.. Почему иногда в гостях, зачастую и дома, Софья Павловна некоторых таинственно во что-то посвящала, а там... глядят на меня с любопытством. Что это за секреты, в которых принимали участие «благородные старухи», что за тайны. Когда я была однажды в Уделах на заутрене с г-жей Тучковой, до меня долетели слова: «...»* (в обществе сплетничают всегда по-французски), и все стали глядеть на меня. Мне почему-то сделалось неловко от этих взглядов. Что было скрытого, недосказанного в словах Тучковой? Что означают эти оттенки в обращении со мной? Почему до секретничанья люди приветливы, просты — потом относятся пренебрежительно, не узнают при встречах, будто не видят? Как бы отстранить то, что разделяет меня с ними? Искупить вину, если она есть?.. Побороть неприступность этих людей, завоевать свое равноправие... Спросить не у кого. Надо самой додуматься.

И вдруг я сразу поняла... Прозрела... Именно после заутрени. Мое рождение — в этом вся загадка. Тут же вспоминалась мне Тата и ее откровение. Кроме Таты, никто с тех пор об этом со мной не говорил. Я же почти забыла тот разговор. Может быть, «это» что-нибудь очень нехорошее? Что это: вина или преступление? Что же я сделала?

Не раз завидовала я детям, которым не надо было чего-то стыдиться. Завидуя, все больше дичилась этих «правильных». Меня стало злить и презрительно-снисходительное покровительство посторонних, и жалостливые взгляды, а более всего — подчеркнутое равнодушие. Мало-помалу я ушла в себя, избегая всех по возможности, насколько могла...

В доме друга моего отчима были дети моих лет. Иногда меня посылали с ними играть. Я вообще неохотно ездила в гости, но это был единственный дом, где я любила бывать. Там было просторно и весело. Пока мы играли в прятки, жмурки или жгуты, я обыкновенно первенствовала: шумные игры были мне по душе, но как только начинались шарады и другие в этом роде, я делалась рассеянной, отвечала невпопад, скучала, и так как я оказывалась плохим товарищем, то на меня больше не обращали внимания. Я уединялась, бралась за игрушку, книгу или просто уходила.

---

* *В рукописи пропуск.*

В доме была большая амфилада комнат, а в конце ее огромная угловая зала со множеством окон. В простенках стояли на высоких табуретах чьи-то мраморные бюсты. Не раз я пробиралась в эту залу, заперев за собой тяжелую дверь. Мне нравились там тишина и таинственное присутствие этих немых голов. Подолгу стаивала я посреди, прислушиваясь, и мне казалось, что кругом дышат эти люди, до меня, может быть, между собой разговаривали, шевелились... Войдя, я помешала им. Вот они и застыли в этих позах... Каждый бюст я изучала отдельно, подолгу, так же добросовестно, как дома картины. Каждый говорил мне свою повесть... Некоторые меня отталкивали, другими я любовалась. Один же меня приковал к себе. Это был бюст императора Николая I *.

Все чаще и чаще я останавливалась перед ним, очарованная мужественной красотой этого лица. Безукоризненная чистота его профиля восхищала меня своей гармонией. Мало-помалу у меня явилась потребность видеть его постоянно. Для этого я жадно ловила малейший случай, придумывая всевозможные предлоги чаще бывать у моих друзей.

На Рождество меня пригласили на семейную елку, но я была безучастна: оживленное веселье не затронуло меня. Я думала одно — уйти скорее туда, к моей красоте. Улучив минуту, когда гувернантки, рассевшись, занялись сплетнями, а дети своими подарками, я ускользнула...

В зале полумрак. Впервые вхожу туда вечером. Шторы у окон спущены. Чернеют в простенках бюсты. Иду... Подхожу к излюбленному... Он точно ждет меня и стоит, как всегда, в полуоборот... В широкую щель неплотно спущенной шторы вливается яркой полосой фосфорный блеск луны, окутывая розоватым светом дивный, величавый профиль, любимые черты... Гляжу на него и остолбенела: он дышит, живет... Чтобы лучше разглядеть его, я встала на стул. Все ближе и ближе гляжу в восхищении... Он манит неотразимо... Голова кружится, в висках стучит... Еще миг... Какой-то бред... Мои губы коснулись его... Я вскрикнула, упала... Ледяное прикосновение меня ошеломило... Это была моя первая любовь...

Я снова дома. Из гимназии меня почему-то взяли. Благородных старух я стала бояться как огня. Когда мне приходилось мимо них проходить, я положительно бежала, летела опрометью без оглядки. Они все до одной были мне гадки своим подобострастием и фальшью. Я чувствовала себя среди этих людей одинокой, чужой.

В своей комнате я нашла благотворное успокоение, достав руководство для работы по фарфору, принялась за него и с огромным рвением углубилась в чтение, рисование и вышивание. Эта комнатка стала дорога мне. Я обставила ее по моему вкусу, окружив себя любимыми вещами, которым раньше не придавала особенного значения,— теперь они стали моими друзьями.

Софья Павловна по-прежнему давала мне уроки музыки, безжалостно вконец убивая во мне охоту своим бездушным препода-

---

* *Этот бюст был впоследствии приобретен княгиней и находится в Смоленском Тенишевском музее* (ныне — Смоленский государственный объединенный исторический архитектурно-художественный музей-заповедник. В настоящее время местонахождение бюста неизвестно. — *Примеч. ред.*).

ванием. Я ненавидела эти уроки и бросила музыку при первой же возможности. Кроме того, ко мне стала ходить учительница пения, с которой я начала сольфеджио. Она предсказывала мне хороший голос. Пение мне нравилось. У себя в комнате я даже рисковала петь романсы. Выбор мой падал всегда на грустное. Излюбленными были Гурилева «На заре туманной юности», Глинки «Как сладко с тобою мне быть», Дютша «Не скажу никому».

Иногда меня заставляли петь при всех в зале. Первым аккомпаниатором моим был Николай Федорович Свирский, в то время служивший воспитателем детей г-жи Коррибут, проживавшей на даче в Любани, по соседству с нашим имением, где мы и проводили лето. Я отлично помню тот вечер, когда Софья Павловна и г-жу Коррибут во что-то усиленно посвящала. Я сейчас же поняла, в чем дело... Меня это всегда коробило. Познакомившись с нами, г-жа Коррибут часто бывала у нас со своим братом, Павлом Павловичем Дягилевым, блестящим кавалергардом, у которого был хорошенький тенор.

По вечерам в деревне, во время бесконечного виста, я тихонько прокрадывалась в сад и, лежа на траве, уносилась мыслями, глядя в темную безграничную высь, усыпанную тысячами звезд. Я была еще ребенком, но душа моя уже так много выстрадала, пережила. А время тянулось однообразно, не принося с собой никакого облегчения.

В Любани у нас была соседка, генеральша Серебрякова, относившаяся ко мне также сдержанно-кисло-сладко. Но почему-то это не задевало меня, моей гордости — а стала я очень гордой и даже выработала себе манеру обращаться со всеми с утонченной холодной вежливостью. Подходя к человеку, я уже заранее была настороже, ожидая от него только холода и пренебрежения. Поэтому лицо мое принимало часто холодное, гордое выражение. Старый напыщенный генерал Серебряков почему-то всегда подавал мне два пальца и я его избегала, но добродушная, простоватая «Юленька» (так всегда звали Серебрякову заочно), жирная, всегда смеющаяся, была неуязвима, моей холодности и сдержанности не замечала.

Все с тем же визгливым смехом, колыхаясь тучным телом, она сказала мне однажды: «Манечка, вам, наверное, скучно живется. Ведь вы никого не видите, кроме мамашиных партнеров... Это компания не для вас, и хотя вы такая молоденькая, все же вам лучше было бы выйти замуж... Моя Сонечка тоже 16-ти лет вышла замуж, а посмотрите, как она счастлива... На днях у меня будут гости... Попросите мамашу отпустить вас ко мне. Я познакомлю вас с одним человеком, Рафаилом Николаевичем Николаевым, который очень хочет вам представиться».

И вскоре после того я познакомилась с моим суженым. Он — высокий, белокурый, чистенький, 23-х лет, женственный, бывший правовед. Мы несколько раз с ним виделись. Он сделал мне предложение.

Когда меня спрашивали, люблю ли я жениха, я отвечала: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». Я не знала, что такое любовь. Я любила в нем мою мечту, но он нравился мне, казался порядочным, а главное, что привязывало меня к нему, это — сознание, что

он причина перемены моей жизни, что замужество является символом свободы и что прошлое кончено навсегда.

Мать была в восторге, что, не пошевельнув пальцем, ей удалось сбыть меня с рук. Где бы стала она меня вывозить? Да и стала бы? Потом я узнала, что «Юленька» по просьбе матери слепила эту свадьбу. Но в ту минуту я была даже благодарна ей, думая, что она из симпатии ко мне заинтересовалась моей судьбой.

Как-то раз мать сказала: «Хорошо, что Маня выходит замуж. Мы с ней прожили всю жизнь как курица с утенком». В ее душе впервые, может быть, мелькнуло сознание, что она не дала себе труда заглянуть в меня.

Даже перед разлукой мы с ней не объяснились. Что могла сказать я ей? Просить прощения? За что? Сколько раз у меня в душе были порывы броситься ей на шею, сказать, что одно ее доброе слово — и я все сделаю, чтобы забыть прошлое... Хотелось простить, начать что-то новое, изгладив между нами тяжелое недоразумение... Душа была полна всяких хороших теплых порывов... Впрочем, я сама не знаю, что бы я могла сказать ей. Не раз подолгу стаивала я у ее двери с мучительным и жгучим желанием чего-то для меня неясного... Постою, постою и уйду, вздохнув, не зная, как к этому приступить... Все эти порывы остались и замерли во мне. Ей они были не нужны... Как могла она нуждаться в моем прощении, когда она сама никогда не простила мне часа моего непрошенного появления на свет. Не мне было прощать. Между нами осталась навек зияющая пропасть.

Софья Павловна, покинув наш дом, изредка приходила в гости. Она сделалась со мной притворно-ласково заискивающей. Я ей все простила, но была рада с ней расстаться. Бог с ней! Я поняла, что это была просто дура. Но с ней у нас вышло объяснение — последний взрыв негодования с моей стороны. Она сама же вызвала его по своей глупости. «Вот,— говорит,— Манечка, вы теперь замуж выходите, у вас будут детки, и я их буду воспитывать». Тут я не выдержала: я все ей отпела... Не только ребенка — собаки я бы не доверила ей... Обливаясь слезами, я описала все мои прошлые мучения, ее бессердечие, жестокую несправедливость... Ведь она могла бы остаться мне другом, могла бы скрасить мне мое грустное детство... Но это было непоправимо. Мы обе горько плакали...

Накануне свадьбы из церкви принесли какие-то бумаги и книги. У нас собралась вся семья Николаевых. Мать была в «лансадах»[1], угощала, суетилась. Отчим отсутствовал. Уехав за границу, он больше не вернулся оттуда и вскоре умер.

Для расписывания в книгах в кабинет провели церковного служителя, пошли отец и мать Рафаила, потребовались мои документы, но тут произошел неожиданный инцидент. Удалив наскоро служителя, наши родители заперлись в кабинете. Оттуда доносились отрывочные возгласы, горячие объяснения. В гостиной мы все затихли. Почувствовалась неловкость. Разговор не клеился, несмотря на усилия двух-трех неизменных «почетных» старух, действовавших, вероятно, согласно указаниям матери.

---

[1] Быть в «лансадах» — в переносном смысле: быть в ударе; от *фр.* lançade — крутой и высокий прыжок верховой лошади.

В кабинет пригласили Рафаила. Я осталась одна в своем углу. Что-то защемило мне сердце, сделалось тоскливо... После его ухода положение сделалось еще более натянутым. Разговор окончательно упал. Все сознавали, что случилось что-то неожиданное, неприятное. Не помню, долго ли мы сидели в этом оцепенении... Но вот дверь растворилась, вышел Рафаил, взволнованный, с разгоряченным лицом. Уверенной походкой он прошел прямо ко мне и, торжественно подав мне руку, пригласил пройти в кабинет. Я молча повиновалась. По дороге он шепнул мне: «Все улажено, не волнуйтесь, в обиду я вас не дам». Я ничего не понимала.

В кабинете я застала мать заплаканной, Николая Ивановича сильно взволнованным, а Надежду Николаевну, его супругу, сидящей поодаль, надутою, с недовольным лицом. Впервые в жизни я расписывалась в официальной книге, кроме того, меня смутила окружающая обстановка. Неловко взявшись за перо, я занесла руку и уже старательно выводила: Мария Морицовна фон Дезен, как вдруг со всех сторон раздались хором надо мной неистовые возгласы. Схватив мою руку, мать с силой отдернула ее от книги. В недоумении, ничего не понимая, я подняла голову. Мать давно оправилась. Лицо ее было энергично, глаза горели. Повелительным голосом она продиктовала мне: Мария Клавдиевна Пятковская...

Документы мои оказались, по-видимому, в полной исправности. Странно... Росла я под именем Марии Морицовны, и тут же, как во сне, мне припомнилось, что давно-давно, в туманном детстве, меня звали Марией Георгиевной...

По возвращении в гостиную снова началось угощение. Шампанское лилось рекой, а с ним вернулось и прежнее оживление. Уединившись со мной, Рафаил рассказывал о случившемся. Наша судьба висела на волоске. Оказалось, что Софья Павловна и хор болтливых единственно пренебрегли семьей Николаевых, не посвятив вовремя их одних в знаменитую тайну. Матери пришлось перед подписью все самой объяснить. Картина...

Все эти пережитые с детства минуты наложили на мою натуру неизгладимый отпечаток, исковеркали ее... У меня навсегда остались нелюдимость, недоверие к людям, страх сходиться, сближаться. При встречах с новым человеком я сразу становилась в оборонительное положение. Мне казалось, что он непременно наступит на меня, заденет, сделает больно...

III

Замужество. Рождение дочери. Разлад. Поездка в Париж

Я вошла в семью Николаевых. Мой beau père[1] Николай Иванович, прямой, сердечный человек, был ко мне очень добр. Я от души его полюбила, но, к сожалению, он умер через год после нашей свадьбы. Жена его, Надежда Николаевна, наоборот, была недобрая, тупая, холодная эгоистка и ханжа, привязаться к ней было невозможно.

Божками в семье были старший сын Александр, смазливый кавалергард, глупый, хамовато-пошлый невежда, и дочь Маруся, замужем, тоже за кавалергардом, напоминавшая свою мать во многом. Остальные дети в семье были на втором плане и роли не играли. Трудно было найти более ничтожных людей. Разговоры, мысли их, идеалы—невозможно описать. Все было так серо, обыденно, бессодержательно. Пошлость колола глаза. Меня же манила жизнь. Хотела разгадать ее, заглянуть вперед, завоевать что-то. Постоянное общение с этими людьми давило, заглушало во мне все жизненные стремления, как непролазный бурьян. Только карты, скачки, балы да парады — в этом были все их интересы. В этой среде о книге не имели понятия, не говоря уже о науке, политике, искусстве, музыке или о чем-либо отвлеченном. Я задыхалась между ними...

Наша жизнь потекла монотонно. Рафаил не хотел служить, общества не искал, прежние знакомства забросил, у меня же их не было. Ходили к нам вначале два-три его товарища, тоже серенькие люди, без прошлого и будущего.

Я старалась изучить мужа, знакомясь с его внутренним миром. Хотелось раскрыть в нем крупные черты, что-нибудь положительное, хотелось служить ему, бороться, идти рука в руку к одной цели. Он был образован и неглуп, но ленив и бесхарактерный. Друзья имели на него пагубное влияние, но он был не в силах отойти от этой среды, стряхнуть апатию, энергично взяться за какое-нибудь дело.

...Светает. На столе догорает лампа. Я сижу в кресле у стола. Голова скатилась на руки. Передо мною раскрытая книга. С вечера я ожидаю мужа, который ушел по какому-то делу, обещая скоро вернуться. Он часто уходит, куда — не знаю. Я верю ему, не смущаюсь. Второй раз уже он застает меня на заре спящей над книгой. Потушив лампу, он будит меня, иногда полусонную доводит до постели. На другой день он бледный, грустный, ему не по себе. Потом я перестала засиживаться и зачитываться, зная, что его слова «я скоро вернусь» означали — завтра.

---

[1] Свекр (*фр.*).

Николаю Ивановичу наш образ жизни был не по душе. Не раз я слышала, как он журил сына и сильно его упрекал. Тот — ни слова... Молчит, потупясь... А там, смотришь, он опять за свое, по ночам пропадает, и Николай Иванович его снова бранит.

Рафаил — игрок. В нем был настоящий темперамент игрока, в котором спят все остальные инстинкты, кроме этой пагубной страсти. Это был больной человек, больной духом и волей. Таким людям чужды все человеческие страсти, им не нужна ни любовь женщины, ни карьера, ничего. Вне игры они томятся, прозябают.

Я поняла свое горе. Сколько раз я умоляла мужа исправиться, побороть себя. Брала с него слово, и сколько раз он давал мне это слово, даже клялся, со слезами просил прощения, целуя мои руки... Но тут же, стоило только явиться одному из сереньких товарищей, как все забывалось. Опять находился предлог, неотложное дело, и они уходили. На другой день снова раскаяние, самобичевание, просьбы о прощении, и так без конца. Сердиться на него было невозможно: бесхарактерность, слабая воля напоминали что-то детское. Он был просто жалок.

При таких условиях в доме скоро почувствовался недостаток. Моя мать сулила золотые горы — на деле оказалось другое. Отношения между нею и Рафаилом были для меня непонятны. То у них вспыхивала непримиримая вражда (тогда даже меня к ней не пускали), то устанавливалась трогательная дружба и единодушие. Полоса дружбы приносила нам обыкновенно материальное довольство. Но зато я почти переставала видеть мужа, он делался у нее желанным гостем, советчиком и партнером.

Жизнь моя почти сразу вошла в такие тесные рамки, что все надежды, стремления к осмысленному самостоятельному существованию отошли на далекий план. После шести месяцев замужества я увидела себя по-прежнему в тисках, но уже без надежды вырваться из них: рассчитывать было не на что и не на кого. Тяжелая беременность, трудные опасные роды, рождение дочери и тут же родильная горячка, от которой я чуть не умерла, поглотили меня и отвлекли надолго от окружающей действительности.

Как раз перед моими родами муж поссорился с матерью. Мы перестали видеться. Во время моих страшных мучений, длившихся четверо суток, я вдруг вспомнила одно старинное поверье: если перед родами не примириться с матерью, не разродишься. Тут же я просила доктора телеграфировать ей в Любань, что я прошу ее благословения и жду на крестины. Она ответила доктору: «Скажите Николаевым решительный ответ: крестить не буду». Меня это страшно огорчило, и спустя несколько часов у меня объявилась родильная горячка.

Я поправлялась очень медленно. По приказанию доктора моя бабка, добродушная, но вульгарная женщина, осталась при мне сиделкой. Муж принялся за старое: его почти никогда не было дома. Время тянулось без конца, а главное — я не знала, как убить вечер. С восьми часов Анна Ивановна начинала зевать, уговаривая меня заснуть. Чтобы развлечь ее, я как-то предложила сыграть в дурачки. Но это была не няня: розыгрышем ее не возьмешь. Она еще пуще зевала. Тогда мне в голову пришла гениальная мысль: зная, что Анна Ивановна до страсти любит апельсины, я к вечеру

припасала целый мешок. Сидя у моей постели, держа мешок между колен, без выбора, методично она принималась их есть, один за другим, сразу делаясь в духе и болтая без умолку. И откуда только бралось у нее красноречие? Чавкая и причмокивая, она посвятила меня во все подробности своей акушерской деятельности. Я узнала, кто и когда родил, когда крестил, кто из младенцев жив, а кто помер,— и так без конца. Но с последним куском, вздохнув, она снова зевала, объявляла, что время спать, и тогда уже ничем нельзя было ее развлечь.

В конце концов я рассердилась и обиделась на мужа. Мне надоело вечно сидеть одной. Мы поссорились. После этого он сдался, засел дома, облекшись в халат и, больше совсем не одеваясь, валялся с утра до ночи по всем диванам, придумывая какую-то новую игральную систему, или приглашал товарищей.

Иногда среди этих сереньких людей бывал единственный, очень интересный, обаятельный, умный человек — поэт Апухтин. Так как он имел привычку ложиться очень поздно, то для него обыкновенно устраивали ужин к двум-трем часам, длившийся до зари, во время которого я не только не скучала, но, напротив, с удовольствием слушала его рассказы. Апухтин за стаканом вина приходил в отличное расположение духа и подолгу читал нам и декламировал свои стихи, сыпал шутками и остротами — это был веселый и интересный собеседник. Однажды за ужином с ним случилась маленькая неприятность. Как известно, он страдал страшным ожирением, и никакая мебель не была для него достаточно солидна, чтобы выдержать его тяжесть. Раз он с жаром декламировал стихотворение, как вдруг нырнул под стол. Оказалось, что стул под ним сложился, как картонный домик. Чтобы не повторилось такое крушение, мы специально для него купили у Сан-Галли садовый железный стул. После этого он уже мог садиться у нас без опаски.

* * *

В Любани, куда мне приходилось ездить на лето к матери с моей маленькой Маней, я встречалась иногда с Серебряковой, устроительницей моего счастья, по-прежнему колыхающейся в порывах неудержимого смеха. Она, как и все, только скользила по чужим неудачам. У нее однажды я познакомилась с адмиральшей Нордман, гостившей с дочерью. Адмиральша оказалась страстной картежницей и очень подходила к типу «благородных» старух с пенсией. Моя мать немедленно пригласила ее к себе на партию, но та оказалась такой же задорной, как и мать. Они не сошлись и за первой же партией так рассорились, что адмиральша не захотела даже воспользоваться нашими лошадьми, и поздно вечером ушла от нас одна с дочерью, сделав пешком три версты до дачи Серебряковых. Дочь ее Нелли, или Наташа, на весь этот вечер была предоставлена мне.

Это была топорная и очень развязная барышня лет шестнадцати-семнадцати, в коротком платье, игравшая в избалованного ребенка. Глаза ее, далеко не наивные, толстые чувственные губы не вязались с напускным ребячеством. Чувствовалась в этой

неестественной девушке порочность, недостаток нравственных устоев.

Почти одних лет, мы представляли поражающий контраст: я уже с разбитыми мечтами, познавшая тяжелое разочарование, и эта изломанная манерная девица. Вначале у нас разговор не клеился, мы были слишком разные. Не будучи в состоянии стать на ее точку зрения, я говорила больше для себя, что в жизни можно сделать много хорошего, имея честные стремления, чистые идеалы, что жизнь сама по себе прекрасна, но тяжело все то, что тормозит ее, и многое еще в этом роде, что жило в душе моей, не заботясь о том, интересно ли ей то, что я говорю,— я просто думала вслух, найдя слушательницу.

Меня поражал сумбур в ее понятиях, отсутствие правил и нравственных чувств, царившие в этом спутанном уме. Но самой отталкивающей чертой ее был цинизм, редкий в молодом существе. Этого я никогда не могла ни переварить, ни привыкнуть к нему, меня он коробил и возмущал до глубины души. Например: она привезла мне портрет своего покойного отца, прося его сохранить. Я повесила его над дверью в столовой. Сидя однажды за обедом, лицом к портрету, она долго смотрела на него и сказала: «Ты думаешь, что я украла у матери этот портрет потому, что очень любила отца?.. Мне просто хотелось позлить мать». Вообще у нее не было ничего святого. Она могла легко оплевать то, пред чем незадолго до того преклонялась.

В течение моей жизни она долго вертелась на моем пути. Часто приходилось во многом ее выручать, многое прощать...

Играя в неизменную дружбу со мной, она не могла преодолеть чисто адскую зависть к малейшему моему успеху. Когда жизнь моя в известном смысле повернулась настолько хорошо, что она не могла дольше присутствовать при моей удаче, она не выдержала, и мы с ней навсегда расстались...

Потом я слыхала, что она стала ярой проповедницей суровой нравственности и на словах, и на бумаге. Писательство было ее страстью, но таланта в ней не признали. Она стала сильно заботиться о будущем, поэтому малейшая ее строка пишется не иначе, как «для потомства». Это как на портретах 18-го столетия: у наших дедов, у всех без исключения, написаны очень красивые руки. Кто там разберет потом, так ли это было в натуре?

Гордость человека — это быть, тщеславие — казаться. Наташа всю жизнь старалась «казаться», играть во что-то. Она скромно опускала глазки и на минуту обманывала этим людей... Потом она, говорят, разбогатела каким-то странным способом...

Сколько из-за нее я потеряла симпатий, сколько раз мне выражали нескрываемое удивление, видя ее со мною, об этом не стоит говорить. Многие судили меня по ней и однажды упомянули пословицу: «Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты таков». Несмотря на все это, я не отталкивала ее от себя, воображая по молодости лет, что в конце концов благотворно повлияю на нее, исправлю, облагорожу, очищу. Мне казалось нечестным оттолкнуть от себя заблудшего человека. Но это была только иллюзия.

* * *

Летом в Любани, на даче у матери, я пользовалась полной свободой, много гуляла одна, унося с собой в лес мои мечты и тайную тоску. Дома я пела, хотя и без методы. Голос мой очень развился и на многих производил впечатление — я пела от сердца. Раз меня услыхал один меломан, товарищ прокурора Мандрыкин, большой друг разных знаменитостей. Он пришел в восторг от моего голоса и стал убеждать меня, что мое место на подмостках, что мне непременно надо учиться, совершенствоваться, что передо мной блестящая будущность. Слова его глубоко запали в мою душу. Что-то дрогнуло во мне. Я стала думать над его словами. День ото дня брожение усиливалось во мне. Страстно захотелось создаться, вырваться из этой душной скорлупы, стряхнуть свои оковы. Я упросила Мандрыкина свезти меня к Прянишникову, бывшему тогда в большой славе,— хотелось слышать его мнение. Он согласился, и мы условились встретиться в Петербурге.

Моей тайной мечтой было поучиться у него, но, к сожалению, он в то время не занимался преподаванием по каким-то семейным обстоятельствам. Голос мой ему очень понравился, и он посоветовал мне поехать в Париж к Маркези, знаменитой учительнице, давшей уже много прекрасных голосов, много звезд.

Дома изумление было неописуемое, когда я поздно вечером вернулась из Петербурга. Впервые я, забитая, из года в год обезличиваемая, не спросясь и даже не предупредив никого, вдруг утром села в поезд и уехала неизвестно куда... Должно быть, мой решительный вид, мое счастливое, взволнованное лицо внушили всем опасения: почувствовали, что со мной произошло что-то неожиданное — и не ошиблись. Да, настал мой час... Явилась смелость, решимость. Я перестала бояться. Дух мой освободился от гнета. В моей серенькой пустой жизни я уже не видела ни смысла, ни выхода, и вдруг явился интерес, явилась определенная манящая цель, явился просвет...

Когда я заявила о своем намерении ехать за границу учиться петь, все ужаснулись. Конечно, последовал на все категорический отказ. Меня это не смутило. Несколько дней спустя, отправившись снова в Петербург, я призвала апраксинского маклака, и через час дело было сделано: я продала ему часть своей городской обстановки за пять тысяч рублей.

Дома не могли в себя прийти от этих «выходок». Жизнь моя стала невыносимой. Ко мне за все придирались, по-прежнему угрожая, что лишат наследства. Дутью, колкостям и упрекам не было конца, но меня ничто не брало — я стойко выдержала все нападки. Мой муж был, конечно, на стороне матери, старухи изображали сочувственный хор, качали головой, вздыхали — все, все решительно были против меня. Я была непоколебима, требовала от мужа паспорта и ребенка.

Время тянулось невыносимо, и казалось, что это положение никогда ничем не разрешится, как вдруг судьба сама пришла мне на помощь. Мать не выносила, когда Рафаил уезжал в Петербург, а тут случилось ему как-то отлучиться на неделю. Когда он вернулся, произошла невообразимая буря, что называется — пух летел. Из комнаты матери неслись неистовые крики. Весь дом был в смятении... Я одна, закаленная, без страха, терпеливо ожидала развязки

в своей комнате. Кончилось тем, что мужа прогнала, а заодно и меня, потребовав немедленно нашего отъезда. «Вон!..— кричала мать в исступлении.— Чтобы их духу здесь не было»... Разрыв между нами произошел окончательный. Мы уехали.

Удалившись от влияния матери, мой муж понемногу сделался податливее, пошел на уступки и, наконец, исполнил мне мои требования. Перед отъездом я от души пожелала ему измениться, начать новую жизнь, взяться за работу. Он последовал моему совету, к сожалению, слишком поздно и не ради меня и ребенка, а только по необходимости. Переступив через все пределы моего терпения, он оттолкнул меня своими непростительными слабостями, разрушив собственными руками нашу семейную жизнь.

IV

Зима в Париже. Маркези. Успехи. Подруги. Савина, Тургенев, Рубинштейн

Трудно описать, что я пережила, почувствовав себя наконец свободной. Да, свободной... Париж, с его бурно бьющимся пульсом, окончательно опьянил меня. Задыхаясь от наплыва неудержимых чувств, я влюбилась во вселенную, влюбилась в жизнь, ухватилась за нее... Душа переполнилась огромным интересом. Установилась правильная ежедневная работа: уроки пения, итальянского языка, мимики, декламация у Ристори, брата знаменитой актрисы. Безони приходил аккомпанировать мне. Все вместе занимало большую часть моего времени.

Маркези очень хорошо отзывалась о моем голосе: ей он понравился. Она была очень симпатичная, умная, за роялем же просто величественная, обаятельно действующая на учениц. Похвала ее вызывала в нас сильный подъем духа, недовольство расстраивало до слез. Мною она особенно заинтересовалась. Пришлось ей многое рассказать о прошлом, ответить на вопросы.

Одна добрая душа меня как-то предупредила, что если я хочу быть в добрых отношениях с Маркези, то я должна обдать холодом «Сальваторку» — так прозвали ее мужа ученицы. Маркези была ревнива и, кажется, не без основания. В прошлом «Сальваторка» наделал ей много горя с некоторыми из ее учениц. Сам же этот «Сальваторка» представлял собой сильно накрашенного, пошлого, молодящегося старикашку. Он и без предупреждения получил бы от меня здоровый отпор. Раз к первому апреля мы послали ему большую банку дешевой ваксы для усов.

Его роль в школе состояла в писании рецензий о наших дебютантках, о концертах и вообще в рекламировании нашей школы. Изредка его приглашали в класс, когда надо было в итальянской партитуре заменить какое-нибудь неудобное для пения слово, а в обыкновенное время он где-то постоянно шатался, и Маркези часто из-за этого бывала не в духе. В эти минуты, желая уязвить ученицу, она иногда говорила: «Non vous ne ferez jamais une artiste alllez plutôt vous marier!»[1].

Эти жестокие слова каждый раз вызывали слезы. Ко мне они были не применимы, но в забывчивости она и мне давала тот же совет. Однако, тут же спохватившись, смеялась, и дело улаживалось.

Любительниц в школу она не принимала, все учащиеся готовились в профессиональные певицы, и так же смотрела она на меня.

[1] Нет, из вас никогда не получится художник, выходите-ка лучше замуж! (*Фр.*)

Мне было страшно ей признаться, что пока я только хочу научиться хорошо петь и ни о чем другом еще не думаю. Да и могла ли я угадать, какой результат будет из моих уроков?

Голоса она ставила превосходно и делала это с любовью. У нее была масса учениц. Среди моих товарок были американки, шведки, немки, несколько русских, даже одна австралийка, съехавшиеся со всех концов света. Многие переходили к ней из других школ. Были опытные певицы. Некоторые приезжали с утомленными голосами, исправлять дурную методу. Артистки очень отличались от учениц манерами, развязностью и туалетами. Признаться, мне они были менее симпатичны. В ученицах было что-то чистое, нетронутое, те же носили отпечаток искусившихся, опошленных, изломавшихся и часто с малыми данными очень о себе воображали, относясь ко всем пренебрежительно, свысока. Встречались еще и старые ученицы, уже пользующиеся известностью, приезжавшие к Маркези проходить с ней новые оперы.

Первые уроки состояли в изучении гигиены горла для сознательного отношения певицы к этому органу. Демонстрировалась модель человеческой гортани или же большая таблица той же гортани в увеличенном виде, с мельчайшими подробностями ее строения. А вообще, школа делилась на три класса: в первом — постановка голоса, во втором — арии и классический репертуар, в третьем — оперный класс. Редко ученице удавалось пройти курс в три года. Маркези любила под разными предлогами затягивать работу.

В пении, как и в музыке, играет большую роль музыкальность. Как бы голос ни был сам по себе красив, но без музыкальности трудно дойти до совершенства в исполнении. Ошибочно думают некоторые, что весь вопрос в силе голоса,— звук должен быть не только силен, но красив. Задавшись красотой звука, можно смягчить и облагородить несимпатичный тембр. Вообще, насилование голоса, крик — неэстетично, и этим для певца утрачивается навсегда гибкость голоса, мягкость переливов, задушевность.

По совету Маркези я с Маней и Лизой, моей девушкой, поселилась в пансионе, где уже жили четыре ее ученицы: Рындина, очень добродушная, с огромным неподатливым контральто, Карганова, бойкая, смазливая и вертлявая армянка, Фриде, обладавшая прекрасным и симпатичным меццо-сопрано, и ее подруга, чешка из Праги, Паола Новак, простоватая, но милая девушка с чудесным голосом. Все это были трудящиеся, хорошие люди, с которыми я скоро сошлась.

В школе наши уроки приходились в разные дни: я пела с начинающими, они же были все в оперном классе. Месяца два спустя Маркези из любезности позволила мне брать урок в одно время с ними. Таким образом, я имела возможность слышать хоровое пение, чудные голоса, развивать мой вкус вдвойне, усваивая методу преподавания, что принесло мне огромную пользу.

В пансионе я занимала с моей маленькой семьей три небольшие комнатки. Они назывались у нас «главной квартирой», потому что, возвращаясь с уроков в шестом часу, все туда врывались шумной толпой, где нас уже ожидал вкусный чай с массой печенья, приготовленный Лизой на спиртовке.

К нам иногда в гости приходили другие товарки. Одна из них была Мария Сионицкая, с чудным драматическим сопрано. Карганова часто аккомпанировала ей, помогая в выговоре итальянских слов, который ей трудно давался. Впрочем, в России ей этот итальянский выговор не понадобился, из нее вышла первоклассная артистка, и она впоследствии сделалась одной из примадонн московской императорской оперы.

Однажды мы решили встретить Новый год у меня на «главной квартире». К этому торжеству были припасены, кроме обычной чашки чая, большой сладкий пирог, карамельки и бутылка ликера. Ровно в 12 часов мы дружно чокнулись, искренно пожелав друг другу успеха в нашей работе. Было весело, беззаботно, а крохотная рюмка ликера удвоила веселье. Удалая Карганова, которой стало жарко, мало-помалу все облегчала свой туалет и, когда мы наконец решили разойтись, никак не могла собрать всех своих пожитков и, сидя на полу, понемногу одеваясь, на все лады подпевала, повторяя сто раз одну и ту же фразу: «Где мои вещи, молотки да клещи?»... Поздно за полночь мы еще пели и смеялись, нарушая покой нашего пансиона, погруженного в глубокий сон.

За табльдотом наш конец стола был самый шумный. Не стесняясь разных чопорных англичан, мы громко болтали по-русски, без церемоний высмеивая присутствующих. Новак мало понимала по-русски, но порой смеялась громче всех на веру, катая круглыми голубыми глазами.

«Was, Was?»[1] — с тоской тщетно вопрошала она и, не получив ответа, все-таки от души смеялась, что было донельзя забавно. Иногда Фриде, сжалившись над ней, что-нибудь наскоро объяснит.

Раз на другом конце стола появилось знакомое лицо. Это была Марья Гавриловна Савина. С этого дня мы переменили тактику и стали болтать вполголоса. Савина обыкновенно приходила к обеду с компаньонкой, но раз та отсутствовала. Как на грех, у Савиной за обедом закружилась голова. Она побледнела, хотела встать, пошатнулась... Я в миг очутилась возле нее, предложила свою руку. Опираясь на меня, она попросила меня отвести ее к себе в номер. Поздно я у нее засиделась, пока не вернулась компаньонка. После этого мы изредка заходили друг к другу.

Раз Марья Гавриловна предложила мне пойти с ней в театр. В Пале-Рояле шла уморительная пьеса в чисто французском духе «La Cagniotte». Действительно, я до того смеялась, что мне пришлось даже немного расстегнуться. Но Марья Гавриловна хохотала еще больше меня. Почему-то я думала, что артистка, знакомая с закулисной стороной, теряет иллюзию обыкновенного зрителя, но это, оказывается, неверно.

Однажды я познакомилась у нее с Иваном Сергеевичем Тургеневым, обаятельным стариком, сразу внушившим мне глубокое благоговение. Он заинтересовался мной, моим настоящим и прошлым. Не раз пришлось раскрыть перед ним свою душу. Слушая меня, он часто говорил: «Эх, жаль, что я болен и раньше вас не знал. Какую бы интересную повесть я написал...» Но он скоро заболел. Я наве-

---

[1] Что, что? (*Нем.*)

стила его. Он произвел на меня впечатление заброшенного. Кругом него было холодно. Тяжело и обидно было за этого великого человека, умирающего на чужбине среди равнодушных и чужих... Через полтора года после нашего знакомства его не стало[1].

* * *

В Париж приехал Антон Рубинштейн давать свои исторические концерты[2]. Маркези объявила нам, что он посетит нашу школу и чтобы мы были все в сборе завтра к двум часам. Это было целое событие... На другой день, трепеща от нетерпения, мы все ожидали знаменитого артиста. В детстве и позже я много раз слышала его в концертах и давно уже была под обаянием его гениальной игры. Мы встретили его восторженно. Недолго думая, он сел за рояль, а мы тесным кольцом обступили его. Играл он, как бог. Мы замерли, едва дыша. Но после скерцо Шопена, в котором он превзошел себя, всех охватил безумный восторг. Поднялись крики, аплодисменты, что-то вроде сумасшествия. Вдруг я с ужасом вижу, как две неистовые шведки, стоявшие за ним, бросились вырывать у него волосы... Рубинштейн вскочил, рванулся к двери, ведущей в комнату Маркези... Я очутилась возле, пропустила его в комнату, выскочила за ним и заперла дверь на ключ. Все это произошло в один миг. Он был взволнован, рассержен и, грузно опустившись в кресло, тяжело дышал. Явилась Маркези и, желая загладить неприятное впечатление, стала извиняться, объяснять, что эти дурочки в пылу восхищения, не помня себя, хотели сохранить от него что-нибудь на память. Однако он не захотел больше вернуться в залу, и мы провели его к выходу окольными путями. Прощаясь, он сказал мне: «Что, спасительница, вы будете на моем концерте?» Я объяснила ему, что к великому горю никак не могла достать билета, что за два месяца уже все было расписано, и мы слышали даже, что, перекупая места, некоторые платили за них по пятьсот франков и больше. Он обещал уладить дело, прося меня встретить его при входе в фойе.

Спустя два дня состоялся его первый исторический концерт. Карганова, у которой тоже не было билета, решила поехать со мной наудачу. Ровно в семь часов мы были на месте, ожидая его у подъезда. Нам это показалось верней. Съезд в этот вечер в зале Эрара был необычайный. Мимо нас проехали тысячи нарядных экипажей. Немного погодя на скромном фиакре подъехал и наш знаменитый артист. Взяв нас обеих по-отечески за руку, он провел нас в фойе.

Народу в зале было столько, что все сливалось в одну массу, даже в проходах публика стояла густой стеной. На эстраде не оставалось нигде свободного вершка: где только было возможно поставлены были стулья. И все головы, головы... Ничего, кроме голов. Рояль был придвинут к самому краю эстрады. Чтобы артист мог пройти на свое место, приходилось из публики некоторым вставать. Духота уже с самого начала стояла невыносимая. Шум, говор сливались в какой-то сплошной гул. Пока публика бурно аплодировала,

---

[1] И. С. Тургенев умер 22 августа (3 сентября) 1883 г. в Буживале, близ Парижа.

[2] С циклом исторических фортепьянных концертов А. Г. Рубинштейн выступал в европейских столицах с октября 1885 по май 1886 г.

горячо приветствуя артиста, Рубинштейн приказал принести еще два стула, которые стали передаваться через головы сидящих на эстраде, причем все принимали участие в этой трудной операции. Нам едва нашлось место около самого артиста, у самых клавиш. Весь этот шум и возня, непринужденность самого артиста придавали концерту интимный, семейный характер. Он начался и прошел в каком-то неистовом бреду восхищения. Я никогда не видала в Париже такого единодушного восторженного приема артиста, как в тот вечер. Только у нас в России бывает что-либо подобное, французы редко переходят границы в выражении восторга.

Не могу сказать, что я пережила во время дивного исполнения. Помню только, что, замирая, я уносилась куда-то, что звуки, вливаясь в душу, волновали ее, вызывая то грусть с невольною слезой, то сладкую мечтательность, то высокий бодрящий подъем духа. Я страдала, блаженствовала и молилась. Во мне этот вечер оставил неизгладимое впечатление.

Красоту и могущество музыки трудно определить словами. Она с силой охватывает нашу восхищенную душу, унося ее то в радужных грезах, то в тихой печали. Я же от музыки почему-то чаще всего страдаю. Мне больно и в то же время я наслаждаюсь...

Вскоре после знаменательного концерта мы принялись разучивать хор Рубинштейна «Садко», который должен был исполняться с оркестром под его управлением в «Cirque d'hiver»[1], в концерте Lamoureux[2]. Хоры шли успешно, но Рубинштейн еще был недоволен оркестром. Он сердился на репетициях, кричал, и голос его гремел, быстро замирая в пространстве пустого цирка. На последней репетиции забыли захватить его дирижерскую палочку. Он очень горячился, ежеминутно останавливая оркестр и дирижируя смычком, в порыве увлечения, стуча по пюпитру, сломал их несколько штук.

В день концерта мы собрались к часу дня в особую комнату нижнего этажа несуразного здания цирка. При дневном свете эта постройка была страшна, с темными бесконечными коридорами и закоптелыми стенами. Долго мы томились в ожидании нашего выхода. До нас глухо доносились взрывы аплодисментов, смутный гул, отголоски далекой жизни. В ожидании нашей очереди мы покорно расселись в большой неприветливой комнате. Хор наш состоял из сорока лучших голосов школы Маркези. Мы ждали выхода, и разговор у нас не клеился.

Первое ожидание чего-то нового, интересного, живого, перешло для меня в бессознательную критику. Я ожидала другого. В одном конце фойе возился солист-скрипач, во фраке, бледный, худой, с длинными прядями жирных волос, висящих мочалками. Настраивая и перестраивая свой инструмент, он выводил на нем какие-то кислые звуки. В другом сидела полная, уже немолодая, сильно напудренная девица с расстроенным лицом. Ее голубой, далеко не первой свежести туалет ясно говорил о терниях артистического пути. Паола Новак, с которой та долго говорила по-немецки, сказала нам, что это знаменитость из Байрейта с чудным голосом. Тут была еще певица-француженка, в сомнительной свежести белом

---

[1] Зимний цирк (*фр.*).
[2] Ламурэ (*фр.*).

платье, худощавая, раскрашенная, с большим апломбом, видимо презиравшая немку...

Странно... Мы все здесь были призваны к одному служению искусству, а смотрели друг на друга с холодным равнодушием, и даже с нескрываемой антипатией, и далеко не напоминали собой жрецов, сошедшихся служить одному божеству. Говорят, что в мире искусства именно жрецы постоянно враждуют и нет между ними никакого единодушия.

Но вот открылась дверь, явился Lamoureux, вежливо предложил руку немке и вывел ее в залу. По очереди все солисты возвращались оттуда, а с ними в открытую дверь врывалось, как отдаленное эхо, оживление залы, последние взрывы аплодисментов. Лица артистов оживлялись, даже раскраснелись, один лишь тщедушный скрипач вернулся таким же бледным, со своим неизменным платочком у шеи.

Мы выступали во втором отделении. Наконец, настала и наша очередь. Перед выходом пришла Маркези. У нее был вид генерала, обозревающего свой полк перед парадом. Сделав нам несколько замечаний, она отрывочным голосом скомандовала: «En avant»[1]. После монотонного, бесконечно томительного ожидания в холодной, сырой, плохо освещенной комнате, в окна которой глядел сероватый зимний день, вид ярко освещенной, пестрой, шумной залы в первую минуту одурманил меня. Нагретая удушливая атмосфера ошеломила, точно обожгла.

Я впервые очутилась на эстраде, перед бесчисленной толпой, собравшейся послушать знаменитого артиста. Я чувствовала себя потерянной среди этой огромной несуразной эстрады, возведенной частью на арене, частью на трибуне цирка. Когда я подняла глаза, мне показалось, что я сижу на дне глубокой чашки: над моей головой, до самого потолка, разместились музыканты, гудя изо всех сил в духовые инструменты. Наш хор занял часть эстрады справа, за струнным оркестром. На противоположной стороне, параллельно с нами, разместился хор мужчин, учеников парижской консерватории.

Явился Рубинштейн. Публика заревела. Он подал знак. Зала замерла. В назначенный момент мы дружно вступили, и наши голоса слились с могучими, стройными звуками оркестра. Наш хор, составленный из отборных молодых голосов, представлял удивительное богатство и красоту звука. Многие из нас были уже законченными артистами.

Странно... Делалось столько приготовлений, было так много разговоров, ожиданий, волнений, раскинулась такая сложная картина, а для меня вырвалось из общего лишь одно: момент на эстраде, а там — ничего, ни до ни после. Во всем этом не было цельности, отсутствовала гармония, много было ненужного, шероховатого, положительный момент слишком ничтожен. Почему-то все вместе оставило во мне чувство полной неудовлетворенности. Мне показалось, что я с бо́льшим удовольствием изобразила бы слушательницу, нежели исполнительницу, я предпочитала иллюзию.

---

[1] Вперед (*фр.*).

Рубинштейн тогда страшно увлекался Ван-Зандт и не пропускал ни одного представления с ее участием. Мне удалось еще раз его увидать. Однажды он пригласил меня в свою ложу. Шла «Динора», в которой Ван-Зандт была неподражаема.

У нас в школе снова приготовления: объявлен годичный концерт учениц Маркези. В нем выступают несколько окончивших учениц оперного класса, между прочим, Рындина, Фриде, Карганова и Новак. Новак поет арию из «Фауста», сцену у прялки. В школу нарочно по этому случаю приехал Гуно, послушать ее и дать лично свои указания. Он симпатичный, приветливый, говорит сочно, красно, с лаской в глазах. Каждой из нас он сказал любезное слово. Кроме Новак, он прослушал еще некоторых учениц в своих произведениях. Мы все были очарованы им и шумной толпой выбежали проводить до кареты.

Одна из американок должна была исполнить в концерте арию Офелии, сцену сумасшествия из «Гамлета» Амбруаза Тома. Он тоже приехал давать свои указания, но, делая их сухо, обрывая на каждой фразе, безжалостно запугал исполнительницу. Просто было жалко смотреть на нее. Холодный, прямой, надменный, он заморозил нас окончательно. Мы не смели шевельнуться при нем.

В день концерта у меня было много дела. Надо было успеть всех одеть, причесать. Новак жила в одной комнате с Фриде. Чтобы друг другу не мешать, она одевалась у меня. Какая спешка, суета... Мы с Лизой бегали как угорелые из этажа в этаж, из комнаты в комнату. Кому не хватало шпилек, у кого нет духов, одной нужны перчатки, у другой неподходящее пальто... У меня все это есть: каждая находит, что надо. Минута важная, и я счастлива выручить товарок, им угодить.

Концерт сошел благополучно. Наша школа оказалась, как всегда, на высоте. Вернувшись домой, за чашкой чая, на «главной квартире» мы делимся впечатлениями, вспоминаем пережитые волнения, страдания и радость успеха.

Иногда мы ходили в оперу для экономии в складчину. Бралась огромная литерная ложа в четвертом ярусе. Нас набивалось в нее шесть, а то и восемь душ. Жара на этой вышке была невообразимая. Придумана была удивительно остроумная комбинация. Проходя по улице мимо торговки апельсинами, каждая из нас покупала пять, шесть или целый десяток чудесных фруктов. Все это распихивалось по карманам и во время антрактов поедалось. Корки же неминуемо бросались на пол, и что думала о нас «увреза» после нашего ухода — нам было все равно.

С нами случилось одновременно и горе, и радость. Горе — Рындина уезжает, радость — она едет в московскую оперу дебютировать в роли Вани в «Жизни за царя». Мы все очень полюбили ее, жаль с ней расстаться, но за нее мы довольны: цель достигнута. Обнимаясь и плача, проводили мы ее на вокзал. Вернулись домой осиротелыми. В сущности, Рындина со своим ровным характером была звеном между нами. После ее отъезда наша компания понемногу распалась. Я же больше всех сошлась с Каргановой (впоследствии Терьян). Ее смелый, веселый характер нравился мне. С Фриде нам не удалось сблизиться. Я думаю, это произошло оттого, что за ней вечно тащилась Паола Новак, ее товарка по Вене, откуда они пере-

брались в Париж к Маркези, а с Новак мне было трудно сойтись, она была неинтересна и, кроме красивого голоса, ничего собой не представляла.

Однажды мы с Каргановой дружно пили чай. Лиза, которая от души презирала французов, стала нам жаловаться, что «у этих хваленых французов даже путной бани нет, негде и помыться»... Карганова приняла эти слова к сведению. Несколько дней спустя она влетела к нам ураганом и объявила, что нашла русскую баню, но что по-здешнему ее называют «хамам». Мы слушали ее с недоверием. Она принялась усиленно уговаривать нас попробовать, ручаясь, что это будет превосходно. Она так приставала к нам, что мы наконец сдались. Решено было отправиться туда на другой день в четыре часа. Мы отправились втроем и, заплатив в кассе за вход, очутились в большой зале с каменным полом. Вдоль стен были устроены невысокие перегородки на манер узких стойл с сиденьем, полочкой и маленьким зеркальцем. Вместо двери у каждой перегородки висела холщовая занавеска — то были раздевальни. Из залы дверь вела в другое помещение, в котором находился душ. Мы с Лизой не решились раздеться, нам эта обстановка не внушала доверия. Карганова, наоборот, желая доказать, что это превосходно, быстро разделась и, развязно выйдя к нам в костюме Евы, стала искать глазами, на чем бы сесть, но не найдя ничего, попросила стул. Стула не оказалось. Она долго гуляла по зале и уже начинала не на шутку сердиться. Наконец с трудом отыскали где-то крохотную ножную скамейку. Банщица тоже уже ворчала. Усевшись, Карганова вызывающим тоном потребовала мыла. Мыла тоже не было. Вместо него была принесена небольшая мисочка с мыльной водой. Карганова, возмущенная, бушевала, забыв о нашем присутствии. Между банщицей и ею было полное недоразумение. Возник вопрос, чем и как помыться? Тогда явилось на сцену нечто вроде толстой кисти из грубой мочалы, которой банщица принялась обмазывать, точно разрисовывать, Карганову. Когда эта операция была окончена, банщица повела ее под душ среди немилосердной перебранки — отношения их окончательно обострились.

Я уже давно умирала от смеха, но что удваивало мое веселье, так это невозмутимое лицо Лизы, серьезно и внимательно следившей за всем происходившим. Нет, этого описать невозможно...

Когда Карганова очутилась под душем, банщица, желая, вероятно, сорвать на ней сердце, отплатила за все, пустила в нее кипящую струю... Вдруг я вижу мою Карганову в корчах: куда она ни бросится, струя неумолимо следует за ней. Крик, гул, беготня, плеск воды и мой уже ничем не удерживаемый хохот — все смешалось в общий хаос... Наконец, Карганова рванулась в мою сторону, пытка ее прекратилась... Долго, долго я не могла отхохотать этой смешной истории. Так окончилась наша попытка найти в Париже русскую баню. А Лиза торжествовала.

Мои занятия шли очень успешно. Я уже перешла в оперный класс. В это время я познакомилась с художником Константином Маковским и имела глупость согласиться позировать ему для поясного портрета. Меня очень интересовало это знакомство: это был первый художник, с которым я близко встречалась в своей жизни. Вспомнилось мне мое детское представление о художниках: «Какие

это, должно быть, хорошие, умные, особенные люди»... Вспомнились мои детские мечты, восторженные представления об этих избранных людях, стоящих выше толпы... И должна сознаться, что моя первая встреча с представителем этих высших существ и впечатление, вынесенное от общения с ним, было не в его пользу: он поразил меня своей неимоверной пошлостью, пустотой и невежеством...

Добросовестно и аккуратно я приходила на сеансы три раза в неделю, несмотря на тайные угрызения совести, что непроизводительно трачу драгоценное время, отнимая его от своих занятий. Я успокаивала себя мыслью, что зато останется портрет с меня молодой, память на всю жизнь.

Маковский почему-то непременно захотел писать меня в костюме Марии Стюарт. Хотя я этой фантазии не разделяла, но пришлось сдаться, потому что с некоторыми художниками невозможно говорить резонно: они непогрешимы, не терпят здравой критики.

Чем больше я узнавала его, тем больше разочаровывалась в нем. Я не приходила в себя от недоумения, утешая себя тем, что остальные, наверное, не такие, как он. Мне слишком жалко было расстаться с прежними иллюзиями.

Каково же было мое удивление, когда, по окончании наших сеансов, я узнала из уст самого художника, что мой портрет продан какому-то любителю просто как этюд женской головки! Такой бесцеремонности я от него не ожидала и только тогда поняла, почему ему был так необходим костюм,— в простом платье эскиз было бы трудней продать.

V

Лето в России. Москва. Талашкино

Мне пришлось вернуться в Россию. На лето я была приглашена погостить в деревню к А. Н. Николаеву, дяде моего мужа, со старшей дочерью которого я была дружна. Маша была добрая, сердечная, уже немолодая девушка, отлично понимавшая жизнь. В моей неудавшейся семейной жизни она во всем винила мужа и была всецело на моей стороне.

После деятельной жизни в Париже, после общения с талантливыми людьми, я снова попала в среду, хотя и хороших, безобидных, но малокультурных людей. Это были простые тульские помещики, которых на Руси тысячи. Жили они в деревне потому только, что у них волею судеб было имение. Редко из него выезжали, из года в год покорно поворачивая колесо жизни в том же направлении. Услышать что-нибудь интересное или поучительное в их обществе было невозможно. Маша одна старалась понять меня. Болтая с ней часами, мечтая вслух, я часто давала волю моему воображению. Она слушала и ужасалась.

— Боже мой, да чего же тебе еще надо? Ты хотела петь и научилась, поешь, как настоящая артистка.

— Что надо?.. Я еще не знаю... Я считаю, что ничего в жизни не сделала. Пение? Это — забава, увлекательное занятие... Не этого хочет душа моя. Предположим, что мне даже придется по необходимости пойти на сцену, но какая же это деятельность?.. Что я там могу сделать? За границей я хорошо насмотрелась на этот омут, называемый театральным миром. Великие таланты редки, а они одни только и могут его преодолеть, да и то какой упорной борьбой... Есть, конечно, путь, которым легко приобрести и успех, и театральные лавры для актрисы, и многие им пользуются без стеснения — продажа, потому что иначе при современных театральных нравах она ничего не добьется и умрет с голоду. Если она порядочная женщина или дура неумелая, то будь она со звездой во лбу, с месяцем под косой, ей все-таки ходу не дадут. Нет, артистическая карьера, это звук пустой... Помнишь, как сказал Муравьев: «Полезным можно быть, не бывши знаменитым — сметают счастие и по тропинкам скрытым»... Меня влечет куда-то... До боли хочется в чем-то проявить себя, посвятить себя всю какому-нибудь благородному человеческому делу. Я хотела бы быть очень богатой, для того чтобы создать что-нибудь для пользы человечества. Мне кажется, я дала бы свои средства на крупное дело по образованию народа, создала бы что-нибудь полезное, прочное...

Так мы с ней зачастую беседовали, бродя по аллеям старого парка или за бесконечным чаем у огромного потухшего самовара, осаж-

даемые миллионами назойливых мух, сидя далеко за полночь на балконе заросшего сиренью старого барского дома...

На зиму я поселилась в Москве и, устроившись с Маней и Лизой в трех уютных комнатках приличного меблированного дома, установила такой порядок жизни, чтобы по возможности оградить свою самостоятельность и без помехи продолжать заниматься пением. Несмотря на мои теории о театре, мне все-таки хотелось докончить начатое, достичь совершенства. Искусство увлекало меня, и я усердно повторяла свои арии и вокализы. Выбрала я Москву потому, что не смела ехать в Петербург: робость брала просить лично у матери денег на продолжение моих занятий. Из переписки с ней по этому поводу ясно было, что дело мое не выгорает. Ответы ее были резкие, обидные, неутешительные. Я была озабочена не только будущим, но и настоящим. Муж так запутал дела, что я в них едва разбиралась. Я не допускала и мысли, что все для меня кончено, но невольно в душу закрадывался страх, как бы не пришлось, смирившись, ехать обратно в прежние тиски: вся душа при этом возмущалась.

Еще одна мысль тревожно мучила: не хотелось видеть мужа. Сердце, мысли, чувства — все оторвалось от него, он растаял в моем воображении, казался таким ничтожным... С мужем у меня тоже завязалась переписка. Из нее видно было, что он еще ни к какому серьезному делу не пристроился, вырывая деньги то у моей матери, то у своих родных. Картина была безотрадная. Я дрожала при мысли, что вот-вот откроется дверь и он появится на пороге...

Опасения мои, к сожалению, были основательны. Однажды, вернувшись от Маши Николаевой, я застала его у себя, преспокойно лежащим на диване. Мы стояли друг перед другом немые. Да и что могли мы сказать друг другу? С чего начать? Наши натуры, вкусы, привычки были разные. Я за это время много передумала, работала, развивалась и далеко отошла от той жизни, которую мы вели в первые годы замужества. Мы действительно были чужие...

Вероятно, в Москве у него тоже были места, где он мог предаваться своим излюбленным удовольствиям. Он тоже по-своему ценил свободу и потому, вероятно, остановился не в одном доме с нами, но приходил каждый день ко мне, точно изучая меня, держа себя каким-то наблюдателем.

Кроме Маши, ее брата и сестры, у меня бывали еще наши общие друзья, большей частью простые добродушные москвичи, которых я давно знала, когда бывала наездами в Москве. Один из них служил некоторое время в Петербурге, но, получив большое наследство, бросил службу и вернулся на жительство в Москву. Он не раз бывал у нас в Любани. Я знала его как очень порядочного человека, и мы были с ним давно большими приятелями. Но, к сожалению, за последнее время чувство дружбы с его стороны перешло понемногу во что-то другое. Эта перемена очень огорчила меня. От души жаль было наших прежних приятельских отношений.

Муж заметил эту перемену. К моему удивлению, он отнесся к ней, как мне показалось, сочувственно. У него было что-то на уме.

Раз он развил передо мной проект какого-то сложного крупного предприятия, для которого ему нужны были порядочные деньги. Хорошенько подготовив меня, настроив, он поручил мне повлиять на на-

шего приятеля, чтобы тот дал ему взаймы, прибавив при этом, что он уже пытался просить, но получил отказ. Конечно, первым моим движением было отказаться наотрез. Будь это раньше, я, может быть, ни минуты не задумалась бы, но, видя перемену в его отношениях ко мне, мне было очень неловко и неприятно исполнить это поручение. Однако мужа это не смутило. Он припугнул меня, серьезно угрожая чем-то для всех страшно неприятным. Я была очень расстроена. Пахнуло чем-то старым, пережитым, безгранично тяжелым... Ни слезы мои, ни мольбы не тронули его: он был непоколебим...

Борясь с собой, я оттягивала день за днем тяжелое испытание, а муж становился все настойчивее, безжалостно упрекая меня в эгоизме, в нежелании выручить его в важнейшую минуту жизни, от которой зависела вся его и наша с Машей будущность. Он настаивал, если не ради него, то ради ребенка, выручить его, говоря, что я не имею права, как мать, носиться с какими-то глупейшими предрассудками, пренебрегая интересами семьи. Он ставил вопрос так резко, так неумолимо взваливал на меня всю ответственность, что мне не оставалось никакого выхода. Мало-помалу он переломил мою волю. Я сдалась...

Н. Н., никогда не говоря со мной, давно уже видел всю драму моей жизни. То, что мне пришлось сказать ему, было для него уже не ново. По-видимому, он многое знал гораздо больше меня. С мужем он был только в приличных отношениях, в душе глубоко презирал его.

Настал тяжелый момент. Но Н. Н. был умный, чуткий и с первых же слов понял меня. Видя мое мучительное смущение, он ускорил развязку и согласился на все.

Но что было в этом самое оскорбительное, что донельзя покоробило меня — это возмутительный способ мужа: не рассчитывая на мои силы, вероятно боясь, что в последнюю минуту у меня не хватит мужества, он в течение всего нашего разговора преспокойно, «на случай», гулял по коридору, без стеснения покашливая, проходя мимо двери. Когда же, по его расчету, наши объяснения должны были окончиться, он преспокойно вернулся обратно в комнату. О... Как гадко было у меня на душе!..

Достигнув своей цели, муж, очень довольный и веселый, уехал. Я же осталась в каком-то смятении, с полным сумбуром в голове. У меня было какое-то нехорошее чувство. Мне было так не по себе, что я совершенно упала духом, забросила свои занятия — все мне опостылело. К жизни чувствовала полное отвращение. И тогда во мне поднялось возмущение. По правде, к чему нужна была вся эта борьба, к чему столько бесполезных страданий? За что такая ломка? Не проще ли надо жить, без этого постоянного претящего разлада со своей совестью, с действительностью?..

С Н. Н. мне стало невыносимо тяжело встречаться. Где-то в глубине души было совестно перед ним: хоть и невольно, но все же я сыграла на его чувствах и, не будучи в состоянии отплатить тем же, потребовала от него поступка исключительно во имя дружбы, закрывая глаза на истинные его побуждения, как бы не признавая, вычеркивая действительность. Что мне было делать? На что решиться? Играть комедию в благодарность, притворяться, ломать

себя? Нет, я на это не была способна, не умела войти в сделку с собой. Я погибала от разлада и смущения. Все, что случилось со мной, не имело названия, но было непоправимо. Н. Н. тоже был растерян, сознавая, что произошло что-то неладное, имел вид человека с камнем на душе. С каждой встречей пропасть между нами росла, расширялась. Мы были безмолвны — для объяснения не было слов.

Отдалившись от всех, точно пришибленная, я днями валялась на диване с обмотанной головой, без мысли, без желания, с чувством отвращения к себе и ко всему окружающему, в безвыходной тоске. Когда я в один из таких дней лежала, уткнувшись носом в спинку дивана, за дверью послышался стук, и чей-то голос окликнул меня. Я вскочила, дверь отворилась... Ко мне вошло спасение... Киту *, мой лучший друг, подруга моего раннего детства разыскала меня...

Давно, еще маленькими девочками, мы дружно играли с ней на берегу необозримого моря, где волны, мягко раскатываясь, рассыпались у наших ног легкой белой пылью... Она была разумная, добрая — мы с нею ладили. Потом мы встречались подростками, когда у нас слагались уже вкусы, мысли, понятия, и тогда мы тоже во многом сходились. Ее детство было счастливое, мое — суровое. Между нами родилось сочувствие, взаимное доверие. Встречи наши были случайные, но каждый раз согревали душу, оставляя в ней что-то хорошее. Потом судьба повела каждую из нас по разным дорогам. Мы обе выросли, вышли замуж, успели разочароваться в жизни. Но, видно, нам суждено было снова встретиться. В Москве, в одном доме со мной, жила дама с девочкой одних лет с Маней. Дети наши познакомились, стали играть вместе, бегая вдоль длинных широких коридоров. Пришлось и мне познакомиться с матерью Маниной подруги. Это была болезненная дама, приехавшая в Москву к доктору из Смоленской губернии, где у нее было именьице. Вначале мы виделись часто из-за детей, потом — по привычке, мы обе были одинокие. Марья Васильевна Эверар без устали мне рассказывала о своем деревенском житье-бытье и, конечно, много и подробно о своих болезнях. Однажды она упомянула имя своей приятельницы-соседки, имя Киту. Я вздрогнула, но и виду не подала, что это имя мне знакомо. Понемногу я узнала, что Киту была замужем за князем Святополк-Четвертинским, что счастья в браке не нашла и что постоянно живет в своем имении, Талашкине, занимаясь с большой любовью сельским хозяйством. Это несомненно была она, моя маленькая подруга, которую я так любила, и я была рада, наконец, о ней услыхать. Мне почему-то всегда верилось, что когда-нибудь мы да встретимся. Я просила Марью Васильевну при случае написать Киту, что ей кланяется Маня, если она такую помнит. И вот, спустя недели три, вдруг вместо ответа стук в дверь, и на пороге Киту... В первую минуту мы обе растерялись. Надо было обойтись. Нельзя же сразу начать разговор по душе, когда не знаешь с чего начать.

Киту остановилась у нас в доме. Виделись мы постоянно. Темы для разговоров нашлись в конце концов неиссякаемые. Я в ней

---

* *Киту (вместо Китти) — уменьшительное имя княгини Е. К. Святополк-Четвертинской, данное ей Наследником Цесаревичем Александром Александровичем (буд. Императором Александром III).*

не обманулась: ее детская хорошая натура осталась тою же. Во взрослой в ней развилось много положительного. Она была очень уравновешенна и разумна. Но тут я должна остановиться. Одна из самых ярких черт ее личности — это скромность. Что бы она ни делала хорошего, дельного, она не любила, чтобы об этом говорили, предпочитая оставаться в тени. Зная, что я записываю впечатления моей жизни, она об одном просила меня: по возможности меньше о ней упоминать. Нас с ней сблизили вначале наши общие неудачи, и в области фантазий, надежд, широких замыслов мы говорили на одном языке. Понемногу я раскрыла Киту всю мою душу, показав ей без прикрас всю себя, дурное и хорошее, не боясь строгого приговора. Я была счастлива, наконец, хоть перед одним человеком быть такою, какая я есть.

Дружба, это — чувство положительнее всех остальных. Люди не прощают вам недостатки, дружба — всегда: она терпелива и снисходительна. Это — редкое качество избранных натур. В минуту, когда я погибала в разладе с собой, теряя почву под ногами, встреча расположенного ко мне человека, примирителя с жизнью, была для меня равносильна возрождению.

Видя мое пришибленное душевное состояние, Киту стала уговаривать меня приехать погостить к ней в деревню, уверяя, что перемена обстановки благотворно подействует на мои мысли: деревенская тишина успокаивает нервы, придает всему другую окраску. Взяв с меня слово приехать, она уехала с Марьей Васильевной. После их отъезда я окончательно осиротела, мне стало холодно, жутко...

Настала 6-я неделя Великого Поста. Всюду взялись за приготовления к празднику. Маша Николаева, с которой я меньше виделась за последнее время, благодаря присутствию Киту, тоже была поглощена такими же заботами: на ней лежал весь дом.

Перед этим торжественным праздником люди обыкновенно стараются сгладить взаимные обиды, сплачиваются, примиряются. Но нигде так не чувствуется приближение Светлого праздника, как в Москве. На улицах таинственное, безмолвное оживление. Все куда-то спешат с озабоченными, серьезными лицами. Март подходит к концу: талый снег, местами — камень. То звякнет, то замрет стук подков по мостовой. Чувствуется приближение весны. Церкви полны молящихся; в окнах, в ежеминутно отворяемых дверях мелькают набожно склоненные головы; пред мирными ликами иконостасов рдеют снопы свечей, теплятся задумчивые лампады; глухо, урывками доносится молитвенное пение. В воздухе носится унылый перезвон колоколов. Человек временно отрешается от жизненной суеты, молится, говеет — ищет Бога. Общественная жизнь замирает. Все это больно для одинокой, смущенной души. Одиночество чувствуется вдвое сильней. Пойти туда, в Божий храм, сосредоточиться, хорошенько выплакаться?.. Нет, это не для меня. Мысли рассеяны, в голове пустота...

Мне сделалось невыносимо скучно. Захотелось до боли увидать искреннее, участливое лицо. Меня потянуло в храм дружбы. Наконец, в понедельник на Страстной, наскоро забрав Маню и Лизу, я села в поезд и поехала в Талашкино. Я положительно бежала из Москвы, оставя позади мои сомнения, угрызения совести, все, что

за последнее время измучило меня и выбило из колеи. Одно чувство я уносила в душе: я была права перед собой.

Хорошо было в деревне. Уже слабели оковы зимы. Что-то примиряющее, живительное, веселое было в медленном пробуждении природы, пригретой улыбкой первых теплых весенних лучей. Меня все радовало, все занимало. Забавно было то скользить, то проваливаться, идя по дороге, убегающей вдаль потемневшей извилистой лентой. Весело было перескакивать с проталины на проталину на теплом солнышке, сидя на корточках, упиваться дыханием земли и запахом прелых листьев. Хорошо было смотреть в голубую прозрачную высь, в которой мудреным узором обрисовывались верхушки обнаженных, сквозящих деревьев. Отрадно вливались в душу звуки то отдаленного голоса, то лая собаки, то чириканья веселой птички, журчания бойких ручейков, бегущих из-под опавшего снега. Хорошо еще было ничего не думать, а, пригревшись на солнце, закрыв глаза, только слушать, как в природе все сговаривается, дышит и шепчется, набирая силы для чего-то нового, торжественного, готовясь, как невеста, к брачному наряду...

Талашкино хорошело с каждым днем, а вместе с ним оживала и я, обновляясь душой, идя рука в руку с природой. Возвращались надежды, любовь к жизни. Соловей, мой сладкий мучитель, по-прежнему терзал мою душу жгучими переливами, вызывая своим страстно-жалобным пением то слезы, то радостные порывы и мечты. Мало-помалу раскрылся рояль, песнь полилась, а за ней проснулся интерес ко всему. Прошлое, как уходящая гроза, где-то далеко еще глухо бранилось, все реже и реже напоминая о себе.

Мой решительный поступок многих рассердил. Муж прогневался, вероятно, потому, что план его удался лишь наполовину. Мать совсем перестала писать. Маша была недовольна тем, что я не к ней поехала на лето. Н. Н. уехал в деревню, усердно избегая всех. А для меня лето пролетело как счастливый сон.

Настала осень, возник вопрос, кто и как устроится на зиму. Это было мое больное место. Несомненно, моим желанием было продолжать занятия в Париже, но, к сожалению, на это у меня не хватало средств, но вместе с тем я чувствовала, что надо же принять какое-нибудь решение...

Мы доживали последние сентябрьские дни. Погода была теплая, сухая, воздух недвижим. Старый сад стоял густой стеной и тихо, точно плача, ронял то тут, то там, как непрерывные слезы, желтый лист за листом. На горизонте, за садом, виднелся узкой полосой пожелтевший лес, а кругом перед ним широко расстилались опустелые поля, только рдели густые зеленя *, вливая в душу спасительную надежду. Природа мирно шла на отдых, а бледное солнце дарило усталую землю последними прощальными объятиями.

Мы тихо брели с Киту по аллее, шурша платьем по густому ковру опавших порыжелых листьев. Она навела разговор о моих занятиях в Париже, говоря, что было бы непростительно забросить так хорошо начатое дело. Потом, заявив о своем желании ехать с Марьей Васильевной за границу, пригласила меня к ним присоединиться. Не обращая внимания на мое смущение, она спокойно прибавила,

---

* *Озимые посевы.*

что мне не стоит тревожиться о материальном вопросе и что когда-нибудь мы сочтемся. Я так же просто приняла ее предложение, как она просто и спокойно его выразила.

С этого времени Киту сделалась моей нравственной руководительницей, как любящая старшая сестра. Ее положительность, уравновешенность служили противовесом моей чрезмерной чувствительности. Все, чего не хватало мне, было в ней. Простым, разумным словом она умела успокоить мои порывы отчаяния, сомнений, безотчетной грусти, непосредственно приводя меня к спокойному обсуждению минутного затруднения, и своей лаской и участием залечивала мои душевные раны. Незаметно для себя, рассудок мой заражался ее мудростью, все чаще и чаще беря перевес, а сознание, что я не одна, что есть на кого опереться, благотворно укрепило мои нервы.

Радостно, а главное, покойно было на душе.

VI

Вторая зима в Париже. Искусство. Успехи. Приглашение в Испанию. Возвращение в Россию

По приезде в Париж я с новым рвением принялась за работу. Имея в Киту хорошего товарища, живя с ней в одной квартире, я уже не смотрела на школу как на свою семью. Я ходила на урок аккуратно три раза в неделю, но с товарками имела мало общего, не сходилась близко — не было прежней интимности.

В оперный класс поступило без меня несколько новых учениц. Одна из них, очень талантливая, была немка Джени Брок, другая— очень симпатичная, француженка Жанна Хюре, меццо-сопрано. Эта девушка где-то выступала. Голос ее казался утомленным, потом значительно исправился, но осталась в нем какая-то дрожь, придававшая ее пению особую прелесть. У меня тоже было меццо-сопрано, и несмотря на то что наш репертуар был один и тот же, между нами никогда не возникало и тени соперничества. Наши отношения были до конца дружественные, с постоянным стремлением к взаимным уступкам. Зато третья, шведка Сван, завидовала нам обеим, пробовала интриговать против нас, частенько дулась. Этой длинной, тупой шведке никогда не удалось уязвить меня, и все, что она выкидывала, оставляло меня равнодушной.

В свободное от занятий время мы с Киту посещали музеи. Еще в мой первый приезд я их подолгу изучала. Выходя оттуда, я всегда выносила в душе что-то смутное. Видеть все, все обнять было невозможно. Меня прельщало искусство, но я чувствовала свое полное невежество, и это мучило меня. К тому же, между моими товарками я не находила поддержки в этом направлении. Они исключительно принадлежали музыке, искусством в широком смысле не интересовались. Бессистемная беготня из залы в залу, чтобы только сказать, что я знакома с музеями, умение вовремя цитировать тот или иной шедевр не удовлетворяли меня. Я любила сознательно относиться к тому, что изучаю. Кроме того, мне было приятно делиться впечатлениями, одной ходить было скучно. Киту же, наоборот, была бесценным товарищем, охотно разделявшим мои интересы. Мы побывали по нескольку раз во всех музеях. Мало-помалу я стала сознательнее разбираться в моих вкусах и понемногу принялась в свободные минуты читать книги по искусству, о которых прежде и не слыхала. Современные выставки оставляли меня равнодушной, тянуло к старине. Я могла часами выстаивать у витрин античных предметов. Мое внимание притягивала и поглощала средневековая эпоха, а главное — эмалевое дело. В Лувре, в Museé de Cluny[1] были вещи, от которых я с трудом отрывалась.

---

[1] Музей в Клюни (*фр.*).

Не знаю, что делалось со мной, когда я глядела на них. Они положительно приковывали меня к себе. Каждый предмет мне что-то говорил. Пытливо заглядывая в прошлое, я видела его в той обстановке, для которой он создался, людей, для которых он строился. Мне мерещился то суровый тиран, то нежный загадочный образ средневековой женщины. Предметы эти казались мне живыми, одухотворенными. Я преклонялась перед ними, чувствуя к ним глубокое уважение.

А мастера? Кто были эти люди? Что создало их? Что побуждало их дойти до такого совершенства в понимании искусства? До таких идеалов? Что будило их фантазию, вдохновляло их, что чувствовали они, так вдохновенно творя?

Часто я уходила грустная, с болью в сердце, стыдно признаться — завидуя... Зачем они, эти мастера, уже успели сказать то, что, кажется, жило во мне? Словами я не могла бы выразить, что именно я хотела делать, к чему принадлежать, но терзалась желанием вылиться во что-нибудь подобное.

Я хорошо понимала, что первые шаги в искусстве, как и в науке, — грамота. Нельзя написать книги, не зная азбуки. Мои же познания в рисовании, при всей моей страсти к нему, сводились к нулю. Ни уроков, ни школы я не прошла — была самоучкой. В прошлой моей обстановке искусство не играло никакой роли. Ни понятий, ни критики там не существовало, примера и влияния я не встретила. Какую бы гадость я ни нарисовала, всем она нравилась, чаще же всего к ней были равнодушны. Последнее я предпочитала хвалам, которые только бесили меня.

Раз, гуляя по залам Лувра, я остановилась за спиной уже немолодого художника, копировавшего итальянским карандашом рисунок Ватто. Он так хорошо передавал манеру мастера, так добросовестно изучал каждый штрих, что между оригиналом и копией я не видела разницы. Должно быть, я слишком долго застоялась, он, видимо, заметил мое присутствие. Обернувшись раза два инстинктивно, он вдруг спросил меня, нравится ли мне его работа и что я могу сказать, глядя на нее свежим глазом? Я от души одобрила ее и, разговорившись с ним, узнала, что он гравер, а рисунок этот заказан для дорогого издания. Звали этого художника Жильбер. В результате я пригласила его давать мне уроки рисования два раза в неделю.

Он был умный, опытный человек. Вникнув в условия моей жизни, он понял, что для серьезных уроков у меня не было достаточно времени. Настоящую систему занятий установить было трудно, но моя страсть к искусству и желание расширить о нем понятия внушили ему интерес, и мы много беседовали на тему о красоте. В моей наивной оценке, неумелых, но простодушных суждениях он находил много оригинального и своеобразного. Не критикуя их, он наводил меня на верный путь. Беседы наши, таким образом, имели серьезный характер и приносили мне огромную пользу. Он давал мне копировать гравюры знаменитых мастеров и во время наших прогулок по музеям охотно и много говорил. Часы, проведенные в его обществе, были для меня не потерянным временем. Об одном я страшно сожалела, что раньше не встретила такого руководителя. Может быть, жизнь моя пошла бы по совершенно иному пути и, кто

знает, с этой возрастающей страстью к искусству я достигла бы чего-нибудь серьезного.

Приближался наш годичный концерт в зале Эрар. Из шестнадцати учениц нашего класса Маркези выбрала пятерых, в том числе и меня. Начали составлять программу. Маркези хотела, чтобы Хюре пела стансы Сафо (соч. Гуно). Сван претендовала на ту же партию. Когда Маркези объявила о своем желании, Сван нагрубила ей и вышла из класса. Подобные сцены у нас в школе были нередки, ученицы часто ссорились с Маркези из-за пустяков. Самыми вздорными были шведки и американки, русские были совестливей.

Подувшись некоторое время в передней, Сван вернулась снова в класс, но Маркези дурно приняла ее, сухо заявив, что в этом концерте она участвовать не будет. Сван кисло извинилась, потом принялась плакать. На Хюре, а заодно почему-то на меня она дулась без конца. С Хюре мы еще задолго до концерта сговорились беспрекословно подчиняться программе Маркези.

Я выступала в романсах: «Ouvres tes yeux bleux» (Масснэ), «Caro mio ben» и «Нет, только тот, кто знал...» (Чайковского). Mangin[1], мой аккомпаниатор, приходил ко мне три раза в неделю. Он был очень опытный, советы его были весьма ценны (со временем он сделался главным капельмейстером парижской Большой Оперы). Мы проходили с ним оперы, и я хорошо подготовилась к концерту. Заранее я уже начинала робеть и поделилась своими страхами с Mangin. Он ободрял меня как мог, говоря, что это большой недостаток для певицы, который непременно, во что бы то ни стало надо побороть. Накануне концерта я так переволновалась, что у меня даже повысилась температура. Я была уверена, что это простуда.

Кроме нас пятерых, в концерте участвовали известные артисты, между нами прекрасный флейтист Таффанель, сделавшийся потом одним из капельмейстеров оперы. Вспомнился мне почему-то концерт под управлением Рубинштейна... Как и тогда, опять долгое томление перед выходом, опять скучная закулисная проза, где, в ожидании очереди, собравшиеся в фойе участвующие глядели друг на друга какими-то рыбьими глазами. Даже товарки казались между собою чужими. Артисты снисходили, участвуя с нами только из любезности к Маркези, глядя на нас, дебютанток, свысока. Какие-то господа шагали по фойе, бесцеремонно вызывающе разглядывая нас с ног до головы. От этих взглядов делалось неловко. Хюре сказала мне, что это журналисты. «Сальваторка», конечно, шептался с ними по очереди в разных углах, тараща круглые глаза то в сторону одной, то другой певицы, о которой шла речь.

Мне было досадно все это чувствовать, все замечать. Это портило мне настроение. Я от души завидовала беспечной Джени Брок, расфуфыренной, с пылающими щеками и глазами. Она вертелась перед всеми, выпуская с подчеркивающим жестом любимую нотку или руладу, и, разнюхав, что тут есть журналисты, первая развязно вступала с ними в разговор. Как истая немка, она уморительно приседала перед ними с заискивающей улыбкой. Я подумала: вот с какой головой надо идти на сцену!

---

[1] Манжен (*фр.*).

Жанна Хюре держала себя с большим достоинством. В ней, как и во мне, жила критика. Мы, сидя в стороне, молча наблюдали за всем, чувствуя себя среди этой ярмарки чужими.

Настала моя очередь. Я спела и пришла в себя только после последнего аккорда, когда снова вернулась в фойе. Дверь осталась открытой. Послышались рукоплескания. Кто-то взял меня за плечи, и я снова очутилась на эстраде... Выходить же в третий раз я решительно отказалась, не представляя себе, не отдавая себе отчета, что аплодисменты относятся ко мне. Я была как в чаду... Удивительно еще, как это я не перепутала трех языков, на которых пела.

В фойе меня окружили, Маркези поздравила с успехом. Говорили, что я хорошо исполнила свой номер. Я этого не сознавала. Мне положительно что-то мешало, не хватало иллюзии...

Зато Дженни Брок после своего выхода усердно раскланивалась даже тогда, когда аплодисменты почти прекратились. Она едва угомонилась.

Распеться для себя или при небольшом количестве слушателей, выбрав вещь по душе, согласно настроению, пережить ее, прочувствовать, излив жалобу сердца, — вот что больше всего удовлетворяло меня. Петь перед равнодушной публикой, перед толпой в звуках изливать настроение души мне не доставляло никакого удовольствия. Выносить свою душу на суд людей мне всегда бывало больно...

Как-то раз, в конце мая, я получила записку от Маркези с просьбой зайти к ней в воскресенье, около двух часов. Меня это удивило, мы виделись накануне.

Явившись в назначенный час, я застала ее в классе одну. Она приняла меня очень ласково и тут же села за рояль, чтобы мне аккомпанировать. Недоумевая, но повинуясь, я пропела две-три арии. Она очень ободряла меня, хвалила, мы обе увлеклись. Наконец она встала, поцеловала меня и, подойдя к тяжелой портьере, отделявшей классную комнату от ее приемной, пропустила оттуда толстенького, низенького, незнакомого мне господина, имя которого я в смущении не расслышала. Это был импресарио. Маркези представила его мне, сказав, что она устроила это нарочно, зная мою отчаянную робость. Не подозревая, что имею слушателя, я пела свободно, без страха, с большим увлечением.

Толстенький, развязный господин наговорил мне и Маркези массу комплиментов. Голос мой ему понравился, и он тут же предложил мне турне на шесть месяцев в Барселону и Мадрид за двадцать тысяч франков. Путешествия из Парижа и по городам — на его счет.

В разговоре понемногу он взял мою руку выше локтя, с каждым словом крепче и значительнее прижимая ее, упорно и как-то неприятно глядя в глаза. Как я ни пятилась, ни отодвигалась от этой неожиданной и странной интимности, он продолжал свой маневр. Наконец я решительным движением освободила свою руку: я была возмущена. Манеры эти показались мне оскорбительными. Все это было так неожиданно, я так была не подготовлена ни к этому предложению, ни к этому обращению, что не могла ни на что решиться. Мне нужно было подумать, хорошенько все обсудить, посоветовать-

ся дома с Киту, а главное, противно было иметь дело с этим нахалом. Я ушла от Маркези, обещая дать ответ на следующий день.

Рой вопросов поднялся в моей голове. Неужели, чтобы сделаться артисткой, недостаточно одного таланта? Случается ли что-либо подобное с другими с первых же шагов на этом поприще? Притом во всем этом какую роль играет искусство?

Под свежим впечатлением я рассказала этот казус Жанне Хюре в присутствии Дженни Брок, задав ей те же вопросы. Хюре внимательно слушала и грустно покачала головой. Брок, покружившись на одном месте, покатилась со смеху, заявив, что ей было бы решительно все равно, как с ней обращается импресарио, лишь бы доставил хороший ангажемент и сделал бы ее славу. Удивительно, как разно смотрят люди на одни и те же вопросы!

Обсудив дома с Киту вопрос ангажемента со всех сторон, я пришла к решению не рисковать моей подписью, не будучи уверенной, как сложатся мои обстоятельства. Киту должна была возвращаться домой на лето. Марья Васильевна давно уже покинула нас, уехав гостить к своей сестре в Бельгию. Оставаться на все лето одной в Париже — мне не было расчета. К тому же муж потребовал, чтобы я привезла обратно Маню, которой шел уже восьмой год, и пора было начинать ее учить. Пользуясь нашим пребыванием в Париже, я хотела отдать ее там в хороший пансион, для изучения иностранных языков. Дома бы она никогда так не научилась, слыша постоянно русскую речь. Но для этого требовалось разрешение ее отца, и когда я написала об этом мужу, то, между прочими несообразностями, ответ на мой вопрос был: «Я желаю, чтобы моя дочь была чисто русской девушкой». Как будто знание языков могло сделать из нее иностранку. Киту опять звала меня в Талашкино. По возвращении же осенью в Париж можно было бы похлопотать о другом ангажементе, если на этот уже нельзя будет рассчитывать.

С этим ответом я пошла к Маркези, а заодно поблагодарить ее и проститься. Она очень дурно меня приняла, страшно рассердилась, настаивая и доказывая, что это редкий случай дебютировать при таких хороших условиях, что мне все завидуют. «Сальваторка», призванный на помощь, изображал эхо и повторял то же самое. Я выдержала бурю. Наконец, холодно простившись, Маркези меня отпустила.

VII

Талашкино. Москва. Институт. Переговоры с мужем. Дебют у С. Мамонтова

Мы приехали в Смоленск 19-го мая, как раз накануне открытия памятника Михаилу Ивановичу Глинке[1], поставленного на «Блоне», против Дворянского собрания. Готовилось большое торжество. К этому дню из разных мест съехалось много артистов. Хотя мы торопились в деревню — хотелось скорее отдохнуть дома, но 20-го мы, конечно, были на открытии памятника, а вечером в концерте. Когда были возложены венки и участники торжества удалились, вокруг памятника собралась большая толпа зевак, и чей-то голос спросил: «А хто ш ен был? ти генерал какой?»

В этот день я познакомилась с Лавровской*. Узнав, что я только что приехала от Маркези, она много и долго расспрашивала меня о ней и ее методе. Тут же я встретила старого знакомого — Лишина. Он почему-то страшно суетился, бегал как угорелый и был весь в поту...

В Талашкине жизнь наша пошла своим чередом. Кроме пения, для меня открылся еще новый мир в массе превосходных книг по искусству из богатейшей талашкинской библиотеки, которые я перелистывала во время моего первого пребывания в деревне только с любопытством, несознательно. Но теперь, после Парижа, уроков и бесед с Жильбером, эти книги сделались откровением для меня. Я в них нашла много воспроизведений луврских шедевров и массу чудных изображений других галерей, античных статуй и памятников. Не часы, а целые дни проводила я с ними, возобновляя в памяти пережитые впечатления, беседы с моим учителем...

Я взялась за кисти, но дело у меня шло по-прежнему неважно. Тогда я снова стала работать над рисунком уже с меньшей наивностью, иногда в душе даже была собой на минуту довольна. Между книгами была одна: «Собрание портретов знаменитых итальянских и испанских мастеров». Многие из этих портретов я скопировала пером, а в одной энциклопедии нашла их биографии, переписав каждую на обратной стороне рисунка. Но все это было не то. Меня еще мало удовлетворяли мои успехи. Все, что я делала, от души ненавидела. Во мне жила слишком здоровая критика и сознание, что я не достигла той степени, на которой я могла бы самостоятельно работать...

Продолжая мои любимые занятия, я принимала горячее участие во всех предприятиях Киту, усердно во всем помогая ей. В это лето Киту задумала открыть в Талашкине школу грамоты[2]. Надо

---

[1] Памятник М. И. Глинке был открыт в Смоленске 20 мая 1885 г.

* *Артистка Имп. Мариинского театра.*

[2] Школа в Талашкине существовала с 1889 г.

было найти подходящее для этого помещение. Строить было долго, нетерпение брало скорей привести в исполнение задуманное дело. В конце усадьбы был довольно подходящий домик, выстроенный когда-то для егеря. По упразднении охоты он стоял долгое время пустым. И наш выбор остановился на нем. Понадобились парты, учебные пособия, обстановка учителю. Все это понемногу нашлось, даже учитель Коненков Степан Ефимович.

Дело быстро наладилось. Ребятишек сразу набралось человек тридцать. Мальчики шли охотно учиться, но девочек заманить никак не удавалось — боялись. Придет, бывало, походит с недельку и больше глаз не кажет. Чтобы их приручить, мы установили уроки рукоделия. Накупим, бывало, цветистого ситцу, накроим сарафанов по росту тех девочек, которые будут по ним учиться шитью. Это понравилось. Казалось уже, они стали поддаваться, но как только сарафан был у нее на плечах, конечно сшитый с нашей помощью, девочка снова пропадала.

Раз мы обратились к одному отцу с упреком, зачем он дочку не пускает в школу. Он убежденно ответил: «Да не... На что ей грамота?.. Пущай дома посидит».

Сначала Коненков ретиво принялся за дело. Это был недоучка-гимназист 4-го класса, резонер, нахватавшийся вкривь и вкось разных теорий. Спустя некоторое время он обнаружил еще новое качество: он оказался страшным лентяем. Уроки в школе зачастую давала его жена, женщина с большой выдержкой, но тоже с массой фанаберий. Мы с ними помногу, часто беседовали, и что особенно бросалось в глаза и поражало нас, это, при всей кажущейся начитанности и многословии этих людей, их безнадежная некультурность. Потом мне пришлось иметь много дела с подобными типами. Говоришь с человеком, кажется, на родном языке, а понять друг друга — не понимаем. Несмотря на то, наша школа пустила корни. Через некоторое время мы перевели ее в бывший флигель для гостей, переделанный и приспособленный для школы. Успехи учеников нас очень радовали, между ними оказались очень способные.

Раз мы прослышали про одного народного учителя. Сергея Павловича Колосова, хорошего преподавателя хорового пения. Своей любовью к делу он был известен в нескольких губерниях. Киту пригласила его на рождественские каникулы, и в две недели он прекрасно обучил ребятишек стройному пению. Наши резонеры Коненковы о музыке понятия не имели, презирали ее как что-то низменное для них. Колосов был очень симпатичный, умный человек, и мы искренно позавидовали той школе, которой посчастливилось иметь такого учителя.

Школа настолько увлекла нас, что мы стали мечтать о чем-то большем. Косность, невежество мужиков резали нам глаза. Вечный плач об «умалении» земли только отчасти был основателен. В общем у смоленских крестьян земли довольно, но умения обращаться с ней совершенно не было. Их скот, лошади, обработка земли — одно отчаяние. Кочковатые луга, покрытые сплошь зарослями, — ни лес, ни сенокос. Все вместе было что-то безнадежное и безобразное. Соседство культурного имения мало влияло на них. На благоустроенное имение они смотрели как на господскую затею, к ним неприменимую. Они были правы в одном, что в общинном землевла-

дении хороший хозяин стоит в слишком большой зависимости от своих односельчан. Он невольно подчинен общим условиям и не может проявить личной инициативы. Начать что-либо самостоятельно ему нет ни смысла, ни возможности. У некоторых даже бывали прикупленные клочки земли, но на них они тоже были не хозяевами: зависть соседей и все, что за нею идет, не позволяли мужику пользоваться ими путным образом — охоту отбивали. Посеет ли он вику или что-нибудь другое, соседи напустят скотину, лошадей и все без жалости вытопчут, так что тот и клока сена не соберет; вздумает ли насадить в огороде яблонь — ребятишки все яблоки еще зелеными украдут, так как у соседей деревьев нет. Невежество мужиков доходило до того, что они не умели даже взрастить себе ничего огородного: капустой осенью они обыкновенно запасались в соседних экономиях или везли из города. Вся эта темнота, массовое пьянство делали крестьян бедными. Но о пьянстве и его ужасных последствиях не стоит говорить: кажется, этого бича никогда не искоренить.

Мы все это давно поняли и скорбели душой, что никто — ни правительство, ни частная инициатива — не идет на помощь этому бедному люду, и некому вывести его на свет из непроглядной тьмы. Вот мы и решили, что только школа может путем постепенного облагораживания, воспитания и снабжения действительно полезными, нужными им познаниями внести свет в крестьянскую среду. Вступив в переписку с Департаментом земледелия, мы достали уставы существующих еще в малом количестве сельскохозяйственных школ. Субсидий на них правительство не выдавало, или если давало, то такие ничтожные, что о них не стоит и говорить, так что все расходы падали на устроителей школ.

Ознакомившись с порядками действующих школ, нам захотелось поставить нашу школу в независимые условия и не впадать в ошибку, свойственную большинству сельскохозяйственных школ, т. е. поставить дело таким образом, чтобы школьное хозяйство было совершенно отделено от хозяйства экономии и чтобы не было и речи о том, чтобы пользоваться трудами учеников для имения, как это делается во многих школах. Эти приемы нам были несимпатичны. О таких школах, где зачастую помещик злоупотреблял трудом учеников, не держал рабочих и требовал непосильной работы от юношей, почти мальчиков, еще не вполне развитых физически, вообще, и крестьяне и учащиеся были плохого мнения.

Уставы, присланные нам из Департамента, были очень несовершенны, и типы этих школ стоили страшно дорого. Мы с Киту погорячились, поволновались, но перед очевидностью нужно было сдаться, — средств не хватало. Переписка с Департаментом ни к чему не привела. Замыслили мы хорошо, но это было не по карману.

Моя роль во всем этом была пассивная, но я от всего сердца сочувствовала Киту и так же, как и она, была влюблена в эту идею, так же волновалась, горевала о неудаче. Нам было больно расстаться с нашими иллюзиями, тем более что таких школ было очень мало — на всю Россию десять-двенадцать.

Когда Киту начала хозяйничать, на всю Россию был лишь единственный сельскохозяйственный журнал под названием «Земледельческая газета», да и та была субсидирована правительством. Она

должна была отвечать зараз на все разносторонние запросы нашей необъятной земли, так что сельский хозяин, живущий на севере, неминуемо обучался культуре виноградников, южанин читал с любопытством об обработке льна на облогах. И это было не так давно, всего лет двадцать пять тому назад...

Между тем я снова вела переписку с мужем, прося его выслать мне разрешение на заграничный паспорт. Пришлось, наконец, открыть ему настоящую цель моей поездки. Он ответил на все отказом, прибавив почему-то по-французки: «Je ne veus pas que mon nom traine sur planches»[1]. Неприятно было прочитать эту высокопарную фразу, да еще на французском языке, но еще неприятнее было то, что вот уже более года он не выдавал мне никакого вида. Не живи я у Киту в Талашкине, я бы непременно угодила куда-нибудь в кутузку с беглыми и беспаспортными... Не раз благословляла я судьбу, что не подписала контракта, хороша бы я была с двадцатью тысячами франков неустойки!

Мне необходимо было поехать на несколько дней в Москву по делам, но так как муж по-прежнему не выдавал мне ни вида, ни паспорта, то я была в большом затруднении: без этого ехать было невозможно. К счастью, меня выручил всегда любезный и услужливый смоленский городской голова Александр Платонович Энгельгард (впоследствии товарищ министра земледелия). Он добыл мне какую-то бумажонку на манер отсрочки, и с ней я могла без страха отправиться в Москву.

Я пригласила поехать со мной Татьяну Николаевну Матисен, жену талашкинского управляющего. Я была по-прежнему такая же робкая в обществе, в толпе, на улице, а главное, в общественных местах и совершенно терялась одна. К тому же отчаянная близорукость окончательно лишала меня апломба. Я так боялась очутиться где-нибудь одна, что предпочитала лучше никуда не ездить. Татьяна Николаевна была мне хорошим товарищем — шустрая, бойкая, она умела за всех постоять.

Приехав в Москву, я решила поискать квартиру, чтобы, не расставаясь с Маней, отдать ее в пансион и начать серьезно учить. Муж не раз в письмах высказывал желание, чтобы она воспитывалась в одном из институтов. Меня же это очень огорчало, я была против этих отсталых нежизненных учреждений. Ненавистный институт так пугал меня, что я под предлогом ее подготовки поспешила поместить Маню в хорошем пансионе, втайне рассчитывая на то, что муж, может быть, забудет о своем намерении или передумает.

Сто лет назад институты, может быть, имели какой-нибудь смысл, но в наше время, с тем же устарелым уставом, теми же отжившими порядками, они окончательно неприемлемы. Все — фальшь в них, начиная с обстановки, кончая воспитанием и образованием. Все в них не только вредно, но просто пагубно бедным детям, заведомо обреченным на верную порчу.

---

[1] Я не желаю, чтобы мое имя трепали по заборам (*фр.*).

Девушки, просидевшие восемь лет в стенах института, выходят из него неподготовленными к жизни, с совершенно ложными о ней понятиями. Образование они выносят оттуда весьма сомнительное: их тянут из класса в класс и доводят до выпуска, но познания их равняются нулю, и это за малым исключением. В этом огромном стаде живых существ все нивелируется, хорошее и дурное. Индивидуальность забита формой, походкой, манерой до такой степени, что у них даже одинаковый почерк, а что живет под этой корой — все равно.

Их воспитательницы — это, за редкими исключениями, скопище озлобленных, часто несправедливых, старых дев, далеких от действительной жизни, давно отрезанных от нее. Большинство из них к своим обязанностям относится машинально, холодно. Не способные ничего прочитать в душе ребенка, угадать его натуру, повлиять на него благотворно, они относятся к детям не как к живым существам, а как к машинам. Некоторые из этих засушенных существ давно уже перешли срок своей службы, достучавшись до пенсии, но, благодаря разным проискам и протекции, продолжают служить еще, не имея достаточно деликатности уйти, уступив место свежим силам. Давно следовало бы, принимая во внимание важность задачи, установить правило, что после десяти лет добросовестной деятельности этих воспитательниц следовало бы отстранять с пенсией, заменяя их молодыми, терпеливыми, еще не озлобленными личностями. Бывшие же воспитательницы могли бы, пока их нрав и нервы окончательно еще не пострадали, легко найти себе соответствующие занятия в частных домах, где работа с одним или двумя детьми была бы им вполне по силам после того, как они имели дело с целыми классами. На более легком деле они могли бы быть еще очень полезными, имея за собой известный опыт.

Но какая из институтских начальниц попытается провести в своей пастве что-либо подобное? Или похлопотать где следует? Усовершенствовать подгнившее хозяйство в этом нежном питомнике? Ей это и в голову не придет. Она думает только о себе. Это обыкновенно светские барыни, попадающие на подобные места по протекции — бабушка наворожила. Их чаще всего выбирают между вдовами заслуженных людей, как будто качество умершего мужа переходит по наследству. Большей частью это пустые, неспособные женщины, без инициативы, не умеющие заняться ничем, кроме мелких сплетен, подносимых льстивыми угодницами. Они знают все, кроме того, что касается их прямых обязанностей. Порядочная женщина, призванная на это дело, должна была бы первым долгом заняться здоровьем детей, следить, чтобы их хотя бы хорошо кормили. Но они для этого и пальцем не пошевелят.

Хозяйство всецело лежит на почетном опекуне, а выгодно ли бороться с его высокопревосходительством? Ведь на какого нападешь! Да и стоит ли себе шею ломать из-за чужого дела?.. Нет, очень нужно им с ним ссориться... Даже мирным путем они не попытаются повлиять на него, потому что, ничего не смысля в хозяйстве, все в руках эконома. А эти господа!! Это особый сорт людей с медными лбами, обыкновенно лишенных всякой порядочности и чести. Институтское хозяйство — это казенная пучина, куда, увы, свет никогда не прольется.

Почетные опекуны большей частью бывают старенькие, добравшиеся до высоких чинов люди, и часто они берут на себя подобное назначение исключительно для моциона, чтобы не разучиться ходить... К тому же, по старой памяти, они любят дамское общество.

Между тем у детей развивается малокровие, обмороки от дурного питания, от скверной привычки набивать голодный желудок сластями, присылаемыми из дома огромными корзинами, или сомнительного качества стряпней из ближайшей мелочной лавочки, доставляемой любезным истопником или сторожем. Почетный опекун, чтобы замаслить девиц, тоже привозит по коробке конфет и этим проходит за «милого», «доброго» — его «обожают».

Начальница все это знает отлично, но бороться не станет ни с чем: ей слишком дорого ее положение. К тому же приятно разыгрывать королеву. Раз в полгода, а может быть и реже, «маман» торжественно показывается своему народу, допуская избранных к ручке. Эта светская кукла — не организаторша, не хозяйка, а главное, она — не воспитательница, нет. Она просто дама на пенсии, хорошо и выгодно пристроившаяся до смертного часа.

И в эту порчу слепые родители торопятся отдавать своих детей — будущих матерей и гражданок...

* * *

В Москве мы быстро покончили с делами, и накануне отъезда нам пришла в голову мысль пойти в частную итальянскую оперу Мамонтова. В антракте, болтая с Татьяной Николаевной, я высказала предположение, что было бы недурно попытать счастья хоть на этой сцене. Я была еще в иллюзии, что артистической карьерой женщина может честно зарабатывать себе на жизнь, не входя с собой в сделку.

— А что надо, чтобы поступить сюда? — спросила она.

— Прежде всего надо, чтобы дирекция слышала вас на пробе. Вероятно, следует заранее записаться. Если вы понравитесь, вас могут пригласить.

В следующем антракте она исчезла куда-то и вернулась, запыхавшись, когда уже поднялся занавес. Шепотом она объявила мне, что обо всем разузнала, что без всякой записи я могу явиться днем и меня прослушают.

Я испугалась ее прыти, а главное — мысли, что придется петь в чужой обстановке. Мне и хотелось до смерти, и до ужаса страшно было — проклятая робость все отравляла. Татьяна Николаевна очень настаивала, говоря, что ведь это меня ни к чему не обязывает. Понемногу я сдавалась, но заранее уже начинала дрожать, даже ночь не спала, вертелась и злилась на себя.

На другой день у меня были тысячи предлогов, чтобы не идти,— и спала-то я плохо, и голова болит — словом, я сама от себя увиливала. Татьяна Николаевна была неумолима. В конце концов она потащила меня в театр, как козу за рога.

Было три часа, когда разными темными ходами какой-то добрый человек за двугривенный вывел нас, наконец, на свет Божий. Мы очутились в фойе, в котором, на мою беду, оказалось не два-три слушателя, как мы предполагали, а целая аудитория: в это время

репетировали хоры. Со страху я насчитала сотню хористов, в сущности, их было человек шестьдесят. У пианино сидел капельмейстер. Нас встретил главный режиссер и попросил обождать. Что они там пели в это время, я не разобрала, я была ни жива ни мертва.

Но вот настал перерыв. Капельмейстер попросил разрешения у хористов прослушать меня не в очередь. Хором послышалось согласие... Я спела первый акт из «Аиды». Начала я робко, стараясь побороть охватившую меня дрожь во всем теле, делая неимоверные усилия над собой, чтобы она не передалась голосу. Потом нервы мои понемногу сдались, и, овладев собой, я пела с большей уверенностью, чувствуя, что мой голос хорошо звучит. Когда я кончила, вдруг раздались дружные аплодисменты. Я неожиданно заслужила одобрение хористов. Они окружили меня одновременно все, забрасывая всевозможными вопросами. Я отвечала сразу десятерым. Татьяна Николаевна сияла и, собрав тоже вокруг себя слушателей, оживленно о чем-то с ними говорила. Режиссер благодарил меня и, конечно, не преминул долго и тепло держать мою руку в своей... Наконец, Татьяна Николаевна очутилась возле меня. Капельмейстер взял аккорд, хористы разделились, снова началась репетиция.

Режиссер подошел к нам и, бесцеремонно взяв Татьяну Николаевну под руку, близко прижавшись к ее плечу, повел к двери, что-то горячо рассказывая. Я следовала за ними. Бедная Татьяна Николаевна почти терялась в объятиях этой огромной фигуры, нагнувшейся, как демон, над ее тщедушной маленькой персоной. Мне было любопытно и смешно. Я никак не могла понять, почему он так нежно прижимается к ней и о чем нашлось у них так много говорить? Таким образом мы дошли до темного нижнего кулуара. Вдруг дверь главного входа с шумом распахнулась и на пороге показалась энергичная женская фигура. Войдя в кулуар, не оборачиваясь, она сбросила на руки позади идущего господина великолепную чернобурую шубу и резким грудным голосом начала с места разносить каких-то людей, сбежавшихся ей навстречу со всех сторон. Наш нежный режиссер выпустил наконец Татьяну Николаевну, торопливо с нами простился и, пожав мне наскоро руку, но уже без прежней теплоты, шепнул: «Она вам все объяснит» — и юркнул в темноту.

Мы страшно смеялись, идя домой. Все это похождение было донельзя забавно. Я горела от нетерпения узнать, в чем дело. Наконец, Татьяна Николаевна, сжалившись надо мной, рассказала мне, что голос мой и все остальное как нельзя лучше подходят, что в труппе такого голоса нет, поэтому некоторые оперы совсем не ставятся, что главные артисты очень этим недовольны, некоторые, порвав контракты, даже уехали, но беда в том, что я с моим голосом и репертуаром являюсь конкуренткой одному лицу, играющему большую роль в этом театре, что хороших меццо-сопрано там не терпят и не пропускают. «Лицом» этим, оказалось, была Л., знаменитая не голосом и талантом, а просто как подруга жизни богатого московского купца, для которой он содержал театр, сделав ее примадонной, и тратил бешеные деньги, чтобы создать ей эту театральную атмосферу. Очевидно, тут ничего нельзя было добиться.

* * *

Осенью я перебралась в Москву и написала о том мужу. К моему изумлению, он спокойно принял известие, что Маня в пансионе, и прислал мне вид на жительство. С новыми силами я принялась петь, все еще не теряя надежды использовать, наконец, свое знание. Да и жаль было терять результаты затраченных трудов.

В моем репертуаре был значительный пробел: не хватало русских опер, а без этого выступать в России невозможно. С этой целью я обратилась к Федору Петровичу Комиссаржевскому, заслуженному певцу и профессору пения московской консерватории, большому знатоку сценического дела. Мы стали изучать с ним русские оперы, и, чтобы я смогла освоиться со сценическими приемами, он проходил со мной целые действия и сцены на малой консерваторской сцене, прелестной, очень уютной, на которой мне было легче начинать как переходной к большой зале. Сцена эта принесена была в дар консерватории одним богатым московским меценатом. Чтобы освоиться с большой залой, мы репетировали и там с аккомпанементом под фортепьяно. Я с восторгом проводила там часы. С Комиссаржевским у нас завязались очень дружественные отношения. Он предсказывал мне очень хорошую карьеру и даже по моей просьбе поехал на следующее лето в Смоленск для участия в любительском спектакле, который предполагали устроить по случаю приезда великого князя Владимира Александровича.

Смоленское общество было озабочено, какое бы устроить развлечение для высоких гостей. Предводителем дворянства в то время был Николай Алексеевич Хомяков (впоследствии председатель Государственной думы), который много содействовал устройству в Смоленске музыкального общества под руководством Николая Сергеевича Кроткова. Кротков образовал очень недурной любительский оркестр и хор. Откликнулось очень много людей из всех слоев общества, и устраивались раз в месяц очень симпатичные музыкальные вечера, в которых не раз я принимала участие.

В ту зиму, когда я занималась с Федором Петровичем, Хомяков приехал ко мне в Москву и просил помочь устроить что-нибудь. Я тут же условилась с Комиссаржевским, что он приедет в Смоленск руководить устройством спектакля. Выбор наш остановился на устройстве оперного спектакля, так как оркестр и хор у нас были готовы. Предполагали поставить по одному действию из опер: «Рогнеда», «Фауст» и «Аида». Солисты: я, Дерюжинский — тенор, его жена — очень хорошее сопрано (оба учились в Италии у Ламперта), хотели еще просить Тартакова — баритона. С участием хоров выходило очень хорошо.

Комиссаржевский приехал в Талашкино, и, чтобы познакомить его с Кротковым, мы с ним раз поехали в Смоленск на репетицию в Дворянском собрании какого-то очередного концерта. Все, казалось, шло отлично. Как вдруг одна провинциальная дама, не владеющая никакими талантами, но игравшая большую роль в нашем городе, испугалась, что если состоится этот спектакль, то ей придется отойти на второй план и не удастся быть главным действующим лицом в приеме высоких гостей. Пошли интриги, сплетни, обиды... Ей удалось каждого настроить, вооружить против другого, всех рассорить и, наконец, так ловко спутать карты, что спектакль расстроился. Тогда Комиссаржевский просто остался погостить у нас в Талаш-

кине и, выписав какие-то воды, проделал там курс лечения на лоне природы. Мы много с ним пели и занимались музыкой.

В Москве мне пришлось несколько раз выступать в концертах. Однажды я пела в пользу общества дешевых квартир для студентов. На этом вечере произошел печальный инцидент. Когда я приехала вечером в Дворянское собрание и меня боковыми ходами провожали в артистическую комнату, я уже заметила какое-то особенное возбуждение в толпе студентов, встречающихся на пути. Я видела группы молодых людей с зловещими лицами. Они о чем-то шептались, и даже, когда я проходила мимо них, я услыхала такую фразу: «И зачем ее пригласили петь?» — почти с сожалением. Меня это смутило, но я только потом себе ее объяснила. Едва я вышла на эстраду, как мне тоже бросилось в глаза какое-то движение в зале и необычный шум, не прекращавшийся даже во время моего исполнения. Только что я спела мою арию: «Мне ли, Господи» Чайковского, как в зале раздался оглушительный звук пощечины, потом шум, крики, все встали с мест... Явилась полиция... Это студенты, недовольные за что-то на ректора Брызгалова, отомстили ему по-своему...

Зимой я как-то раз познакомилась со Станиславским (К. Алексеевым). В то время он был только любителем, но взгляды его на театр и отношение к делу уже свидетельствовали, что в нем много задатков серьезного творчества. Однажды я приняла участие в благотворительном спектакле, устроенном Станиславским в пользу общества дешевых квартир для учащихся в Консерватории. В театре «Парадиз» мы сыграли пьесу Крылова «Баловень»...[1]

[1] Спектакль «Баловень» игрался в театре «Парадиз» 29 февраля 1888 г.

VIII

Петербург. Институт. Б-б. Зыбины. Остафьевы. Знакомство с князем Тенишевым. Париж. Объяснение с князем

Моя мать решила прожить у себя в имении зиму и предоставила мне свою петербургскую квартиру. За те два года, что я на ней прожила, я серьезно потрудилась над рисунком. Одно время усердно ходила в школу Штиглица, но из-за одного обстоятельства должна была ее оставить... У нас там был преподаватель, некий Маршнер. Когда я на уроках рисования с гипсов старалась всегда сесть поближе к модели или просила мне дать лучшее место по своей близорукости, Маршнер всегда запрещал мне переходить с места на место, а раз как-то, при всем классе, очень резко ответил мне: «Если вы близоруки, то нечего и учиться рисовать»... Сказано это было так грубо, и это была такая явная несправедливость, что я ушла из школы и стала брать уроки у очень симпатичного художника Нила Алексеевича Гоголинского, с которым у меня установились дружественные, хорошие отношения, непрерывавшиеся до самой его смерти.

О театре я больше думать не смела, так как вся была во власти мужа, да, по правде сказать, меня и не очень тянуло окунуться в этот омут. Я пела много для себя, несколько раз с успехом в Смоленске и Москве на благотворительных концертах, у добрых знакомых, и все находили, что я хорошо пою. В Петербурге у меня составился небольшой, но приятный, симпатичный кружок. Павел Валерианович Столыпин и барон Петр Феликсович Мейендорф много и охотно аккомпанировали мне. Они оба были мне очень преданными друзьями, и в их обществе я чувствовала себя хорошо.

Маню по требованию мужа пришлось-таки отдать в институт к моему великому неудовольствию. Муж, к счастью для него, наконец, немного образумился и принял место юрисконсульта у Нобеля и часто по делам уезжал в Баку. Мы с ним не встречались. В его отсутствие я виделась с дочерью, но из года в год наши отношения с ней, к моему великому горю, делались все холодней. Видимо, на девочку кто-то влиял, и не в мою пользу. Бывало, приеду к ней в приемный час, она выходит ко мне неприветливая, надутая. Разговор наш не клеится — холодом так и веет. Сердце сжималось у меня от этих встреч.

Я не решалась смущать детскую душу, заставлять ее быть судьей наших отношений с ее отцом, становиться между нами. Считала нечестным осуждать, восстановлять ребенка против отца, отнимать иллюзии о нем. К несчастью, он думал иначе и, по-видимому, давно уже вливал яд в сердце моей дочери против меня. Эти преступные действия с его стороны принесли пышные плоды и причинили мне в свое время много горя.

В одну из поездок мужа в Баку я пошла навестить Маню в институт. Застаю ее в лазарете с подвязанной щекой. По ее словам, у них отчаянный казенный зубной врач, и не раз были примеры, что воспитанниц поручали родителям на несколько часов, чтобы полечиться у хорошего дантиста. Я, конечно, немедленно написала об этом начальнице, прося отпустить Маню со мной, но, долго не получая ответа, пошла наконец к инспектрисе. Каково же было мое удивление, когда она, жеманясь, разными намеками, с высоты своего величия дала мне понять, что, так как отец девочки отсутствует, она не может ее никуда отпустить и что мне ее ни в каком случае не поручит. Я долго не понимала этих намеков, смысла ее слов. Вдруг что-то дрогнуло во мне, кровь хлынула к щекам, и в ужасе, в душевном смятении я встала и убежала.

Мой муж, как оказалось потом, не пренебрегая ничем, посвящал в свои семейные дела даже институтский персонал. Он был малодушен, как старая баба, любил возбуждать к себе жалость и Бог весть как должен был клеветать на меня, чтобы завоевать к себе сострадание людей. Жаль, что честь существует только для немногих...

Тогда только я отдала себе отчет в кривых улыбках классных дам моей дочери, когда мне приходилось с чем-нибудь к ним обращаться.

Я была страшно уязвлена. Несправедливость, безосновательность подобного отношения ко мне глубоко оскорбили меня. Я едва отошла от этого потрясения и только тогда поняла, что всякий волен очернить меня потому только, что я одинока.

Давно уже ухаживал за мной полковник Б. и не раз делал мне предложение, но я не давала ему решительного ответа. Он был симпатичен, но я не питала к нему того глубокого чувства, которое в моем представлении делает брак чем-то связующим, прочным... После всех этих неприятностей с институтом, чувствуя свое круглое одиночество, нависшую надо мною клевету и подозрения, не находя опоры ни в ком, ни в матери, ни в чувстве дочери, я, в минуту тяжкого испытания, в порыве отчаяния, дала Б-у свое согласие.

Брак по рассудку... Того ли я ждала от судьбы? Того ли призывало мое сердце? Насколько две натуры могут быть различны, настолько, до смешного, наши были противоположны друг другу. Б. был безусловно порядочный, образованный, остроумный, но исключительно и только светский, очень поверхностный человек. Ни искусства, ни музыки он не признавал и вообще не видел красоты. Он приводил себе в оправдание слова якобы Екатерины II (или Вольтера): «De tous les bruits la musique est le plus désagréable» [1]. С ним было весело и больше ничего.

Мало-помалу я привыкла к мысли, что жизнь моя устраивается совершенно противоположно тому идеалу, который жил в моей душе, но шаг этот зато вполне восстановлял меня в глазах тех пошляков, которые смотрят только на оболочку, имя же им — легион. Я сразу приобретала положение, крупные связи, одно из стариннейших имен и огромное состояние — чего же еще можно было желать? Да в эту минуту я и сама ничего и не желала другого. Я очень

[1] Из всех шумов музыка — самый неприятный (*фр.*).

устала душой, пусто было у меня на сердце и в голове. Кроме того, в то время другого выхода не было, и все, казалось, устраивается к лучшему. Понемногу успокоившись, я примирилась со своей судьбой. Все притупилось во мне. Я была почти счастлива.

Б. командовал полком в провинции. Мы виделись с ним только во время его отпусков, которыми он часто пользовался благодаря своим связям. Решено было обвенчаться будущим летом, а после свадьбы мы предполагали устроиться в Москве. Во время отсутствия Б. я почти нигде не бывала, тихо жила, не покидая своих занятий, всей душой отдаваясь искусству, музыке и чтению. Столыпин, барон Мейендорф и кн. Манвелов были моими постоянными гостями. По вечерам мы много болтали, занимаясь музыкой, и время проходило незаметно и приятно...

Давно уже я была знакома с Александрой Николаевной Зыбиной и наездами в Петербург бывала у нее часто. Радушная, общительная, очень светская, она любила собирать вокруг себя общество. Узнав как-то от Столыпина, нашего общего знакомого, о моем приезде в Петербург, она заехала ко мне с упреком, что я ее совсем забыла, и тут же пригласила меня на вечер на 7 ноября, прося захватить с собой ноты.

— Вы знаете, какое удовольствие доставляет мне ваше пение, — сказала она, — я хочу, чтобы вас, наконец, услыхал мой брат, князь Тенишев. Странно, мы с вами такие старые знакомые, а он до сих пор не имел случая даже познакомиться с вами. Брат большой любитель музыки и, я уверена, будет в восторге от вашего голоса.

У Зыбиной в это время гостила проездом ее старшая сестра Екатерина Николаевна Остафьева с двумя весьма зрелыми дочерьми. Они все трое были пашковки. Софи, старшая, была недоступно-холодная, фанатичная сектантка, играющая в миссионерку; Кати, младшая, наоборот — пустенькая, светская девица, страстно любящая удовольствия, а главное, наряды, это был ее культ. У Остафьевой было еще два сына — совершенно бесцветных. Сама же Остафьева представляла собой интереснейший тип тонкого иезуита, к тому же весьма неглупая, пронырливая и до виртуозности практичная.

В назначенный вечер я отправилась к Зыбиной. Она собрала у себя большое общество. Между приглашенными были барышни Пашковы, младшие дочери сектанта-апостола. Это были подруги Софи. Сектантство наложило на них печать чего-то нежизненного, Христовой простоты в них не было...

Мы уже пили чай, когда явился кн. Вячеслав Николаевич Тенишев. Мне его представили, и мы сразу сошлись, разговорились, как будто были давным-давно знакомы. Оказалось, что он хорошо знает Талашкино, охотясь каждый год по соседству. Мы много болтали в этот вечер, спорили. Взгляды князя на музыку вполне отвечали моим. Пение мое его, по-видимому, очаровало. Весь вечер он не отходил от меня и настоял, чтобы довезти меня домой в своей карете. Прощаясь, он просил разрешения бывать у меня. На другой день он прислал мне огромную корзину ландышей.

Из разговора я уже знала, что князь около шестнадцати лет со своей женой не в ладах. Брак этот считался в полном смысле слова

неудачным. Имея потребность в семейной обстановке, князь невольно шел в семью своей сестры Остафьевой, с которой был довольно дружен и которая часто гащивала у него в отсутствие его жены. Остафьева не имела больших средств, и дружба с богатым братом усиленно раздувалась всей семьей — это всем было выгодно.

В угоду ли князю — не знаю, — но Остафьева стала часто бывать у меня и постоянно приглашать к себе под разными предлогами, то «помузицировать» (она казалась влюбленной в мой голос), то ехать в театр. Делалось это так: ложа бралась князем, Остафьева поручала мне свою Кати, которая страстно любила удовольствия и одна в семье не подчинялась требованиям их секты, делая только вид, что разделяет убеждения матери и сестры. Как известно, пашковцы считают театр и все увеселения бесовским наваждением...

Я долго не понимала, что означало это скороспелое увлечение мною семьи Остафьевых, и бессознательно поддалась сближению. Князь же за это время успел сделаться моим постоянным гостем. Не проходило дня, чтобы мы так или иначе не виделись. Ежедневно в три часа он стал являться ко мне из своего правления, добродушно прося дать ему чашку чаю с талашкинским вареньем.

Но эти простые отношения, эти безоблачные минуты не могли длиться бесконечно. Однажды я с ужасом увидела, что нахожусь в удивительно странном положении. Какие-то чужие мне люди вошли непосредственно в мою жизнь и сразу стали играть в ней такую большую роль. И все это сделалось так просто — само собой.

Князь настойчиво ухаживал за мной, я же не считала себя свободной. На грех Б. в это время отсутствовал уже два месяца, и тут-то как раз нахлынула на меня эта неожиданная волна... По опыту зная всю людскую злобу, сама поторопилась написать Б. всю правду, прося его приехать поскорей.

Тем временем я была занята выжиганием по дереву огромной рамы для моего портрета, предназначавшегося Б. в подарок. Князь. являясь ко мне каждый день в тот же час, заставал меня обыкновенно за работой, а я уже так свыклась с ним, что принимала его без церемоний и, пока он пил чай, не отрывалась от работы. Мы болтали, и он снова уезжал в правление. Но мало-помалу моя усидчивость стала ему надоедать, и раз он спросил меня:

— Отчего вы так торопитесь, и кому это предназначается?

— Тороплюсь окончить к праздникам, времени осталось мало, боюсь не успею. Это подарок моему жениху.

Он долго молчал.

— А хотите знать, что я думаю? — сказал он, наконец, отчеканивая каждый слог, — он этого никогда не получит.

В другой раз:

— Право, бросьте вы это... Какой там жених?.. Не трудитесь понапрасну, я вам говорю, что этого никогда не будет.

Наконец я получила ответ от Б. Как полагается, он писал на французском языке. Меня это письмо совсем не удовлетворило, скорей расстроило своим легкомысленным тоном. Из него видно было, что Б. при всем своем желании сейчас никак не может покинуть полк — ожидается какой-то смотр. Потом шли, как всегда, разные прибаутки, любезности и в конце между прочим фраза: «Chère amie,

je vous prie de cèsser cette cour»[1], и больше ничего. Хорошо было ему приказывать, а как было поступать? Как выйти из трудного положения — вот вопрос.

Я не могла ни в чем упрекнуть князя. Он держался безукоризненно, корректно. Ни одной пошлости, ни малейшей вольности, ни одного неделикатного намека. Напротив, с каждым разом наши разговоры принимали все более и более задушевный характер. Его интересовало все, что меня касалось, мое прошлое, мои вкусы, мысли. Нехотя мне пришлось чистосердечно на многое ответить. Для благонамеренного человека лучшая политика — откровенность. Да и как было не отвечать ему? Это был человек с железной волей, сильный духом. Он мягко, без малейшего усилия умел заставить говорить и делать, что хотел. Его считали крупным дельцом, умным, решительным человеком, создавшим много крупных коммерческих предприятий, между прочим, он был душой и организатором акционерного общества Брянских заводов.

В обращении он был добродушен, в манерах, туалете — более чем прост. Меня подкупало в нем то, что он был совершенно несветский, серьезный, образованный человек, любил и понимал музыку, что с ним можно было говорить, но больше всего — его сильный, независимый характер. Для него не существовало ни предрассудков, ни препятствий в достижении раз поставленной цели. Редкий тип человека, настоящий самородок! Но все-таки то, что случилось между мною и князем, хотя и не имело названия, но тяготило меня.

Наконец к Рождеству Б. приехал в Петербург. Я была очень рада его видеть и обо всем откровенно рассказала, не скрыв от него своего настроения, искренно от души посетовав, что он не поддержал меня и не приехал раньше. Тогда только он понял всю важность положения, сильно взволновался и выразил большое неудовольствие. Что-то проскользнуло в его словах вроде угрозы, как мне показалось, по адресу князя.

С приездом Б., к сожалению, ничего не уладилось, наоборот, он стал ревновать меня и мучить неосновательными подозрениями, упрекать и обвинять в том, в чем я была неповинна. Он, видимо, не знал меня и судил по себе. Но сомнения отравляют все и ничего взамен не восстанавливают. Князь тоже стал сумрачен, сильно не в духе и прекратил свои ежедневные визиты ко мне. Виделись мы редко и в последний раз встретились у Остафьевой перед отъездом ее за границу с дочерьми. Я заехала к ней проститься. Князь с этого вечера был насупленный и тоже по адресу Б. произносил какие-то угрожающие слова — в воздухе пахло порохом.

Я в душе завидовала Остафьевым. Надоело мне всё и все — нервы издергались. Потянуло тоже уехать куда-нибудь, вздохнуть свободно, стряхнуть с себя все эти путы.

— Какая вы счастливая, что уезжаете... Возьмите меня с собой,— сказала я шутя Остафьевой.

— Поедемте, — спокойно ответила Екатерина Николаевна, —двух дней для сборов вам совершенно достаточно. Итак, вы с нами едете, это решено.

---

[1] Дорогой друг, прошу вас прекратить эти ухаживания (*фр.*).

Князь и Кати принялись пресерьезно меня уговаривать. Прощаясь, Остафьева сказала мне:

— До свидания, до четверга, в пять часов вечера на Варшавском вокзале, не правда ли?

* * *

Итак, я снова в Париже. Опять судьба забросила меня сюда в тяжелую минуту душевного разлада. Снова какая-то таинственная рука вывела на путь обновления. Я уехала из Петербурга в полном чаду. С Б. мы холодно простились, последние дни были очень тяжелые — сцены и объяснения. В дороге я все еще была под этим гнетущим впечатлением.

Париж! Париж! Мой старый друг, мой спаситель... лес, в котором живешь и дышишь так же привольно, как в природе. Давно еще, давно я сравнила Париж с дремучим лесом. В нем всегда находишь успокоение, простор, богатейшую арену для самоусовершенствования и работы, полную возможность уединиться, собрать мысли, отдохнуть. В этот раз мне опять стало хорошо на душе. Казалось, все заботы миновали. Как-то не верилось такому счастью, не хотелось заглядывать вперед, принимать решение, зная, что еще наступят эти минуты, придется считаться с действительностью. А пока хотелось пожить хоть немного беззаботно, отдохнуть от всего.

С неделю я прожила в полном очаровании. Все занимало меня и радовало. С Остафьевыми я постоянно виделась. Одно обстоятельство немного омрачало мое блаженное состояние: письма Б., которые я получала ежедневно. В них было продолжение петербургского настроения, обидное недоверие и упреки. Я отписывалась как могла, но по совести не чувствовала за собой никакой вины. Это недоверие глубоко меня оскорбляло, и невольно ответы мои были не в примирительном духе.

Однажды, когда я сидела за подобным ответом, вдруг открывается дверь... и князь на пороге, сияющий такой, довольный. Я вскочила и снова в бессилии опустилась в кресло от испуга, неожиданности и смущения, закрыв лицо руками. В душе мелькнуло сознание, что с Б. все потеряно. Увы, действительность наступила слишком скоро...

Волю князя, его решение, когда он что-нибудь в голову заберет, никогда никому еще в жизни побороть не удавалось — это был кремень. Он решил неумолимо стать между мной и Б., и это ему вполне удалось.

Мне стало ясно, что чем дальше, тем вопрос все больше усложняется, и ни переписке, ни словесным объяснениям этого недоразумения не разрешить. Что тут было делать? Оправдываться? Стараться примириться? Но как? Что я могла сказать? В глазах Б. я была несомненно кругом виновата. Обстоятельства все были против меня. Я же и сердцем и помыслом была чиста. Видно, не суждено мне было стать его женой. Между нами произошел окончательный разрыв. Встреча с князем была для меня роковой.

Пора, давно пора было нам с князем серьезно объясниться, выяснить наши отношения, выяснить правду в этом вихре событий.

Чего он хотел, войдя так смело в мою жизнь? Что за положение создал он, преградив мне путь к намеченной цели? И какая была его цель спутать все карты?

Этот сильный человек с громадной волей, эта отвага — я должна сознаться — были мне по душе. Зародившаяся симпатия не осудила его.

Но это был бы не он, если бы он посмел предложить мне что-либо такое, что не было бы на высоте его личности. Только серьезное увлечение, глубокое чувство могли оправдать его поступки. Когда руководит сердце — оно уносит... Мы протянули друг другу руки — судьба наша решилась [1].

---

[1] Брак Марии Клавдиевны с В. Н. Тенишевым был заключен в 1892 г.

IX

Свадебное путешествие

Во время большого весеннего разлива рек мы совершили наше свадебное путешествие. Это было что-то чарующее, волшебное, небывалое по своей оригинальности. У Вячеслава был свой собственный пароход, построенный на Бежецком заводе. Мы сели на «Благодать» в двенадцать часов дня. Погода была дивная. Теплый майский день, радостное весеннее солнце сопутствовали этому первому путешествию по Десне. Мы торжественно отвалили от Бежецкой пристани при большом стечении заводского люда, сбежавшегося со всех сторон посмотреть на это событие.

Наш плавучий дом был очарователен — хорошенькая, веселая дача на воде. В рубке помещалась уютная гостиная и столовая, с другой стороны — кухня, буфет и все хозяйство. Под палубой шел ряд удобных кают для нас и прислуги. Командиром парохода был заводской старый, заслуженный мастер, матросы были набраны из рабочих — все люди сильные, веселые. Князь уговорил Киту примкнуть к нам и сделать вместе эту прелестную весеннюю прогулку по водам.

В этом месте Брянского уезда Десна не судоходна, ходят только плоты, да из мальцовских заводов плывут вниз по течению баржи с посудой. Вообще подобное путешествие на пароходе было редкостью, и его можно было предпринять только благодаря огромному количеству воды в этом году.

Мы плавно шли по течению, оставив за собой Бежецкий завод, его стук, дым и нервную суету, и в скором времени мы миновали Брянск.

Вероятно, как и все уездные города, непригожие вблизи, издалека он казался живописным, с разбросанными по высокому берегу серенькими домиками, утопающими в густых садах. После Брянска мы вошли в широкую равнину. Справа, слева до горизонта разливался перед нами океан. Только кое-где торчали из воды макушки деревьев да чернели верхи затонувших стогов. Местами водное пространство незаметно суживалось, чувствовались берега, заросшие кустами, окутанные бледно-зеленой дымкой. Искрящаяся мелкая рябь на воде ослепительно блестела на солнце, а теплый ветерок ласково щекотал лицо. Мы были прикованы этим зрелищем. Для слов и восторга не было места.

О, Русь, дорогая... Как я люблю тебя в этой торжественной и святой простоте...

В сумерки мы причалили к берегу. Ночью идти было опасно. Вечер настал синий, прозрачный и глубокий. Вблизи от нас стоял еще неодетый лес. Он, казалось, был на низком месте. Между темными стволами деревьев виднелись светлые пятна отраженного неба в во-

де. Где-то на бугорке наши матросы развели костер. Затрещали сучья, запахло дымком. Минутами у костра освещались оживленные лица, двигающиеся фигуры. Красные огни костра невольно притягивали внимание — кругом все казалось черней. Из глубины теней слышались голоса, смех.

Вдруг, высоко в воздухе, блеснул сильный сноп яркого света, точно колоссальный моток искрящейся пряжи. Это навели прожектор. Ловко обогнув кругом горизонта трепетной струей своей, он остановился на одной точке. Нашим глазам представилась удивительная картина. Вдали от леса одиноко стоял на поляне огромный дуб. Макушка его, казалось, давно уже была сорвана бурей, только по бокам его еще торчали корявые ветки. Верхняя часть подгнившего дерева образовала дупло. В нем свила гнездо свое чета аистов. Самка сидела на гнезде, а самец, стоя тут же на одной ноге дозорным, мирно заложил голову свою под крыло. Наш назойливый свет, вероятно, разбудил его. Опустив ногу, он с беспокойством стал озираться. Жаль было нарушать их покой, мы потушили прожектор.

Понемногу и на «Благодати» погасли огни. Машина давно уже остановилась. Все затихло — уснуло. Воцарилась успокоительная ночь. Тихо догорал костер, изредка выбрасывая умирающие блестки. Слышался ровный плеск усиленного течения, да где-то неутомимо журчал ручей. Вдруг близко-близко залился соловей знойно-страстной песнью... Сколько в этот день было пережито впечатлений чистой красоты, трогательных волнений... Я невольно заплакала, подняв глаза к Богу...

Ранним утром мы снова пустились в путь. Было всего четыре часа утра. Я очутилась на палубе — мне не спалось. Густой туман окутывал всю местность, клубясь как дым по поверхности вод. Тянуло холодком. Утренняя роса крупными каплями искрилась на солнце. Легкие розоватые облачка, спутники восхода, незаметно таяли в беспредельной голубой выси. Утреннее солнце слабо пригревало, обещая теплый день.

Мы шли очень тихо. Река в этом месте капризно извивалась причудливыми, неожиданными коленами. На носу стоял матрос, часто и громко что-то выкрикивая.

Мало-помалу туман редел, а солнце все сильней да сильней припекало. В полдень зычная сирена возвестила нам своим ревом, что мы близки к остановке. Действительно, мы вскоре причалили к Трубчевску, и, как только мы стали, «Благодатью» сразу овладели какие-то люди, стоявшие уже на берегу и с видимым нетерпением ожидавшие этой минуты. По мостику поднялась шумная беготня. Носили огромные вязанки дров, с грохотом бросая их в трюм. Передавались всевозможные корзины, наполненные провизией, слышались приказания, смех и брань. Оказалось, что впереди нас шел крошечный пароходик, заказывая по пути, на главных остановках, все необходимое для нашего путешествия.

Вячеслав предложил нам осмотреть город. Весна умеет все красить. Даже самые обыкновенные места кажутся уютными, красивыми. Трубчевск утопал в садах и огородах. В нем все было зелено, даже по широким безлюдным улицам стелился густой зеленый ковер, лишь кое-где виднелись робкие тропинки. Маленькие одноэтаж-

ные домики с мезонинами скромно ютились между бесчисленными серыми заборами. В мертвенной тиши улиц мирно отдыхали целые семьи неизбежных свиней — законных собственников этого простора. Они лениво зарылись в грязи в тени заборов и, не поднимая головы, невозмутимо встречали наш приход.

Мы направились к собору. Батюшку с трудом разыскали. Из его слов узнали, что имя Трубецких идет от Трубчевска и что здесь, в соборе, похоронено несколько поколений князей Трубецких. Он обратил наше внимание на пол в соборе, весь сплошь застланный большими продолговатыми чугунными плитами, к сожалению, очень плохой сохранности. От времени надписи стерлись, прочесть целиком ни одной не удалось. С большими усилиями все же мы ухитрились разобрать на некоторых: «Труб...», потом — «цка», «род», но больше ничего.

Архитектуру собора можно отнести к XVII веку, но на нем видны следы грубой реставрации. Внутри собора я не заметила ничего старинного.

На соборной площади, тоже заросшей травой, но с тропинками по всем направлениям, нам, наконец, удалось встретить одну из обитательниц этого сонного города. К нам навстречу шла пожилая женщина, довольно чисто одетая в темное ситцевое платье. Мы остановили ее с расспросами. Отвечала она вяло, неохотно, точно спросонья.

— А есть здесь у вас богачи? — спросил Вячеслав.

— Ка-ак же, — протянула она оживляясь, — в прошлом году Малявкину дочку замуж выдавали, так во-о-о какая свадьба была... Малявкина, Петра Степановича знаете?

Нас это очень забавило. Мы сделали вид, что как же не знать нам Малявкина, и, простившись с ней, пошли к пристани.

Однажды утром нас разбудили необычные крики, прерываемые ревом сирены. Мы стояли. Над нашими головами слышалась на палубе усиленная беготня, доносился голос Вячеслава. Наскоро одевшись, Киту и я выбежали наверх. Оказалось, что как только стало светать, мы тронулись в путь, но из-за тумана и необозримо широкого разлива сбились с фарватера и уже с полчаса шли просто по затопленному лугу. Сейчас положение наше было отчаянное: мы сидели на мели. К счастью еще, что все это случилось в виду Новгород-Северска, крошечного городка, кажется, еще менее значительного, чем Трубчевск, но все же здесь можно было рассчитывать на помощь.

Перед нами, но все еще в порядочном расстоянии, на крутом берегу виднелся город, жители которого сбежались в испуге на рев сирены. Стоя у самой воды, небольшая кучка людей, усиленно размахивая руками, громко перекликалась с нашим капитаном, а тот, приложив руки ко рту в виде воронки, неистовым голосом требовал чего-то от них.

— Ба...бу, Ба...бу, давай сюда.

Его не понимали.

— Бабу...а...бу... Черти...

Поняли.

— Ско...лько есть ка... а...на...а...ту да...вай.

— Сва...а...ю. Че...ты...ре ве...ершка. Ско...о...рее.

Наконец, после долгих переговоров и ожидания, к нам причалила лодка. Начались работы. «Баба», «свая» и «канат» выручали нас из беды.

Утро было холодное, дул северный ветер. Мы сидели на палубе, укутанные и, позабыв о холоде, внимательно следили за ходом работ. Даже Боби, наш верный фокстерьер, дрожа всем телом, тоже не отрываясь следил за всем происходящим.

Нагнувшись над бортом, я вдруг заметила с удивлением с полсотни людей, гулявших по горло в воде. То были добровольцы, пришедшие по морю, яко по суше, на помощь «Благодати». Шутя я окрестила их «жуликами»: по правде, только отчаянные, спившиеся головы могут решиться лезть в холодную воду, чуть не в три часа ночи. Откуда они явились и как — я не заметила и никак не предполагала, что вокруг «Благодати», за версту от берега, можно было гулять кругом. Все же эти «жулики» сослужили нам большую службу и, конечно, были за то щедро награждены. После долгих усилий, криков и брани мы наконец отвалили.

Во время этого необычайного путешествия наша жизнь и привычки приняли совершенно особый характер. Вставая с восходом солнца, мы ложились с закатом, и вышло это как-то само собой. Например, утренний кофе подавался в три, четыре часа утра, завтракали в семь и т. д. Газеты и почту колоссальных размеров мы получили только в Киеве, а до этого мы не были в состоянии прочесть ни строчки, хотя забрали с собой много книг. Мы только смотрели, восхищались, опять смотрели, не сознавая и не замечая ни времени, ни дней, переживая сказочный сон в каком-то неведомом мире. Для полноты картины погода нахмурилась только в день нашей прогулки по затопленным лугам, в остальные же дни она была чудесная.

Стоянка в Чернигове была короткая — князь стал торопиться в Киев. Из его достопримечательностей мы видели только дом Мазепы — одноэтажный, каменный, с круглой крышей, красивыми наличниками, превращенный в хлебный магазин. Стоит он на окраине города, вокруг него бурьян да пустырь.

Незадолго до Киева, в очень живописной местности, Десна, прихотливо извиваясь, делает несколько неожиданных поворотов, крутясь почти на одном и том же месте, в виду какого-то города или местечка. Вероятно, оттуда нас было видно уже давно, а пронзительные свистки машины громогласно возвестили жителям о нашем приходе. Какой-то человечек, завидя «Благодать» и, вероятно, имея неотложное дельце в Киеве, наскоро собравшись в дорогу, выбежал к нам навстречу, держа в одной руке большой пакет, а под мышкой другой огромную пуховую подушку в красной кумачовой наволочке. В этом месте река текла в берегах, и человек этот почти что настигал нас, как вдруг — крутой поворот, и пароход, следуя по противоположной стороне, снова удаляет нас от него. Наш буфетчик Антон, большой охотник подшутить с самым серьезным видом, заметив этого человечка, стал махать ему салфеткой, подманивая и обнадеживая его, и этот маневр повторялся с каждым поворотом парохода. Я застала эту сцену в конце, когда мы обогнули последнее колено. Девушки наши — Лиза, Женя, повар Яков, его помощник, несколько матросов, присутствуя при этом, катались со смеху.

— Зачем же вы обнадеживаете его? Ведь он, бедняк, исколесил верст пять, если не больше, — сказала я с упреком.

— Пусть побегает, ему это полезно, — ответил мне флегматично Антон.

Немного далее, все в той же живописной местности, перед нами раскинулась удивительно величественная картина, облитая ярким солнцем. Утопая в пышной весенней зелени, на фоне колоссальных тополей, лип и дубов торжественно стоял роскошный белый господский дом с высокими гордыми колоннами. Это чарующее видение — творение прошлого, страница, созданная и пережитая нашими дедами, баловнями судьбы, разом, неожиданно предстала перед нами. Название этого рая — Очкино, но кто были его счастливые обладатели, нам узнать не удалось. Мы навсегда сохранили впечатление этого истинно барского жилища, редкого по красоте и уюту.

При слиянии Десны с Днепром мы снова очутились на безбрежном океане. Невозможно было составить себе никакого понятия о местности: вода, кругом вода, ослеплявшая на солнце. Спустя некоторое время послышался сильный свист, и вдалеке мы увидали шедший навстречу, на всех парах, разукрашенный разноцветными флагами нарядный пароход. Звали его «Князь Тенишев», и шел он с депутацией от Общества пароходства по Днепру, в котором мой муж был одним из учредителей.

Завидя нас, пароход замедлил ход и, поровнявшись с нами, остановился. Мы попытались сделать то же самое, но вероятно, или сильное течение, препятствуя, относило нас, или капитан «Благодати» был недостаточно ловок, только причаливание обоих было сопряжено с большими затруднениями и длилось без конца. Мы по нескольку раз подходили друг к другу, отчаянно кокались, снова отходили, причем от наших колес с треском летели во все стороны огромные куски дерева. «Князю Тенишеву» мы тоже нанесли массу повреждений, а время шло. На палубе встречавшего нас парохода стояла группа людей в ожидательных позах, с букетами в руках, готовясь сказать приветственную речь новобрачным. Минутами выражение их лиц из официального, ожидательного, переходило в испуганное или делалось рассеянным. Никто не знал, чем это кончится. Положение становилось преглупое и конца ему не предвиделось. Как вдруг матросы на «Князе Тенишеве», улучив удобную минуту, ловко забросив петлю каната, с силой притянули нас к себе — это был прямо фокус.

Начались представления. Бродский (Лазарь) вручил мне букет чудных роз, сказав несколько приветственных слов, потом его брат Лев, затем г. Марголин и другие директора Общества пароходства по Днепру. Беседуя с этими господами, мы подошли незаметно к Киеву.

Днепр под Киевом уже много раз воспет, но не знаю, можно ли описать эту красоту во время разлива?..

К вечеру того же дня, бросив беглый взгляд на город, побывав в Лавре, в соборах и в некоторых церквах, мы вернулись на «Благодать». Вячеслав любил делать вещи скоро. Он не любил и не понимал старины, уделял мало времени на осмотры, поэтому, чтобы остановиться на чем-то подольше, и речи быть не могло. «Вот цер-

ковь, — скажет он и разведет рукой во все стороны. — А теперь дальше... Едем». А сам уж давно на крыльце стоит.

Киев меня очаровал и глубоко запечатлелся. Я впервые в нем была и тут же дала себе слово когда-нибудь еще в нем побывать с целью хорошенько изучить его исторические памятники, проникнуться родными, близкими русскому сердцу красотами. Только через несколько лет мне удалось осуществить это желание.

Мы предпочли вместо гостиницы остаться на «Благодати». Поэтому к семи часам вечера чудные рысаки г. Бродского, любезно предоставившего нам свой выезд на весь день, подвезли нас обратно к пристани. Надо было успеть одеться к обеду, устроенному в нашу честь тем же Днепровским обществом.

Киту отказалась сопровождать нас, желая подольше остаться под обаянием пережитых впечатлений нашего путешествия. Я вполне ей сочувствовала и с грустью, почти завидуя, подчинилась обстоятельствам. Жаль было проститься с этим чарующим сном, где люди, весь мир казались такими далекими. Так не хотелось еще коснуться жизни и снова стать в ней действующим лицом...

В восьмом часу вечера к пристани причалил огромный пароход, принадлежавший Днепровскому обществу, на котором должен был состояться обед. Собравшаяся на нем компания была пестра, как это бывает только в провинции. Около нарядных туалетов парижского пошиба были дамы, одетые в самом фантастическом провинциальном вкусе. Я впервые видела всех этих людей, но тут же почувствовала, что между дамами была рознь, как это тоже всегда бывает в провинции. Более всего я сошлась с г-жой Бродской, женой Льва, красавицей и милой женщиной. Мужчины показались мне более сплоченными, но симпатии между ними сказались гораздо ярче после основательной и разнообразной закуски с многочисленными настойками.

Обед был длинный до бесконечности, со множеством чоканий и вставаний, минутами стол совершенно пустел, все приходили в движение, и, как полагается, с каждым блюдом говорились нескончаемые речи. Чем дальше, тем тосты и пожелания становились все сердечнее, задушевнее, почти со слезами на глазах. Словом, пили и ели без конца, до самой ночи, под громкие звуки духового оркестра. Оживление было огромное. Слышался усиленный говор и смех в разных концах стола. Между тем пароход, во время обеда незаметно отчалив от пристани, медленно шел вниз по течению, блистая роскошной иллюминацией.

После обеда на широкой палубе начался бал. Танцоры, с пылающими лицами от выпитого, показали мне ряд танцев с такими невероятными курбетами, польки и вальсы с такими вывертами, каких, я уверена, ни одному балетмейстеру и во сне не снилось. Я ничего подобного в жизни не видела! Танцевать я никогда не любила, но в этот раз безропотно подчинилась фантазиям моих танцоров.

В стороне от танцующих стояли карточные столы, а поодаль расположился буфет, где с усердием доканчивали этот веселый праздник те, кто не любил ни танцевать, ни играть в карты. Поздно ночью мы вернулись на «Благодать».

В Киеве нашу разношерстную команду заменили настоящие и опытные матросы Общества пароходства по Днепру, в нарядных матросских рубашках, все народ здоровый, рослый, веселый. Они отлич-

но пели хором. Один из них, высокий, сильный детина, Ипатий, с хорошим тенором, запевал, остальные дружно подхватывали; родные напевы, то грустные, протяжные, то веселые, удалые, далеко разносились по воде. Мы с удовольствием слушали их часами.

Мы покинули Киев через два дня. Впереди нас ожидал опасный переход через Днепровские пороги. Это были острые гряды камней, пересекающие реку, но едва заметные из-за высокой бурлящей воды. Мы медленно и осторожно переваливали через эти каменные гряды, рискуя ежеминутно быть разбитыми. Несколько матросов, стоя на носу с длиннейшими баграми, опускали их в глубь воды, громко перекликались с рулевым. Вячеслав был озабочен, и мы вздохнули свободно, лишь миновав опасность.

После порогов местность сделалась сразу совершенно плоской, неинтересной. Вдали ни деревца, ни кустика, только по обе стороны реки тянулись бесконечные песчаные берега.

Близ Екатеринослава[1] находился металлургический завод, принадлежавший Брянскому обществу, председателем правления которого был мой муж, и под его руководством дело это процветало и получило огромное развитие. К вечеру другого дня мы прибыли в Екатеринослав. Этим и кончалось наше путешествие, так как туда мужа призывали заводские дела, и он надумал соединить удовольствие с делом.

Стоянка наша была прямо против завода, вне города, в чистом поле, где мы и причалили к песчаному, пустынному берегу. Кругом была ширь да гладь, только вдалеке виднелись высокие доменные печи завода, а немного левей высились купола городских церквей.

Мы подробно осмотрели завод, который своим шумом и огнедышащими жерлами печей навел нас на мысль о кромешном аде. Сделав со мной и Киту короткий визит г-же Горяиновой, жене директора завода, князь отпустил нас на пароход, а сам остался на заводе. Мы же, вернувшись домой, тут же на берегу занялись рыбной ловлей, а наши собаки купались. Киту часами сидела с удочкой пресерьезно, а мне было смешно видеть такого деятельного, подвижного человека, как она, за этим занятием. Таким образом, мы тихо провели три дня.

Когда князь покончил с делами в Екатеринославе, мы навсегда простились с «Благодатью». Решено было вернуться в Бежецу по железной дороге. Киту должна была нас покинуть, чтобы ехать к себе в Талашкино.

Грустно было расставаться с этим милым приютом, давшим мне столько дивных, волшебных, неизгладимых минут наслаждения. Еще в бытность нашу в Киеве князь решил продать «Благодать» Днепровскому обществу. Вскоре после того, уже в Бежеце, я получила прекрасный диапозитив — трогательное внимание киевлян: на фоне Киева красовался наш милый плавучий дом, переименованный в мою честь из «Благодати» в «Марию».

---

[1] Днепропетровск (с 1926 г.).

X

Жизнь в Бежеце

Вернулись мы обратно в Бежецу на заре. Наш вагон отцепили от общего поезда и особым паровозом подали к нашей платформе, от которой до дому было всего несколько саженей. Меня неприятно поразило одно обстоятельство. Несмотря на ранний час, нашлись-таки охотники встать ни свет ни заря из-за одного только любопытства, чтобы поглазеть на нас, вернее, на меня, и потом первыми по заводу разнести новость, свои выводы и заключения. На расстоянии всего нескольких минут ходьбы — нам надо было только перейти дорогу и войти в калитку нашего сада — мы встретили нескольких человек, уставившихся на нас с нескрываемым любопытством. Мужу это тоже, кажется, не понравилось. Он ускорил шаги, сухо отвечая на поклоны.

Огромный одноэтажный дом с мезонином, с массой вычурной резьбы, с балконами, выступами и башнями, был окрашен в казенную серую краску. Внутри он остался с рублеными стенами, потемневшими от времени и очень пугавшими меня. Мне казалось, что в этих темных и пыльных стенах, в щелях с торчащей между бревен паклей, должны гнездиться миллионы всевозможных жителей, а я чувствую непреодолимое отвращение ко всяким букашкам, боюсь их до смерти... В просторных, но от изобилия балконов очень темных комнатах было пусто и нежило. Мебель, вся без исключения, была увезена первой женой князя, которой он предоставил выбрать необходимое, надеясь пополнить недостающее после нашей свадьбы. Необходимым же оказалось все. Князь, как деловой человек, не входил в домашние мелочи и не позаботился снова обставить дом вовремя. Мне, разумеется, не нужна была эта увезенная обстановка, но пустой дом, с голыми, унылыми стенами, в котором не было ни ложки ни плошки, где на всем лежала печать запустения, произвел на меня удручающее впечатление. К нашему приезду садовник решил вместо мебели в виде убранства в опустевших комнатах наставить повсюду на тумбах огромные кадки с пальмовыми деревьями и высокими тропическими растениями. Только в столовой стоял ряд венских стульев да большой обеденный стол, а в гостиной рояль, выписанный незадолго до нашего приезда.

Дом князя был построен в семидесятых годах, в прискорбную эпоху упадка русской архитектуры. В окрестностях Москвы и Петербурга выросли в это время в огромном количестве такие же вычурные и возмутительные по безвкусице дачи в псевдорусском, или «репетовском» стиле, в шутку прозванном еще «петушиным». Русского в этих претенциозных постройках не было решительно ничего. Никогда древняя Русь не украшалась подобной резьбой, а башни, балконы и выступы были всецело выдумкой бездарнейших архитек-

торов с нерусскими фамилиями, Бог весть откуда ими вывезенные. Беда в том, что до сих пор есть люди, которым это нравится. Князя все эти вопросы ничуть не интересовали: ему нужен был дом — ему его и выстроили.

Однако надо было устраивать жизнь в Бежеце. Но как? С чего начать ее? Муж тотчас по приезде занялся делами. С раннего утра и до позднего вечера он проводил на заводе, я же оставалась одна в этом неуютном доме, без следа какой-нибудь книги или журнала.

Мне был предоставлен большой парк, обнесенный высоким тыном, раскинутый на десяти десятинах когда-то знаменитых Брянских лесов, с толстыми, до небес высокими соснами.

Через дорогу, как раз против нашего дома, начинался завод, ближайшей мастерской которого был мостовой корпус с 1500 рабочих, строящих огромные железнодорожные мосты и паровозные котлы и работавших в две смены. День и ночь оттуда несся неистовый грохот молотков заклепщиков котлов. Непривычные мне условия жизни, новизна обстановки окончательно спутали мои привычки. Спать под неумолчный стук работ я никак не ухитрялась, и уже в шестом часу утра, с звучным и протяжным гудком заводской трубы, призывавшей дневную смену на работу, я вставала, торопливо одевалась и тут же видела, что торопиться было некуда. Кроме того, по всем направлениям завода ходили «кукушки» — род небольших паровозов, обслуживавших мастерские, с непривычным острым свистком, оглушавшим всех с утра до ночи.

Муж, большой любитель покушать, сам ежедневно подолгу совещался с поваром, поэтому даже хозяйственные заботы меня не касались.

Заняться домом, его устройством — у меня не хватало духу. Эти черные стены, которые по-настоящему — следовало бы оштукатурить и оклеить обоями, не привлекали меня, как и все новое мое жилище не внушало мне симпатии. Да я и не знала, с чего начать. Все надо было переделать снизу доверху, и это требовало таких усилий, как, например, поездки в Петербург или в Москву, в Бежеце же ничего нельзя было достать. Просто руки опускались.

Мне было скучно. В сотый раз за день колеся по парку бесцельно, с тоской на душе, я задавала себе вопрос: «Что же это такое?»...

Однажды после обеда муж, лениво потягиваясь, сказал Антону: «Пойдите к М. и скажите, чтоб все пришли к девяти часам». Этот странный способ приглашать к себе гостей немало меня удивил. Все же, как хозяйка, я приготовилась к встрече, приказала накрыть чайный стол со множеством печений и варений.

Ровно в девять часов открылась дверь, и в гостиную гурьбой вошла толпа длинных, тощих, маленьких, больших и пузатых приглашенных, во главе которых был И., директор завода, и М., его помощник. Муж представил мне этих двух, а на остальных указал общим жестом — это все были заводские служащие, техники, механики, инженеры и главные мастера разных цехов.

Не теряя времени, они все разом, точно по команде, уселись за большой стол, заранее приготовленный. Началась игра. До меня долетали слова: «десять... семь... угол...». Потом шла расплата крупными деньгами.

Оставшись одна, я вволю предалась наблюдениям. Собравшиеся вокруг стола были люди, зарабатывавшие десятки тысяч рублей в год. Самые скромные из них получали от пятнадцати до двадцати тысяч, но благосостояние не дало им ничего: необтесанные, неопрятные, они производили впечатление каких-то дикарей, и мне странно было видеть мужа в этой компании.

Почему-то у нас на Руси люди, занимающиеся какой-либо специальностью, считают совершенно лишним, кроме своего дела, интересоваться чем-либо отвлеченным, цивилизоваться, расширить свои понятия, культивироваться. Особенно это бросается в глаза среди инженеров. Но тут, на заводе, эти отталкивающие черты были подчеркнуты во сто раз.

К чему таким людям деньги? Живут они в полнейшей мещанской обстановке, бессодержательно, плоско, делясь между небрежно выполняемыми обязанностями службы и ужинами и обедами с реками выпиваемого шампанского, с игрой в карты до зари. Вкусы их, интересы — мелкие, маленькие, разговоры пошлые. В доме у них, как роскошь, конечно, изобилует венская мебель, а я ненавижу ее. Это — шаблонная обстановка для людей без личного вкуса. Говорить с ними было потерянным временем. После первых же слов видно было, что тут нечего ожидать, что мы объясняемся на разных языках. Да я просто и не умела с ними разговаривать.

Меня особенно поразил И., еще не старый человек, суховатый, с косинкой в глазах, с волосами, как, впрочем, и у других, мало знакомыми со щеткой, в неопрятном, издерганном платье. Мягкое белье сомнительной чистоты, с отсутствием пуговиц, обнажало минутами волосатую грудь. Туалет его довершала огромная тяжеловесная цепь от часов, разгулявшаяся по всему животу. Пил он и играл так, как будто дал зарок делать только это всю свою жизнь. Вообще, он сразу показался мне крайне антипатичным. И к чему таким людям деньги? Ведь у них нет никаких потребностей.

Не дождавшись конца этой импровизированной вечеринки, я ушла в свою комнату. За весь вечер к чайному столу никто и не подошел. Чай и шампанское усердно разносил Антон играющим, не прерывавшим ни на минуту своего занятия. Поздно ночью, сквозь сон, я услышала говор, топот и чертыхание расходившихся партнеров.

По первому впечатлению, женский элемент на заводе был тоже невозможный. Там, казалось, не было ни одной интеллигентной женщины. Это были или самого пошлого пошиба архипровинциальные кокетки со скандальной репутацией, или просто разжирелые от избытка, грубые, вульгарные матроны с кучами невоспитанных детей. И все эти дамы были, конечно, на ножах. Едва коснувшись их, я наслушалась от них головокружительных сплетен. Я всегда ненавидела сплетни и сейчас же забывала, что мне рассказывали. Таким образом, я сразу разочаровала в себе тех, кто думал присоединить меня к своим интригам, переманить меня на свою сторону. Моим невниманием к передаваемым сплетням, моим равнодушием к ним я не понравилась дамам — между нами также не нашлось ничего общего.

Все же одна из них показалась мне более симпатичной и содержательной — это была г-жа М. Но так как она жила на так назы-

ваемой «лесопилке», далеко от центра завода, мне редко приходилось с ней встречаться.

Холодно мне было среди этих некультурных людей. Грубость их нравов леденила меня, узость, ограниченность интересов подавляли. Все, что я видела, было так ново, непривычно для меня. Никогда мне не приходилось раньше в своей жизни встречаться с такими людьми. Я точно попала в какой-то особый мир, с особыми нравами, особыми обычаями и особым пониманием всего, чем жизнь красна... Я только смотрела и все больше удивлялась...

При заводе была гостиница, в которой останавливались люди, приезжавшие по делам завода, всевозможные комиссионеры, поставщики, представители известных фирм, а главное, подолгу жили «приемщики» — артиллерийские офицеры и инженеры. Это были совершенно особенные люди — «типы»...

Когда поселялся для приемки снарядов какой-нибудь артиллерист, то, начиная с мужа и кончая самым маленьким деятелем завода, все угождало и стелилось перед ним, как перед каким-нибудь принцем. Дело в том, что принимать правительственные заказы следовало бы поручать людям с неподкупной совестью. И несомненно, что если приемщик недобросовестный, то и заказ, вероятно, недоброкачественный. Но когда совесть подкупная, то даже при безукоризненном исполнении заказа разговор очень простой: «нехорошо» — и уехал.

Такие «приемщики» жили на заводе иногда восемь месяцев, иногда год, пока вся партия не принята, и, к сожалению, это были все подкупные люди. Уже один их образ жизни был что-то поражающее. Для них был отведен особый бюджет, во-первых, в кассовых книгах, во-вторых, по отчетности завода. По этим книгам видно было, что г. Х. каждое утро съедал две коробки сардин, полтора или два фунта икры, выпивал невероятное количество вин, шампанского, водки и т. д. В карты он играл до восьми часов утра, и ему нужна была компания. Капризам и требованиям этих господ не было конца, и их боялись больше всего. Были ли между ними порядочные, я не берусь судить, но вид у них был невозможный: спившиеся, разжирелые, с отвисшими животами и рожей распухшей и до того помятой, что они и сами стеснялись куда-нибудь показываться...

За год до моего замужества на заводе было построено механическое отделение, где работало две тысячи человек и делались локомотивы. В то время строилась Сибирская железная дорога, и для завода была прямая прибыль поставлять туда свои паровозы. Спустя месяц после нашего приезда на заводе произошло крупное событие: праздновался выход первого паровоза из мастерских. Перед церковью, переполненной рабочими, к этому дню была выстроена высокая платформа, возле которой стоял первенец механического отделения, громадный, красивый, с ярко начищенной медью паровоз, украшенный лентами, гирляндами цветов и флагами. У машины стоял главный машинист и два его помощника в праздничном платье. Торжество началось с обедни. Толпа была так велика, что нас с мужем ввела в церковь цепь стражников, расталкивая толпу и пропихивая нас в образовавшийся проход. Был июнь месяц, и ду-

хота стояла невообразимая. По окончании обедни мы перешли на платформу. Началось молебствие и окропление святой водой паровоза, после чего он громкими свистками возвестил о первом своем шаге, торжественно тронулся от платформы к железной дороге и, шипя, ловко маневрируя, удалился. Я с мужем вернулась домой, у нас должен был завтракать весь заводской персонал.

Так как мы, ведя тихую жизнь, еще не успели обзавестись столовым бельем и посудой и для больших приемов еще ничего у нас не было готово, то все необходимое к этому дню пришлось выписывать из орловского клуба. Клубный буфетчик, вероятно, порядочный мошенник, доставил скатерти в ужасном виде: грязные, неглаженые, и, когда я еще одевалась, чтобы ехать в церковь, ко мне в волнении прибежал Антон сказать, что это не столовое белье, а грязные дырявые простыни и их постелить нельзя. Я вышла в столовую и, убедившись, что действительно белье весьма сомнительной чистоты, рассердившись на буфетчика, призвала его и выбранила, сказав: «Что вы, смеетесь над нами? Это недобросовестно»... Но поправить это уже было невозможно, да и надо было ехать в церковь. Я уехала из дома расстроенная. Потом оказалось, что буфетчик так оскорбился моим выговором, что подал на меня в суд, и мне присудили уплатить ему двадцать рублей!!! Впоследствии, ближе познакомившись с брянским обществом, я поняла, что грязные скатерти не могли шокировать эстетических вкусов обывателей, они этого не замечали, но в тот день мне было страшно неловко перед всеми, и я очень мучилась из-за этой неисправности в моем хозяйстве.

Когда кончился завтрак, мы с мужем и заводским персоналом поехали поздравлять рабочих, собранных по цехам в большом рабочем парке, где были расставлены столы с дымящимися кушаньями, водкой и пивом. Подъезжая к каждому цеху, я оставалась в коляске, а муж подходил к рабочим и после нескольких приветственных слов зачерпывал кружечкой водку в стоявших тут же огромных бочках, поднимал кружку и произносил тост, на что рабочие отвечали дружным «ура», после чего окружали его, хватали на руки и начинали качать. Я с ужасом должна была смотреть, как над этим морем голов выскакивали то голова, то ноги, то весь корпус бедного Вячеслава — и так во всех цехах.

Следя за всем издали, я не могла не заметить, что, несмотря на единодушные крики «ура», качания и веселье, в стороне стояли группы людей со скрещенными руками, угрюмо, недобрыми глазами глядящие на угощения и не принимавшие участия в общем веселье, точно строго осуждая его. На минуту это привлекло мое внимание, но я скоро рассеялась и забыла спросить кого-нибудь, что означали эти недовольные лица. Мы вернулись домой, и бедный Вячеслав, со страшной головной болью, пошел отдохнуть после всего этого шума и непривычных эволюций, которые ему пришлось проделать.

Вечером для рабочих в том же парке был устроен бал и фейерверк, а у нас обед с музыкой, и наш парк тоже был иллюминован. Войдя в этот вечер к мужу в кабинет, я вдруг застала в нем бледного, испуганного М., сидящего в углу. Удивленная, я спросила, что он тут делает. Оказалось, что рабочие, будучи им очень недовольны

за что-то, искали его весь день, чтобы побить, и он все время прятался по домам своих знакомых, а вечером, думая, что будет в большей безопасности у нас, спрятался в кабинете мужа. Тогда я поняла, что обозначали угрожающие группы рабочих, виденные мной утром. Поздно ночью, по окончании торжества, пришла г-жа М. и увела мужа с собой.

* * *

Время тянулось для меня так медленно, так неинтересно, что со скуки я занялась культурой шампиньонов, чтобы хоть куда-нибудь употребить избыток своих сил. Через месяц я угостила мужа своим произведением, что очень позабавило его.

Жизнь, которую я вела на заводе, казалась мне все более и более бессмысленною. В душе поднялся ропот, сожаление... К тому же я почему-то не получала ответа на свои письма, даже от Киту. Мне казалось, что я отрезана от своих друзей, что я всеми забыта, и еще сильней ощущала свое одиночество. Настроение мое становилось все мрачней и мрачней. Тайком от мужа я не раз пролила горячую слезу. Вообще, я не легко плакала, но тут частые приступы слез, затаенная грусть пошатнули мое здоровье.

Однажды я проснулась с отвратительным вкусом. Все, что я брала в рот, казалось горьким. У меня объявилась желтуха. Заводской доктор И., горький пьяница, но, кажется, добродушный малый, сказал мужу: «Везите-ка вы барыню вон отсюда. Ей заводской воздух вреден». Мужа это обстоятельство очень озаботило. Он понял, что мне нехорошо, что я, вероятно, скучаю.

В это время я была уже не одна. Ко мне приехал погостить Нил Алексеевич Гоголинский, с которым мы по целым дням силились зарисовать уголки сада, стараясь скрыть друг от друга свое настроение, но я заметила, что и он, глядя на меня, стал невесел, как-то завял. Он хорошо знал меня и очень скоро понял мое душевное состояние.

А через несколько времени приехала и Киту. Я обрадовалась ей, как солнцу, и была счастлива почувствовать себя снова среди друзей. Прошлая тоска сменилась радостью. Я свободно вздохнула, мне сразу стало лучше.

Недоразумение с письмами объяснилось очень просто. Оказывается, что не я одна, а и Киту тоже не получила ни одного из моих писем. Бежецкий почтмейстер, свято подражая гоголевскому в «Ревизоре», нежно хранил нашу переписку у себя на сердце, и вот почему ни одно письмо не дошло до назначения. Он, очевидно, страдал болезнью острого любопытства.

Князь был страшно взбешен этой неслыханной дерзостью и, позвав к себе почтмейстера, дал ему серьезное средство от этого недуга, сделав ему настоящее внушение. Впрочем, на заводе такая система шпионства часто практиковалась, и к нам была применена особенно пышно.

Однажды князь, отлучившись куда-то на целый день и вернувшись лишь поздно вечером, объявил мне с довольным лицом: «Поздравляю, я купил тебе имение всего в пятнадцати верстах отсюда, и завтра мы едем его осматривать».

Имение, купленное мужем в Брянском уезде Орловской губернии, было расположено на крутом берегу Десны. Кругом широко расстилались во все стороны необозримые заливные луга, с причудливо и величаво извивающейся между ними рекой. Воздух и простор были необъятные.

«Хотылево», как называлось наше имение, когда-то принадлежало Тютчевым, но за карточные долги было отобрано одним аферистом, у которого муж и купил его. Сколько имений на Руси ушло таким образом от владельцев! Сколько кулаков на них нажилось!

Господского дома там не было, он, кажется, сгорел, и вместо него стояла длинная, бесформенная казарма, в которой жить было невозможно. Пришлось этот длинный сарай срыть, а пока строился дом, наскоро был возведен просторный и удобный флигель. К осени мы в него переехали.

При въезде в имение стояла красивая белая каменная церковь елизаветинских времен. Чтобы сохранить гармонию, пришлось построить дом приблизительно в том же стиле.

Муж, высоко ценя опыт Киту, просил ее установить правильное хозяйство в Хотылеве. Был выписан хороший скот и положено начало коннозаводству. Предоставив полную свободу моему воображению, муж добровольно подчинился всем моим начинаниям. Увлекшись в свою очередь, он занялся постройкой железного моста через Десну для замены им опасного парома. Кроме того, в полутора верстах от имения им была построена хорошенькая железнодорожная станция, с особой комнатой для нас, телеграфом и всеми удобствами.

А я пробуждалась... С каждым днем силы росли во мне. Понемногу зазвучали в душе, как отдаленные аккорды, давно забытые мечты о широкой, плодотворной общественной деятельности.

Мало-помалу я заинтересовалась и заводом, стала расспрашивать о нем, изучать быт и условия жизни рабочих и экономическое положение их. Завод стал казаться мне менее страшным. Мысли заработали в новом направлении. Эпизод с М. помог мне открыть глаза. Я стала разузнавать о причинах неудовольствия рабочих, их озлобления против него, и понемногу передо мной развернулась целая картина истинного положения рабочих на заводе. Я открыла, что, кроме заевшихся, зажирелых матрон и упитанных равнодушных деятелей, в нем жили еще люди маленькие, пришибленные, опаленные огнем литейных печей, оглушенные нескончаемыми ударами молота, по праву, может быть, озлобленные, огрубелые, но все же трогательные, заслуживающие хоть немного внимания и заботы об их нуждах. Ведь это тоже были люди...

Кто же, как не они, дал этим деятелям, да и мне с мужем, благосостояние? Кто от этих тяжелых трудов, пота и мозолей получал львиную долю? Конечно — мы все...

А что было дано этим немым, безымянным труженикам взамен пролитого пота, утраченных сил, преждевременной старости? Кто до этой поры позаботился о них? Об улучшении их жизни, их детях? Кто прислушался к их голосу, их жалобам, их нуждам? Никто... Верхи неумолимо попирали низы с какой-то жестокостью, не оглядываясь по сторонам. Каждый жадно, эгоистично, холодно

урывал кусок в свою пользу, не замечая своих младших братьев, которым, казалось, не было суждено когда-нибудь вынырнуть из едкой копоти, палящего жара, обмыться, успокоиться, разогнуть болящую спину, вздохнуть свободно...

Да, в этом пекле и стуке жили живые люди, которым надо было помочь. Надо, потому что до этой минуты ничего для них не было предпринято.

На двадцать восемь тысяч жителей заводского населения была всего одна школа на четыреста человек. Учитель — он же заведующий школой — был человек узколобый, тоже сытый, слепой и глухой до всего живого. В его руках была торговля учебными пособиями, тетрадями, карандашами, учебниками. Он тоже наживался, сделав из этого монополию. Купить что-либо подобное на заводе было негде, он и брал с учеников, что хотел. Говоря нараспев, высокопарно, играя в благонамеренного либерала, он ловко пристроился, держа все бразды школьного правления в руках. В школу попадали исключительно дети богатых мастеров, и как бы ни был способен ребенок, это не принималось в расчет, если отец его не был достаточно зажиточным. Вакансий в школе было ежегодно пятьдесят, шестьдесят, желающих же поступить — двести, триста человек. Выбор поступающих зависел от П., и он с этим вопросом ловко справлялся, умело пряча концы.

По желанию мужа я сделалась попечительницей школы. Я с жаром принялась за дело и первым делом заменила П. новым учителем, Никитой Петровичем Смирновым, очень порядочным и дельным человеком. После ухода П. также поставила на правильную ногу и торговлю учебными пособиями, передав ее одному торговцу, Лапину из Смоленска. Переделав бывший домик садовника из пяти очень удобных комнат, я устроила в этом помещении хорошенький магазин и квартиру продавцу. Дом выходил на главную заводскую улицу. Мы повесили вывеску и открыли торговлю.

Первой женой князя был устроен детский сад, который действовал в бытность ее здесь, но всегда чувствовалось в этой затее что-то деланное, нежизненное, и вскоре он закрылся. Подобное учреждение на металлургическом заводе не могло иметь серьезного смысла, потому что женский труд в нем применения не имел. Другое дело — мануфактурные заводы и фабрики, где масса женщин находит заработок и уходит по целым дням на работу, оставляя детей без присмотра.

Здесь же не то — женщины оставались дома и могли весь день заниматься хозяйством и детьми. Заводская нравственность и так стоит на низком уровне, а если, предоставляя избыток свободы, отстранить женщину и от семейных обязанностей, то это — прямо толкать их на еще большее распутство.

Условия жизни рабочей семьи в Бежеце были тяжелые. Рабочие жили в огромных двухэтажных деревянных казармах, разделенных на множество мелких квартир, в которых помещались две, а часто даже и три семьи. Вокруг этого тесного и неопрятного жилища ютились наскоро, кое-как сколоченные хлевки для коров и свиней, расточая зловоние и непролазную грязь вокруг.

Дома детям было тесно, душно, нехорошо. Зачастую под пьяную руку на них сыпались побои и пинки не только родителей,

но и других, живущих с ними, рабочих. Матери прогоняли детей на улицу, чтобы избавиться от шума и рева, да они и сами охотно бежали от тесноты и дурного обращения и слонялись весь день на свободе, одичалые, огрубелые, развивая в себе Бог весть какие пороки. Жаль было смотреть на ребятишек двенадцати-четырнадцати лет, день-деньской болтающихся толпами по широким немощеным улицам завода, с камнями и палками в руках, от которых плохо приходилось не только кошкам и собакам, курам и свиньям, но часто даже и людям.

Трудно сказать, что было лучше для ребенка: жизнь ли дикаря разрушителя или вредные примеры и нравственная грязь, царившая у них дома? Были случаи, когда после сильной попойки, под винными парами, путаясь в топографии квартиры, мужья принимали чужих жен за своих, не говоря уже о брани и словах, которые сыпались без удержу от этих людей, отуманенных вином. Все это пагубно действовало на нравственность малолетних, беспощадно губя ее в самом раннем возрасте.

Здание детского сада я превратила в ремесленное училище, пригласив заведовать им Алексея Михайловича Смирнова*, и мы энергично взялись за его устройство. Был выписан в большом количестве разнородный инструмент: слесарный, кузнечный, столярный и чертежный. Установили столы, тиски и небольшую кузню. Таким образом, дело быстро наладилось. Учеников сразу набралось около шестидесяти, как раз комплект двух первых классов, и я уже с ужасом начала подумывать, куда я помещу третий — мест не хватало. Пригласили отца Азбукина, помолились и усердно принялись за работу.

Спустя некоторое время я получила прошение с массой подписей от заводских рабочих, отцов моих учеников, о том, чтобы установить в училище вечерние занятия для изучения черчения, так как результаты, полученные их детьми, показали на опыте всю важность этого знания. Конечно, я согласилась на их просьбу, разрешив в училище вечерние занятия. Результат получился самый хороший, и в конце года они поднесли мне хлеб-соль на деревянном блюде своей работы. Меня очень тронуло это внимание, и я сохранила его на память о моих первых шагах на этом поприще. Наивное исполнение этого резного блюда было мило мне.

Но какую метаморфозу произвело это училище в моих учениках! Какое чудо!.. Ведь состав их был из тех же дикарей разрушителей, которые несколько месяцев тому назад, бегая по улицам толпами, с камнями и палками, никому не давали проходу—а потом, какие милые, приветливые лица встречали меня в училище, какие светлые глаза глядели с благодарностью... О дикарях уже не было и помину. Передо мной стояли будущие люди, сознательно относящиеся к работе, с рвением, усердно взявшиеся за серьезное дело.

Наплыв желающих учиться все рос, а места становилось все меньше и меньше. Мне было невыразимо больно отказывать детям в поступлении, просто казалось преступным. Долго, мучительно ломала я голову, как помочь этому горю, и наконец нашла раз-

* *Преподаватель Смоленского технического училища.*

решение. Первым долгом я выпросила у мужа часть нашего парка в Бежеце. Во-вторых, выхлопотала у петербургского управления огромную сумму в сто тысяч рублей на постройку большого каменного здания на двести человек для ремесленного училища.

Но чего это мне стоило? Конечно, далось это не сразу и нелегко. Мое смелое требование ошеломило всех директоров. Муж совершенно уклонился от переговоров с ними и не поддерживал меня ввиду щекотливого положения, в котором он находился как председатель правления — он не мог хлопотать за свою жену (какая-то деловая этика мешала) и предоставил мне самой отстаивать свою идею. Пришлось просить, настаивать и спорить без конца с П., вице-директором правления в Петербурге, и с Г.

Сергей Иванович П. был креатурой князя. Из маленького скромного человечка он сделал его одним из директоров правления с колоссальным ежегодным окладом, составившим ему огромное состояние. П. был портретом И., только с той разницей, что, живя в Петербурге, бывая каждый год за границей, научился носить чистое платье, имел на себе все пуговицы и интеллигентную красавицу жену. В остальном же, т. е. вкусах, интересах, некультурности, он был точно родной брат И. Он часто бывал у нас. Я хорошо изучила его и не раз спрашивала себя, как и всегда, впрочем, встречая подобные типы, — на что такому человеку состояние? Людям без потребностей богатство дает очень мало. Все, что его окружало, что он хвалил и признавал, чем интересовался и увлекался, все это могло таксироваться, беря широко, на шесть—десять тысяч рублей в год, — это с шампанским и комфортом по его масштабу. В сущности, ему денег общества не было жаль. Князя он уважал, и если показал мне известное сопротивление и отпор, то только для виду.

Г. же был похитрее и покультурнее, а главное, был настоящим воплощением так называемого «инженера». Такой «инженер», в моей оценке, — это человек черствый, плоский, пошловатый, род кулака, тугой на расплату, но не там, где нужно пикнуть или предвидится барыш, с узкими горизонтами и дешевыми вкусами, носящий постоянно на лице самодовольное сознание своего богатства, сытости.

С Г. мне пришлось долго бороться, пустить в ход все свое красноречие. Я не только просила и убеждала, но мне пришлось и нападать, обвинять, стыдя этих самодовольных, сытых людей за их слепой эгоизм. Пришлось развернуть перед ними картину заводских нужд, указать на сделанные за многие годы упущения по отношению к трудовому люду исключительно ради личной наживы. Муж молчал, во все время словечка не проронил. В душе он был со мной согласен — глаза раскрылись. Я же положительно вцепилась в них и решила, что так или иначе, но выйду победительницей из этой борьбы. После долгих и тяжелых прений я наконец торжествовала. Уговорились так: общество дает сто тысяч рублей на постройку, а муж внесет за меня двести тысяч в Министерство народного просвещения в обеспечение училища моего имени.

День, когда это решилось, был одним из самых счастливых в моей жизни, сердце преисполнилось радостью. Я чувствовала, что у меня точно крылья выросли. Много зато за этот день я наслуша-

лась и несуразностей. Одну из них следует запомнить как очень характерную со стороны Г.

Наши взвинченные нервы после бесконечных споров стали понемногу успокаиваться. Разговор мало-помалу стал принимать дружеский, примирительный тон. Вероятно, желая мне польстить, сказать что-нибудь любезное, Г. вдруг говорит мне: «Вот, княгиня, вы, у которой так много вкуса, нарисуйте-ка нам красивый фасадик ретирада... Мы намереваемся настроить их на заводе в большом количестве...» Сказано это было с улыбкой и большим добродушием. Я не нашлась и ничего не ответила на эту пошлость.

На месте никого прежде не радовавшего парка наконец выросло прекрасное каменное здание: «Училище ремесленных учеников имени кн. М. К. Тенишевой».

Алексей Михайлович Смирнов, способный, деятельный техник, выработал новый устав удешевленного типа училища. Писал он его в Петербурге, рядом с кабинетом директора департамента, и тот очень поощрял его своими советами. Затем устав и прошение были поданы в Министерство народного просвещения.

Дело шло медленно, по-русски, томительно долго, несмотря ни на какие хлопоты. Нам ничего не разрешали и не утверждали. Зато мы не теряли времени. Помолившись, с благословения того же отца Азбукина, мы давно действовали. Занятия училища шли полным ходом, не дожидаясь утверждения устава, и через три года, как раз по получении утверждения, мы торжественно отпраздновали первый выпуск*.

Из прежней грубой скорлупы вышли деловые, способные юноши, настоящие люди. Впоследствии все они вышли на дорогу, получили хорошие места, знания их сейчас же находили себе применение и хорошо оплачивались. Например, один из учеников первого выпуска, Ермолаев, служит теперь на Николаевском судостроительном заводе агентом по сдаче котлов, получая ежегодно до трех тысяч рублей.

Не могу описать, какое высокое, благодатное чувство порождало во мне сознание выполненной задачи!..

В будущем прямым путем для наших учеников, несомненно, был завод, куда они и поступали по окончании, завоевывая самые лучшие отзывы. Но тут я встретила препятствие в лице И. Ему училище сразу пришлось не по душе. Он предпочитал держать на заводе самоучек, темных людей, боясь, вероятно, что наша молодежь из преданности что-нибудь разболтает, обличит. Смирнов стал понемногу жаловаться, что в училище туго поступают ученики. Оказалось, что И. стал принимать на завод тринадцати-четырнадцатилетних ребят на всевозможные работы с платой до полутора рублей в день. Само собой разумеется, что на такой заманчивый заработок мальчики бежали толпами, не сознавая, что когда-нибудь горько пожалеют об утраченном времени, оставшись без специального образования.

Мне пришлось учинить целый поход против И. Обвинить его открыто в недоброжелательстве было невозможно. Было известно, что и до училища на поденщину брались полувзрослые парни. Это

* *В мае 1896 г.*

делалось иногда как одолжение некоторым заслуженным мастерам — брали трех, четырех подростков, чтобы они тут же при отцах обучались столярному или слесарному делу. Пришлось пожаловаться мужу, который тоже стал напирать на И., а тот — увертливо сваливал все на главных мастеров. Долго я билась, не раз объяснялась с И., надоедала мужу и только тогда успокоилась, когда на заводе было установлено правило, что на работу туда могут поступать юноши не моложе семнадцати лет.

И. на этом не успокоился. Он тогда совсем прекратил прием наших учеников на завод, ссылаясь на неимение свободных мест. Таким образом, ученикам по выходе из училища приходилось искать счастье на других заводах. Нет худа без добра, вышло это к лучшему: наших мастеров очень ценили, и училище стало известным, а И. и его клика потеряли всякое значение в судьбе учеников. Мы стали все чаще получать запросы из разных мест о присылке знающих свое дело мастеров...

* * *

Чем глубже я вникала в заводскую жизнь, тем больше убеждалась, какое широкое поле действий в этой огромной и сложной машине. Одна мысль порождала другую. Видя же со стороны мужа сочувствие, я кипела желанием осуществить задуманное. Обстоятельства сами меня на все наталкивали.

Кроме семейных рабочих, на заводе было множество поденщиков, холостых рабочих, бездомных, заезжих людей. Большей частью они кормились в артелях, отпускавших им зачастую недоброкачественную пищу, так что многие предпочитали сухоядение где-нибудь под забором, вредно отзывавшееся на их работе и здоровье. Тогда я задумала народную столовую, в которой за малую плату рабочий получал бы здоровый, свежий стол, горячее кушанье, где бы мог обогреться и отдохнуть. Это мне вполне удалось.

Я понятия не имела об организации народных столовых. Как-то зимой, в бытность мою в Петербурге, я разговорилась с женой градоначальника, г-жой фон Валь, у которой был большой опыт в этом деле, так как она заведовала несколькими столовыми на Васильевском острове. Узнавши, что я интересуюсь этим, она пригласила меня посетить такую столовую и там показала мне устройство и дала очень подробные и полезные объяснения. Когда же я сказала, что собираюсь тоже устраивать столовую, она рекомендовала мне свою заведующую, личность очень опытную, работавшую уже много лет у нее на этом деле...

Потом надо было завести все необходимое: кухню, ледники, помещение для заведующей и ее помощницы. Выстроив специальное здание для этой цели, я предложила устроить в нем дежурства с тем, чтобы контролировать заведующих. Тут мне очень пригодились некоторые заводские дамы. Перед открытием столовой я объехала всех знакомых дам, прося их помочь мне в этой задаче, предлагая им установить очередное дежурство по две на каждую неделю, чтобы следить за доброкачественностью провизии и добросовестностью отпускаемых порций. К большому удивлению, многие из них откликнулись на мой призыв, и дело, таким образом, проч-

но установилось. Между нами завязались добрые отношения, некоторые заставили меня забыть мои первые впечатления, другие же зато окончательно их укрепили.

Когда я приехала приглашать жену И., я застала у нее во дворе весьма забавную сценку. Отворив калитку, я увидела множество жирных кур, лениво греющихся на солнце. Посреди двора, в никогда не просыхающей луже, сочно шлепали в грязи утки, а в настежь растворенное окно глядела неимоверно откормленная корова, залезшая мордой почти до самых плеч в кухню. Перед нею стояло корыто, в которое дородная кухарка ежеминутно что-то бросала. Корова, как оказывается, проводила в этом окне всю жизнь, в поле ее никак не удавалось загнать. Куда бы ее ни прогнали, она покидала стадо и вскачь возвращалась к заветному окну. В этом окне, как видно, огромные оклады хозяина, доходившие до пятидесяти тысяч в год и более, отражались на всем дыхании!..

И. отказалась принять участие в моем деле и, жеманничая, объявила, что ей «нельзя»... Что «нельзя» и почему — я не дала себе труда объяснить, да и она, кажется, не поняла, чего я от нее хочу. Эта жирная кукла была способна только производить детей и есть. Впрочем, это тоже своего рода деятельность и даже большая роскошь.

В результате при столовой осталась небольшая кучка дельных, очень полезных женщин...

В день открытия был торжественно отслужен молебен милым, симпатичным отцом Михаилом Азбукиным, после чего мне рабочими была поднесена икона Богоматери. Рабочие входили в столовую вначале робко, поодиночке, потом, расхрабрившись, вваливались толпами и усаживались за трапезу, предлагаемую в этот день бесплатно. В присутствии всего заводского персонала с женами мне пришлось подать пример. Народу было много, надо было как можно скорей обслуживать гостей, рук не хватало. Тогда я, засучив рукава моего платья, принялась за дело сама и стала подавать гостям кушанья, носясь из кухни в столовую с чашками, наполненными щами и кашей. Следуя моему примеру, мои помощницы принялись дружно мне помогать. Тут я оценила хозяйственные способности г-жи М., оказавшейся одной из самых деятельных участниц этого дела. Машина была пущена в ход.

В здании столовой была устроена хорошенькая сцена, а позади ее несколько уборных. По воскресеньям там часто давались представления приезжими актерами, фокусниками и акробатами. Иногда также устраивались любительские спектакли.

Из отчетов за первый год видно, что за этот год продано было 175 000 порций щей, столько же каши, 72 000 порций чая — и все в таком роде.

Эту столовую впоследствии я передала благотворительному обществу, почти в то же время основанному, и уговорила князя сделаться в нем председателем, боясь отчетности, — я никогда не любила цифр.

* * *

В один из наших бесконечных, постоянных, споров с П., Г. и мужем, в пылу обвинений, я провела, сама того не сознавая в ту минуту, одну мысль об улучшении быта рабочих. Доказывая как-то, как пагубно для нравственности сожительство нескольких семейств в одной квартире, я сказала: «У вас столько свободной земли вокруг завода. Вам давно бы следовало расселить рабочих, уступив им земли по найму или на арендном пользовании. Построиться они сумели бы и сделались бы вечными и верными, коренными вашими работниками». Эта мысль привела в восторг всех директоров. Им как раз предстояли постройки новых казарм для рабочих, места не хватало, а завод все увеличивался. Я удостоилась похвалы, меня назвали «умницей».

В скором времени этот план стал приводиться в исполнение. Рабочим, каждому семейству отрезалось по четверти десятины на двенадцать лет по пяти рублей в год, в арендное пользование. Пособие на постройку выдавалось от двухсот до пятисот рублей, в зависимости от рода и продолжительности службы рабочего на заводе.

Вначале понемногу, а потом верстами потянулись домики с садами, огородами, обнесенные заборами. Было отрадно и успокоительно ехать этими просторными слободами. В окнах домов, то с красными, то с белыми занавесками, виднелись горшки с цветущими растениями, в садике красовались пышные георгины, на огородах рдели круглые рожи подсолнечников. В праздник на крылечках и балкончиках мелькали трогательные семейные сценки: отцы нянчили ребят, дальше — играли на гармонике и плясали в праздничных платьях или целым обществом сидели за самоваром. Все, что было забито, обезличено казармой, на свободе разом пробудилось, приняв жизненную, нормальную форму. Проявились индивидуальности, личный вкус, заговорили человеческие потребности в уютной, чистой обстановке.

Эти колонии даже в смутное время 1905—1906 годов оказались самым консервативным элементом. С ними не было никаких неприятностей.

* * *

Между тем мы переехали в хотылевский дом. Он был уже окончен и величаво красовался на высоком берегу Десны, среди густой зелени столетних лип, ярко белея на солнце. В конце живописного партера, перед балконом, была выстроена величественная лестница из дикого камня, ведущая двумя широкими спусками к реке. У пристани от сильного стремени весело колыхались хорошенькие белые лодки.

Хотылево сделалось неузнаваемым, все в нем преобразилось, похорошело. Через глубокие живописные овраги были переброшены каменные мосты, соединявшие части сада. В огромном фруктовом саду были разбиты широкие дорожки, обсаженные крыжовником и всеми сортами ягод. В квадратах между дорожками росли яблони, сливы и груши. Все кругом дышало изобилием и красотой

А там, внизу, далеко на просторе, среди пышных лугов, плавно протекала красавица Десна, мягкими изгибами все дальше и дальше маня за собой очарованный глаз...

На самом высоком месте крутого берега я построила павильон с широкой верандой и в час заката любила приходить любоваться чарующим зрелищем. Картина оттуда была захватывающей красоты, то поднимавшая в душе безмолвную молитву, тихую, бессознательную грусть, то сладко будившая воображение с порывом страстной любви к моей родине. Никогда и нигде за границей я не переживала подобных ощущений, нигде душа моя не умела так трепетать. Только одна русская природа почти до слез волновала во мне умиленное сердце трогательной безыскусственной красотой.

Наш хотылевский сад доходил с одной стороны почти до самого села, состоявшего из ста сорока зажиточных дворов. За оградой сада, почти напротив церкви, прежний владелец не нашел ничего лучшего, как построить кабак и сдавать его в аренду на выгодных условиях. По праздникам, бывало, оттуда часто доносились до нас пьяные песни, а иногда шум заправских побоищ; в особенности же там бывало буйно, когда в деревню с завода приходили хозяева на побывку. Мужики хотылевского села почти все работали на заводе, в деревне оставались одни бабы, одни справлявшиеся на полях. Им было и невдомек похлопотать о школе, начальство же считало это, по-видимому, излишней роскошью.

Когда я предложила крестьянам устроить школу, они хором отказались, говоря, что им ее не надо. Несмотря на их отказ, я превратила кабак в хорошенькое одноклассное народное училище, и в первое время пришлось почти силой тащить туда ребят. Но мало-помалу, разными хитростями и конфетами, детей приучили к школе. Школа принялась, пустила корни, и в скором времени я услышала от родителей искреннее спасибо, которое было мне лучшей наградой.

Жизнь моя приняла такой неожиданный оборот, во мне сразу проснулась с такой неудержимой силой энергия и инициатива, что все задуманное вчера, на следующий день уже приводилось в исполнение. Я не чувствовала себя и ничего не видела кругом, кроме дела и людей, исполнителей моих планов. Деятельность моя била бурным ключом. Одним из этих исполнителей, незаменимым по быстроте и сметливости, был заводской подрядчик М. И. Кучкин. Однажды по приезде в Хотылево я заметила ему, что в мое отсутствие он поставил людскую баню слишком близко к саду и далеко от берега, что затрудняло удобное снабжение водой из реки. Выйдя на другое утро в сад, я ахнула от удивления: баня, совершенно готовая, переехала с одной усадьбы на другую, пока все в доме спали — ни шума, ни крика мы не слыхали. Это положительно был фокус, на который только он один был способен. Я много имела с ним дела, и все, что было предпринято мною на заводе, он исполнял удивительно быстро, схватывая на лету, с полуслова, мою мысль.

Четыре года кипучей деятельности, полные осмысленного труда на заводе, пролетели как сон. Мне даже всегда было очень жаль уезжать на зиму в Петербург, отрываясь от дела. Не только я уже не боялась завода и его обитателей, но он стал дорог мне, как место моего крещения, как поле брани, где я отличилась и мне удалось стяжать славу, развернуться, выполнить все заветные ме-

чты. А главное, что удовлетворяло мое самолюбие, — это сознание, что, придя туда последнею, после двадцатилетнего существования завода, мне удалось создать то, что давно уже должно было быть сделано. Гордость брала меня от сознания, что судьба отметила меня именно для этого. Я относилась к своему назначению с каким-то набожным чувством избранницы, до глубины души благодарная судьбе за выпавшее на мою долю счастье.

Взглянув на заводских деятелей с другой точки зрения, точно просветленная какой-то мудростью, скользя по их недостаткам, я научилась пользоваться положительными сторонами этих людей и, всматриваясь в каждого из них, сообразно с этим руководилась в делах. Я, наконец, научилась с ними говорить.

Меня очень поражало то, что люди, живущие одними интересами, служа одному делу, в общем, могут быть так далеки друг от друга. Общественной жизни на заводе не существовало, и только мужчины где-то собирались небольшими кучками, чтобы пить и проигрывать нажитое. Женщины там просто скучали: пожилые сиднем сидели дома и жирели, а молодые развлекались как могли, выкидывая всевозможные скандальчики на романической почве, питая умы остальных небывалыми сплетнями. Мне захотелось сплотить это общество, упорядочить отношения, внести в него оживление.

Раз я спросила жену доктора Ижевского, хотела ли бы она потанцевать. Зардевшись, она призналась мне, что умирает здесь от скуки. Это была молодая, недурненькая женщина, а таких на заводе было много.

Я надумала устроить для служащих клуб, и эта мысль была принята с восторгом всем заводским обществом. Таким образом, жены, страдающие постоянно от отсутствия мужей, могли бы быть с ними по вечерам под одной крышей, уравновешивая их невоздержанность к питью и игре. Барышни-невесты могли знакомиться и встречаться с молодыми людьми на нейтральной почве, а мужьям предоставлялось радоваться, что жены их заняты танцами или картами, а не чем-либо иным.

Опять возник вопрос, где найти помещение. Предшественник И. покинул завод после крупной неприятности, и его поместительный дом, выстроенный с бо́льшим вкусом, чем наш, с большим садом, оставался после него незанятым и долго пустовал. Я уговорила мужа уступить мне этот дом для устройства в нем общественного собрания.

Закупив в Петербурге обстановку, посуду и все необходимое, князь выхлопотал утверждение устава. Были назначены выборы старшин, после чего состоялось и открытие.

Утром в этот день было отслужено молебствие, а в девять вечера состоялся бал. К означенному часу все бежецкое общество было налицо. На подъезде клуба меня с мужем встретили старшины и председатель И. с букетом. Он собрался что-то сказать мне, но вдруг запнулся, задумался, склонил голову на одно плечо и, комично махнув левой рукой в пространство, решился наконец сунуть мне букет.

В зале собрались дамы, с которыми я стала здороваться и знакомиться, с некоторыми из них я еще не была знакома, а М.,

явившийся в сопровождении служителей с налитыми бокалами шампанского на подносах, провозгласил тост, за ним другой, третий, покрываемые громкими «ура». В передней разместился оркестр, составленный из рабочих. Раздались первые аккорды вальса.

Музыканты играют, а я смотрю — посреди залы никого, танцующих нет как нет. Дамы сидят вдоль стен, а кавалеры толпятся в дверях. Вижу, что-то плохо, видно, дело за мной — мне следует начать и тут тоже самой подать пример. Решилась попросить одного из знакомых мастеров пройти со мной тур вальса. Действовали мы с ним на совесть, но к ужасу моему мы были одни посреди залы. Так все время одни и протанцевали. Никто не пошевелился.

Я задумалась, чувствуя, что здесь какая-то загвоздка, но какая? Не на меня же будут смотреть весь вечер? Ведь этак можно умориться — не могу же я одна за всех внести оживление. Заинтригованная, я стала расспрашивать, и что же оказалось? На что я натолкнулась? Оказалось из разговора с некоторыми дамами, что они, как жены, дочери и сестры крупных деятелей, настолько высоко стоят на общественных ступенях, что «не могут» танцевать с подчиненными мужей и родственников, с людьми, с которыми они «не знаются» в обыкновенное время. На мой вопрос, почему она не танцует, одна из них отвечала мне: «Я люблю танцы, но с кем же танцевать? ведь никого нет!..» А в зале чуть ли не триста человек. Те дамы, которые приняли участие в народной столовой, были все из местной заводской «аристократии», но на заводе трудно подобрать людей одинаковых условий: все кто-нибудь да будет выше и по жалованью, и по занимаемому месту. Все они принадлежали к одной среде: вчера — помощник, завтра — мастер, а потому претензии эти показались мне бессмысленными. А еще смешней то, что дамы оказались «незнакомыми» между собой и, глядя друг на друга с высоты своего величия, делали вид, что видятся в первый раз, вероятно позабыв, что еще утром толкались по базару, перебивая одна у другой поросят и кур... Пришлось пуститься на хитрости в этот вечер, чтобы как-нибудь побороть эту глупость.

Разыскав И., я принялась объяснять ей, что она здесь хозяйка, что ей надо подать пример, быть со всеми приветливой, простой, ровной, что достоинство ее от этого нисколько не пострадает, что, когда я уеду, обязанность сплотить общество будет лежать на ней, не только как на жене директора, но и председателя клуба. Я долго, красно говорила, с убеждением в голосе, доказывая, какую бы большую роль она могла сыграть, каким звеном оказалась бы в этом расшитом обществе, приводя ей в пример культурные отношения между собой служащих заграничных заводов, где умеют и хорошо работать, и дружно веселиться. Она слушала меня, хлопая глазами, и объявила, что она «не может». Тогда я повернула к ней спину и с тех пор, кажется, никогда больше не имела случая с ней говорить.

Другие дамы, которых я увещевала, видимо, прислушивались к моим словам, а в душе, может быть, и соглашались. В сущности, им до смерти хотелось пуститься в пляс, глаза и щеки у них так и горели, но глупая фанаберия мешала начать первой, каждая ожидала и поглядывала, что делает другая.

А музыка все играла. Тут я решилась на последний шаг. Уговорив одну из учительниц, показавшуюся мне пошустрей, мы принялись с ней танцевать со всеми кавалерами, не спрашивая, умеют ли они или нет, кто они, что делают на заводе. Я так подряд и перебрала всех, падая из одних объятий в другие, делая с каждым один, два тура. Вдруг я вижу — мои дамы поднялись, и спустя немного в зале уже нельзя было повернуться.

Обхватив дам не за талию, а за спину у самых лопаток всей раскрытой пятерней, кавалеры оставляли своим танцоркам на платьях огромные темные пятна, усердно отбивая каблуками куски паркета и носясь с головокружительной быстротой, захлестывая пыльными юбками всех сидящих у стен зрителей. Хорошо ли, худо ли — все потом заплясало. Жара становилась тропической. Оживление все росло, а после ужина и обильных горячительных пустились в пляс самые положительные, весь вечер пропадавшие и, вероятно, обновлявшие карточные столы. Даже муж разошелся. Покинув зеленое поле и подхватив в пути какую-то обомлевшую худышку, он стал как-то на цыпочках, с согнутыми коленями, уморительно вертеться, чем вызвал кругом безумный взрыв смеха и шумное веселье, уже до конца вечера не покидавшее общество. Мои случайные кавалеры ни минуты не давали мне покоя. Я решила выдержать до конца и никому не отказывать.

В эту ночь мы уезжали в Талашкино и к четырем часам должны были быть на станции. Наше развеселившееся общество так разошлось, что все бросились нас провожать, густой толпой окружив коляску, так что мы шагом наконец прибыли на железную дорогу. В ожидании поезда снова появилось и полилось шампанское с бесчисленными тостами, чоканьями и громкими криками «ура». К поезду был прицеплен для нас особый вагон, и, пока происходили маневры, из вагона высовывались взъерошенные, заспанные и даже испуганные головы пассажиров, разбуженных нашей шумной, пестрой и очень взвинченной компанией, заполонившей всю платформу. Пожиманиям рук и выражениям всевозможных нежных чувств не было конца. Казалось, что вот-вот мы все упадем в одну кучу братских объятий. Наконец, при громких криках «ура», наш поезд тронулся, и я упала в изнеможении на диван. От утомления и пережитых впечатлений я не сомкнула глаз до утра. Потом мы узнали, что, проводив нас, все вернулись в клуб и до утра продолжались танцы, питье и бурное веселье. Тогда же, в тот вечер, было положено просить у меня портрет, который я им дала, и он до сих пор висит в зале клуба.

* * *

Еще одна крупная реформа была проведена на заводе, в которой я приняла деятельнейшее, живейшее участие: из когтей общества была вырвана торговля, эта хищническая нажива посредством монополии. Завод помещался в центре огромной земли в три тысячи десятин, принадлежавших целиком Бежецкому акционерному обществу. Монополия при условиях процветала вовсю: лавки, пивные, винная торговля — все было в руках общества, налагавшего на все свои цены и законы. Рабочим выдавались «квитки», которые

они обменивали в лавках на товары. «Квиток» — это бумажка, в нем нет физиономии, и рабочий легко и необдуманно тратил свое жалованье, не считаясь, что «квиток» — те же деньги. Часто он забирал больше, чем мог себе позволить, и влезал в долги. Это была прямая ловушка, в которую попадали бесхарактерные люди. Рабочим, задолжавшим в лавке, отпускался залежалый, некачественный товар, и ни протестовать, ни переменить поставщика было невозможно, так как только заводские лавки обслуживали завод. Идти же в Брянск за покупками было нельзя — пропадал рабочий день. Жить далеко от завода в лучших условиях было затруднительно, поневоле приходилось подчиняться существующему положению дел.

Я застала завод в полном его расцвете, и в ту пору одна лавка с красным товаром давала обществу чистой прибыли более двухсот тысяч рублей в год, не говоря уже о мясной, пивной, бакалейной и других. Я считала это чистейшим грабежом и, хорошенько изучив вопрос, вникнув во все, серьезно задумалась, как помочь делу. Задумала я потребительское общество: каждый рабочий получал бы здоровую, свежую провизию, доброкачественный товар, а в конце года на свой пай известный процент.

Давно, давно я подбиралась к этому вопросу, подвинчивая на то мужа, но тут уж не только И., а все петербургское правление, директора завода, все, все без исключения сделались нашими ярыми противниками, став горой против этой реформы. Мы с мужем остались совершенно одни. Мне же страшно хотелось провести это дело. Оно было сложное и трудное, приходилось считаться со множеством людей, борющихся за свою шкуру, с пеною у рта отстаивающих свои проценты и интересы. Всеми силами души я поощряла мужа не уступать, поддерживая его в этой борьбе. После массы затруднений вопрос в принципе был решен, и в конце года утвержден устав нового общества. Первыми пайщиками вошли в дело муж и я, за нами потянулись рабочие массами.

Возникли чисто практические вопросы: как и где устроить торговлю. Заводские лавки продолжали действовать, а мы явились для них конкурентами. Правление сделалось глухо, рассчитывать на уступку каких-либо помещений было невозможно: директора завода, заведующие лавками, а с ними и приказчики были взбешены. Что-то ускользало из их рук такое лакомое, с чем они не могли без сожаления расстаться. У всех были недовольные лица, чувствовалось, что где-то собираются сильно ворчать, наверно, злословят. Но муж был не такой человек, которого можно запугать надутой физиономией, к тому же он был председателем правления, то есть главой всего дела.

Строить лавки на заводской земле не имело смысла, кроме того, потребовались бы огромные деньги, а нанять подходящие помещения было негде. В конце концов я нашла выход из этого затруднительного положения, попросив мужа уступить все наши хозяйственные постройки при бежецкой даче. Таким образом, в одной половине каретного сарая поместилась мясная, в другой — мучная торговля, из конюшни вышла огромная бакалейная, а в большом флигеле расположились красные товары с готовым платьем.

Монополия вина и пива тоже была вырвана у завода. Заводская пивная была сдана в аренду за четыре, а винная лавка за десять тысяч рублей в год. Доход с этих четырех лавок поступал в пользу бежецкого общества.

После тяжелой и трудной борьбы все наши усилия увенчались полным успехом, и через некоторое время было торжественно отпраздновано основание нового общества, в первом же году давшего большие доходы и хороший процент на пай. Пришлось И. и компании нехотя взять тоже по паю и улабаться для виду, чтобы в глазах рабочих остаться популярными и не потерять авторитета.

У меня радостно, чудно было на душе... Радостно, когда в день открытия потребительского общества рабочие поднесли мне хлеб-соль, радостно, когда на другой день, провожая нас в Петербург, те же рабочие дружной толпой подкатили своими руками наш вагон и, тысячами сбежавшись на станцию, горячо, единодушно приветствовали нас восторженными, нескончаемыми кликами. Радостно было смотреть им прямо в глаза, с сознанием выполненного долга, так радостно, что дух замирал, плакать хотелось...

Я узнала потом, что в заводских лавках стали добросовестнее, товар начали отпускать незалежалый, и цены стали нормальней — что и требовалось доказать.

Покидая завод, я оставила, кроме моего ремесленного училища, шесть благоустроенных и специальных школьных зданий, в которых обучалось тысяча двести ребят. С уходом мужа из Бежецы я отказалась от попечительства в этих школах.

XI

Петербург. Дом на Английской набережной. Характер князя. Родня мужа. Репин. Студия в Петербурге. Школа в Смоленске

В начале замужества жизнь моя в Петербурге была очень трудной. Первым делом по приезде я должна была немедля заняться нашим домом на Английской набережной, с которым поступили однажды так же, как и с бежецким, тщательно очистив его от всей обстановки: в нем не только не оставили стула, но даже сорвали со стен деревянные резные панели и мраморные облицовки каминов. Мужу действовали на нервы пустые комнаты. Он очень торопил меня с устройством, желая поскорей установить правильный порядок жизни. Началась усиленная беготня по магазинам, и я сразу очутилась во власти обойщиков и всевозможных поставщиков.

В Петербурге так много банального в смысле обстановки, так трудно найти что-нибудь оригинальное!

Для каминов, по рекомендации Гоголинского, я обратилась к очень искусному резчику, Волковицкому, который пресерьезно предлагал мне сделать камин в стиле «вампир», а из магазина Коровина явился приказчик с заграничными образчиками мебельной материи, окрестивший все светло-зеленые тона — «виардо», что означало «vert d'eau»[1]. Трудно было в короткий срок согласить весь «вампир» с «виардо», и я, как могла, частью от старьевщиков, частью на аукционах, приобретала красивые вещи, устраивая дом, по возможности, уютно. Выручили меня акварели хороших мастеров из моей коллекции, которую я еще с незапамятных времен с любовью собирала. Развешенные в большом количестве по стенам, они очень украсили наши комнаты.

Во время устройства дома я наткнулась на очень странную черту в характере моего мужа. Когда мне в конце концов удавалось найти что-нибудь интересное, но почему-либо я не решалась купить — иногда просто цена пугала,— я шла к мужу за советом и каждый раз в таких случаях получала отказ. Это сердило меня, потому что отказ часто бывал ни на чем не основан. Я просто слышала лаконическое, обезоруживающее «нет» — и больше ничего, а между тем вещь продавалась или на аукционе уходила в чужие руки, что было очень досадно: хорошие вещи редки. Много я из-за этого «нет» пропустила хороших вещей, которые муж потом, по моим описаниям, и сам жалел, говоря:

— Как жаль, что ты не купила канделябры.

— Да, жаль, но ведь ты сам не захотел их приобрести.

— Правда, но, знаешь, есть такая немецкая поговорка: «Кто много спрашивает, тот много получает ответов».— Это была его

---

[1] Цвет морской волны (*фр.*).

любимая поговорка, но в то время я не поняла, к чему она относится.

И так всегда, во всем: что ни спросишь — все «нет» да «нет». Иногда я терялась, не зная, как поступить, и это бывало очень мучительно. Трудно было объяснить в этом разумном человеке такую нелогичность.

Раз как-то я решилась сделать крупную затрату, не спросясь его согласия, и очень трусила, боясь навлечь на себя неудовольствие мужа. Когда он увидел вещь, он только спросил:

— Дорого это стоит?

Я со страхом сказала цену.

— Умница... Валяй... Эх, что там смотреть!

Он в этот день был очень в духе и тут же стал кому-то хвастаться моим умением все хорошо устроить. С той поры я больше его не беспокоила вопросами и поняла, что в нем сидел сильнейший дух противоречия. Но пока я до этого дошла, мне много пришлось пережить тяжелых минут.

Муж больше всего любил свой личный покой, и одна мысль, что человек приближается к нему с просьбой или вопросом, заранее уже вызывала в нем отпор и недовольство. Он готов был согласиться с каким угодно совершившимся фактом, лишь бы оставили его в покое. Когда он укладывался в дорогу, он бывал особенно не в духе от вопросов его человека, что брать и что оставить. Чтобы отделаться, он отвечал:

— Вали, вали...

— Как же, ваше сиятельство, надо все уложить...

Князь говорил с досадой:

— Вали, я тебе говорю... Когда приедешь, разложишь.

Одно обстоятельство отравляло мне жизнь в Петербурге: отношения с родней мужа.

Остафьева, которая в начале нашего знакомства с князем смотрела такими снисходительными глазами на ухаживание брата за мной, вдруг почему-то страшно рассердилась и даже рассорилась с ним, когда он женился на мне. Что могло ее рассердить? Почему ухаживать можно, а жениться нельзя? По-видимому, не удались ее расчеты, что-то сорвалось. Вероятно, ей хотелось остаться между нами, продолжать быть ширмой и покровительствовать мне, пользуясь этим фальшивым положением для своих корыстных целей — устраивать свои дела. Так или иначе, но когда я вышла замуж, мы перестали видеться. Наши добрые отношения, ее восторги от моего голоса, комплименты — все пошло насмарку, будто этого никогда не было. Это положение тем более было глупо, что она жила со своей семьей в нашем доме, со стороны Галерной. А еще глупее было, что я сама, из-за вечных ее жалоб на недостаток, сжалившись, однажды уговорила князя, еще до нашей свадьбы, отдать ей, конечно даром, эту квартиру. Муж потом не раз упрекал себя и меня за эту слабость:

— Видишь, зачем тебе нужно было просить за них? Так и знай: люди всегда платят за добро злом... Попробуй-ка теперь от них отделаться, вот, когда они закричат... Ведь никто не узнает и не поверит, что это ты выхлопотала квартиру, а они всем протрубят, что ты их отсюда выгнала.

— Но ведь это будет неправда, несправедливо...

— А что такое справедливость? Вот она, твоя справедливость...— и он показал огромный, жирный кулак.

После женитьбы брата Остафьева так взбесилась на нас, что настроила враждебно и своих сестер, Зыбину и княжну Веру Николаевну, а с ними и всю родню от мала до велика, без исключения. Зыбина, подстрекаемая сестрой, даже разлетелась однажды к одному очень высокопоставленному лицу с просьбой расторгнуть наш брак, но получила отказ на том основании, что ее брат великовозрастный и может, как хочет, располагать собой. Все эти мерзости, к сожалению, всегда до нас доходили: для этого всегда находятся особые друзья.

Невыносимо было сталкиваться невзначай с этими людьми, глядевшими на меня при встречах как на стену, а потом усердно злословящими обо мне, разнося по знакомым и незнакомым небывальщины, осуждая каждый мой шаг, каждое слово. Опять заныли мои старые раны, опять раз навсегда уязвленная душа почувствовала знакомую боль...

Остафьевская семья признавала только титулованных. Человек с обыкновенной фамилией, хотя и очень порядочный, не внушал им уважения: они ставили его ни во что. Они вечно говорили о своих высокопоставленных знакомых, но зато все эти княгини и графини, которыми они так кичились, заочно называя их «Мими» и «Фифи», третировали их, а они, в свою очередь, давили презрением остальных смертных. Для этих людей личные достоинства, душевные качества, таланты не принимались в расчет: им подавай только титул, тогда это человек.

Мужа эти враждебные отношения не тяготили, и он казался ко всему равнодушен. Я же, с моей болезненной впечатлительностью, все чувствовала и от этого страдала.

Злобе их, казалось, не будет конца, как вдруг, года два спустя после нашей свадьбы, обстоятельства сразу изменились. В один прекрасный день муж повез меня к своим сестрам, а через неделю вся родня, в полном составе, явилась к нам на семейный обед. Я не приходила в себя от изумления и не знала, чему приписать эту метаморфозу.

Дело же было очень просто. Обыкновенно к праздникам муж делал всем сестрам, племянникам и племянницам крупные денежные подарки. Но, когда вся эта компания сразу, без малейшей причины, так изменилась к нам, он со своей стороны прекратил выдачу денег. Прошло несколько праздников. Подсчитав убытки, они увидали, что эта ссора была им крайне невыгодна, и мало-помалу стали сдаваться, заискивать и наконец написали мужу письмо в кисло-сладком примирительном тоне.

Вячеслав хорошо понимал некоторых людей, а главное — свою родню. Он хорошо знал их слабости и, задев опытной рукой известную струну, вызвал желаемый аккорд. «О люди, люди»,— говорил он, когда ему удавалась его тактика, и всегда бывал от этого в восторге. С родственниками и вышло как по писаному, и он торжествовал на семейном обеде: ненавидя дрязги, он предпочитал худой мир доброй ссоре.

Вообще, Вячеслав не был ни с кем из родных особенно дружен. Остафьева очень его разочаровала и потеряла в его глазах с последней историей. Но когда он встречался со своими, он встречал их с бурным весельем, похожим на удаль, с какой-то подчеркнутой. деланной непринужденностью и предупредительностью. В такие дни от него заражался весь дом, все бегало, суетилось. Только родня на пороге, как он кричит во все горло: «Шампанского». Наши разговоры, отношения — все создавалось и поддерживалось исключительно шампанским, другой атмосферы не существовало.

Еще в такой же надсаде бывал Вячеслав, когда я позову обедать художников. Как только завидит их, он тоже кричит: «Шампанского...» Вероятно, некоторых людей он не переваривал иначе, как сквозь дымку вина: ему с ними было тяжело.

Муж не любил искусства. Кроме музыки, никакая другая отрасль не интересовала его — ни старина, ни живопись, ни современное художество. К художникам он относился с презрением, иногда с каким-то странным любопытством, точно видел перед собой нечто вроде заморского зверья. О русских портретистах он был слабого мнения, говоря:

— Мне подавай портрет, чтобы он был похож на то лицо, с которого писан. Мне какое дело, что по-твоему это художественное произведение... А где сходство? Нет, я предпочитаю хорошую фотографию. Она по крайней мере передает черты знакомого лица... А эти господа!.. Ах, ужас!.. Наляпает тебе краски, размалюет, а человека-то нет. Да еще плати за эту неимоверную мазню... И какие!.. Да изволь прихваливать то, с чем ты совершенно не согласен. А как противны их претензии на поклонение. Покажи мне, что ты чего-нибудь стоишь, так и признаем тебя, а то лезет в знаменитости, а сам и дела своего не знает. Это какие-то уродцы, которых вы своими ахами и охами поощряете и только дурачите общество. Впрочем, у каждого свой вкус...

Любопытство и удивление возбуждали в нем те из художников, от которых ему случалось услыхать какую-нибудь здравую мысль, как будто от категории подобных людей он этого никак не ожидал. Больше всех он уважал Виктора Васнецова за то, что, несмотря на славу, он был практичным, менее «богема», чем другие, серьезнее и умел составить себе состояние. Всех остальных, кто не подходил к этому типу, он считал ничтожными, не признавая за настоящих людей.

На мою страсть к искусству и коллекционерству он смотрел снисходительно, как на игрушку избалованного ребенка, и ко всем моим художественным затеям, устройству мастерских в городе и деревне он применял известную пословицу, перефразируя ее — «чем бы жена ни тешилась, лишь бы не блажила». Под «блажью» он понимал кокетство и, вероятно, неверность.

Любовь к искусству у всех без исключения он считал забавой, не делающей никому вреда, но и не приносящей никакой пользы. Так же строго он относился и к музыкантам. Например, будучи очень дружен с виолончелистом Давыдовым, но сильно критикуя его образ жизни, он до тех пор не успокоился, пока не заставил его поступить на службу в какой-то банк, говоря ему, что у него достаточно времени для одного и другого и что мыслящему человеку

быть исключительно музыкантом — недостаточно и унизительно для его достоинства.

Во время выставки картин Виктора Васнецова[1] в Петербурге я устроила обед, пригласив, кроме него, Репина, Врубеля, Гоголинского и Александровского. Муж, по обыкновению, начал обед с шампанского. Он был весел, да и все были очень веселы, дружно пили, болтали, спорили. Репин, как всегда, старался сказать что-нибудь особенное и, споря о чем-то с Врубелем, неосторожно проронил:

— Да вы и рисовать-то не умеете...

— Я не умею? — воскликнул удивленный Врубель.— Нет, это вы не умеете, и я вам сейчас это докажу. Чтобы правильно нарисовать фигуру, вы до смерти замучаете натурщика, а я начну человеческую фигуру на память, хотя бы с пятого пальчика ноги, и она выйдет у меня правильная и пропорциональная...

Все прислушивались к этому спору и очень смеялись над ответом Врубеля.

Виктор Васнецов в этот вечер был особенно в духе. После обеда, за рюмкой ликера, Вячеслав спросил его:

— Много ли вы на своем веку написали портретов?

— Нет, немного, но могу с гордостью похвалиться, что ни одного я не написал за деньги, особенно с друзей.

Я лукаво посмотрела в сторону Репина. Он тихонько помалкивал в своем углу. Большое удовольствие доставили мне слова Васнецова. До смерти надоело мне позировать Репину. Писал он и рисовал он меня чуть ли не шесть или семь раз, мучил без конца, а портреты выходили один хуже другого, и каждый раз из-за них у меня бывали неприятности с мужем: он их просто видеть не мог. Кроме того, наскучили мне репинские неискренность и льстивость, наскучила эта манера как-то хитренько подмазаться к заказу, причем он вначале всегда делал вид, что ему только вас и хочется написать: «Вот так... Как хорошо... Какая красивая поза...» Потом я сделалась «богиней», «Юноной», а там, глядишь, приходится платить тысячи и тысячи, а с «богини» написан не образ, а грубая карикатура.

В особенности за один портрет я очень рассердилась.

Репин всегда боялся красивых складок, мягких тканей в женских портретах. Ему, как истинному передвижнику, подавай рогожу: иметь дело с ней ему было покойнее.

Затеял он как-то писать меня в черном домашнем платье, шерстяной юбке и шелковой кофточке, и к этому более чем скромному туалету он непременно захотел прилепить мне на шею пять рядов крупного жемчуга. Как я ни отговаривалась, ни противилась, он настоял на своем. В руках у меня была тетрадь романсов Чайковского. Так же как у Тарханова на портрете торчал дешевый пузатый графин со стаканом, представляющие атрибуты лектора, так и я была изображена с атрибутами певицы. Подобная иллюстрация указывает каждому без ошибки, к какому цеху принадлежит заказчик портрета.

---

[1] Выставка картин В. Васнецова состоялась в Петербурге в 1899 г.

Но все бы это ничего — портрет выходил довольно удачный, свежий по краскам. Красноватый лоскут старинной материи на фоне хорошо гармонировал с цветом лица, платья и жемчуга, и, к счастью, обложка романсов Чайковского была едва выписана, и на ней не красовалось имя издателя и адрес. Но вот беда, работа портрета была как-то прервана по случаю моего отъезда, и в мое отсутствие Репин, убоявшись, вероятно, цветистого тона, намазал вместо него прочную штукатурную стену коричневого колера. Наверно, у него с последним мазком свалился камень с души, и он свободно вздохнул. Для такого мастера, как он, я считаю непростительным переписывать что-либо на портрете без натуры. Этого не сделает даже ученик.

Потом портрет был мне любезно предоставлен взамен пяти тысяч рублей.

С мужем у меня опять из-за него вышла история. Он не на шутку рассердился и за деньги, и за неудовлетворительную вещь:

— Боже мой, да когда же эти художники тебя проучат и так тебя намалюют, что раз навсегда отобьют охоту к подобной пачкотне...

И каждый мой новый портрет неизменно сопровождался неприятностями, но я опять и опять позировала по просьбе Репина, неутомимо споря с ним из-за позы и безбожной безвкусицы в выборе кресла, на которое я должна была опираться или сидеть. Все-таки мне не удалось избежать буковой качалки — идеал Репина, — на которую я неминуемо попала на одном углевом этюде. Кроме меня, он написал еще композитора Кюи в этом же нелепом кресле, Дузе и еще нескольких человек все на тех же тонетовских или венских качалках. Не понимаю, что они ему так дались?

Как всегда, портрет во весь рост его устрашал, и почему-то ноги на женских портретах у него никогда не были дописаны. Поэтому бар. Штейнгель, бар. Икскуль написаны им с отрубленными по щиколотку ногами, точно не хватило холста. Шлейфов он тоже, по-видимому, до смерти боялся.

На моем последнем портрете во весь рост мало того, что отсутствовали ноги, но и рука оказалась сломанною, точно приставленною. Репин два раза присылал мне этот портрет, и я два раза его отсылала. Однажды он выставил его, но не посмел написать, что это я, а назвал его по каталогу «Повелительница» — вероятно, он хотел меня этим уязвить, но я была в восторге, что эта «повелительница» не причинила мне новой драмы с мужем и новых неизбежных расходов.

Раз Репин приехал к нам в деревню погостить, и тут случилась для Киту большая неприятность: он задумал написать ее портрет. Конечно, как я всегда, при этом был пущен в ход известный «репертуарчик». Начались намеки, как хорошо было бы именно ее написать: он отходил, подходил к ней на кругленьких согнутых ножках, причем сам делался маленький-маленький, щурился и, закатывая глаза, говорил: «Ах... Да... Как хорошо...»

Бедная Киту не на шутку всполошилась от этого предложения — она довольно насмотрелась на мои мучения. Но пришлось все-таки сдаться. Притом Репин тонко дал понять, что он это так, из дружбы и желания сделать мне удовольствие, хочет оставить

«память» о своем пребывании. После этого отказываться было невозможно.

В сущности, Репин имел в виду не Киту, он давно подбирался к моему мужу, ухаживал за ним, но получил весьма категорический отказ. Меня же он только что писал и очень неудачно. Таким образом, оставалась одна Киту, которая не нашлась и не посмела дать ему отпор, как князь.

Наконец начались для бедной Киту сеансы. В мастерской по утрам работала я, и Репин любезно давал мне советы и в то же время делал наброски. Раз он, шутя, написал с меня маленький этюдик красками со спины, за мольбертом, с натурщицей на фоне. Это, несомненно, мой лучший «портретик», им написанный.

После завтрака в мастерскую приходила Киту в белом суконном платье и соломенной шляпе. В мастерскую днем никто не входил, чтобы не мешать. Вначале все шло хорошо. Но раз Киту пришла ко мне в отчаянии, прося моего вмешательства. Дело в том, что Репин вздумал написать за спиной Киту открытый пестрый, ситцевый зонтик. Эта выдумка сильно не понравилась Киту, так как она никогда не употребляла и вообще не любила зонтиков. К тому же, какой смысл имела эта вещь, если портрет писался в комнате, на темно-зеленом плюшевом фоне? Для такого крупного мастера подобная безвкусица была непростительна. Тут атрибуты даже не согласовывались с характером личности.

Я горячо вступилась за Киту, вполне разделяя ее неудовольствие. Но, как я ни спорила, как ни доказывала эту бессмыслицу — кажется, еще немного, и вышла бы ссора,— он уперся на своем. Так Киту и осталась в строгом английском костюме с пестрым ситцевым зонтиком на плече. Каждый раз, как она шла позировать, как на заклание, я читала трогательную грусть в ее выразительных глазах.

К сожалению, этот портрет, казавшийся вначале свежим, теперь сильно потускнел[1]. Я объясняю это тем, что Репин, вероятно для экономии, пишет всегда свои картины на самом простом керосине, а этот продукт имеет свойство со временем желтеть. Мои портреты тоже все потускнели, вероятно, от той же причины.

Уезжая, Репин, должно быть, забыл, что он хотел оставить «память о своем пребывании» у меня, и за эту «память» я тоже уплатила ему тысячи.

Вообще мне много пришлось поспорить с Репиным. Недостаток вкуса, поражающий у художника, отсутствие всякого инстинкта красоты приводили меня в полное недоумение. В его мастерской и в доме — ни вещицы изящной или старинной, все было холодно, плоско, дешево и грязновато.

Много рассказывали мне о Репине и ученики его, и люди, имевшие с ним дело, во многом упрекая и осуждая его как человека. Но частная жизнь Репина не интересует меня. Однако кому дано много, с того много и взыщется. Общество наложило на него венец славы, и невольно хочется понять, каким образом он дошел до нее.

---

[1] Портрет Е. К. Святополк-Четвертинской датирован И. Е. Репиным 1896 г., хранится в частной коллекции в Чехословакии.

Не тем ли, что усердно угождал, подлаживался к толпе? Не стараясь руководить ею, законодательствовать,— что было бы симпатичнее, а главное, достойнее великого художника, — он гнался за легким успехом, пустившись, например, по пути дешевого, льстивого иллюстратора Льва Толстого, постоянно изображая его то с плугом, то за другими работами, то босиком — Толстой под всеми соусами.

Сила Толстого, конечно, не в этих странных причудах избалованного барина, играющего то в пахаря, то в сапожника, то в печника. Вероятно, эти физические упражнения делались просто для здоровья, по предписанию доктора или по собственной потребности в физическом труде, и если бы этого никто не знал, если бы об этом не говорили и не подчеркивали, Толстой остался бы тем же великим писателем. Фокусы эти нисколько не увеличивали его славы. Не дело было его якобы друзей обнародовать слабые стороны интимной жизни великого писателя. Можно только удивляться, что такой гениальный человек, как Толстой, поддался неумной выдумке Репина, позволив показать себя с этой смешной стороны.

Что изобретательный и практичный Репин подобрался к Толстому, ловко связав свое имя с его именем,— неудивительно: он отлично понял, что Толстой босой, Толстой, держащийся за плуг, притянет на выставке внимание публики, и все побегут смотреть на это как на курьез, новинку, нечто оригинальное. Не как на художественное произведение, а именно как на курьез. Художественного в этих картинках не было решительно ничего. Таким образом, Репин долго питался Толстым и, вероятно, еще долго будет, и, конечно, цеплялся за него, не отдавая себе отчета, что в этом случае блистательно оправдывается поговорка «на всякого мудреца довольно простоты». Другой мудрец, может быть и не такой гениальный, как Толстой, пожалуй, не позволил бы выставить себя на посмешище. Как же тут не цепляться за такого кормильца?

Такие художники, конечно, есть везде. Бона в Париже знают как портретиста официальных лиц. Все президенты и министры обыкновенно проходят через его руки — это его специальность. Репин всегда гоняется за человеком «злобы дня», и в этом постоянно чувствуется личная реклама, что-то деланное, несимпатичное. Просто типичное лицо или интересная физиономия неизвестного человека не остановят его внимания, ему нужен ярлык.

Сколько писателей и даже писательниц таким способом вылезли в литературу и заставили печатать свои вещи потому только, что описывали известных, крупных людей или кормились разбором сочинений гениальных писателей, постоянно ставя свое имя рядом с каким-нибудь великим именем и делая это с такой настойчивостью, что публика невольно запоминала их вместе, как запоминаются те огромные рекламные вывески, которые на каждом шагу в городах не дают нам покоя: «Гала-Петер» и т. д.

Но что простительно или только смешно в каком-нибудь литературном ничтожестве, то непростительно большому художнику...

Напускной либерализм Репина не помешал ему, однако, примазаться к выгодному правительственному заказу — картине заседания Государственного совета. Ни звезды, ни ленты через плечо, повидимому, не претили ему в эту минуту, когда он имел с ними

дело. Каждого из членов Гос. совета он писал отдельно, и с этими людьми, представителями той власти, которую он не уважает, врагом которой он выставляет себя, он сумел «помолчать». Конечно, он всегда чихает, когда чихает Толстой, но когда запахло выгодой, он ловко и вовремя спрятал свои убеждения.

Первая манера его письма была хороша. Мужские портреты ему удавались, но ему никогда не следовало бы браться за женские и за священные сюжеты. Его картина «Николай Чудотворец» не только не художественна, но и крайне антипатична. Она суха, мертва, в ней нет ни настоящих типов, ни религиозного чувства, ни верной передачи эпохи.

Слава, приобретенная Репиным,— преувеличенная или нет, это покажет будущее — все же сделала то, что к нему валила молодежь учиться со всех концов России. Однажды он предложил мне устроить в моей мастерской в Петербурге студию для подготовки молодых людей к высшему художественному образованию. Конечно, я откликнулась с радостью на это предложение, потому что в Петербурге до той поры не существовало никаких классов для перехода из рисовальных школ в Академию художеств.

Студия наша сразу завоевала себе почетное место[1]. Желающих поступить в так называемую «тенишевскую школу» было в десять раз больше, чем позволяло помещение. В нем могли работать при двух натурщиках от пятидесяти до шестидесяти человек. В начале учебного сезона места брались положительно с боя, иногда даже происходили очень тяжелые сцены отчаяния, когда Репин, после пробных занятий отстранял того или другого ученика, не находя в нем достаточно данных. Горе этих молодых людей глубоко трогало меня.

Между учащимися были сын Репина Юрий, Елена Маковская (дочь Константина) и Иван Яковлевич Билибин, ставший потом известностью. Он был еще в университете, когда начал ходить в нашу студию. Кроме него, было еще несколько студентов, один японец, Ида, очень талантливый, впоследствии уехавший в Англию и ставший там знаменитостью, было еще много барышень и даже офицеров. Компания была в высшей степени пестрая, милая, со страстью отдавшаяся работе, искренно любящая искусство. Народ все способный, молодой и много обещающий. Репин приходил раз в неделю, а иногда чаще, поправлять этюды, а раз в месяц устраивался конкурс эскизов на заданную тему.

Студия выходила на Галерную. На этой улице не было ни ресторана, ни приличной столовой или кондитерской. Пойти закусить или позавтракать было некуда, приходилось для этого переходить огромную Исаакиевскую площадь, Бог весть куда, что отнимало много времени. Петербургский зимний день уж и так короток, поэтому многие предпочитали голодать до вечера. Я придумала, чтобы устранить это неудобство, устроить в особой комнате, рядом с мастерской, что-то вроде чайной. В двенадцать часов подавался огромный самовар с большим количеством булок. Вначале мои художники стеснялись пользоваться даровым чаем, отказывались под разными

---

[1] Первое упоминание о студии в переписке Репина относится к 1895 г. (письмо к П. М. Третьякову от 26 ноября).

предлогами, некоторые даже удирали до двенадцати часов, но потом понемногу привыкли к этому обычаю, тем более что я приходила вначале сама с ними пить чай во время перемены, приглашая составить мне компанию. В конце концов все до такой степени привыкли к этому чаю, что потом, уже поступив в Академию, прибегали к нам оттуда, даже приводя с собой товарищей. Меня же это очень радовало.

Иногда у нас в студии по вечерам собирались художники, пели, играли и даже танцевали, устраивались чтения, и всегда было так молодо, весело, непринужденно. Однажды я устроила для моих больших детей нарядную елку, на которой красовались карандаши, резинки и много сладостей, а потом мы до утра танцевали. Кажется, это единственное место в Петербурге, где я так от души веселилась.

А вот и причина, почему я подвергалась стольким неудачным портретам Репина — портреты были предлогом заинтересовать, закупить его как популярного руководителя, и вот почему я постоянно терпела неудовольствия мужа и частые упреки. Я старалась поддерживать наши, кажущиеся добрыми, отношения с Репиным только ради студии, которая, благодаря портретам, процветала и дала блестящие результаты. Это была жертва для идеи.

Студия просуществовала восемь или девять лет и была закрыта исключительно по капризу Репина, не пожелавшего больше ею заниматься, вероятно, потому, что интересы, которые он преследовал, не увенчались ожидаемым успехом...

Параллельно с моей петербургской студией я открыла начальную рисовальную школу в Смоленске...[1] Репин очень меня поддерживал в этой затее и даже выхлопотал мне из Академии несколько художественных классических гипсов для этой цели. Но, несмотря на это, Репин остался Репиным. Желая отделаться от своего помощника в нашей студии, Куренного — человека мало способного и как преподавателя, и как художника, вялого, типичного хохла — порекомендовал мне его как руководителя для смоленской школы. Думая, что он будет там более на месте, чем в Петербурге, я взяла его.

В Смоленске у Киту был дом, в котором мы обыкновенно останавливались, когда приезжали на лошадях в город. В нем устроила школу, приспособив здание для этой цели: в верхнем этаже были устроены курсы, а в нижнем — квартира Куренному.

Цель школы была привлечь побольше мастеровых и дать им знание рисования, которое в их работе очень ценно. В Смоленске, например, процветает гончарное производство, и мастер, подучившись рисовать, мог бы с большим вкусом разрисовать свои горшки и тем поднять как самое производство, так и стоимость своих изделий. Точно так же и столяры, резчики и т. д...

Но из мастеров поступило очень мало. Было два-три мальчика лет пятнадцати-шестнадцати, остальной же контингент состоял почти исключительно из барышень, которые от нечего делать бросаются во все консерватории, курсы и рисовальные классы, без всякого к тому призвания.

---

[1] Школа была открыта 1 декабря 1896 г

По приезде в Смоленск на следующую весну я с горестью увидала, что моя школа напоминает школу Штиглица или Общества поощрения художеств, где, например, обучались когда-то сестры Тепляковы, которым вместе было чуть не двести лет... Я отнесла это к неумению Куренного привлечь к себе народные силы, несмотря на все мои письма и указания ему. Впечатление, вынесенное мной, было плачевное и очень расхолодило меня к этому делу. Куренной же произвел совсем уморительное впечатление. Со своим вечно красным лицом, глубоко сидящими, маленькими, хитренькими глазами, он сделался поэтичным в этой группе вздыхавших и окружавших его девиц, придал себе томный вид и облекся в светло-серый костюм с бесконечно длинными концами белого галстука — вероятно, желая придать себе вид старинного маэстро... Все это мне очень не понравилось, и не для этого я открывала школу.

Как раз в это время, когда меня постигло такое разочарование, мой муж открыл свое училище на Моховой[1], и как когда-то Репин ловко свалил с себя Куренного на мою шею, так же ловко я передала его мужу в качестве преподавателя рисования для его петербургской школы. Этим и окончилась деятельность смоленской школы, просуществовавшей всего две-три зимы.

---

[1] Тенишевское училище было открыто в Петербурге в 1895 г.

XII

Париж. Академия Жюлиан. 1 апреля. Дом в Париже. Путешествие по Голландии. Бенуа. Обер. Голубкина

Когда муж вышел из дел Брянского общества, мы поехали на зиму в Париж и поселились там в Елисейских полях, наняв две квартиры в двух этажах. Зима в этот год была необыкновенно сурова, и французское отопление с каминами, нисколько не согревавшее комнат, так нас измучило, что муж решил купить дом и устроиться в нем как следует, поручив мне подыскать что-нибудь подходящее.

Мне это весьма улыбалось, так как я поступила в Академию Julian [1] и, занимаясь под руководством Бенжамена Констана и Жана Поля Лорранса, надеялась с приобретением дома повести более оседлую жизнь и более последовательные занятия.

Раз что судьба снова занесла меня в Париж, то нужно было воспользоваться пребыванием там и серьезно заняться живописью. Нигде нельзя так хорошо сосредоточиться и работать, как в Париже. Он дает все для работы: обстановку, художественную культурную среду, прекрасных мастеров-учителей, интересные выставки и богатейшую историю искусств в своих бесчисленных сокровищницах — музеях и памятниках старины.

С Парижем у меня было связано столько воспоминаний, он был немного как родной город: в нем я училась петь, в нем же, во время своих прежних наездов, приобрела много неизгладимых художественных впечатлений.

Эту же зиму в Париже проводил и В. Ф. Голубев. Он часто бывал у нас и знал о моем желании приобрести дом. Однажды, первого апреля, я получила огромную корзину цветов, к которой бронзовой булавкой была прикреплена карточка Голубева со словами: «Радуюсь случаю сделаться вашим соседом. Я приобрел дом 117 на Елисейских полях». Корзину эту принесли в присутствии мужа, и он был свидетелем моего неудовольствия, даже гнева. Я поняла, что Голубев хотел подразнить меня, так как я сама была в переговорах относительно этого дома. И еще меня возмутила бесцеремонность Голубева, с которой он прислал мне эту скверную булавку на своей корзине. Я была так возмущена, что тут же хотела сесть и написать ему очень резкое письмо. Видя мое намерение, муж стал страшно хохотать и объявил, что это дело его рук, к первому апреля, и был страшно доволен, что ему удалось меня надуть, подделав почерк Голубева. Я тоже очень смеялась, но в душе решила отплатить мужу тем же.

На следующий год первого апреля я пошла в магазин фальшивых бриллиантов, выбрала браслет в виде цепочки с чередующимися великолепно имитированными жемчугами. Положив браслет в ко-

[1] Академия Жюлиана.

робку от настоящего ювелира, я на следующий день утром, когда муж сидел за кофе, послала к нему Лизу с этой коробкой и запиской: «Милый друг, я забыла тебе сказать, что я купила этот браслет за 6000 фр., и сейчас пришли из магазина со счетом. Не будешь ли мил прислать мне эти деньги?» Муж немедленно прислал деньги, черкнув на моей записке: «Очень рад доставить тебе удовольствие». Моя месть удалась, и я была в восторге. Весь день браслет красовался на моей руке, и я всем хвасталась подарком мужа, и только к вечеру открыла ему, что браслет фальшивый и стоит всего 100 фр., но денег ему не отдала. Он страшно смеялся и долго не мог забыть этой проделки.

Наконец мне удалось найти дом, вполне отвечающий моему вкусу и всем требованиям комфорта. Он был очень изящен, в строго выдержанном стиле Ренессанс. Потолки были расписные по золотому фону, очень красивый зимний сад и конюшни, прелестный, выложенный плитками двор и все современные удобства.

Мы зажили в Париже по-петербургскому, т. е. муж ходил в какие-то социологические общества, на какие-то заседания, много работал у себя по интересующим его научным вопросам, я же усердно, аккуратно посещала каждый день академию Жюлиан. Мы часто бывали в опере, театрах, устраивали у себя вечера камерной музыки с участием Марсика и других артистов, а раз как-то пела Иветт Гильбер.

Нашим ближайшим соседом был художник Бона, у которого был рядом с нами свой дом. Мы познакомились. Он подружился с мужем, часто заходил к нам позавтракать и однажды, узнав, что я занимаюсь живописью, попросил показать ему мои работы и с тех пор часто давал мне полезные советы. В то время как муж позировал ему для портрета, он из дружбы ко мне пригласил меня параллельно с ним писать мужа в его мастерской. Это было очень приятно и полезно для меня, так как я могла таким образом проследить манеру мастера. Мы дружно работали, и время проходило очень интересно.

Мастерская и ближайшие комнаты у Бона походили на музей, так в них было красиво, художественно. Сам он был коллекционером старинной бронзы и рисунков Рембрандта. Во время перерывов наших сеансов, обходя по нескольку раз мастерскую, я любовалась этими красивыми вещами. Всю свою богатую коллекцию Бона завещал своему родному городу Байон.

Когда входили в дом Бона, то уже одна обстановка говорила о том, что тут живет художник в полном смысле этого слова. Не то у наших русских художников, даже самых крупных, которые почти поголовно живут в пошлой, безвкусной, чисто мещанской обстановке, не замечая этого убожества и уродства. Нет у них ни эстетических запросов, ни потребности в красоте и гармонии вокруг себя.

Из русских знакомых у нас часто бывал Де-Роберти, профессор социологических наук в Брюссельском университете, очень умный, интересный собеседник, с которым муж по целым часам говорил и спорил об интересующих его вопросах.

Одним из моих любимых развлечений было заезжать к Бингу. Это был человек, который любил и интересовался современным искусством и принес большую пользу новому движению, поддерживая

и поощряя молодых художников, ищущих новых путей. У него был большой магазин, расположенный в четырех этажах, где можно было найти интересные картины, фарфор, майолику, мебель и даже ювелирные вещи. В том же доме Бинг имел мастерские, где работали различные предметы, больше всего мебель.

У Бинга работал тогда один молодой мастер, Де-Фер. Работы его были оригинальны и исполнены с большим талантом. Я заказала ему веер, и он сделал мне хорошенькую вещь. Разрисовал шелк и сам же сделал оправу. Впоследствии Де-Фер покинул мастерскую Бинга, открыл собственный магазин и сделался известным, но дальнейшие его работы уже не так мне нравились. Его первая манера была самая интересная и оригинальная, так что я очень рада иметь от него вещицу, исполненную в первый период его художественной деятельности. Это был талантливый и оригинальный декоратор.

У Бинга я покупала еще интересные вазочки Тиффани. В его мастерской мне делали красивые оправы для них, и у меня собралась целая коллекция. Я также скупала на аукционах, на выставках, у коллекционеров изделия современной керамики с целью иметь при себе произведения разных стран как образцы. В особенности это мне удалось на выставке 1900 года в Париже.

Я также очень увлекалась concours hippiques[1]. Мы выставляли наших лошадей и получали лучшие призы. Этот блестящий результат был всецело делом рук Киту, так как она главным образом заведовала нашим конским заводом. Мы покупали хороших нормандских лошадей, посылали на завод и, скрещивая их с нашим русским производителем хреновских кровей, получали великолепных выездных лошадей.

* * *

Хотя моя коллекция акварелей была уже довольно велика, но многих известных мастеров в ней еще не хватало. Чтобы пополнить эти пробелы, я пригласила себе в помощь одного молодого, начинающего художника, А. Бенуа *. В то время он только еще начинал свою карьеру, и чуть ли не первой покупательницей его картин была я.

Отец «Шуры» — так звали Бенуа везде — не особенно доверял способностям сына и хотел, чтобы тот шел в адвокаты. «Шура» не слушал отца: его заветной мечтой было сделаться художником и поехать за границу для усовершенствования в своем искусстве. Но средств не было. Женившись очень молодым и имея уже семью. «Шура» не мог ехать, так как получал от отца всего сто рублей в месяц. Однажды он пришел ко мне, рассказал мне свое положение и просил меня помочь добиться своей цели, осуществить свою мечту. Я решила поддержать его и со своей стороны в течение трех лет выдавать ему по сто рублей в месяц, а также поручила ему приобретать для меня за границей акварели, открыв ему для этого

---

[1] Скачки (*фр.*).

* *В архиве кн. М. К. Тенишевой, находящемся сейчас у кн. Е. К. Святополк-Четвертинской, сохранилось большое количество писем от А. Бенуа, Репина, Врубеля, Бакста, Рериха, Нестерова и других русских художников.* — По имеющимся данным, архив не сохранился (*примеч. ред.*).

особый кредит. Я должна признаться, что не все приобретаемые им картины соответствовали вполне моим вкусам. Много было у меня акварелей, которыми восхищался Бенуа и к которым я, наоборот, была совершенно равнодушна. Я часто винила себя за недостаток характера, но иногда мне всего дороже был покой, и я на все соглашалась, чтобы избавиться от целых часов споров и пререканий, думая, что когда-нибудь дома все переберу и ликвидирую ненужное...*

В год нашего пребывания в Париже в Амстердаме готовился торжественный 400-летний юбилей Рембрандта[1], и мы с Киту надумали поехать туда посмотреть выставку, на которую были собраны со всего света шедевры этого мастера. Английский двор прислал самые лучшие экземпляры, Франция, Испания и множество частных коллекционеров приняли участие в этой выставке. Публика, посещавшая выставку, несмотря на то что ее было очень много, соблюдала тишину, говорили шепотом, как в церкви. Чувствовалось веяние истинной красоты.

Из Амстердама мы поехали в Хаарлем на один день. Нам хотелось видеть собрание картин ван Хальса, и могу сказать, что из всего путешествия выставка Рембрандта и эти картины ван Хальса произвели на меня одно из самых сильных впечатлений.

Хаарлем — крошечный, чистенький провинциальный городок, с тихим мирным житием. На улицах нет никакого движения, все точно спит, точно стоит задумавшись. Дома окружены садами, масса зелени, и там, где-то вдалеке, отодвинутый человеческими усилиями уровень моря, но не так, как мы привыкли его видеть, а неизмеримо выше, над нами. Чувствовалось, что море так высоко, что, если бы только прорвало мол,— мы моментально исчезли бы под водой. Черненькие дома (они все выкрашены там в черную краску) нисколько не мешали приятному впечатлению от города, а за городом, по сочным лугам, гуляли сытые коровы в попонах. На всем лежал отпечаток сытости, здорового, настойчивого и плодотворного труда. В особенности порадовало меня видеть рослых, здоровых спокойных женщин, с цветущими лицами, ненамазанных, неперетянутых, неизломанных, на которых глаз отдыхал.

Оттуда мы поехали в Брюссель — хорошенький, чистенький городок, настоящий маленький Париж. Музеи его великолепны. Заодно мы посетили и Антверпен. Музеи и город очень интересны, но всего интереснее его торговая пристань. Это совершенно особый мир, захватывающее зрелище кипучей деятельности, громадного оживления, какая-то всемирная ярмарка!

В Брюсселе я познакомилась с одним очень интересным молодым художником, Леоном Фредериком, у которого я приобрела 21 картон углем и итальянским карандашом на сюжеты деревенских работ: «Жатва», «Сбор фруктов», «Сенокос» и т. д. Картоны эти я поспешила присоединить к картинам для предполагавшейся в будущем году выставки «Мира искусств» в Петербурге

---

* *Здесь редакцией сделан пропуск по соображениям, указанным в предисловии.*

[1] Здесь, вероятно, опечатка. 300-летний юбилей Рембрандта отмечался в Амстердаме в 1906 г.

Когда мы посетили мастерскую Фредерика, мне очень понравилась серия его картин «Школьная жизнь детей», Бенуа же увлекся картонами углем, и я долго колебалась, на чем остановиться. Бенуа по обыкновению так стал уговаривать и убеждать, чтобы я взяла именно картоны, что я, несмотря на свое намерение остановиться на панно масляными красками, уступила — это все же были хорошие вещи. Как только я высказала свое решение, Леон Фредерик подошел к стене и, сняв с нее очень хорошенький рисунок, тут же подарил его Бенуа. Очевидно, он благодарил его за эту сделку, так как ему было бы гораздо труднее поместить куда-либо эти двадцать картонов углем, чем панно масляными красками. Бенуа страшно смутился, покраснел, стал отказываться, но Л. Фредерик принялся уговаривать его. Подарок принять все-таки пришлось.

Подобный же случай был при мне у одного старьевщика в Париже. Зная мою страсть к старинным вещам, Бенуа раз пришел ко мне сказать, что продается старинное кресло эпохи Ренессанс. Я поехала с ним к старьевщику, но кресло мне не понравилось. В нем были только старинные части, остальное же поддельное. Я сказала об этом по-русски Бенуа, но он настаивал на покупке. Хотя мне не хотелось покупать, но так как цена меня не пугала, то после утомительных споров я уступила и купила кресло и еще один понравившийся мне предмет. Между тем Бенуа, бродя по магазину, восхищался маленькой вещицей, календарем XVII века в художественном, изящном переплете. Не раз брал его в руки, любовался, опять клал на место. Когда сделка состоялась, продавец с любезной улыбкой принес календарь в подарок Бенуа. Произошла сцена, напомнившая мне эпизод у Фредерика. Бенуа, сердитый, почти грубо отказывался от «сувенира», а продавец ласково, настойчиво навязывал ему свой подарок, который, конечно, пришлось унести с собой.

Однажды Бенуа рассказал мне про одного скульптора, приехавшего из России, по имени Обер. По его словам, художник был беден, с трудом пробивал себе дорогу и нуждался в поддержке. Я согласилась поехать с ним к этому художнику в его мастерскую. Мы отправились куда-то на окраину Парижа, и там в действительно очень жалкой и бедной обстановке я увидела уже немолодого человека, его жену, жаловавшуюся нам на плохую, холодную квартиру, и, наконец, и сами творения его. Все, что я увидела, мне страшно не понравилось. Все это были какие-то звери, даже не стилизованные, а просто уродливые, какие-то грубые шаржи, болезненные, кошмарные изображения животных, тяжелые и неприятные. Художественного в них не было ничего. Мне все это так не понравилось, что я долго не могла даже говорить, да и не находила, что сказать. Я бы ни за что не стала покупать таких вещей, но раз поехав туда, зная, по рассказам Бенуа, бедственное положение художника, видя их бедную обстановку, очевидно, я должна была что-нибудь купить, поощрить. Однако выставленные вещи настолько отталкивали меня, что я никак не могла остановить свой выбор на чем-либо. Бенуа, видя мою нерешительность, тут же выбрал за меня одну вещицу, какую-то уродливую рыбу из желтой терракоты, отвратительного тона желтой поливы, которую бы на выставке, конечно, сам художник и всякий покупатель оценил бы, может быть,

в сто, двести франков, но мне она обошлась в семьсот. Ведь моя роль состояла в том, чтобы «поощрять» таланты.

Но этим дело с Обером еще не кончилось. Я еще раз уступила Бенуа, который просил меня заказать что-нибудь Оберу, например, фигурку одной из моих собак. Выбор пал на моего любимого грифончика Гри-Гри, которого моя девушка стала возить к Оберу на сеансы. По окончании работы Бенуа сам, к счастью, не Обер, привез мне гипсовую статуэтку, которую художник предполагал вылить из бронзы. Каков же был мой ужас, когда я увидала вместо моей миленькой, тонкой, изящной собачки какую-то карикатуру, какого-то неуклюжего, толстоногого зверя. Я была так возмущена, что решила даже отказаться от этого произведения. Конечно, пришлось за эту вещь вышвырнуть тысячу франков, но вещи я не взяла.

В Париже жил в это время Бакст, тоже приехавший, как и Обер, искать там счастья. Он очень бедствовал, и мне не раз пришлось помогать ему, давать заказы, чтобы доставить какой-нибудь заработок. С такой же целью я заказала ему однажды портрет Киту. Он вышел очень неудачным, конфетным и безвкусным. К тому же он изобразил свою модель с гитарой в руках, но гитаре придал такие размеры, что вышло что-то вроде контрабаса на животе. Чтобы вставить портрет в рамку, я должна была обрезать чуть не две трети гитары, но и то она занимает половину портрета, весь первый план поражает своей несоразмерностью.

Однажды Бенуа был спешно отозван из Парижа по случаю смерти своего отца[1]. Уезжая, он просил меня навещать его жену, оставшуюся с двумя детьми и нянькой-чухонкой. Раз я зашла к ней и, не застав, вошла посмотреть на детей. Старшая девочка, лет трех, играла тут же на полу, а младшая спала в комнате рядом, но вероятно, услыхав шум, она проснулась, и нянька, отворивши мне дверь и впустивши в первую комнату — рабочий кабинет Бенуа,— ушла к ребенку. Оставшись одна, я машинально огляделась вокруг... На рабочем столе и на камине лежали гравюры XVII, XVIII веков. Тут же стояла на столе маленькая трехвершковая кукла, одетая в костюм Людовика XIV, служившая, очевидно, манекеном, и лежала гравюра с летающим или прыгающим из окна человеком на фоне иллюминованного дворца...*

Вскоре после возвращения Бенуа из Петербурга с похорон отца он стал мне рассказывать о какой-то молодой, талантливой скульпторше из крестьянок, очень нуждающейся и подающей блестящие надежды, начал меня уговаривать взять ее на свое попечение, дать ей средства окончить свое художественное образование, говоря, что я этим не только сделаю ее, но и свою славу. Но все его красноречие на этот раз пропало даром. Помня историю с Обером, я отказалась наотрез принять участие в судьбе этой скульпторши. Потом, много лет спустя, мне пришлось очень пожалеть об этом решении. Однажды ко мне в Талашкино приехала одна дама, москвичка, близко знакомая со всем художественным миром Москвы и Петербурга. Она стала мне рассказывать о Голубкиной, скульпторше, вышедшей из народа, действительно настоящем таланте-самородке. Она теперь

---

[1] Архитектор Н. Л. Бенуа умер в 1898 г.

* *Опускается несколько строк по причинам, изложенным в предисловии.*

живет у родных в уездном городишке Зарайске, в самой бедной и некультурной обстановке, где она должна и работать. Ей никак не удается пробиться, вещи ее, несмотря на огромную художественную и даже материальную ценность (как, например, скульптура из дорогого хорошего дерева, превосходно выполненная), с трудом, едва-едва находят себе сбыт или продаются за самые ничтожные цены, не окупающие ей даже понесенные ею затраты на выполнение. Ей не удается получить заказы, так как к женщине-скульптору все еще чувствуется какое-то недоверие, предпочитают обращаться к посредственным скульпторам...

У меня глаза и лицо горели, когда я слушала ее. Она заметила мое волнение и говорит: «Кажется, я вас расстроила своим рассказом?» Тогда я не выдержала. Что-то больное дрогнуло в моей душе. Я тут же при всех рассказала, почему эта история так меня взволновала, ведь я давно слышала о Голубкиной и давно могла бы ей помочь... Для меня нет большего удовольствия, как помочь действительно настоящему художнику, человеку одаренному, любящему свое дело и погибающему только от недостатка средств. Но вот почему я не помогла ей? Почему не сделала этого шага?..

Надо сказать, что если трудна дорога каждого артиста, то для женщины-артистки она неизмеримо трудней. Говорю это не с точки зрения «квасного» феминизма — я феминисткой в этом узком смысле никогда не была,— но какая разница в отношениях к мужчине и женщине на одном и том же поприще? Как глубоко несправедливо и оскорбительно это отношение к женщине-художнице, женщине-артистке... Чтобы женщине пробить себе дорогу, нужны или совершенно исключительные счастливые условия, или же ряд унижений, компромиссов со своей совестью, своим женским достоинством. Через что только не приходится проходить женщине, избравшей артистическую карьеру, хотя бы одаренной и крупным, выдающимся талантом? Как бы талантлива она ни была, всегда она будет позади посредственного художника, и всегда предпочтут дать заказ третьестепенному художнику, чем женщине с явным и ярким талантом: как-то неловко... Ее, может быть, даже будут хвалить в газетах, будут говорить о ней и признавать в художественном мире, но поручить ей ответственную работу никто не решится, ее постараются дружными, сплоченными усилиями никуда не пропустить. Сколько таких примеров я видела в жизни! Способную художницу в течение трех или четырех лет не принимали в Академию только потому, что она женщина, так как нельзя сказать, чтобы все принятые мужчины оказались гораздо талантливее ее. Люди, ничем не заявившие себя, не сделавшие для искусства решительно ничего, о чем бы стоило говорить, ухитряются получать заказы, пристраиваются декораторами на Императорскую сцену, другие, столь же бездарные, ловко пролезают во всевозможные «хранители» музеев, библиотекари при них, заведующие художественными коллекциями, а сколько явных, кричащих бездарностей попадают в профессора, академики? Женщина с гораздо большим талантом может выдвинуться только чудом или способами, ничего общего с искусством не имеющими, ей каждый шаг дается только с невероятными усилиями... И сколько из них погибает или бьется всю жизнь в нищете, как эта Голубкина?..

XIII

Покупка Талашкина. Жизнь в Талашкине. Врубель и другие гости. Смерть Гоголинского

Вячеслав очень любил ездить в Талашкино. Несмотря на то что Хотылево представляло полную чашу, в Талашкине было уютнее — это было старое насиженное гнездо.

Для меня же поездки туда составляли истинный праздник, если бы только не постоянный страх, что Киту по семейным обстоятельствам будет принуждена в конце концов продать его в чужие руки. Мысль эта мучила меня, отравляя все удовольствие. Сколько раз я делилась с мужем моими опасениями, объясняя ему, почему она задумала расстаться с этим милым уголком. Киту очень хворала в это время, и ее преследовала мысль (под влиянием которой ее нервы расстраивались еще больше), что, случись с ней беда, имение, в которое она вложила столько забот, трудов, инициативы, столько души и любви, отойдет в руки ее очень дальних, малокультурных родственников как родовое *, и тогда все пойдет прахом: все ее начинания, улучшения, все начатки культуры, которые она с такими жертвами, такими усилиями насадила. То были люди плоские, ничем не интересующиеся, ни деревней, ни ее процветанием. Они не только не стали бы продолжать работу Киту, но, наверно, скоро бы свели все это на нет. Мысль эта положительно подтачивала здоровье Киту, а я страдала, глядя на нее.

Князь каждый раз утешал и успокаивал меня, говоря, что он этого не допустит, что он сам приобретет его. Но в то время это совершенно не устраивало его. Он очень был занят упорядочением дел на заводе, и главная деятельность его сосредоточивалась в Бежеце. Тогда же мы приобрели Хотылево. Я очень волновалась. Хотя мне доставило большую радость приобретение этого красивого имения, где мы отдыхали после шумной, хлопотливой и подчас утомительной заводской жизни, но я боялась, как бы из-за этого вопрос о Талашкине не отошел на задний план, как бы князь не перестал интересоваться им, так как действительно иметь два имения очень затруднительно и неудобно. Но все эти тревоги наконец рассеялись, случилось чудо — муж решил сам купить Талашкино. Когда это было решено между нами и Киту, мы собрались туда из Хотылева к 22 июля, дню моих именин, уже не как гости, а как будущие хозяева. Недоставало только совершения формальностей. Я была в восторге и вполне успокоилась за судьбу всеми любимого Талашкина, а у Киту камень свалился с души.

Накануне моих именин к нам приехал кое-кто из знакомых, между прочим и Сергей Иванович Петровский **. С вечера была отслу-

---

* *По закону такое имение нельзя было завещать государству или какому-нибудь культурному учреждению.*

** *Один из директоров Брянского завода.*

жена всенощная, и все, казалось, шло по-хорошему. Хотелось по-христиански, по-старинному встретить день моего ангела. На душу пахнуло чем-то давно забытым, прежним, старым, помещичьим житьем-бытьем, где к каждому семейному торжеству деды наши приступали с молитвой. Вячеслав был в духе, я ликовала, Киту улыбалась... Остальные тоже были веселы, не говоря уже о прислуге, которую эти забытые, но трогательные обычаи всегда приводят в умиление.

После всенощной пили чай и долго весело болтали, сидя на балконе в тишине ласкающей, теплой июльской ночи, вдыхая медовый аромат цветущих лип, смешанный с тонким запахом резеды и левкоев. Потом, простившись, мирно разошлись по своим комнатам.

На другое утро я, радостная и нарядная, вышла из своей комнаты, ища мужа, чтобы с благодарностью броситься ему на шею за чудный жемчужный аграф, который я нашла, проснувшись, на своем столе. Я была до глубины души тронута его милым вниманием. Однако я не нашла мужа нигде. Я осведомилась у прислуги, и каково же было мое изумление, когда я узнала следующее:

— Князь изволили по обыкновению кушать чай на балконе в семь часов, потом пришел Сергей Иванович, ему тоже подали чай. Князь с Сергеем Ивановичем стали о чем-то спорить. Потом князь вынули часы и сказали, что еще успеют попасть на поезд, и тут же приказали закладывать лошадей, оделись и уехали с Сергеем Ивановичем в Бежецу.

Я ничего не понимала и была потрясена. Легко сказать: «Уехали в Бежецу». Да ведь до Бежецы шесть часов по железной дороге! Поехав туда утром, можно вернуться только на следующий день. Значит — в день моих именин не будет ни мужа, ни гостя, приехавшего, по его словам, исключительно к этому дню. Что же это такое? Не случилось ли чего-нибудь?

Предвидя массу осложнений на этот злосчастный день, я совершенно растерялась... По всем вероятиям, наедут к обеду гости из Смоленска, губернатор, архиерей и многие другие. Что я им скажу? Как объясню отсутствие мужа в такой день?

Муж, вообще, кроме Нового года не признавал никаких торжеств, тщательно скрывая дни своих именин и рождения и легко забывая эти дни у других. Но этому могли не поверить. Пожалуй, подумают, что мы разъехались, поссорились. Бог весть какие небылицы сочинят и пойдут передавать друг другу: провинциальное общество всегда так радуется каждой новой сплетне. Кроме того, если этот казус дойдет до мужниной родни, какое там будет ликование в предвидении возможной и желанной катастрофы! Этого только недоставало... Нет, допустить это было бы слишком глупо. Эта последняя мысль точно пришпорила меня...

Предвидеть такого обстоятельства я, конечно, не могла, но надо было энергично перенести его последствия, загладить их. Жемчужный аграф был слишком незначителен, чтобы оправдать в глазах посторонних людей поступок мужа, нужно было более крупное событие, чтобы одним фактом затмить отсутствие мужа, отвлечь от него внимание, превзойти его важностью. Вдруг меня осенила блестящая мысль. Я села за стол и быстро написала смоленскому нотариусу, прося его немедленно приехать ко мне с книгами. бума-

гами, печатью и марками для совершения запродажной записи на Талашкино. Видя мое волнение, Киту не посмела противиться ничему и с испуганными глазами, молча, подчинилась всему. Сказано — сделано. Через несколько часов Талашкино было моим [1]. Чтобы сохранить память об этом богатом событиями дне, я убрала стол всеми моими подарками и на первом месте положила талашкинскую запродажную, а потом со всего этого была снята фотография.

Как я и предполагала, к обеду наехали гости из Смоленска. Конечно, отсутствие князя вызвало на лицах нескрываемое недоумение, но когда я объявила новость о покупке мной Талашкина, недоумение сменилось изумлением. Я объяснила, что муж собирался сделать это именно сегодня, но депешей спешно был отозван на завод и, уезжая, просил меня, чтобы запродажная все-таки была бы непременно совершена в этот день, несмотря на его отсутствие, потому что это мой именинный подарок. Мои гости выразили мне массу искренних поздравлений, весело пировали у меня весь этот день, а у меня изрядно щемило на сердце... Завтра не за горами: придется отдавать мужу отчет о моих действиях... Что-то он скажет?

Вернувшись на другой день, он предобродушно, с какой-то детской наивностью, объяснил мне, как все случилось. Заспорив с Петровским и позабыв обо всем, они просто-напросто поехали в Бежецу доканчивать спор, чтобы там на месте доказать свою правоту и друг друга убедить.

Настала моя очередь. Изрядно робея, я понемногу рассказала все то, что мне пришлось пережить за весь день, и как я нашла выход из моего затруднительного положения. К моему удивлению, муж не только не рассердился, но обнял меня, назвал умницей и, тут же пригласив Киту в кабинет, объявил ей, что покупает Талашкино для меня с тем условием, что она в нем по-прежнему останется полной хозяйкой. Я вполне разделяла чувства мужа: Талашкино должно было остаться в ее ведении. Я считала это только справедливым. Вот как Талашкино сделалось моим. Меня факт покупки Талашкина еще раз убедил, что с мужем надо действовать, а не говорить.

Вячеслав всегда сочувственно относился к моим начинаниям, особенно, когда они подходили к его расчетам. Покупка Талашкина как раз совпала с его намерениями покинуть брянское дело. Выйдя из него, он предполагал проводить зимы за границей.

В Хотылево он почти перестал ездить потому, что там ему очень надоели рабочие со всевозможными просьбами, а служащие, жалея об его уходе, приставали с уговорами изменить свое решение и не покидать дела. Но решение его было непоколебимо. Таким образом, Хотылево потеряло мало-помалу свое значение и смысл. Мы большую часть лета проводили в Талашкине. Кончилось тем, что Киту приходилось одной туда ездить, следить за хозяйством и конным заводом, начинавшим уже давать прекрасные результаты.

Понемногу муж стал заговаривать о продаже Хотылева. Как ни грустно, но приходилось примириться с действительностью, сознаться, что жить на два имения делалось весьма затруднительно. Лето

[1] М. К. Тенишева купила Талашкино в 1893 г.

было слишком коротко, ни тут, ни там не удавалось сосредоточиться, время разбивалось без пользы.

Поездки в Хотылево обыкновенно сопровождались огромными осложнениями, требовалась целая организация. У нас всегда гостило много народу: несколько друзей, знакомых, родственников, кто-нибудь из художников, Гоголинский, пианист Медем, скрипач Фидельман и другие. Иногда нас переезжало из одного имения в другое человек по двадцати, да еще ехала прислуга, любимые собаки, охотничий сеттер князя и много багажа. Уморительно бывало видеть нас всех на станции в ожидании поезда — мы положительно изображали цыганский табор. Ввиду непродолжительного путешествия (часов шесть по железной дороге), каждый из нас тащил в руках вещи первой необходимости. Тут были дорожные мешки, несессеры, ящики с красками, фотографические аппараты, обилие зонтов с непромокаемыми накидками, ружья, корзины с провизией, в довершение всего назойливо бросалась в глаза пара колоссальных болотных сапог мужа на колодках, почему-то постоянно фигурировавших на первом плане. Поезд в Тычинине, нашем ближайшем полустанке, стоял всего три минуты, и за это короткое время надо было успеть сесть в вагон, да еще нагрузить весь этот пестрый багаж. По приходе поезда начиналась неимоверная суета. Врываясь с обоих концов нашего специального вагона, мы все лезли сразу, бросаясь вперемежку с вещами, с собаками, задыхаясь, с криком и смехом, в то время, как из окон соседних вагонов высовывались десятки удивленных физиономий, с любопытством следивших за этим даровым представлением.

Меня эти перекочевывания забавляли, да и трудно было смотреть без смеха на озабоченные лица нашей компании. Все в волнении что-то говорят разом, как будто тут речь шла о жизни и смерти. А мужу это надоело, он любил путешествовать налегке. В конце концов, это передвижение народов сделалось утомительным и всех стало тяготить. Не успеешь пустить корни в Талашкине, приняться за какую-нибудь работу, втянуться, углубиться в нее, как вдруг приходилось все бросать, чтобы на несколько дней снова ехать в Хотылево, то из-за заводских дел, то из-за охоты мужа. Кончилось тем, что Хотылево было продано графине М. Н. Граббе, и хотя я очень горевала, расставаясь с ним, все же меня утешала мысль, что оно попало в руки моих давнишних знакомых, симпатичных, культурных людей, умеющих ценить красоту. Графиня Граббе, урожденная княжна Оболенская,— наша соседка по Талашкину, красавица, симпатичное милое существо, которым я всегда любовалась. Я давно знала ее, еще девушкой. Их имение, Кощино, было в семи верстах от нас, и мы виделись каждое лето.

Жаль, до боли жаль было мне моих трудов, всех тех минут борьбы, радостей и огорчений, нравственно связавших меня с Бежецей навеки. Уход мужа из дел сразу оторвал меня от этой полной, осмысленной, творческой деятельности на заводе и от Хотылева, где все без исключения было создано моею фантазией. Жаль было чудного вида и того широкого, безбрежного простора, которым я никогда не могла достаточно насладиться. Жаль было теплой благодарной почвы, на которой все так пышно произрастало. Жаль величественную красавицу Десну. Прикованная ее плавным, убаюкивающим

Мария Клавдиевна Тенишева.
1891—1900 гг. (?)

Мария Морисовна фон Дезен в Спешневской гимназии. 1870-е гг.

На обороте фотографии надпись: *Снято в Париже в 1873 г. ? Мария Морисовна ф.-Дезен, р. 29/V 1856 г., была замужем недолго за Р. Н. Николаевым. Впоследствии княгиня Мария Клавдиевна Тенишева*

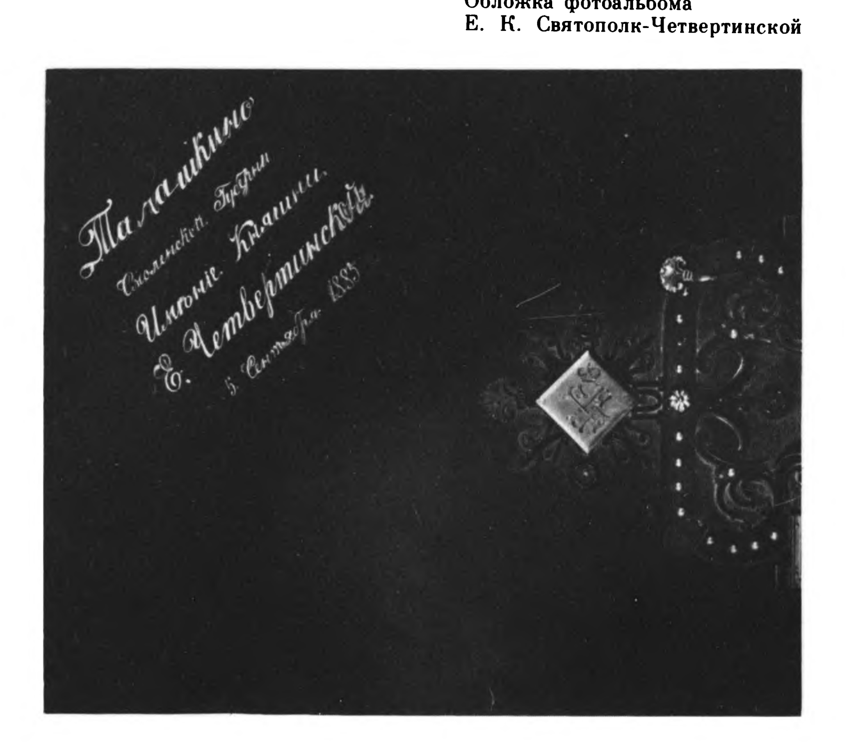
Мария Клавдиевна Тенишева.
Париж, 1899 г. (?)

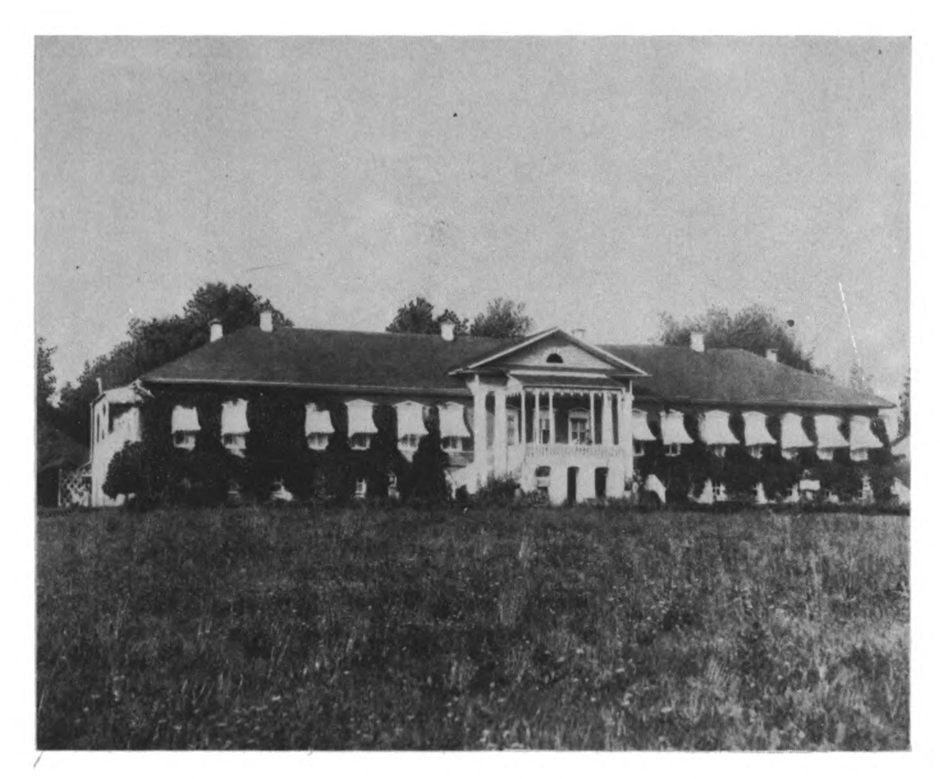
Мария Клавдиевна Тенишева.
Петербург, после 1894 г.

Мария Рафаиловна Николаева —
дочь М. К. Тенишевой.
Париж, 1902 г.

Княгиня
Екатерина Константиновна
Святополк-Четвертинская.
Париж, 1899 г.

Обложка фотоальбома
Е. К. Святополк-Четвертинской





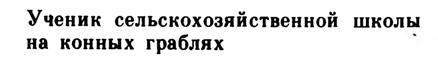
Фасад господского дома в Талашкине.
Из альбома
Е. К. Святополк-Четвертинской

Интерьер господского дома в Талашкине.
Из альбома
Е. К. Святополк-Четвертинской

Хозяйственный двор.
Из альбома
Е. К. Святополк-Четвертинской

Пожарная команда.
Из альбома
Е. К. Святополк-Четвертинской

Двор сельскохозяйственной техники.
Из альбома
Е. К. Святополк-Четвертинской

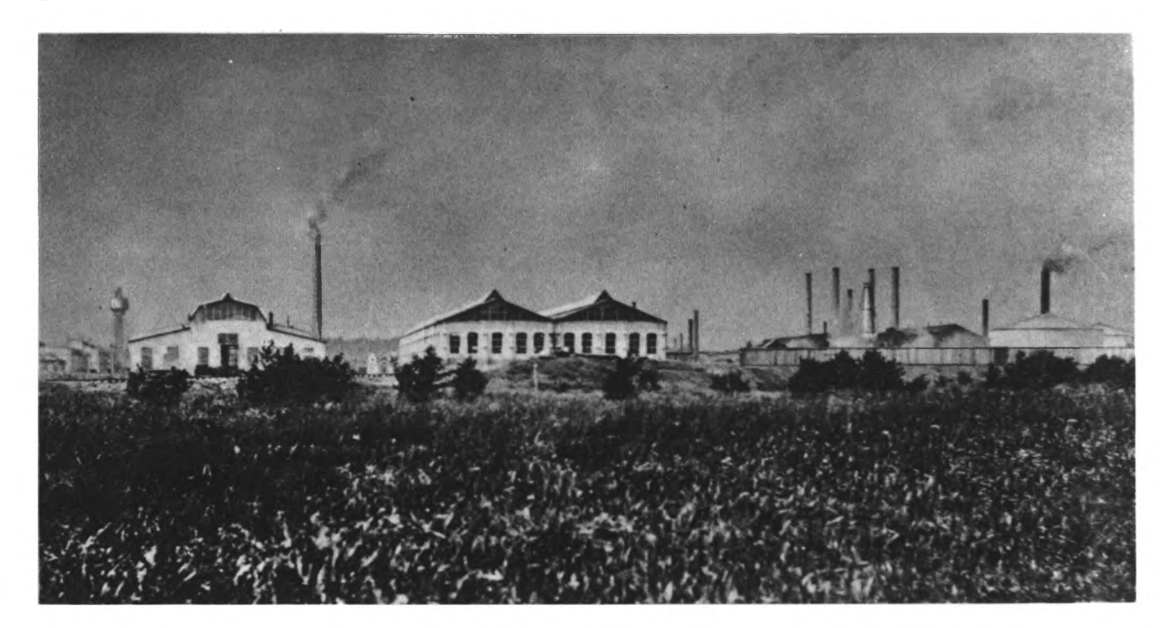


Ученик сельскохозяйственной школы на конных граблях

Князь Вячеслав Николаевич Тенишев.
1900 г.

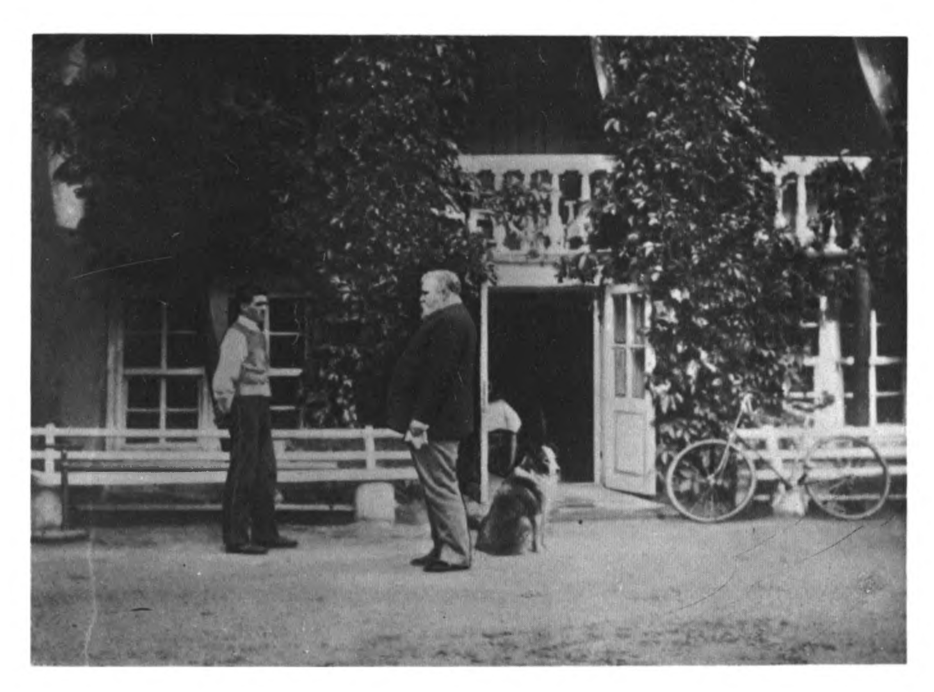
На обороте фотографии надпись:
Агроном дает совет крестьянину, а тот себе на уме.
Из материалов этнографического бюро В. Н. Тенишева

Один из брянских заводов
В. Н. Тенишева



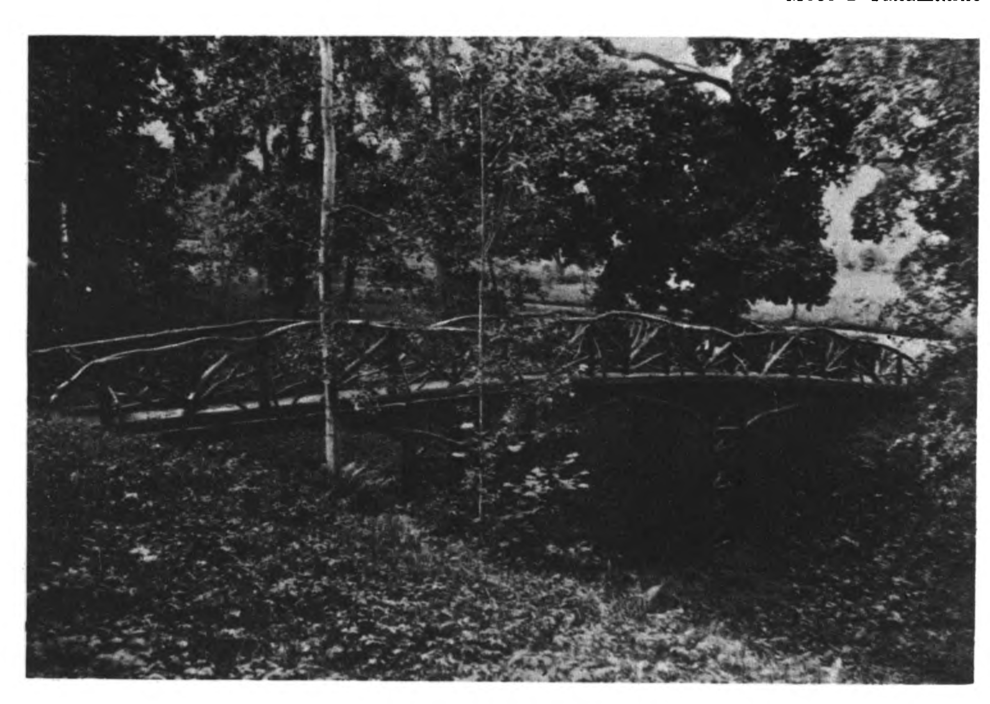
Хотылево — имение князей Тенишевых

В. Н. Тенишев беседует со служащими перед домом в Талашкине

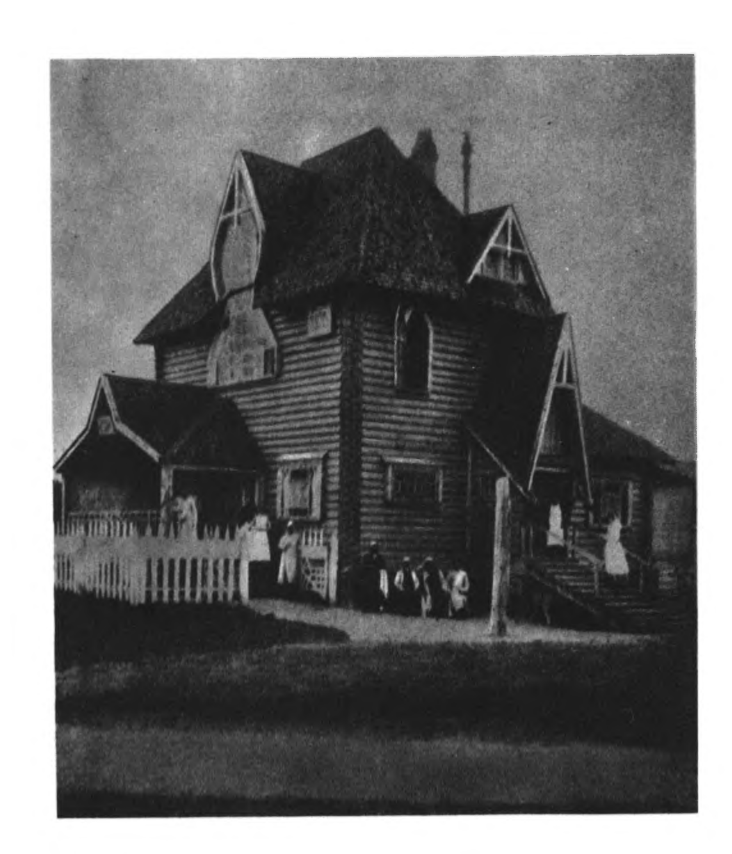


Талашкино. У ворот стоит
Е. К. Святополк-Четвертинская

Мост в Талашкине



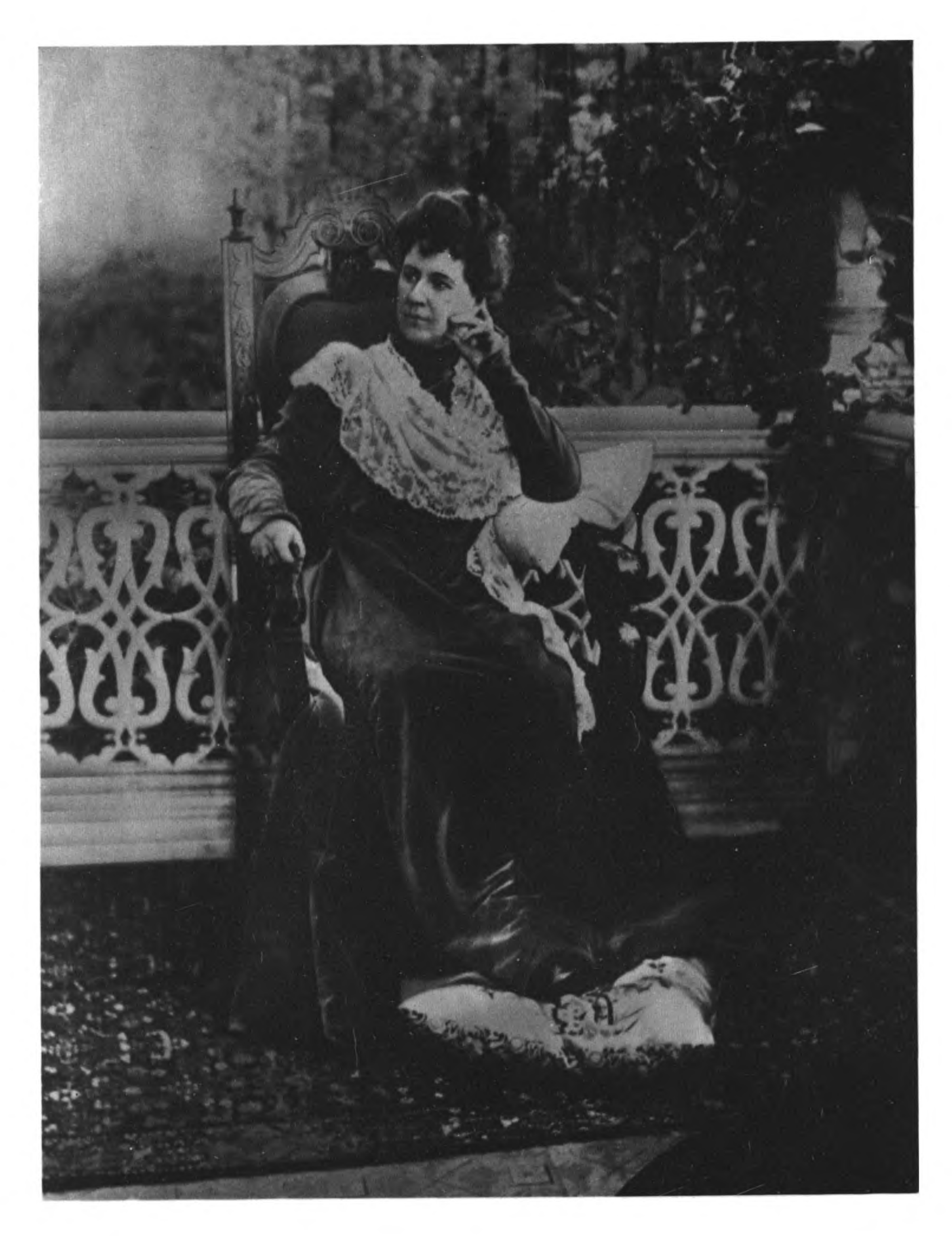
Ворота в Талашкине



Талашкино. Дом С. В. Малютина.
Почтовая открытка.
(Во время русско-японской войны в нем был устроен лазарет для выздоравливающих воинов)

Господский дом в Талашкине

Балкон дома в Талашкине.
Почтовая открытка



М. К. Тенишева на балконе
своего дома в Талашкине

М. К. Тенишева на этюдах

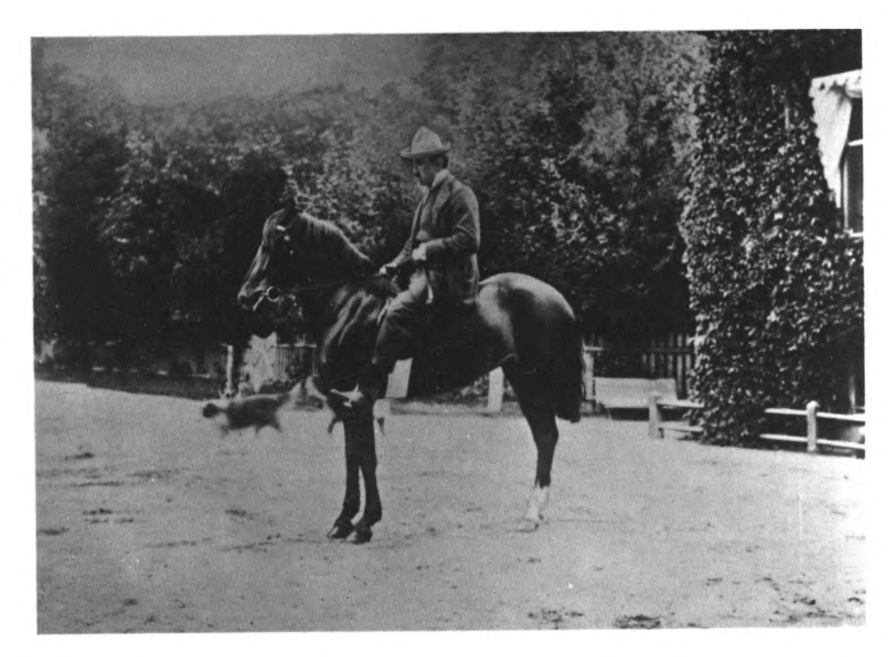
М. К. Тенишева и И. Е. Репин на этюдах

М. К. Тенишева в своей мастерской в Талашкине (слева — портрет Е. К. Святополк-Четвертинской с собакой, справа — В. А. Хренниковой, секретаря М. К. Тенишевой, на балкончике стоит В. А. Хренникова)

М. К. Тенишева пишет портрет
В. А. Лидина в своей мастерской
в Талашкине

М. К. Тенишева и И. Ф. Барщевский
в керамической мастерской

М. К. Тенишева в саду



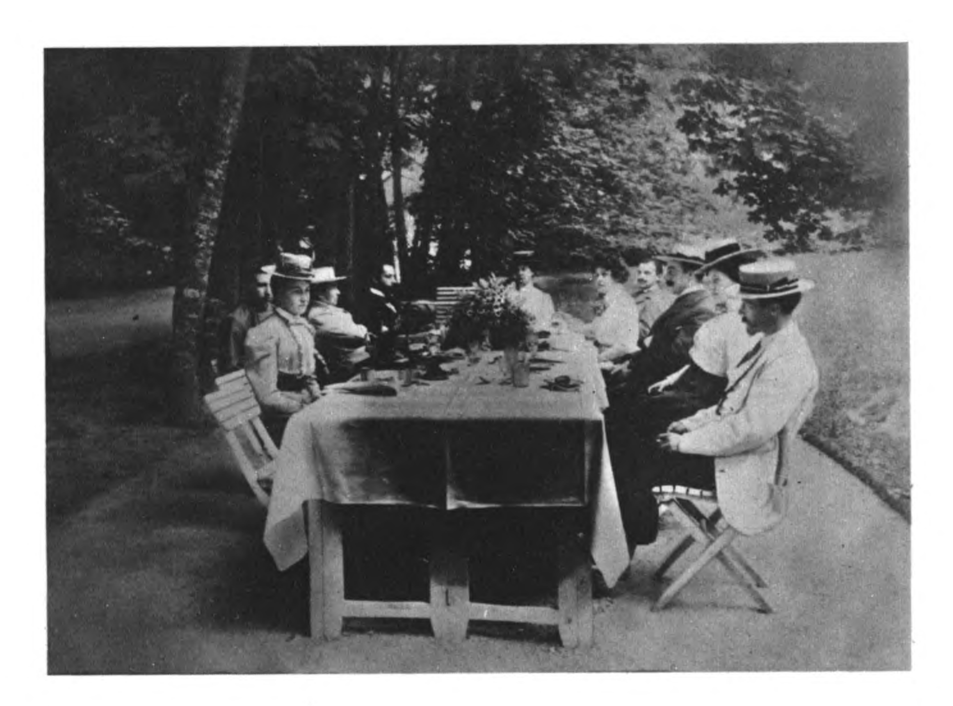
Скульптор П. П. Трубецкой на лошади в Талашкине

Скульптор П. П. Трубецкой лепит фигуру М. К. Тенишевой

У господского дома в Талашкине сидят с балалайками слева направо: В. Лидин, В. Хренникова, Е. Святополк-Четвертинская, М. Тенишева, неизвестное лицо

В. Андреев — организатор первого оркестра русских народных инструментов. Талашкино. 1898—1899 гг.

У дома в Талашкине. Слева направо: неизвестное лицо, Е. К. Святополк-Четвертинская, М. Р. Николаева (дочь М. К. Тенишевой), В. А. Хренникова, В. А. Лидин, А. В. Прахов, сидит на земле барон Мэдэм, М. К. Тенишева, Софи Ментер, А. А. Куренной, П. П. Трубецкой. 1900 г.



Завтрак на открытом воздухе.
Слева направо: В. А. Хренникова,
Е. А. Хренников,
Е. К. Святополк-Четвертинская,
барон Мэдэм, М. К. Тенишева,
В. А. Лидин, С. В. Малютин, Эйдельман;
женские лица неизвестны

Пикник на берегу Днепра.
Слева направо: дочь И. Ф. Барщевского,
М. К. Тенишева (сидит на табурете),
жених дочери И. Ф. Барщевского,
неизвестная девочка,
Е. К. Святополк-Четвертинская,
В. А. Хренникова, Е. А. Хренников (?),
барон Мэдэм

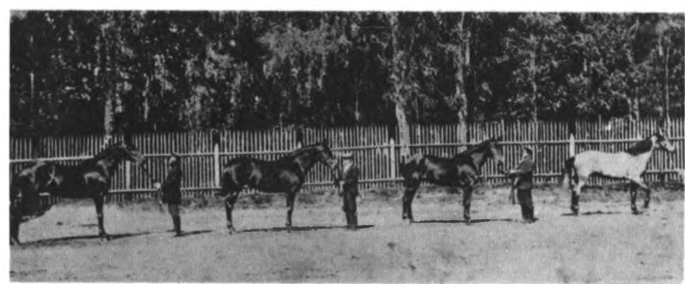
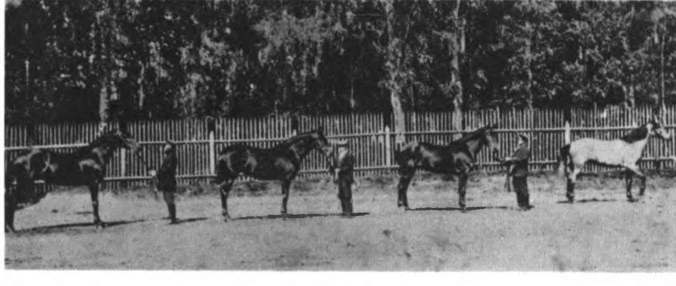
Подготовка к прогулке на велосипедах

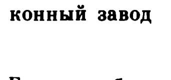
Теннисный корт в Талашкине. Лето 1900 г.

Автомобиль с личным шофером Тенишевых. (Был куплен В. Н. Тенишевым в Париже за 10 тыс. руб. золотом, на подъеме приходилось тянуть волами)

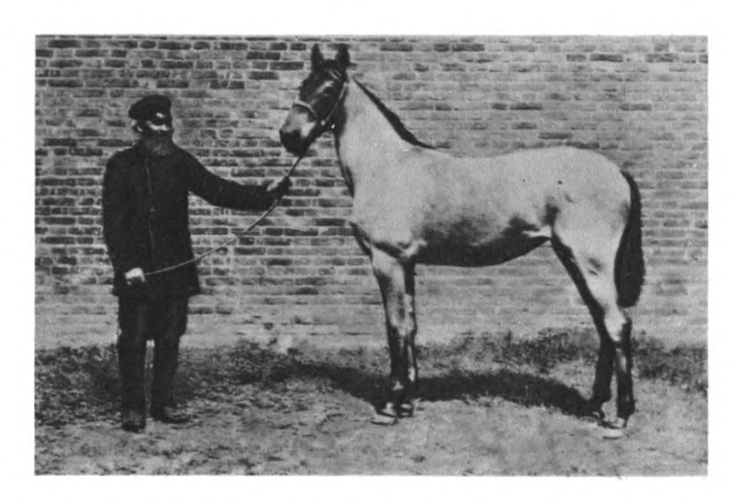
Служащая М. К. Тенишевой в праздничном костюме

Прислуга М. К. Тенишевой в талашкинском доме



Талашкинский конный завод



Гнедая кобыла-трехлетка Разлюли-Малина. (На Всемирной выставке в Париже получила «Гран-при» и золотую медаль)

Конюхи-англичане князя Тенишева

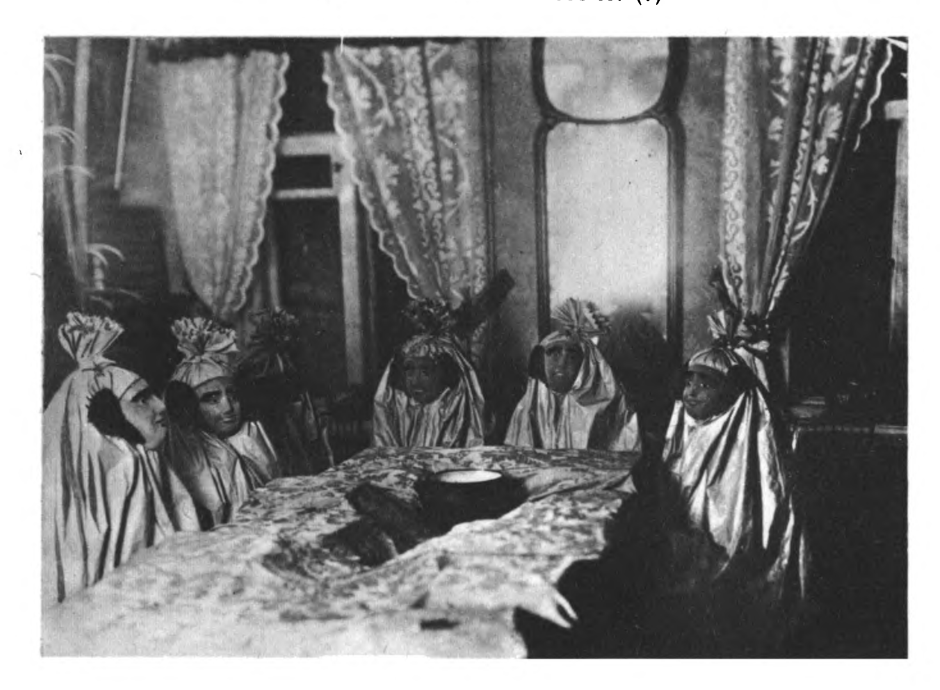
Праздничное гулянье
в Талашкине. 1901 г.

Праздничный день в Талашкине.

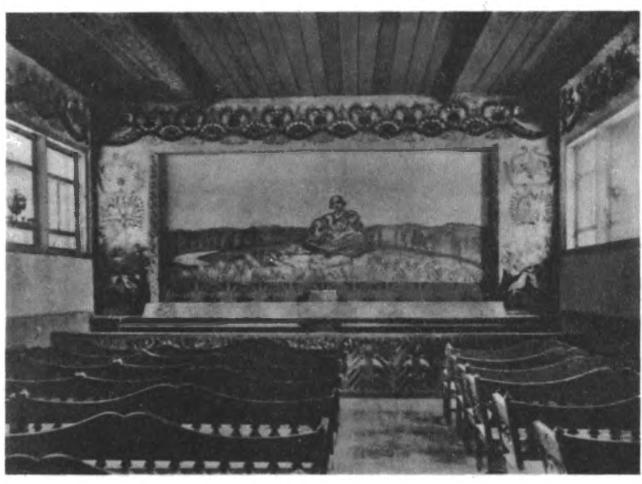
М. К. Тенишева на базаре.
Осень 1902 г.

Костюмированный праздник в Талашкине. Шестой слева в венке — В. Н. Тенишев, четвертая справа в кокошнике — М. К. Тенишева. 10 июля 1901 г.

Рождественский маскарад в Талашкине. «Совет Египетских жрецов». 1898—1901 гг. (?)



Театр в имении Талашкино.
Почтовая открытка



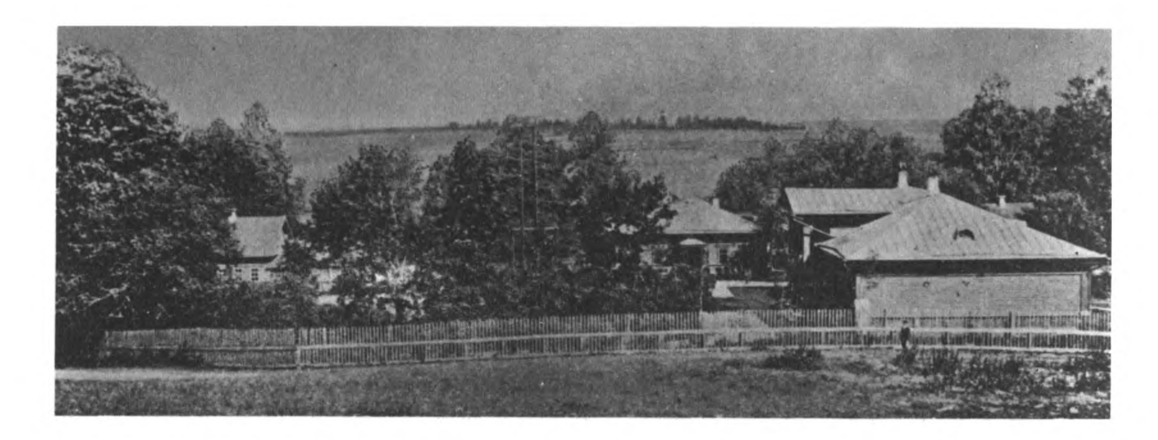
Занавес
Талашкинского театра
работы С. В. Малютина.
Почтовая открытка

«Ревизор» на сцене
Талашкинского
театра

Зал акварелей,
пожертвованных М. К. Тенишевой
в музей Александра III

В музее Александра III,
вторая слева — М. К. Тенишева

В. А. Серов пишет портрет М. К. Тенишевой, с книгой — Е. К. Святополк-Четвертинская (петербургский дом Тенишевых на Английской набережной). 1898 г.



Талашкинская народная школа.
Почтовая открытка

Ученики, учителя и служащие Талашкинской школы

Школа для девочек (Бобыри?), 1897-1900 гг.

Балалаечный оркестр Талашкинской школы. Ученики и учителя

Учителя музыки и пения Талашкинской школы супруги Н. Г. и Е. И. Панковы

М. К. Тенишева (сидит третья слева) с учителями и служащими школы в Талашкине. 1898—1899 гг.

Изделия, исполненные в мастерских
М. К. Тенишевой.
Почтовая открытка

Крестьянская девочка
(дочь художника С. В. Малютина?)
в костюме по эскизам С. В. Малютина.
1899 г.

Визитная карточка магазина
«Родник» в Москве

Терем во Флёнове.
Архитектор С. В. Малютин.
Почтовая открытка

Скрыня в Талашкине. Первый русский этнографический музэй М. К. Тенишевой. У дома стоят В. А. Хренникова и М. К. Тенишева

Котлован под церковью во Флёнове

Освящение места постройки церкви во Флёнове

Храм Святого Духа во Флёнове

Музей «Русская старина» в Смоленске. *Почтовая открытка*

М. К. Тенишева за работой
в своей эмалевой мастерской
в Малом Талашкине под Парижем

Могила М. К. Тенишевой.
Надгробная плита сделана
по рисунку художника И. Я. Билибина

течением, задумавшись, я часто подолгу сиживала на берегу. Сколько она унесла за собой моих заветных дум, надежд, мечтаний!..

Меня всегда тянуло к средней полосе России. Я любила в ней роскошь липовых лесов Тульской губернии, глубокие овраги, покрытые густой зарослью дубняка, с пышными благоухающими травами, в которых ютилась душистая дикая клубника, необозримые пространства степей, сплошь до горизонта покрытые волнующейся, как море, рожью. Много раз, гостя у Маши Николаевой, я в этих вековых лесах проводила часы, как казалось мне тогда, в несбыточных мечтах, не подозревая, что судьба поможет мне многое осуществить...

Часть Брянского уезда Орловской губернии, где мы жили, была дорога мне тем, что напоминала с детства любимую мной Тульскую губернию. Однако надо было подчиниться обстоятельствам. Видно, не судьба мне была жить в этих краях...

В это время в Талашкине, кроме постоянных гостей, жили еще Михаил Александрович Врубель с женой, молодой композитор Яновский, кое-кто из Смоленска и Василий Александрович Лидин, приехавший преподавать игру на балалайке в моей школе. С Врубелем мы были большими приятелями. Это был образованный, умный, симпатичный, гениального творчества человек, которого, к стыду наших современников, не поняли и не оценили. Я была его ярой поклонницей и очень дорожила его милым, дружеским отношением ко мне. Такие таланты рождаются раз в сто лет, и ими гордится потомство. Сидя со мной, он, бывало, рисовал и часами мечтал вслух, давая волю своей богатой, пышной фантазии. Малейший его эскиз кричал о его огромном даровании. В это время я была занята раскраской акварелью по дереву небольшой рамки, и этот способ его заинтересовал. Шутя, он набросал на рамках и деках балалаек несколько рисунков, удивительно богатых по колориту и фантазии, оставив мне их потом на память о своем пребывании в Талашкине.

Когда Хотылево было запродано, Киту поехала его передавать сама. Имея дело с хорошими людьми, хотелось сделать это возможно лучше. Из дружбы ко мне она взяла на себя этот труд. Я была еще очень расстроена, а муж был в Петербурге. Поезд, с которым Киту должна была возвратиться из Хотылева, приходил в Тычинино во втором часу ночи, и я позаботилась приготовить ей поужинать. Вся моя компания также захотела дожидаться ее. Видя меня грустной, окружающие старались всячески меня рассеять и задумали устроить какую-нибудь шутку. Решено было всем переодеться прислугой, потушить все лампы, кроме залы, и устроить забавную встречу. Прислуге было велено спрятаться и не встречать Киту на подъезде, чтобы она сама вошла в залу и увидела следующую картину: вокруг стола, при свете одной свечи в бутылке, сидела в самых непринужденных позах целая дворня, вокруг валялись бутылки, кто пел, кто играл на гармонике, а некоторые пресерьезно дулись в дурачки. Врубель ухарски заломил фуражку набекрень, в расстегнутом мундире изображал денщика. Надежда Ивановна, его жена,— хворенькую бабенку, закутанную в шаль, моя приятельница Е. В. Сосновская — поваренка, Лидин в русской рубашке — кучера, остальные — кто судомойкой, кто буфетным мужиком, а Фидельмана, благодаря его крошечному росту, спеленали, и я изображала его няньку.

Как мы предполагали, так и случилось. Киту, удивленная темнотой во всем доме и тем, что никто ее не встретил, услыхав какие-то непривычные звуки гармоники из залы, шум и смех вошла в залу и остановилась на пороге в изумлении. А мы так вошли в роль, что даже на минуту обманули Киту картиной затеянной прислугой попойки. Но тут кто-то рассмеялся, и мы все окружили ее, один лишь Фидельман лежал забытый, спеленутый на полу и орал благим матом, стараясь высвободиться.

Киту была довольна результатом своей поездки и, хотя усталая, утешала меня, говоря, что графиня в восторге от своего приобретения и будет любить и беречь Хотылево. Дело было сделано. Надо было смириться, приняв случившееся как указание, волю самой судьбы.

* * *

Все воображение, а главное, энергия, которую я вложила в создание Хотылева, и широкая деятельность моя в Бежеце не могли уже более замереть во мне. Прилив здоровых сил снова и снова толкал меня к новому творчеству и новому труду. Перенеся всю мою любовь на Талашкино, утешенная, примиренная, с обновленными и удвоенными силами я приступила к новым задачам.

Удивительно, сколько раз в жизни человеку приходится начинать сначала... Судьба, вырывая его с намеченной дороги, толкает его по другому пути, а люди строго осуждают за это человека, упрекая в непоследовательности. В особенности в таких случаях достается женщинам... Судить легче, чем действовать. Они осуждают, не считаясь с тем, что нами руководит высшая воля...

Итак, Талашкино сделалось нашим постоянным летним пребыванием, а зиму мы проводили, как всегда, в Петербурге, иногда же уезжали за границу. Жизнь в Талашкине потекла легкая и приятная. Каждый из нас имел свою арену деятельности, каждый по-своему пустил корни. Киту, успокоенная за свое дорогое гнездо, с удвоенным рвением предалась сельскому хозяйству, к которому примкнула новая страсть — конный завод, переведенный из Хотылева. Муж предпринял огромный труд по русской этнографии и часами работал, запершись у себя в кабинете. Я занялась созданием школы, а все остальное время посвящала мастерской, трудясь над рисунком.

Кроме постоянных жителей, в Талашкине у нас подолгу гащивали в разное время Репин, Прахов, Софи Ментер, знаменитая пианистка, Коровин, Ционглинский, Трубецкой — скульптор (лепивший с меня статую в продолжение трех месяцев и очень неудачно), Врубель, Владимир Ильич Сизов, приятели и родственники мужа и кое-кто из Смоленска.

Мы часто предпринимали большие прогулки пешком и в экипажах. Муж играл со своей компанией в крокет, ездил на велосипеде. По вечерам устраивались музыкальные вечера: трио и квартеты с участием Вячеслава, хорошо игравшего на виолончели (он был учеником Давыдова), дуэты — виолончель с пением. Я часто и много пела. Все очень любили эти вечера и, рассевшись каждый в своем углу на любимом кресле в нашей большой зале, специально нами

переделанной для этой цели, целыми часами засиживались, наслаждаясь музыкой.

Днем можно было обойти все Талашкино и никого не найти. У всех были свои рабочие часы, каждый зарывался в свое дело, только из открытых окон флигеля неслись, переплетаясь в невообразимую какофонию, игра Медема на рояле и бесконечно повторяемые скрипичные фиоритуры и упражнения Фидельмана.

Один из таких мирных, счастливых летних сезонов был отравлен смертью моего друга и учителя Гоголинского. Случилось это 7 июля. Мы в этот день собрались копать курганы на Соже, в двух верстах от дома. В это лето у нас гостили сестра мужа Остафьева с дочерью Кати, Е. А. Сабанеев, директор О-ва поощрения художеств, приехавший в это утро из Петербурга, и художник Ционглинский. На место раскопок поехали большой компанией, кто в экипаже, кто на велосипеде. По приезде на место все разделились. Мы с Нилом Алексеевичем отправились копать, одни — удить рыбу, другие купаться или просто бродить по берегу речки. Гоголинский в этот день был очень весел. Утром он ездил на велосипеде к шоссе встречать Сабанеева, желая похвастаться ему, что всего за три дня до его приезда обучился этому искусству. Во время раскопок он не отходил от курганов, и мы снялись там на одном из них целой группой, он вышел смеющимся. День был настоящий летний и какой-то особенно радостный. Домой вернулись поздно, за обед сели в восемь часов. По обыкновению пили шампанское, весело болтали, смеялись, без конца вышучивая друг друга. Мне, конечно, как всегда, доставалось от мужа за мою страсть к старине и раскопкам — это была его любимая, неистощимая тема.

После обеда — погода была так хороша, что в комнатах не сиделось,— мы пошли всей компанией прогуляться, растянувшись группами и попарно длинной вереницей. Вернувшись к чаю, я вдруг заметила, что между нами нет Нила Алексеевича. За ним пошли, заглянули в его комнату, обошли весь дом и парк, опять забежали в его комнату — его не было. Нас это обеспокоило. Становилось поздно, а он не возвращался. Решили наконец пойти на поиски той же дорогой, где мы только что проходили. Прихватили с собой прислугу с фонарями. Мы пошли мимо сада по большаку, громко окликая его и делая всевозможные предположения. Утомившись за день, он легко мог незаметно отстать от нас и, присев где-нибудь за деревом, задремать. А то — от непривычки к вину у него могла закружиться голова...

По обе стороны дороги на пригорках тянулся лесок, по которому рассыпались во все стороны люди с фонарями. В тишине таинственной ночи замелькали между деревьями то там, то сям загадочные огоньки. Настала жуткая тишина, изредка прерываемая только треском сухих веток под ногами удалявшихся людей, да в траве неумолчно трещали кузнечики. С затаенным дыханием, со сдавленным горлом, вся превратившись в слух, я замерла, стоя одна на перепутье. Делалось все таинственнее, все страшней. Сердце, болезненно сжимаясь, с силой, точно молотком, стучало в груди и ушах. Понемногу умирала надежда. Где-то в душе зашевелилось предчувствие чего-то неминуемого, неотразимого. Минуты казались вечностью...

Вдруг из глубины леса чей-то голос произнес: «Вот он!» На полгоре в лесу остановился огонек, потом другой, третий, а там со всех сторон бежали остальные, быстро стягиваясь к одному месту. Наступило гробовое молчание. Природа тоже молчала, прикрывая великую тайну жизни и смерти...

Спустя немного тот же голос спросил:

— Что сердце? бьется?.. Нет?

— Нет... Все кончено...

Слова эти падали, как тяжелые удары. Истина предстала — не стало моего друга, тихого, сердечного человека, честного труженика. Обливаясь горькими слезами, я убежала домой...

В Талашкине все жалели Нила Алексеевича. Он был добрый, со всеми приветливый. Где-то в провинции у него была жена и дочь, но на наше извещение никто не откликнулся и не приехал. Решено было похоронить его в ограде нашей приходской церкви, в селе Бобырях, в шести верстах от Талашкина. Наши люди, чередуясь, несли гроб его на руках, и похоронное шествие длинной вереницей растянулось до самых Бобырей. Все талашкинцы без исключения проводили Нила Алексеевича к месту его вечного покоя.

Удивительно трогательно было участие окружающих к этому чужому, одинокому человеку. Все, кто только мог, с усердием покрыли его венками и цветами. В торжественный момент прощания я была единственным и самым близким ему лицом. После отпевания мне первой пришлось с ним проститься. После меня подошли его друзья, Сабанеев, Ционглинский, затем остальные. Среди прощавшихся с телом я заметила нашего деревенского маляра Михайлу, который, подойдя к телу, степенно без торопливости, принялся покрывать бесчисленными поцелуями лицо и руки бедного Нила Алексеевича, пристально глядя в лицо умершего. Он, можно сказать, излизал его окончательно, с какой-то наивностью, без малейшего отвращения и страха. Я подумала: сколько хорошего, сколько теплоты и мягкости душевной таится в простом русском народе... Этот человек, не знавший Нила Алексеевича, усердно нес его несколько верст до кладбища и простился с ним, как родной, гораздо сердечнее Сабанеева и Ционглинского, потерявших в нем старого товарища.

Нет, умереть в деревне не страшно. Даже самого сиротливого кто-нибудь да пожалеет, прольет искреннюю слезу и похоронит с хорошим христианским чувством...

Нил Алексеевич прослужил 25 лет преподавателем в петербургской школе Поощрения художеств, и как раз в ту весну был его юбилей. Но слово это звучит слишком громко. Юбилей состоял в том, что несколько товарищей пожали ему руку, он скромно пообедал у Сабанеева, получил от меня поздравительную телеграмму — вот и все. Школа Поощрения художеств не награждает своих тружеников в конце длинного ряда годов службы, в продолжение которых человек истрачивается, стареет и в результате умирает. Там нет капиталов, не выдаются пенсии, и за неустанный труд платят гроши. Этой-то более чем скромной карьерой удовольствовался Нил Алексеевич, составивший себе репутацию добросовестного человека и скромного, но хорошего акварелиста-пейзажиста. У него была чудная душа, и от дружбы с ним делалось теплее на сердце...

XIV

Петербург. Музыкальные вечера. Ауэр. Чайковский. Ментер. Якобсон. Путиловский завод

Одним из самых крупных удовольствий, которыми я пользовалась в Петербурге, были наши музыкальные вечера. Я никогда не любила концертов. Душная зала, скучные шеренги ненавистных мне венских стульев, где приходилось иногда сидеть в неимоверной тесноте, часто рядом с невеждами и неприятными людьми, мешающими вам слушать, да еще какое-нибудь самое варварское, неусовершенствованное освещение на эстраде, ковыряющее глаза,— все это действовало на меня раздражающе. Но сидя дома, в любимом кресле, закрыв глаза, слушать квартет Чайковского или трио Аренского с его участием и чудным исполнением — было огромным, незаменимым наслаждением.

Я тоже часто принимала участие в этих вечерах и пела, а муж играл на виолончели.

Обыкновенно за границей музыкальные вечера делаются из тщеславия, и даже в небольшие квартиры приглашается по этому случаю масса народу. Французы считают удавшимся такой прием, где гости не только сидят, но теснятся на лестнице и едва могут переступить два шага. Я бы никогда не могла устраивать таких вечеров, и муж, к счастью, был одного мнения со мной. Мы приглашали только немногих людей, действительно любящих и понимающих музыку, желающих насладиться ею в тиши и уединении.

На наших вечерах участвовали Брандуков, Гофман, Скрябин, Ментер, Вержбилович, Ауэр, Аренский, с которого я как-то раз написала портрет, скрипач Марто.

После музыки мы обыкновенно весело, дружно ужинали. Раз за ужином возле меня сидел скрипач Хилле, принимавший участие в квартете. Я очень угощала его и предложила рюмку мадеры, но он все отказывался. С другой стороны сидел Вержбилович, наоборот, добросовестно прикладывавшийся ко всем бутылкам. Думая, что Хилле церемонится, я попросила Вержбиловича уговорить его, как вдруг слышу, Хилле, таинственно нагибаясь к Вержбиловичу, говорит ему вполголоса: «Я мало не могу»... Тогда я сделала вид, что больше им не занимаюсь, и велела Андрею подливать Хилле как можно больше.

Ауэр, который был постоянным участником в трио и квартетах, всегда страшно восхищался моим голосом, я же неизменно отвечала на его восторженные комплименты почти вызывающей насмешкой. Это однажды заинтриговало мужа, почему я именно от него так странно принимаю похвалу. Я рассказала тогда одну мою встречу с Ауэром, которая припомнилась мне, когда я увидела его таким любезным со мною.

По окончании моих занятий у Маркези, я однажды приехала в Петербург, где у меня был знакомый дом некоего сенатора Кониара, очень милого старика, страстно любящего музыку, у которого часто бывали музыкальные вечера. Он просил меня петь у него на одном из таких вечеров. Он сказал мне, что хочет познакомить меня с Ауэром, говоря, что тот, конечно, оценит мое пение и будет в восторге от моего голоса.

Вечером, когда я пела в гостиной, до меня все время в открытую дверь доносились из соседней комнаты громкие разговоры, восклицания, щелканье картами по столу, смех, что, конечно, меня раздражало. Оказалось, что это был Ауэр со своими партнерами. Только в конце вечера удалось оторвать его от карточного стола и представить мне. Он скользнул по мне глазами и не сказал мне ни слова о моем пении. В то время я была только Николаева, молодая женщина без артистического имени, и как бы хорошо я ни пела, это для Ауэра было неинтересно. Прошло много лет, я сделалась княгиней Тенишевой, платившей ему за каждый вечер у нее на дому по триста рублей,— несомненно, что после этого и пение мое выиграло в его глазах, и было за что похвалить хозяйку... А мне каждый раз хотелось засмеяться ему в глаза и пропеть: «Онегин, я тогда моложе и лучше, кажется, была»... Ауэр в княгине Тенишевой не узнал г-жу Николаеву.

Любимейшими романсами в моем репертуаре были глубоко трогающие душу романсы Чайковского, которые, по мнению всех, слышавших меня, я исполняла особенно хорошо. Из его романсов многие сделались очень известными и исполняются почти всегда, я же исполняла из его огромного репертуара массу таких, которых никогда и нигде не приходится слышать. Для меня это было настоящим наслаждением. Я переживала их так сильно и так глубоко чувствовала их красоту, что нередко после пения я долго не могла успокоиться.

Мой муж давно уже был знаком с Чайковским, но так как последний бывал в Петербурге только наездами, то виделись они редко. В эту же зиму шли репетиции его последней оперы «Иоланта», и он приехал присутствовать на них. Мне страшно хотелось попасть на первое представление этой оперы, но мужу, несмотря на все хлопоты, не удавалось получить хорошей ложи. Однако я так приставала к нему, что он написал Чайковскому, прося его оставить нам ложу, а также позавтракать у нас, назначивши день самому. Чайковский очень любезно ответил мужу, назначил день и прислал ложу.

Мне очень хотелось познакомиться с нашим знаменитым композитором и пропеть ему некоторые вещи, которыми я так дорожила, а потому я приготовила к этому дню аккомпаниатора и с трепетом ждала этой минуты. После завтрака, за которым Чайковский был весел и много рассказывал интересного, мы перешли в залу и занялись музыкой.

Я очень волновалась, что буду петь перед ним, но его милое, симпатичное отношение ко мне скоро ободрило меня. Когда я спела два романса, он вскочил, отстранил аккомпаниатора, сам сел к роялю, сказав, что он в восторге, так как никогда не слыхал этих романсов в чьем-либо исполнении. Когда он стал мне аккомпани-

ровать, его чудное туше, его манера исполнения зажгли меня так, что я пела без конца. Часы летели незаметно, мы повторяли некоторые вещи по два, по три раза. Начав наше музыкальное утро в два часа, мы опомнились в седьмом.

Чайковский взглянул на часы и с ужасом вскрикнул. Ему надо было быть на репетиции в четыре. Прощаясь, он поцеловал мне руку, горячо благодарил за доставленное ему удовольствие, наговорил мне очень много любезного и лестного для меня как исполнительницы и обещал приехать на один день попозировать для карандашного портрета. И действительно, через несколько дней он провел часа два в моей мастерской.

После «Иоланты» Чайковский уехал за границу, а осенью я была страшно поражена известием о его смерти[1] и искренними слезами оплакала этого гениального композитора и симпатичного человека.

В год смерти Чайковского в доме Сергея Павловича Дервиза был музыкальный вечер. Он попросил меня доставить удовольствие его матери, никогда меня не слыхавшей, и спеть у него на этом вечере. Когда я пела в их огромной зале, где было человек пятьдесят слушателей, вдруг отворилась дверь и вошла какая-то дама. Когда я кончила, она бросилась мне на шею и, обнявши меня, со слезами сказала, что рада познакомиться, что давно искала этого случая, чтобы передать мне восторженные отзывы о моем пении Чайковского, с которым, незадолго до его смерти, виделась за границей.

Это была Софи Ментер, знаменитая пианистка. Меня до глубины души тронули переданные ею слова Чайковского. Память о нем была еще так болезненна и свежа в моей душе... Она была такой же ревностной почитательницей Чайковского, как и я. Мы обе прослезились и крепко пожали друг другу руку.

Мне особенно приятен был отзыв Чайковского еще и потому, что, когда я пела у себя дома, обыкновенно все похвалы и комплименты разделялись мной на три категории: первая — простая вежливость, манера людей благовоспитанных, вторая — любезность по отношению к хозяйке дома, и только третья относилась ко мне как к исполнительнице. Чайковский мог сказать мне лично так много приятного как воспитанный, деликатный человек, и притом хозяйке, любезно его принимавшей, наконец, как женщине, но раз что он много месяцев спустя хвалил меня за глаза и такой большой артистке, как Ментер, я поняла тогда, что он оценил мое исполнение. Воспоминание о Чайковском сразу же нас сблизило с Ментер. Мы стали друзьями, и она однажды провела у меня лето в Талашкине.

* * *

В Петербурге жила антикварша, у которой я часто покупала, Юстина Васильевна Якобсон. Это была пожилая женщина, очень понимавшая старину. У ней я много находила нужных мне предметов. Бывая в ее магазине, с потолка до полу заваленном старинными вещами, я встречала всегда радушный прием. Передо мной раскрывались шкафы и комнаты, а так как я очень близорука, то я

---

[1] П. И. Чайковский умер в Петербурге 25 октября (6 ноября) 1893 г.

часто снимала вещь со стены или полки шкафа, брала в руки, рассматривала и ставила обратно. Много лет я была с ней в делах, и раз как-то она пришла ко мне и принесла в подарок чудную чашку саксонского фарфора. Меня это очень удивило, и я не могла понять, за что она меня благодарит. Вначале она не хотела говорить, но потом, когда я стала настаивать, объяснила, что за много лет заметила, что я приношу ей счастье, что тот предмет, который я подержу в руках, непременно будет куплен.

Впрочем, не она одна держалась такого мнения. Среди многих людей жило убеждение, что я приношу счастье тем, кто имеет со мной дело. Подобный случай произошел с Путиловским заводом. Как-то раз мы с мужем получили приглашение посетить этот завод. К пристани на Неве нам прислали пароход, доставивший нас на завод, а там встретили нас директора и заведующие и показали все. На меня Путиловский завод произвел сильное впечатление, но все было, видимо, в упадке — и огромные, железные, очень ценные строения, соединенные между собой целой сетью железнодорожных ветвей, и прекрасная гавань. Казалось, завод находился накануне своей смерти. Больно было видеть это дело, в которое было вложено столько гигантских усилий и труда, в таком запустении.

За завтраком, под впечатлением всего виденного, я подняла бокал и, поблагодарив от души за радушный прием, выразила искреннее пожелание видеть снова это дело процветающим. На завтраке присутствовал один крупный биржевой деятель, Гольденберг, а также Голубев, Петровский и другие. Все сочувственно встретили мое пожелание, а муж сказал: «Ну, в память нашего посещения я беру на себя столько-то акций». Гольденберг и Петровский выразили то же намерение.

В скором времени мне пришлось услыхать, что Путиловский завод возрождается, идет в гору, акции его на бирже котируются и поднимаются. Дело стало в прежнее положение, и ровно через год те же директора, в том же составе и с теми же гостями, снова пригласили нас с мужем. За завтраком, вспомнив мое тогдашнее пожелание, устроили мне овацию: встретили с музыкой, цветами, были тосты, прочувствованные слова,— точно я действительно сделала для них что-нибудь. По-видимому, все были довольны результатами протекшего года, муж, Петровский, Голубев получили львиную долю, а Гольденберг, который в скором времени умер, в память этого оставил мне по духовному завещанию пять тысяч рублей на мои «добрые дела». Я постаралась употребить их с пользой, и они пошли на устройство в Смоленске пожарной паровой машины.

XV

Коллекция акварелей. Бенуа. Выставка Общества поощрения художеств. Музей Александра III. Портреты Серова и Соколова

Моя акварельная коллекция из года в год росла и богатела, и пользоваться ею становилось все затруднительней. Часть акварелей была развешана по стенам, но нельзя же было увешать ими все стены, к тому же акварель боится света, поэтому для хранения всей этой массы я заказала специальные шкафы с выдвижными полками, страшно загромождавшие комнаты. Я видела, что больше уже приобретать акварелей некуда, коллекция моя очень богата и полна, и потому стала понемногу прекращать покупки. Да и муж не на шутку стал ворчать на мои траты, не понимая моей цели. С каждым разом денежный вопрос становился все острее. Как человек практичный, князь прямо говорил мне, что всю эту «дрянь», собираемую мной, я никогда и никуда не суну, и если я думаю, что это капитализация, то я очень сильно ошибаюсь, потому что меня заставляют платить дорого, а покупателей я никогда не найду. Меня эти слова задевали за живое, подстрекали меня, и мне захотелось доказать мужу, что куда поместить — я, конечно, найду...

Чтобы можно было определить куда-нибудь мою коллекцию, нужно было, чтобы общество и сильные мира сего ее увидали и оценили, а для этого нужно было ее где-нибудь показать. Я решила устроить выставку в Обществе поощрения художеств на свой счет, входную же плату пожертвовать Обществу, а сбор с каталогов — Дамскому кружку[1]. Таким образом моя выставка не носила характера коммерческого предприятия с целью личной выгоды. Принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, всегда любезно относившаяся ко мне, взяла выставку под свое покровительство.

Я в это время была в Париже, но мне писали, что выставка очень удалась, посетителей было ровно столько, сколько могли вместить залы Поощрения художеств, и следовательно, была оценена насколько возможно, и оставила по себе хорошее впечатление.

В то время делались большие приготовления во дворце Великой Княгини Екатерины Михайловны. Шла перестройка его в музей в память Императора Александра III. Однажды в разговоре с кем-то я высказала мысль, что не прочь пожертвовать туда мою коллекцию. Слова мои были переданы в комитет по устройству музея. Ко мне приехал для переговоров Высочайший Хранитель будущего музея, Великий Князь Георгий Михайлович, и я изложила ему свою просьбу передать Его Величеству, что вся моя коллекция к услугам музея.

---

[1] Выставка открылась в Петербурге в начале 1897 г.

На доклад Великого Князя Государь ответил, что принимает мой дар, но так как музей национальный, то в него могут войти только русские мастера. Это было для меня большим ударом. Я не предполагала разделять мою коллекцию, тем более что при таком разделении самая ценная часть ее оставалась у меня — иностранных мастеров у меня было больше. Хотя у меня, кроме прекрасных современных акварелей, были также рисунки и акварели прежних мастеров — Брюллова, Орловского, Соколова, сделавшиеся большой редкостью, все же иностранная часть была богаче. Так, у меня были самые выдающиеся представители всех наций, с Фортуни, Мейсонье, Милле во главе, не говоря уже о немцах, финляндцах, англичанах, которых особенно трудно достать.

Цель моя была по возможности полно представить в моей коллекции историю акварельного мастерства, начиная с европейских школ и кончая русской как несомненно самой молодой, идущей позади. Поэтому я медлила давать решительный ответ в надежде, что, может быть, это уладится и примут целиком. Но время шло. Я знала, что уже распределяются залы, и, боясь, что все лучшие места будут заняты, а для моего собрания останется какое-нибудь невыгодное помещение, я решилась отдать музею только русские акварели, не теряя надежды, что, может быть, со временем возьмут и остальную часть.

Когда была решена судьба моих акварелей, я попросила Бенуа помочь мне разобраться во всей массе, чтобы отобрать в музей именно то, что могло бы быть интересно для истории акварельного искусства в России. В то время в нашем доме на Английской набережной шла пристройка особой для меня мастерской, превратившейся со временем в студию Репина, а пока я наняла рядом с нашим домом небольшую квартиру в первом этаже, которую муж в шутку называл «конспиративной». Там хранились мои акварели. В отдельной комнате были расставлены длинные столы, и я с помощью Бенуа приготовлялась к сдаче коллекции в музей. Кроме того, нужны были рамки, паспарту и т. п.

Когда мы приступили к разборке акварелей с Бенуа, мне приходилось почти с бою отстаивать вещи тех художников, которых он как людей не любил. Меня всегда поражала в отношении русских мастеров односторонность Бенуа. В своем пристрастии он доходит до того, что свою личную антипатию к ним переносил и на их произведения. Мне это было непонятно. Никогда в жизни я не позволила себе смешивать творения человека и его личность. Думаю, что гораздо лучше забыть о человеке и видеть только художника, видеть то, что дает его дарование. Но Бенуа смотрел иначе, и мы не раз вступали с ним в пререкания по поводу той или иной акварели, которую он называл дрянью, гадостью, и с чем я не могла согласиться.

Во время работ и отделки моих комнат в музее Великий Князь Георгий Михайлович выразил желание иметь в пожертвованной коллекции мой портрет и указал на художника Соколова. В продолжение месяца я позировала Соколову для поясного портрета акварелью, и, когда он был готов, Вел. Князь сам увез его, чтобы повесить в музее в моих комнатах. Отделка их (на мой счет) шла удачно, и ко дню открытия все было на месте.

Накануне открытия музей посетил Государь в сопровождении всего музейного персонала с Великим Князем Георгием Михайловичем во главе. Из посторонних была я одна как жертвовательница крупного отдела. Его Величество милостиво благодарил меня, и я сопровождала Его вокруг всего музея. В моем отделе Он долго и подробно осматривал каждую акварель, выслушивал мои объяснения и, видимо, остался доволен.

На другой день состоялось открытие[1]. Приехали Государыня Императрица Мария Федоровна с огромной свитой и другие Высочайшие Особы. Я имела счастье принимать в своих комнатах Высоких Гостей и удостоиться благодарности также и Ее Величества.

Таким образом завершилось это дело, и я была счастлива доказать мужу, что не я, а он ошибался, думая, что мне мою коллекцию никуда не удастся пристроить.

---

[1] Русский музей императора Александра III был открыт 7 марта 1898 г.

XVI

Покупка Флёнова. Школа. Учителя. Ученики. Программа занятий. Цель школы

Как только мы решили окончательно сделать из Талашкина наш постоянный летний приют, я приступила к осуществлению своей давнишней, заветной мечты, силой обстоятельств положенной на долгие годы под спуд,— проекту сельскохозяйственной школы. Мы давно уже мечтали об этом с Киту, еще когда я гостила у нее впервые в Талашкине, и потому, конечно, моим ближайшим помощником в этом деле была она.

Задолго до того, как я, наконец, основала школу, у меня сложился известный идеал народного учителя. Я всегда думала, что деревенский учитель должен быть не только преподавателем в узком смысле слова, т. е. от такого-то до такого-то часа давать уроки в классе; но он должен быть и руководителем, воспитателем, должен сам быть сельским деятелем, всеми интересами своими принадлежащим к деревенской среде; знать сельское хозяйство, хотя бы в какой-нибудь маленькой отрасли его, быть если не специалистом, то любителем, например, огородничества, садоводства или пчеловодства, чтобы подавать пример своим ученикам, приучать их к труду; пробудить сознательное отношение и любовь к природе; а кроме того, он должен был быть и их первым учителем нравственных правил, чистоплотности, порядочности, уважения к чужой собственности. Деревенская обстановка темна, дети видят иногда дурные примеры, пьянство, драки, воровство. Где же, как не в школе, должны они получить первые примеры для жизни? Все это лежит на учителе. Ему надо заронить в душу своих питомцев искру Божию.

В Талашкине устроить школу было трудно. Как мы ни прикидывали, а два хозяйства в одном не совмещались. В версте же от Талашкина, как раз против дома, проходила граница наших владений, и с трех сторон врезалась в нашу землю небольшое именьице одного мелкого помещика (Красноленского) Флёново. Я давно подумывала приобрести его для устройства в нем сельскохозяйственной школы, но при жизни владельца это никак не удавалось. Ему, видимо, было жаль расстаться с имением, и, когда речь заходила о продаже, он страшно дорожился.

Наконец Красноленский умер. После него, кроме законной жены и уже немолодой, замужней дочери, остались еще две семьи. Все эти три семьи жили во Флёнове и яростно, с пеной у рта, делили ризы после умершего. У одних в руках осталась шуба, у других — какой-то вексель, у третьих — ружье и золотые часы, и по этому поводу происходили крупные скандалы, какие только порождает борьба за имущество в среде грубых, некультурных людей. Впрочем, кажется, и в более культурных слоях в вопросах дележа и наследст-

ва люди легко звереют, лишь только дело коснется денег — от них немедленно отскакивают привитые воспитанием принципы порядочности и чувства приличия... Неудивительно, что и во Флёнове при разделе стали происходить самые невероятные скандалы. В результате ко мне приехала вдова, «Красноленчиха», как ее называли в округе, со своей уже немолодой, в высшей степени развязной дочерью и предложила мне купить Флёново.

Переговоры наши длились без конца. Как только я соглашалась на их условия, эти дамы придумывали новые требования и тут же при мне, без стеснения, начинали пререкаться, не скрывая непримиримой вражды между собой. Если одна уступала что-нибудь, другая прекращала переговоры, и дело казалось неосуществимым.

Мне они так надоели, что я поставила условием иметь дело только с кем-нибудь одним и уехала в Петербург, оставив нашему управляющему доверенность на совершение купчей. Измучив совершенно бедного управляющего, отняв у него массу времени, месяцев через пять эти матроны решились наконец закончить дело, и Флёново было мной приобретено.

Кроме высокой горы возле усадьбы, на которой росли огромные сосны, ели и липы, да широкого, чисто русского вида с горы, в имении не было решительно ничего — покривившийся дом, несколько сгнивших построек годны были только на слом. Но зато вид с горы был действительно редким по красоте. По огромному необъятному пространству, по мягким склонам холмов ютились деревушки, среди самых разнообразных и разноцветных полей, разбросанных, как ковер, горящий на солнце прихотливыми пятнами во всех направлениях. Кое-где выделялись между ними небольшие перелески, а на горизонте тянулся лес едва заметной тонкой темно-синей полосой. Даль необъятная, теряющаяся в синеватой дымке, простор и покой... Только где-то, далеко в долине, изредка пробегали поезда, расстилая за собою длинную белую гряду клубящегося дыма и далеким протяжным свистком нарушая тишину точно застывшего в безмолвии края...

Кое-как поправивши дом Красноленского, прежде чем основать школу, я за год до нее устроила во Флёнове летние курсы плодоводства, садоводства и огородничества для сельских учителей под руководством профессора Регеля. С осени он приехал в Талашкино, дал нам все необходимые указания, как разбить фруктовый сад, как взрыхлить землю, насадить известное количество саженцев, приготовить гряды и т. д. К весне же, когда все прижилось и было готово все, что надо, он приехал читать свои лекции. Слушатели состояли из народных учителей по выбору смоленского инспектора народных училищ, рекомендовавшего наиболее способных, интересующихся новым делом людей, желавших расширить свои познания. Их было 28 человек, и они очень ретиво принялись за дело, так что профессор Регель вполне удачно провел свой курс теоретически и практически.

Среди учителей были люди, уже давно служившие школьному делу, опытные, отцы семейств, в том числе Николай Гурьевич Панков, казавшийся очень дельным человеком. Выбор мой остановился на нем, и я пригласила перейти в мою школу его и жену в качестве помощницы.

Результаты моих курсов не пропали даром. Через год профессор Регель объехал всех учителей, прослушавших его курс, и убедился в несомненной пользе, принесенной его уроками. Некоторые из учителей оказались очень способными и успешно применили к своей местности приобретенные знания и, так как при некоторых школах имеется школьная земля, развели на ней сады, огороды, послужившие хорошими примерами для крестьян.

В скором времени во Флёнове, вместо покривившихся и ветхих построек, выросло хорошее школьное здание с просторными классами, богатой учительской и ученической библиотекой и разными учебными пособиями. Рядом со школой я построила общежитие на двадцать человек, с комнатой для дядьки, удобной столовой и светлой кухней, чтобы ученики могли, по очереди дежуря в ней, сами следить за доброкачественностью провизии. На одной линии с общежитием расположилось длинное здание, состоящее из четырех квартир, для управляющего школой, преподавателей и сторожа, прилегающее одной стороной к старому липовому саду, по склону которого была расположена пасека, наблюдательный павильон со стеклянным учебным ульем, весами для наблюдения ежедневного взятка и картограммами. Сад, огород и фруктовый питомник были разбиты уже при Регеле.

Вначале я просто открыла министерскую двухклассную школу с элементарным курсом по сельскому хозяйству. Так как типы существовавших сельскохозяйственных школ были очень дороги и не под силу частному лицу, то по примеру бежецкого ремесленного училища нам захотелось выработать самим новый тип сельскохозяйственной школы, и для этого мы принялись составлять ее план и устав. Когда, после многих усилий, нам удалось, наконец, выработать нечто удовлетворившее нас, мы послали его в министерство для утверждения, но, пока он будет там валяться по всем столам и шкафам, зная по опыту, сколько на это потребуется времени, не дожидаясь утверждения, принялись за занятия.

Вообще для низшего сельскохозяйственного образования в то время не было сделано решительно ничего — дело было новое. Не существовало даже никаких руководств, и мне пришла мысль за лучшее сочинение по этому вопросу назначить две премии — в тысячу и пятьсот рублей,— в надежде, что ученые агрономы и практики заинтересуются и выработают какое-нибудь практическое руководство и тем облегчат эту новую задачу. Но к стыду этих господ прошло более десяти лет прежде, чем появилась первая книжка по этому вопросу, которой была присуждена вторая моя премия в 500 рублей. Это равнодушие ясно свидетельствует о том, что у нас теоретиков еще, пожалуй, найдется, но практиков нет, в чем я впоследствии и убедилась горьким опытом.

Заведующим школой я пригласила Панкова, одного из учителей, прослушавших у меня курс Регеля, а кроме него еще агронома Андрея Ивановича Завьялова, окончившего Петровскую академию, для преподавания по сельскому хозяйству.

Наконец школа была готова, и я назначила день для приема учеников. Уже спозаранку во Флёново собралась целая толпа баб и мужиков, таща за собой вереницы ребятишек всех возрастов, девочек и мальчиков. Вдоль заборов расположились телеги с семьями

в ожидании молебствия. Пришли бабы с пятью-шестью сиротами, прося меня взять их, как они говорили: «совсем, навеки». Да, времена уже были не те — не только не приходилось уговаривать родителей отдавать детей в школу, но, напротив, не хватало вакансий, чтобы принять всех желающих.

В приеме я руководствовалась тремя соображениями: дети должны быть действительно сиротами, непременно Смоленской губернии и даже предпочтительно Смоленского нашего уезда, ближайших деревень и, наконец, не моложе девяти лет. Крестьянский ребенок только с этого времени начинает сознавать себя. Я как-то спросила одного мальчика во время приема:

— Ты молиться умеешь?

— Ага.

— А креститься умеешь?

— Ага.

— Ну-ка, перекрестись.— Мальчик поднял обе руки и, сложив пальцы крестным знамением, остановился в недоумении, которой рукой креститься.

В день открытия, ровно в десять часов, мы большой компанией приехали в школу к молебну. С нами был г. Сигма, корреспондент «Нового времени», приехавший в Талашкино по каким-то делам князя. Его очень заинтересовало это зрелище.

По окончании молебствия и водосвятия в новых зданиях я раздала ребятишкам бубликов и пряников, так как многие пришли издалека и встали очень рано. В эту минуту подошли ко мне маляры, работавшие в школе, и стали просить на чай. Поодаль стоял грязный, замызганный, но славный кудрявый мальчишка, с усталым, симпатичным лицом, по-видимому их подмастерье. Один из маляров, расхрабрившись, и говорит мне:

— Ваше сиятельство, вот тут у нас остался на шее мальчик, сирота. Мать его на Ходынке пропала[1]. Четыре месяца, как о ней ни слуху ни духу... Теперь зима настает, нам его все равно не держать, расчета нет. Не возьмете ли вы его в школу?

Я было уже совсем отказала малярам — мальчик оказался не смоленским уроженцем, но, посмотрев на мальчика, говорю ему:

— Как тебя зовут?

— Миша.

— Что же, ты хочешь учиться?

Мальчик поднял на меня глаза и сказал, что очень хочет учиться. Мне стало жаль его, а маляр все приставал и приставал — возьмите да возьмите мальчика. И я почему-то вдруг сразу решила взять его. Когда я сказала ему:

— Ну, так и быть, оставайся у меня,— он весь так и вспыхнул от радости. С этого дня он поступил в школу и оказался очень способным.

Немного погодя ко мне подходит другой мальчик, большой, неуклюжий, топорный, лет 13-ти, и гнусавым, неправильным каким-то выговором стал тоже проситься в школу. Я его спрашиваю:

— Кто ты? Как тебя зовут?

---

[1] Ходынская трагедия произошла во время коронации Николая II в Москве 18 мая 1896 г.

— Я незаконнорожденный, Гриневской тут одной вдовы сын.

Это признание нас позабавило, в особенности Сигме показалось смешно, что мальчик сам себя так называет. Как я ни отбивалась, но он так упрашивал меня принять его, что пришлось и его взять. Таким образом в первый день набралось 150 учеников, в том числе 12 сирот, которых я взяла совершенно случайно.

Через год после существования моей двухклассной школы, видя успехи учеников и прилежание, с которым они взялись за сельское хозяйство, я надумала реформировать мою маленькую школу в так называемую низшую сельскохозяйственную первого разряда[1]. Расширенная программа этого типа школы дала бы возможность выпускать молодых людей, способных вести как свое хозяйство, так и отправлять различные обязанности по сельскому хозяйству в частных имениях. В то время в Департаменте земледелия служил Николай Алексеевич Хомяков, наш бывший губернский предводитель дворянства, старинный знакомый. Я обратилась к нему по поводу нового устава и преобразования моей школы. Он отнесся очень сочувственно и любезно взялся мне помочь. Я в миг получила все, что хотела, и мою школу быстро переименовали, с субсидией в две с половиной тысячи рублей в год от министерства. Со своей стороны я прикладывала около семи тысяч, а были годы, когда расходы по школе достигали пятнадцати тысяч.

Управляющим новой школой я назначила Завьялова, так как он имел на то все права по своему специально агрономическому образованию, Панкова — преподавателем общеобразовательных предметов, он же прекрасно руководил пчеловодством. Кроме того, пришлось еще пригласить шесть преподавателей, в том числе законоучителя, что и составило штат из восьми человек.

На второй год я ввела в школе игру на балалайке и пригласила В. А. Лидина, который приехал ко мне летом и обучил целый оркестр настолько хорошо, что когда осенью того же года приехал ко мне погостить В. В. Андреев *, тот был удивлен результатами и предложил устроить благотворительный концерт в Смоленске под его управлением, который и состоялся в зале Городской думы и прошел с большим успехом [2].

Для столярного дела я взяла из Петербурга хорошего мастера, отлично делавшего инструменты. Впоследствии и все наши балалайки делались под его руководством в школе самими учениками.

Также реформирована была и моя маленькая школа для девочек, которой до этого управляла Елизавета Ивановна Барщевская, дельная, серьезная и очень любящая свое дело молодая девушка, занявшаяся с большим рвением образованием и воспитанием крестьянских девочек. К сожалению, Барщевская очень недолго у меня служила, так как скоро вышла замуж, но и за это короткое время она оставила неизгладимый след в сердцах своих воспитанниц. Принесенная ею польза была очевидна — все ее ученицы отличались чистоплотностью и большой добросовестностью.

Приобщив девочек к сельскохозяйственному образованию, я построила для них отдельное большое помещение. На занятия и в сто-

---

[1] Училище было преобразовано в школу 1 сентября 1900 г.

* *Известный основатель и руководитель балалаечного оркестра.*

[2] Концерт состоялся 13 июня 1899 г.

ловую они ходили вместе с мальчиками, а ночевали в общежитии под надзором смотрительницы, назначавшейся из жен семейных учителей, имевших здесь же квартиру.

Девочки все оказались очень способными и дельными. Начинали они учиться сельскому хозяйству очень робко, с сомнением. Когда им сказали, что они будут учить химию, то они расплакались, это слово показалось им страшным, а по окончании все вышли прекрасными работницами, и в «смутные годы» ни одна из них не причинила мне ни малейшей неприятности.

В устройстве Флёнова меня больше всего стесняло то, что муж почему-то сделался скуп, сильно урезывая меня в средствах каждый раз, что я у него просила денег. Пришлось изощряться, прибегая к самым дешевым способам постройки, делая некоторые просто глинобитными мазанками, на практике показавшими, что они, может быть, хороши на юге, но в нашем сыром климате совершенно неприменимы и непрактичны. Подобное строение едва могло служить 10—12 лет, требуя постоянного ремонта, после чего его приходилось срывать, так как все устои его подгнивали. В одной из таких мазанок пришлось поместить пчеловодный музей — собрание всевозможных типов ульев, начиная с примитивной подвесной колоды и до самых усовершенствованных заграничных образцов, одним словом все, что касалось этой области, до мельчайших подробностей, можно было видеть собранным в этом музее. В другой такой же мазанке помещалась столярная мастерская, где делались балалайки. Я с ненавистью глядела на мои «мусорные дома», как я их называла. Они раздражали меня, побуждая всегда на новые объяснения с мужем, которые ни к чему не приводили, а лишь обостряли наши отношения.

Я не раз искала случая заинтересовать мужа своей школой, завоевать его симпатию к ней. Много раз приходилось мне с ним по этому поводу спорить. Муж продолжал относиться несочувственно, и это было обидно. Такое отношение было особенно странно с его стороны, так как он сам затеял огромную и очень дорогую постройку — училище в Петербурге. Купив для этой цели на Моховой очень дорогой участок земли, он сыпал в это дело не десятки, а сотни тысяч и, преследуя исключительно свое желание скорее видеть его законченным, глядел сквозь пальцы на то, что вокруг этого дела многие сильно нагрели себе руки. Мне было жаль, что все эти огромные жертвы и затраты производились исключительно для маленькой горсти детей богатых родителей, которым и так все доступно, и что, несмотря на большую плату за учение, доходы школы далеко не покрывали расходов. В первые годы муж приплачивал до пятидесяти тысяч рублей в год, а иногда и больше. Я горько упрекала его за то, что, бросая деньги на такую дорогую затею, он безжалостно предоставляет мне строить из мусора необходимые постройки во Флёнове.

Как-то совестно было жить в нашем культурном Талашкине в убранстве и довольстве и равнодушно терпеть кругом себя грязь и невежество и непроглядную темноту. Меня постоянно мучило нравственное убожество наших крестьян и грубость их нравов. Я чувствовала нравственный долг сделать что-нибудь для них, и совсем уж было противно в разговорах со многими из богатых по-

мещиков нашего края слушать, как эти люди, часто без милосердия притеснявшие мужиков, называли их «серыми», презирали, гнушались ими и, как и заводские деятели когда-то в Бежеце, видели только во всем себя и свою выгоду. Как много на Руси таких типов!.. Они думают, что крестьяне не люди, а что-то вроде полуживотных... Слепые, под неприглядной корой они проглядели то, что вылилось когда-то в былины и сказки и тихую, жалобно-горестную песнь о несбыточном счастье... Разыскать эту душу, отмыть то, что приросло от недостатка культуры, и на этой заглохшей, но хорошей почве можно взрастить какое угодно семя...

Мысли эти я не раз развивала перед мужем, но, к сожалению, мне пришлось столкнуться с его взглядами, сильно коробившими и возмущавшими меня. Он, как и многие, был слеп и не понимал народа, признавая только культурный слой общества, и желал исключительно служить его усовершенствованию. В этих целях он и затеял свое училище в Петербурге. Он был открытым врагом современной системы образования юношества, и ему казалось, что стоит лишь учредить образец училища на новых началах, как пример этот будет признан правительством и остальные учебные заведения немедленно подвергнутся преобразованию. Но и в этом частном вопросе наши мнения разошлись. Я считала, что вопрос должен быть расширен, что он свободно мог бы атаковать не только среднее образование, но всю систему наших образовательных учреждений, которую давно следовало бы изменить и обновить. Я считала, что следовало бы действовать через печать, имеющую в наше время такую силу. Имея в руках необходимые документы и данные, он мог бы бороться за свою идею более успешно, нежели учреждением училища, доступного лишь небольшой кучке богатых людей.

Эта рознь во взглядах, постоянная борьба порождали между нами недовольство и служили источником частых столкновений. Мы расходились, каждый убежденный в своей правоте.

XVII

Учителя. В. А. Лидин. Миша и Хамченко. Выставка в Смоленске

Наша жизнь в Петербурге, временами за границей, не мешала мне заботиться о моей школе, следить за ней и постоянно вносить в нее разные улучшения. Я никогда не упускала ее из виду и, где бы я ни была, продолжала работать для нее. Ничто не могло меня отвлечь, оторвать от этого дела, которое я считала важным, даже святым. Я просто с каким-то любовным чувством смотрела на школу, как на свое детище, создавшееся благодаря моим трудам и усилиям. Я жертвовала для своей любимой идеи всем — материальными средствами, временем, заботами, не говоря о той постоянной борьбе с мужем, которую мне приходилось вечно выносить, натыкаясь на его несочувствие и урезывание необходимых средств для школы; неудовольствие, когда я ездила в Смоленск на праздники Рождества и Пасхи, чтобы устроить детям во Флёнове елку или спектакль, порадовать гостинцами, подарками, или поздней осенью, несмотря на его письма, задерживалась в деревне, чтобы присутствовать при приеме ребятишек в школу, или следить за какой-нибудь новой постройкой. То же бывало и летом. Муж обыкновенно не мог проводить все лето в деревне, приезжал на короткое время и рано уезжал в Петербург, а я оставалась с Киту до поздней осени, всячески оттягивая свой отъезд и покидая Талашкино с сожалением только после многих настойчивых писем и телеграмм мужа, призывавших меня в Петербург.

Далеко не все относились к моему делу с таким же чувством, как я. С первых же шагов мне пришлось столкнуться с самыми разнообразными тормозящими обстоятельствами, недобросовестностью, ленью, равнодушием и даже явным недоброжелательством к тому делу, на которое я смотрела с такими надеждами.

Самое трудное было найти дельного, честного, преданного своему делу управляющего школой, а затем и учителей, от которых если не все, то почти все зависело для успеха школы. Очень трудно подыскать такой состав учителей, которые были бы единодушны в общем деле, не ссорились, не враждовали. Не малую роль в отношениях учителей между собой играли их жены.

Я отнеслась с такой преданностью к школе, с таким рвением, вкладывала в это дело столько души, что мне казалось — и другие иначе не могут к ней относиться. Я заранее предполагала в каждом учителе любовь и призвание к делу и приписывала им те качества, которые мне хотелось в них видеть. Словом, я относилась к ним с полным доверием, и мне достаточно было, что человек избрал учительскую карьеру, чтобы быть уверенной в его полной искренности и преданности одной идее со мной.

Завьялов был человек лет тридцати, ленивый, грубоватый и некультурный. Но грубость его не мешала завоевать ему симпатии учеников, и в сердцах детей он имел огромный перевес над Панковым, заведующим школой. Завьялов умел как-то обходиться с учениками, он был популярен. Это обстоятельство породило с первых же пор несогласия между ним и Панковым, соревнование, в особенности же еще и потому, что Завьялов был по образованию выше Панкова и, несомненно, по праву мог бы играть большую роль в школе.

Начались претензии, ссоры, интриги, и каждый по очереди приходил ко мне жаловаться на другого. Положение это обостряла жена Завьялова, крупная интриганка, лет на пятнадцать старше мужа, женщина без образования, на которой он как-то под хмельком и женился. Хмелек этот был главным недостатком Завьялова, и для школы это было очень дурным примером. Ученики нередко видели его выпившим. Завьялова усердно укрывала недостаток мужа, и мне это открылось не сразу. Однажды, гуляя, я встретила его. Он возвращался из города в тележке, на козлах сидел один из его учеников. Я остановила его, чтобы о чем-то спросить, и сама убедилась в том, что он, как говорится, лыка не вязал. Мне пришлось с ним по этому поводу иметь объяснение, он извинился, обещал исправиться и не пить.

Отношения учителей между собой были не лучше. Они постоянно враждовали, не проходило дня, чтобы не вспыхивала какая-нибудь история. В особенности жены обостряли их дурные отношения. Многие из них, горожанки, не приученные ни к труду, ни к хозяйству, ни к тихой семейной жизни, скучали в деревне, не умели заинтересоваться делом мужа, поддержать его и парализовали своей неопытностью все его усилия. Они капризничали, искали развлечений и если знакомились между собой, то сейчас же ссорились, создавая удушливую атмосферу претензий и сплетен. Кончалось всегда тем, что под давлением жен учителя начинали хлопотать о переводе в город, перемене службы, переходили в министерство и т. п. Бывали случаи, когда вновь поступивший преподаватель немедленно же начинал хлопотать себе место в акциз или в другое учреждение, чтобы хоть на чердаке, но жить в городе и пользоваться городскими привилегиями, как то: мелочной лавочкой, гостиным двором и всем, чего мещанской душе не хватает. Немало труда приложила я, ухаживая за этими барынями, улаживая недоразумения, примиряя враждующие стороны, но натыкалась на таких тупиц, что руки опускались.

Меня еще больше удивляло то, что, несмотря на все мои заискивания — признаюсь в этом со стыдом, — несмотря на всю мою ласку, учителя смотрели на меня как-то враждебно, дичились, чуждались. Я всегда видела в них какую-то принужденность, насупленные лица, недоверчивое отношение. Но я тогда не объясняла себе этого и надеялась со временем завоевать их уважение.

Я ничего не жалела, чтобы скрасить жизнь учителям, в богатую же учительскую библиотеку я выписывала на сто рублей в год всевозможных журналов, специальных и беллетристических. Мне присылали постоянно новые книги, очень для них полезные, которыми они могли бы заинтересоваться. Но к моему большому удив-

лению, все эти кипы журналов, за исключением немногих литературных отделов, оставались неразрезанными, накопляясь на столах за целые годы. В специальные же издания никто и не заглядывал.

Но и кроме книг во Флёнове было чем заинтересоваться. У каждого учителя был свой маленький садик, огород, свое хозяйство, к которому надо было только приложить немного труда, чтобы иметь и фрукты, и цветы, и овощи. Была превосходная пасека и пчеловодный музей с наглядным павильоном, где можно было бы изучить пчеловодство. Наконец, Флёново вовсе не было таким глухим местом: в трех верстах от станции железной дороги, по которой до Смоленска было всего полчаса езды, рядом с Талашкиным, где был телефон и постоянные сношения с городом по шоссе, с ежедневной доставкой почты.

В школе было введено обучение игре на балалайке, образовался прекрасный оркестр. Некоторые учителя принимали участие и охотно играли по праздникам. В талашкинском театре устраивались спектакли с участием учителей и учеников. Так ли приходится иногда жить учителям, в глухой местности, далеко от железной дороги, без общества, без малейших развлечений?

Вместо того чтобы найти сочувствие у заведующих школой к моим начинаниям, я, наоборот, часто встречала явное противодействие, нежелание мне помочь. Так, например, когда я ввела в школе уроки на балалайке и уроки рукоделия, Завьяловы отнеслись к этому несочувственно. Трудно было насадить в деревенской школе, среди крестьянских детей, первые задатки художественного вкуса, приучить к вышиванию девочек, приохотить к урокам музыки мальчиков, но, однако, это все очень привилось впоследствии. Вначале же дело шло туго. Завьяловы и их единомышленники не скрывали, что считают часы, потраченные на изучение народной песни и музыки или рукоделие, потерянными, узоры и рисунки для шитья — нелепыми, и все это — вообще пустым занятием. Критическое отношение не могло не передаваться детям, и они сперва неохотно посещали эти уроки, но когда мне пришлось впоследствии расстаться с Завьяловыми, то дети примкнули к этим занятиям гораздо успешнее, доказав таким образом, что их первоначальное нерасположение было внушено им со стороны.

Чтобы поставить игру на балалайке на твердую ногу, я пригласила постоянным преподавателем Василия Александровича Лидина, бывшего сотрудника кружка Андреева, опытного, любящего свое дело человека. Он поставил дело очень хорошо, разделив школу на два отделения: был оркестр из опытных и хорошо играющих учеников и класс начинающих, которые подготовлялись к вступлению в оркестр.

В. А. Лидин, кроме занятия балалайкой, имел еще одну серьезную страсть — рыбоводство — и много лет приставал ко мне с просьбой уступить ему в аренду клочок земли, на которой были богатые родники с чистой, холодной ключевой водой, для устройства там прудов для рыбоводства. Каждый раз я смеялась, не принимая всерьез его слов. Но он нашел по соседству такие же подходящие условия и сказал мне, что, вероятно, возьмет в аренду эту землю у моих соседей. Тогда я уступила. Таким образом, он

покинул кружок Андреева и поселился в Талашкине, отдавшись всей душой любимому делу, и через немного времени уже достиг очень хороших результатов. Так как уроки в школе отнимали у него очень много времени, то я сделала его заведующим моими мастерскими по хозяйственной части. На его попечении были материалы, инструменты, раздача жалованья, надзор за мастеровыми, учениками, которые здесь же квартировали в особом для них общежитии. Он сделался понемногу моей правой рукой и помогал мне во всех начинаниях, во всем принимал участие, облегчал первые шаги и, благодаря своему спокойному, ровному характеру, облегчал мне все возникающие затруднения и шероховатости в отношениях с учителями, учениками и художниками, которые впоследствии работали в моих мастерских.

* * *

Меня всегда мучила мысль, как может иметь облагораживающее влияние школа и как могут укрепиться всякие житейские правила порядочности в крестьянском ребенке, если он уходит на продолжительное время в свою среду, где видит и слышит все то, против чего школа борется и от чего старается его отлучить и оградить? А что он видит у себя дома и в особенности на праздниках? Пьянство, ругань, драки, зачастую кражи, когда под пьяную руку похваляются друг другу разными проделками как молодечеством? Ведь мораль такова: попался — значит дурак, а украсть всегда можно. Когда ученик становится старше, лет в 15—16, опасность не так велика, он делается сознательнее, школа накладывает на него свой отпечаток, пробуждается критика. Но малышей просто жаль. Какой должен получаться сумбур в этих еще неокрепших головах?

Чтобы уяснить себе, как в деревне проводят праздники, я задала детям сочинение на тему «Как я провел святки». Сочинения эти сослужили мне большую службу. Почти в каждой тетради, за малыми исключениями, встречались такие фразы: «Был в гостях у крестного, пил водку» или «Катался с гор, тятька дал горилки» и т. п. Вот тут и воспитывай юношество в нравственных правилах и трезвости...

Я положительно набросилась на театральные увеселения, урезывая рождественские и пасхальные каникулы, и старалась приезжать на это время из Петербурга даже из-за границы, чтобы занять мой маленький люд. Несмотря на мою антипатию к театру вообще, нахожу, что в воспитательном смысле это большое подспорье, в особенности деревенский театр, и он послужил мне с пользой в моей школе для сближения с учениками. Мы временно составляли как бы одну семью, сливаясь в одно целое, стараясь сыграть пьесу как можно лучше.

Крестьянский ребенок мало развит, внимание его спит, реакция слабая, речь несвободная. Школьные уроки передаются или на заученном книжном языке, или на своем разговорном, бедном, затрудненном, красноречие отсутствует. Разговорить ученика, особенно мне, было всегда трудно. Я попечительница, значит, начальство, другими словами: держи ухо востро. Чувствовалась всегда

принужденность со стороны учеников. Кроме того, способствовали этому в огромной мере сами учителя. Театр же давал мне временно возможность устранить эту отдаленность, которую я чувствовала и от которой страдала.

Роли я старалась распределить по силам, характеру и данным исполнителя, и некоторые типы удавались превосходно, сами собой, как, например, роль жениха в пьесе «Жених из ножевой линии». Ее исполнял учитель-костромич Второв, мешковатый медведь, сильно говорящий на «о», давший превосходный тип. Сперва мы играли в школьном здании и там исполнили «Ревизора» и «Женитьбу» Гоголя.

Я заметила, что ребята очень увлекаются игрой на сцене. Первое представление состоялось на Рождество. Все праздники прошли в репетициях и приготовлениях, и, таким образом, школьникам не удалось пойти в отпуск на все праздники.

Актерами у нас были ученики, ученицы, учителя и мои домашние. Мы исполняли разных авторов: Гоголя, Островского, Чехова и других. Играли и мои две пьесы: «Трефовый король на сердце» — шутка-водевиль, и «Заблуждение» — пьеса с тенденцией, с героем учителем, где я вывела тип учителя, о котором всегда мечтала для жизни. К сожалению, таких нет в жизни.

Между учениками обнаружились очень способные исполнители. Режиссером была я сама. Мы вместе читали роли, я объясняла характер изображаемого лица, требования сценических условностей, учила плавной, ясной читке, умению бойко подавать реплики. Все это будило мышление учеников, развивало их, делало игру сознательнее.

Балалайка тоже сослужила мне службу. Наш оркестр из 30 человек (мальчиков и девочек) дошел до совершенства. Ребята увлекались игрой. Иногда по праздникам мы устраивали под управлением Лидина концерты в Смоленске с благотворительной целью. Играли то в Народном доме, то в думском зале, то в Дворянском собрании.

Когда собирались ехать в Смоленск, сколько было приготовлений!.. Приносился огромный сундук со старыми мебельными чехлами, в них заворачивались балалайки и укладывались в этот сундук. Накануне под вечер запрягалось несколько розвальней, наваливалось много сена и на одни из них ставился сундук, на другие усаживались ученики и ученицы с дежурным учителем. Кроме того, ехал столяр на случай порчи инструмента. В городе для ребят отводилась комната в нашем доме, наваливали им сена, и они спали, как блаженные, до утра. Девочек я брала к себе, их было в оркестре пять-шесть.

Утром в день концерта делали репетицию, расставляли пюпитры в той зале, где играли. В дни концертов чай пили, завтракали и обедали в соседней с нашим домом чайной или в столовой Народного дома. Мы обыкновенно устраивались в читальной комнате. Кушали вволю, кто сколько хотел и чего душа просила, — два супа, например, три жарких и т. п. Потом мальчиков вели стричься, одевали в чистое платье: бархатные синие шаровары и красные рубахи, девочек — в темно-синие платья с красными бантами в волосах, и отправлялись в концерт. Успех всегда был боль-

шой, встречали нас хорошо, ребята были довольны. После концерта, облачившись в старое платье, марш на розвальнях домой. Обратное шествие сонного каравана направлялось прямо во Флёново. Дети очень любили эти поездки, были веселы, шутили, и я чувствовала свою близость с ними.

Мне случалось несколько раз во время моих наездов зимой делать детям елку. Это было очень сложно и хлопотливо, потому что, кроме полутораста учеников, приходилось звать также и детей служащих, которых набиралось до шестидесяти. Вначале мы делали елку в школьном здании, но это было ужасно неприятно, так как вместе с детьми набиралась масса народу, приходили родители смотреть на детей, жара и духота становились невыносимыми, свечи еле были видны, а после этой спертой, нагретой атмосферы бывало всегда много простуженных и больных. Тогда я перенесла елку в театр, и там она имела уже гораздо более торжественный вид. Срубалась огромная ель и устанавливалась плотниками в зрительном зале, на ней развешивались мешки с орехами, пряниками, конфетами, карандашами, тетрадями, раздаривались рубахи, картузы; для детей служащих тоже подарки, игрушки и сласти; подарки женам учителей.

Иногда, когда мне не удавалось приехать зимой, я переносила этот детский праздник на лето и в теплые майские вечера зажигала елку на школьном дворе, что производило чарующее, оригинальное впечатление. Место увеселения надо было оцеплять кордоном, потому что в темноте, окружающей освещенное место, к елке прорывались любопытные соседние крестьяне и происходили злоупотребления, таскались конфеты, пряники, что было неприятно. Дети веселились беззаветно и радовали мое сердце.

Я присматривалась ко многим ученикам и видела, что поступит, бывало, мальчик в школу, учится, учится, а толку нет, что-то в нем другое, наука не дается. Жалуются на него учителя, бранят, отметки плохие. Обыкновенно в школах, гимназиях просто отстраняют неспособного. Ребенок теряет в глазах родителей, иногда его презирают, и часто он утрачивает веру в себя — пропадает.

Так ли это? Есть ли безусловно неспособные люди, за исключением полного вырождения?

Нет, я твердо верю, что всякому человеку можно найти применение и собственный путь. Наука не дается — надо попытаться попробовать силы на другом. Надо подметить, изучить склонности и, поощрив их, направить на что-нибудь подходящее. Так я поступала с моими учениками. Отстраняя их от школы, я посылала их к садовнику, на кухню, в конюшню, и результат получался всегда удовлетворительный.

Раз в школе я задала сочинение на тему: «Кем бы я хотел быть». Один написал: хочу быть офицером, другой — поваром, третий — парикмахером. Я удивилась и спросила автора:

— Как? Почему парикмахером?

— У меня крестный в Смоленске в цирульниках живет.

Я отправила малого в Петербург, к модному куаферу Делькруа. Теперь он стал «мосье Арсен», зарабатывает несколько сот рублей в месяц — это из лентяя Артюшки-то...

Школа дала мне еще и художников. Вышли отличные резчики по дереву, рисовальщики. В русском мужичке всего найдешь, только покопайся. Приходит в школу бессознательным дикарем — ступить не умеет, а там смотришь, понемногу обтесывается, слезает грубая кора — человеком делается. В массе много способных и даже талантливых. Я любила разгадывать эти натуры, работать над ними, направлять их... Да, я люблю свой народ и верю, что в нем вся будущность России, нужно только честно направить его силы и способности.

Прискорбная история произошла у меня с одним моим учеником, Мишоновым. Он поступил при открытии школы в 1889 г. Сирота, плохенький, неразговорчивый, все больше исподлобья смотрит. Он мало обещал. Так и жил он у меня маленький да плохенький.

Раз прибегает ко мне Завьялов: «Мишонов пропал. Так в одной рубахе и ушел...» Я в ужасе, чуть не плачу. Каждый из этих плохеньких был дорог мне как свой. Умоляю Завьялова поехать на поиски. Узнаем, что Мишонов добрался до Смоленска, живет у богомаза. Я успокоилась, решила ждать.

Прошло два месяца. Говорят мне: «Мишонов в школу вернулся». Управляющий не принимает, велит ко мне идти, что скажу. Пришел с повинной, хмурый такой, грязный, волоса дыбом, в глаза не глядит.

— Ну что, Мишонов?

— Возьмите меня назад...

— Зачем же ты уходил?

— Хочу быть художником...

— Что же ты там не остался?

— Да нет, нехорошо...

— Научился, что ли, у богомаза художеству?

— Нет...

— А что же там делал два месяца?

— Дрова колол...

Тут мы помирились, блудный сын возвратился. На радостях баню истопили, отмыли Мишонова, остригли, в чистую рубаху облекли и снова откормили — захудал.

* * *

Мне давно хотелось осуществить в Талашкине еще один замысел. Русский стиль, как его до сих пор трактовали, был совершенно забыт. Все смотрели на него как на что-то устарелое, мертвое, неспособное возродиться и занять место в современном искусстве. Наши деды сидели на деревянных скамьях, спали на пуховиках, и конечно, эта обстановка уже перестала удовлетворять современников, но почему же нельзя было построить все наши кресла, диваны, ширмы и трюмо в русском духе, не копируя старины, а только вдохновляясь ею? Мне хотелось попробовать, попытать мои силы в этом направлении, призвав к себе в помощь художника с большой фантазией, работающего тоже над этим старинным русским, сказочным прошлым, найти лицо, с которым могла бы создать художественную атмосферу, которой мне недоставало.

Меня окружали милые, близкие люди, но совершенно непричастные к искусству. К тому же я не могла отдаться всецело намеченной цели, так как муж не любил деревни, с трудом проживал в ней два-три месяца, да и то в хорошую погоду, а как только вечера становились длинными и темными, он под всевозможными предлогами удирал в Петербург или за границу, предоставляя мне остаться еще некоторое время, но вообще не любил долгого моего отсутствия. Оставлять же мои мастерские без руководителя было невозможно.

Врубель во время своего пребывания в Талашкине [1] указал мне на художника Малютина как на человека, вполне подходящего для моего дела и по характеру своего творчества могущего выполнить все мои художественные затеи.

Киту пришлось по делам быть в Москве в это время, и я поручила ей отыскать Малютина, переговорить с ним и пригласить к себе в Талашкино на постоянную службу. Она застала его в ужасающей нищете, у него была жена и несколько человек детей. Он охотно отозвался на мое предложение и переехал к нам со всей семьей. Он оказался очень полезным и, по-видимому, сам увлекся моими задачами и целями.

Талашкино сделалось целым особым мирком, где на каждом шагу кипела жизнь, бился нерв, создавалось что-то, ковалась и завязывалась, звено за звеном, сложная цепь. Набралась кучка способных мальчиков, частью из школьников, в которых я подметила способности (как, например, Мишонов), частью из пришлых, прослышавших, что в Талашкине можно поучиться художествам.

Недалеко от будущей церкви, на склоне горы, на фоне елей и сосен, мне захотелось построить себе особый домик в русском стиле, и по рисунку Малютина был выстроен хорошенький, уютный «теремок», с красным резным фронтоном, исполненным в наших мастерских, с гармоничной раскраской*. Из окон его расстилался чудный вид, а у подножия горы раскинут был школьный фруктовый сад, дальше шли поля, окаймленные лесами. В этом теремке поместилась учительская читальня, пианино, а в нижнем этаже читальня для учеников.

* * *

Наши талашкинские рукоделия достигли уже известного совершенства, но все еще не удовлетворяли меня. Приходилось вышивать покупным материалом. Мы покупали английские нитки, которые придавали вышивкам банальный оттенок, что-то безличное. У меня возникла мысль воспользоваться сохранившейся еще среди наших смоленских крестьянок традицией и привлечь тех из них, которые еще не забыли украшенных вышивками своих нарядов и помнили способ старинной растительной окраски. Мне нужен был помощник в этом деле. И вот однажды в бытность мою в Петербурге, зайдя в Пассаж и остановившись перед магазином, в кото-

---

[1] М. В. Врубель гостил в Талашкине летом 1899 г.

* *См. сборник «Талашкино». (Изделия мастерских кн. М. Кл. Тенишевой). Издание «Содружества». Петербург, 1905 г.*

ром были выставлены мордовские костюмы, белые вышивки и какие-то деревянные солонки, я, заинтересованная, вошла в магазин. Заведующей магазином оказалась представительная седая дама, очень обходительная, разговорчивая и, видимо, любящая и понимающая кустарное дело, г-жа Погосская. Заметив мою слабую струнку — интерес к народному творчеству — она мигом овладела моим вниманием. Это ей ничего не стоило, она была ловкая женщина, побывавшая всюду, и в России, и за границей, изведавшая силу своего слова. Она умела прекрасно говорить на эту тему и, слушая меня, только горевала об одном, что ей большей частью приходится иметь дело с людьми, не понимающими кустарного дела, что сожаления ее будут удвоены теперь, когда она познакомилась с такой личностью, как я, которая с полуслова ее понимает. Какой бы получился результат, если бы она работала со мной заодно! У нее была дочь, тоже занимавшаяся кустарными вышивками, но ее словам, очень преданная делу матери, поставившая себе целью найти потерянный секрет старинной растительной окраски льняных тканей и шелка.

Эта седовласая женщина внушила мне такое доверие, что я сразу предложила и матери и дочери поступить ко мне на службу для совместной работы. Решено было, что ее дочь приедет ко мне в Смоленск, а так как дело было осенью и строить специальную красильню было невозможно, то я предоставила ей один из моих «мусорных» домов во Флёнове.

Г-жа Погосская должна была руководить всем делом, и мы предполагали открыть в Москве небольшой магазин для сбыта наших кустарных вышивок и произведений столярной, резчицкой и керамической мастерской.

В эту зиму начались выставочные постройки в Париже[1], и муж ни в коем случае не разрешил бы мне оставаться в деревне дольше. С грустью пришлось покинуть Талашкино, и я успела только водворить девицу Погосскую на ее зимней квартире, устроив ей там удобную мастерскую и временно красильню. Жить я предоставила ей в моем милом «теремке» и приставила к ней прислугу.

* * *

Когда я однажды весной вернулась из-за границы в Талашкино, ко мне прибежала Завьялова с докладом о том, как все обстоит во Флёнове. Она, видимо, была непокойна, но прикрывалась развязностью и с большим увлечением стала мне рассказывать об одном новом ученике, расхваливая его на все лады. История, по ее словам, выходила необыкновенно трогательной. Однажды по большаку, направляясь в Рославль, шел бедный мальчик-сирота и, проходя мимо поворота во Флёново, прочитал на столбе надпись: «Народная школа». Он решился завернуть туда, там его приютили, обогрели, приласкали, а он привел всех в умиление своим умом и развитием. Тогда Завьяловы, сжалившись над бездомным сиротой, решились на свой страх оставить его в школе пансионером, будучи

[1] Выставочные павильоны в Париже строились зимой 1899/1900 г.

уверены, что когда я узнаю этого ребенка, то тоже буду от него в восторге.

Каково же было мое изумление, когда я, вместо ребенка, среди детей 13-ти, 14-ти лет увидала рыжего детину, лет 24-х, с признаками тщательно выбритой бороды!..

Неудивительно, что Хамченко — так звали его — сделался немедленно первым учеником и ослепил своими способностями и умом учителей... Этот парень, видимо, прошел уже через огонь и воду. Где только он не перебывал, начитанный, неглупый и себе на уме.

Несмотря на то что он проходил за ребенка, он был, несомненно, во сто раз развитее учителей и любил над ними иногда очень зло подшутить. Подмигнув товарищам, он вызывал их на какой-нибудь отвлеченный разговор, задавал сложные вопросы, наивно прося объяснения, и торжествовал, когда ставил их в затруднительное положение, или, вычитав в энциклопедическом словаре какой-нибудь исторический или научный факт, запомнив имена и годы, обращался с вопросами к учителям, тоже, конечно, в присутствии товарищей; учителя снова попадались впросак. Между тем ученики шли целой гурьбой на эти диспуты и потом вместе с Хамченко смеялись над учителями, а он делал это с расчетом подорвать доверие к ним ребят.

Несмотря на все старания Завьяловой, я продолжала коситься на этого великовозрастного питомца и предчувствовала, что от него можно ожидать чего-нибудь недоброго. Мой инстинкт не обманул меня.

У жены Панкова было три брата, Солнцевы. Один — армейский офицер, ничего из себя не представляющий, однако, когда я узнала лучше дух этой семьи, я подумала, что вряд ли такие офицеры полезны в армии, в смысле благонадежности и хорошего влияния на солдат. Второй, которого мы называли «вечный студент», — громадный детина, с бородой, лет 30-ти. Обыкновенно, знакомясь, он развязно рекомендовал себя: «социал-демократ». Третий — таинственный гимназист, вечно где-то скрывавшийся и постоянно находившийся под надзором полиции. Когда приходилось где-нибудь с ним сталкиваться, он демонстративно не кланялся, вероятно, выражая этим свои более чем либеральные убеждения. Вся эта компания со студентом во главе вносила в мою школу нежелательный дух. Пока ребята были еще малы, я хотя и косо смотрела на их пребывание во Флёнове, но думала, что они не могут еще иметь никакого влияния на детей, имея дело с такими юными умами. Однако случилось одно обстоятельство, которое убедило меня в противном.

Своими постоянными интригами, а главное, близостью своей с Солнцевыми, которых я считала вредными для школы, Панков сильно расхолодил меня в отношении к себе. Я потеряла понемногу всякое уважение к нему и потому была рада, когда он ушел от меня и перебрался в Москву. Я надеялась, что отъезд его навсегда избавит мою школу от того духа, который он со своей родней внес во Флёново. Я заменила его преподавателем Симоновым, взятым по рекомендации и получившим от него все указания для ведения пасеки.

Вначале Симонов казался очень старательным и преданным делу. Но я никак не могла разгадать его. С виду он был общительный, разговорчивый, но в нем всегда была какая-то двойственность, что-то неискреннее, что, впрочем, в конце концов и обнаружилось. Сомнения мои вполне оправдались. В 1903 году, когда уже чувствовалось в школе какое-то брожение, в котором я, к сожалению, не отдавала себе отчета, Симонов, как и многие другие учителя, принадлежал к кучке красных и недовольных. Пробывши в моей школе два года, перед самым началом занятий, в мое отсутствие, как раз накануне моего приезда, Симонов, не предупредив меня как попечительницу, в полном смысле слова бежал из Флёнова. С вечера накануне забрал жену, детей и уехал на станцию. Чего он страшился? Что натворил? Я никогда не могла понять. Не отъезд его, а способ, отношение к делу меня глубоко возмутили. Его неожиданный отъезд, как раз перед началом занятий, поставил меня в очень затруднительное положение. Мне пришлось спешно телеграфировать в Министерство, прося выслать мне нового преподавателя. Свои же обязанности он бесцеремонно взвалил на товарищей, и до приезда нового учителя они работали за него все его часы. Оказалось, что и это было дело рук Панкова, у которого чувства порядочности никогда не существовало.

Пришлось расстаться и с Завьяловым. Он не исполнил своего слова и не исправился, окружив себя самыми неблагонадежными людьми, стал подстрекать учителей и создал невозможную для школы атмосферу. Пока он был скромен и старался, жена его тоже стушевывалась, но затем она забрала его и всех учителей в руки, вздумала всегда первенствовать, всем распоряжаться, во все вмешиваться, сплетничать и поселила такой раздор в среде учителей, что выносить ее дольше стало невозможно, не говоря уже о ее мелком взяточничестве курами, рыбой от родителей неспособных учеников, которых она мне навязывала на шею. Я заменила Завьялова милым, тихим, скромным, очень порядочным, дельным и честным человеком, Масленниковым.

Злое семя, посеянное Панковым, дало неожиданные всходы. Миша Григорьев, один из старших в своем классе, нервный, способный и милый ребенок, вероятно помня мое доброе к нему отношение, был со мной всегда приветлив. Это был тот самый мальчик, которого я приняла по просьбе маляров, работавших во Флёнове в самый день открытия школы, и мать которого, по слухам, погибла на Ходынке. Но по приезде я не узнала Мишу. Он был насупленный, избегал моего взгляда, держался поодаль и стал водить постоянную компанию с Хамченко. Почему у них дружба? На какой почве? Я понять не могла. Но понемногу из разговоров я узнала, что в зимние вечера у Панкова, под предлогом балалайки, собирались, что-то читали. Вечный студент, конечно, играл первую скрипку и усердно просвещал компанию. Из учеников туда были допущены Миша и Хамченко. Тогда у меня стали понемногу раскрываться глаза: я поняла, откуда ветер дует.

В то время в школе служил садоводом С. А. Ярошевич, литовец, очень способный, энергичный и очень трудолюбивый. Он заметно отличался от остальных преподавателей, исполнявших свои обязанности спустя рукава. Некоторые были просто лентяями. Это усер-

дие не нравилось учительской компании, потому что подчеркивало их общий недостаток. На огороде, в полях — Ярошевича всюду было видно. Когда ни приедешь, Ярошевич всегда за делом. Вставал он раньше всех, компании не водил ни с кем. Да это и трудно было — все его сторонились. Узнавать от него мне кое-что иногда удавалось, но, видимо, он был чем-то запуган.

Раз в школе, не помню по какому поводу, вышла с ним неприятная история. Хамченко и Миша, неизвестно кем подстрекаемые, пришли к управляющему сказать, что если Ярошевича не прогонят, то они уйдут из школы. Управляющий, Масленников, пришел мне доложить об этом. Я не могла потворствовать капризам учеников и в угоду им отстранять преподавателя. После этого каждый из учеников мог бы тоже потребовать устранения непонравившегося преподавателя. Поэтому я взяла сторону Ярошевича и всеми силами старалась отговорить Мишу от задуманного, тем более что ему оставалось всего два месяца до окончания курса. Ему было 16 лет, он был на хорошем счету, учился отлично, и было обидно, если бы он ушел из школы, не получив свидетельства об окончании. Все его труды в течение 4 лет пропали бы даром. Мне на помощь явилась Киту. Масленников был очень огорчен и тоже отговаривал его. Но ни мои хорошие слова, ни наши общие увещания не повлияли на Мишу. Он, видимо, боролся с собой, страдал, плакал, но решения уйти не изменил.

Хамченки мне не было жаль. Я рада была от него избавиться. Предчувствие мое не обмануло меня. Я всегда ждала от него какой-нибудь неприятности, но Мишу очень жалела. И они ушли.

Как обнаружилось потом, у Миши были деньги, и они-то и послужили приманкой для Хамченко. История этих денег такова. Спустя месяц после поступления Миши в школу, откуда ни возьмись, явилась его мать, которую уже считали погибшей во время ходынской катастрофы. Это была богомолка, бродячая женщина, продувная баба, отправившаяся после Ходынки на какое-то богомолье. Года через полтора придя в Смоленск, она как-то узнала, что ее сына приютили в школе, и пришла навестить его. Пожила у одного из учителей в кухарках, а потом, отдав Мише книжку сберегательной кассы, на которой у нее было двести рублей, снова отправилась странствовать.

Хамченко примазался к этим деньгам и бессовестно увлек Мишу за собой, враждебно настроив против меня и взвинтив ему голову всевозможными идеями, которые они черпали из уроков братьев Солнцевых. Впрочем, Хамченко из того же теста, учиться ему было нечему. Миша, как неопытный мальчик, всецело попал под их влияние, и они ловко его одурачили.

Впоследствии я узнала, что Завьялова приняла этого огромного парня, Хамченко, взявши с него пять рублей взятки, и вот почему так сильно мне расхваливала его. Но недаром я никогда не могла разделить ее восхищения. Он ловко пристроился на три года и за свое воспитание, одежду, пищу и квартиру в течение трех лет заплатил всего только пять рублей... Мой инстинкт не обманул меня.

Новый управляющий школой, заменивший Завьялова, недолго пробыл во Флёнове. Он принес большую пользу, и я была им очень

довольна, но, к сожалению, ему пришлось уйти по семейным обстоятельствам, вскоре же он был вызван ратником ополчения и уехал отбывать свой срок. Я лишилась хорошего и ценного сотрудника.

* * *

У меня накопилось так много работ из моих мастерских, что я для поощрения моих учеников смогла устроить выставку талашкинских изделий в Смоленске[1], в том самом здании, где была рисовальная студия при Куренном, так что эта постройка сослужила мне еще службу. Мы очень живописно убрали комнаты и разместили предметы. Там были сани, украшенные живописью и резьбой, дуги, балалайки, дудки, скамейки, рамки, полотенца, мебель, шкафчики, шкатулки, стулья, а также много вышивок — все труды моих учениц и учеников.

Собралась очень разнообразная и живописная выставка. Цену за вход назначили дешевую, десять копеек, и с благотворительной целью. К сожалению, посетителей за весь месяц перебывало не более пятидесяти человек, и между прочим, произошла маленькая забавная сценка, которую мне передала заведующая выставкой. Явилась дама, не то помещица, не то купчиха, и, молча, с лорнетом, обошла залу. Остановившись перед расписными санями, окаменела... Долго, долго она стояла, и так как в эту минуту была единственной посетительницей, то заведующая выставкой вежливо стала за ее спиной, чтобы дать объяснения. Наконец дама обернулась и говорит:

— Скажите, пожалуйста, это —сани?

Та вежливо ответила.

— Нет, скажите, пожалуйста, как же вы хотите, чтобы я села в такие сани?

Заведующая молча, навытяжку, стояла перед нею, не зная, что ей отвечать.

— Нет, я вас спрашиваю, скажите мне, как могла бы я сесть в такие сани?

Молчание. Не успокаиваясь, дама опять пристала:

— Нет, прошу вас мне сказать, как я сяду в такие сани?

Не известно, чем бы и скоро ли кончилась эта сцена, если бы не вошли новые посетители и не прекратили ее.

Вообще, наши вещи не вызвали восторга, а только немое удивление, которое мы не знали чему приписать: признанию или отрицанию подобного производства, сочувствию или порицанию. Но через несколько лет публика вошла во вкус, и мне пришлось видеть во многих домах мебель и убранство, скопированные с тех вещей, которые сначала вызывали только немое остолбенение. В то же время талашкинское производство привлекло к себе внимание художественной критики. Снимки с наших изделий были помещены в «Мире искусства» и в иностранных художественных журналах.

---

[1] Выставка открылась 20 декабря 1901 г.

XVIII

Мир искусства. Дягилев. Мамонтов. Первый номер журнала. Серов

Моя «конспиративная» квартира осталась мне очень памятной еще и потому, что в ней зародилась мысль создать художественный журнал. С этим предложением ко мне туда однажды пришел Дягилев Сергей Павлович, и мысль эта мне очень улыбнулась, потому что я уже мечтала о подобном деле, придавая ему большое значение и сознавая, что без критического художественного журнала страна как бы не имеет общения между художниками и обществом, тем более что все еще первенствовавшая школа передвижников стояла явно на ложном пути и продолжала тормозить и затмевать и без того отставшее от западноевропейского русское искусство и развитие вкуса в обществе. То, что когда-то было, может быть, и хорошо, для нашего времени устарело, и, когда, бывало, после заграничных выставок приходилось посещать русские, глаза бежали с одной картины на другую, а смотреть было нечего.

В дело журнала входил вкладчиком кроме меня Савва Иванович Мамонтов, и Дягилев однажды привез его ко мне, чтобы мы обсудили размер нашего участия и права в журнале. Мамонтов, известный меценат, державший несколько лет оперу в Москве, был человек со вкусом и, казалось, как нельзя лучше подходил для издателя и сотрудника нашего будущего журнала. Есть кучка людей, которая постоянно восхваляет Мамонтова за его оперу, ставит его на пьедестал, я же нахожу, что заслуга его, конечно, велика, но все же нужно посмотреть ближе и на то, что именно натолкнуло Мамонтова на эту деятельность. В Москве ни для кого не было тайной все то, что происходило за кулисами его оперы... Впрочем, это не мое дело, страдать приходилось от этого только его семье. Но, несомненно, если бы Мамонтов серьезно отнесся к журналу, то мог бы быть бесценным сотрудником, и потому я приняла его хорошо.

Так как я была неопытна в составлении условий, то обратилась к мужу и за советом, и за деньгами. Первые слова мои были встречены бурей. Он положительно восстал против моего намерения, хотя и понимал, что для меня такое дело было бы действительно интересно. Денежный же вопрос его окончательно возмутил.

— Верь мне, — говорил он, — тебя берут только за деньги. Что им твои художественные инстинкты, твои способности, вкусы и понятия?.. Ты всегда живешь в каких-то иллюзиях и прикрываешься громкими фразами: общественное благо, развитие общества, расцвет искусства, и этим только себя обманываешь...

Когда я приводила ему в пример Мамонтова, который решается вступить в это дело, он отвечал:

— Да что Мамонтову? Сегодня он сунется в одно, завтра в другое, да и почем ты знаешь, что им руководит?.. А за Дягилева ру-

чаюсь тебе, что ты ему так же интересна, как прошлогодний снег, ему нужны только средства...

Мне было очень больно это слушать, и я невольно спрашивала себя, так ли это? Но Дягилев в эту минуту пел соловьем, уверял меня, что никто, кроме меня, не может внести свет куда-то и во что-то... и т. д. Это было очень красиво, очень трогательно...

Я колебалась и раздумывала. Меня мучил вопрос, уж не лесть ли Дягилева толкает меня на этот шаг? И не раз я себе говорила: при чем же я тут, если он главный редактор? Ведь вся власть будет у него. Мне были очень неприятны слова мужа, и я от них никак не могла отделаться...

Но наконец я решилась. Сознание важности дела победило мои сомнения. Мало-помалу и муж сдался. Чего это стоило — одному Богу известно...

Давно я поняла, что, женившись на мне в возрасте сорока восьми лет, муж был человеком с уже сложившимся характером, вкусами и складом жизни. Он позволял себе много отступлений от прямых семейных обязанностей до нашей свадьбы, но пресытившись неправильной жизнью, он захотел иметь в своем доме нарядную хозяйку, просто молодую, здоровую женщину, оставив за собой полную свободу действий во вкусах, порядке дня, продолжая такую же самостоятельную и независимую жизнь, как и раньше, и продолжал жить как бы на холостую ногу. Мои запросы к жизни, мои интересы, моя деятельность — не играли никакой роли в наших отношениях. Он ценил во мне только женщину, а не человека.

Как и в первом своем замужестве, я мечтала о другом. Я хотела сделаться товарищем, сотрудником мужа, его помощницей, единомышленницей... Мне казалось, что я настолько сильна и благоразумна, что могла бы быть ему хорошим советником, и по выходе замуж с нетерпением ждала того момента, когда муж поймет, что я ему преданный товарищ и друг. Но время шло, и много было случаев, в которых я как женщина могла сгладить, во многом помочь, облегчить и уравновесить, и в отношениях к людям, и в делах — но мои ожидания были обмануты. Муж во всем справлялся совершенно самостоятельно, и какие бы ни были у него затруднения, он запирался в своем кабинете на несколько часов, сам все решал и в моем вмешательстве не нуждался никогда.

Часто о крупных, важных обстоятельствах, сложных делах и неприятностях я узнавала тогда, когда острота момента уже миновала. Это страшно огорчало и уязвляло меня. Не раз я упрекала мужа в этом, но он обращал мои слова в шутку, целовал и миловал меня, как целуют избалованного, капризного ребенка, который сам не знает, чего он хочет. Меня эти ласки обижали и доводили до слез.

Когда я ему доказывала, что в моей деятельности нет ничего «женского», все, что я начинаю, я довожу до конца, умею быть стойкой, энергичной и самоотверженной, — он делался серьезным и неизменно отвечал: «Да, ты умница». А на мой вопрос: «Почему же, если умница, я не могу ему служить?» — он говорил: «Нет, жена должна только радовать мужа. Сильный мужчина не нуждается ни в чьей помощи».

Не раз я задавала себе вопрос, что мне делать, чтобы завоевать себе равное положение с ним. Сознание, что я для мужа только женщина, возбуждающая его чувства, до глубины души оскорбляло меня. Мои серьезные разговоры только забавляли его, и он почти всегда слушал меня со снисходительной улыбкой. Когда же возникали денежные вопросы, он не щадил ни выражений, ни обидных выводов...

Он охотно бросал деньги на туалеты, золотые вещицы, бриллианты, но почти не признавал, что у женщины могут быть и другие потребности...

Уже знакомый мне в нем дух противоречия объяснил мне многое в его характере, и я нашла способ всегда тратить сколько хотела на свои предприятия. Простое объяснение, почему я нуждаюсь в той или другой сумме, не удовлетворяло его, этого было мало. Но, найдя известную уловку, манеру обходиться с ним, я восторжествовала. Я поняла, что если он видит во мне только женщину, я должна поступать как женщина.

Я пела и пела особенно увлекательно тогда, когда у меня была какая-нибудь цель. Он зажигался и делался податлив, как ягненок.

Я шла к нему в кабинет просить денег, но, получив отказ — вежливый, с поцелуем руки, — из просительницы превращалась в законодательницу, я требовала и говорила: «А я тебе говорю, что я так хочу. Прошу тебя, чтобы завтра это было сделано»... На это он вставал, целовал меня и, жеманясь, отвечал: «Princesse, votre volonté — c'est la mienne»[1]. И когда, сыграв роль капризной львицы, я, оскорбленная недостойной комедией, уходила от него, меня утешала мысль, что я делаю это не для себя, а ради идеи.

То же самое произошло и с «Миром искусства». После долгих объяснений и здравых доводов, я вдруг изменила тактику и объявила, что я так хочу и чтоб так было. Результатом было то, что муж принял у себя Дягилева и Мамонтова и условие было подписано. Мы вносили по 12 500 руб. в первый год на основание художественного журнала «Мир искусства»[2].

Дягилев был главным редактором, а за ним потянулась целая вереница его товарищей, сотрудников, в том числе и А. Бенуа. Мы все часто собирались на «конспиративной» квартире, рядом с нашим домом, и проводили там вечера, обсуждая разные вопросы относительно журнала, перебирая мои акварели для музея. Вместе с Дягилевым ко мне приблизились Серов, Головин, Коровин, маленький и бесталанный Нувель, родственник Дягилева Д. В. Философов, кроме того, бывали Левитан, Врубель, с которым я уже раньше была знакома, Бакст, Цорн и многие другие, чаявшие движения воды и желавшие попасть в журнал. «Конспиративная» квартира сделалась центром надежд и мечтаний о будущих благах. После деловых разговоров много пели, играли, шутили, смеялись. Нам подавали чай, орехи, сладости; время проходило незаметно, очень весело и приятно, и в то время отношения наши носили дружественный и сплоченный характер.

---

[1] Княгиня, ваше желание — мое желание (*фр.*).

[2] Журнал «Мир искусства» выходил с 1899 по 1904 г.

Вначале проект «Мира искусства» был встречен некоторыми передвижниками очень сочувственно. Репин казался в восторге... Васнецов настолько хорошо относился, что обещал для первого номера снимок со своих «Богатырей», которые только что появились на выставке и еще нигде не были воспроизведены, и другие свои вещи. Судя по всему этому, начало было удачно, и я видела залог успеха. Но, немного погодя, показались первые недоброжелатели: Репин вдруг переменил свое отношение к нам и стал ругать наше предприятие, а также весь наш кружок.

Вышел первый номер «Мира искусства» и наделал много шума*. Васнецова этот номер явно не удовлетворил, и он стал в оппозицию к журналу, объявив, что ничего больше туда не даст. Мы чем-то не угодили ему в его биографии, и это окончательно восстановило его против нас. Так как по нашей программе в журнале предстояло еще много о нем говорить, то после его отказа давать нам что-либо я решилась на крупную жертву для журнала: приобрести на его выставке серию акварелей к Снегурочке. Он потребовал с меня 5000 руб., которые я пообещала ему, и мы как будто расстались друзьями. Я успокоилась немного за журнал и была довольна, что достала такой хороший материал. На другой день на той же выставке, куда я заехала еще раз, вдруг Васнецов ловит меня и просит переговорить с ним. Найдя укромное местечко, он говорит мне, что хотя очень польщен моим желанием приобрести у него акварели, но, обсудив мое предложение, понял, что это делается для «Мира искусства», а потому отказывается продать их мне.

Меня это поразило. Я начала убеждать его, что действительно я предполагала поместить их в журнале, но зато потом я хотела передать эти акварели в музей Александра III, и что его опасения только отчасти справедливы. Но он был непоколебим и хотя мягко, вежливо, но уклонился от этой сделки. Увидав, что он не переменит своего решения, я с грустью, расстроенная, простилась с ним. У него был какой-то смущенный, виноватый вид в эту минуту, а я искренно была огорчена.

Много лет спустя, проездом через Москву, я пригласила его с нами пообедать, и тогда он, в присутствии мужа, напомнил мне об этом казусе, говоря, что никогда не забудет выражения моего лица в этот момент и как ему было совестно, что он сделал мне больно: «У вас было такое грустное, растерянное выражение...»

Задачей «Мира искусства» было выдвинуть молодых, способных и талантливых художников, заговорить о них в журнале и обратить внимание на них посредством выставки, которая бы воочию показала публике, что в России есть свежие и молодые силы, кроме передвижников. На этой выставке должны были фигурировать и старые, и новые художники — все, что было крупного, талантливого и яркого. Васнецов после выхода первого номера отказался прислать что-либо и на выставку, а Репин пообещал сделать три портрета, но, конечно, остался верен себе и не вполне исполнил обещание.

Я тогда была в Париже, и мы с Дягилевым много потрудились для этой выставки. Мы объехали всех любителей коллекционеров,

---

* *В 1899 г. в Петербурге.*

собирая картины и портреты французских современных мастеров. Были в мастерской Больдини, Уистлера, и, благодаря моему положению, артисты и любители доверили мне свои шедевры. Бенар[1] дал нам свой портрет Режан во весь рост у рампы. Мне удалось также уговорить одного коллекционера поручить нам пять-шесть картин Дегаза[2], и все эти вещи я везла уложенными среди моих платьев, к великому неудовольствию Лизы, говорившей, что это портит платья. Для спокойствия я застраховала их в 500 000 франков.

На выставке были также редчайшие образцы хрусталя Тиффани, которые я давно собирала и покупала у Бинга в Париже. В России они появлялись впервые, это была новинка. Там же были выставлены впервые ювелирные вещи Лалика, который поручил мне более чем на 50 000 ценных предметов.

Наконец, когда все было готово, мы увидали, что недостает только трех обещанных портретов Репина, которых он не прислал до последней минуты. Накануне выставки Дягилев ездил к нему несколько раз, но безуспешно и, вспомнив, что я часто вижусь с Репиным, впопыхах приехал ко мне, прося вмешаться в это дело. Репин как раз в это время давал урок у меня наверху в студии. Я попросила его после урока зайти ко мне. Когда он вошел, я сразу увидала, что он в очень дурном настроении, и, когда я спросила, почему он не присылает обещанных портретов, он стал ломаться, увиливать и, наконец, грубить. Я горячо убеждала его, говоря, что нехорошо не держать слово. Мы вступили в пререкания и, слово за слово, крупно поговорили. Репин был взбешен и, наговорив мне массу неприятного, ушел. Это был наш окончательный разрыв. На выставку он прислал только один портрет, да и то такой, который ничего не прибавил к его славе.

Открытие состоялось очень торжественно[3], в присутствии Великого Князя Владимира Александровича, Великих Княгинь Елены Владимировны и Марии Павловны, и я опять принимала их и давала объяснения.

Раз выставку посетил Государь. Не могу при этом не вспомнить один курьезный случай. Визит Государя был нам обещан, но день не был назначен. Раз, когда я сидела за завтраком, мне вдруг из дворца телефонируют, что Государь во втором часу намеревается посетить выставку. Я немедленно приказала закладывать карету и, увидав по часам, что не успею переодеться, решила ехать как была. Карета моя уже поравнялась с Зимним дворцом, как я увидала, что к подъезду подъехали сани Государя. Он вышел, сел и поехал. Я поторопила кучера и, не отставая ни на шаг, успела подъехать одновременно, сбросить шубу и встретить Государя в дверях залы Штиглица. В это утро Дягилев со своей компанией, ничего не подозревая, где-то завтракал, и, несмотря на то что я ему во все концы телефонировала, его нигде не могли найти. Таким образом, я одна встречала Государя и ни Дягилева, ни художников, которых мы хотели представить Его Величеству, не было. Один Коровин, представлявшийся в этот день Великой Княгине Ели-

---

[1] Боннар.
[2] Дега.
[3] Выставка открылась в 1899 г. в Петербурге.

завете Федоровне, во фраке, не переодеваясь, совершенно случайно завернул на выставку, так, просто товарищей проведать. В передней он столкнулся с Дягилевым, которого наконец где-то разыскали и который сломя голову прискакал на выставку. Так как он был не во фраке — заехать домой переодеться он бы не успел, — то не мог представиться Государю и был в ужасном положении. Увидав Коровина, входящего в переднюю во фраке, Дягилев набросился на него, прося одолжить фрак, и где-то, за какой-то витриной, они обменялись платьем. Но надо сказать, что Коровин был на две головы ниже Дягилева и очень худощав, а Дягилев — очень плотный, грузный мужчина. Он с неимоверными усилиями напялил на спину фрак Коровина и явился перед Государем. Когда я, представляя его, подняла глаза и увидала его рукава, едва закрывавшие локти, торчащие манжеты, съеженную спину и всю его сдавленную фигуру — он едва переводил дыхание, — я не знала, куда мне глядеть и что говорить. Дягилев тоже едва удерживался от смеха и старался серьезно отвечать и давать объяснения. Мы боялись посмотреть друг на друга, казалось, еще минута — и мы разразимся безумным смехом. К счастью, мы выдержали, и все сошло благополучно. Уезжая, Государь очень милостиво простился со мной и сказал много любезного.

Вряд ли какая-нибудь выставка в Петербурге возбудила столько толков, наделала столько шуму, вызвала столько противоположных мнений, толков и разговоров — словом, глубоко взбудоражила весь художественный мир, все кружки и группы самых разнообразных направлений. Для большинства эта выставка была так смела, что они растерялись, не зная, что хвалить и что критиковать. Представители старой школы обрушились на нас со всей силой негодования, объявили ее «декадентской», объявили нас чуть ли не художественными еретиками, лишь немногие восхищались, в прессе же мы встретили явное неодобрение.

Когда портрет Режан красовался у нас на этой выставке, масса людей смеялась на ним, передвижники рвали и метали, призывая на наши головы гром и молнии, говоря, что это «гадость». Однажды я сама видела, как кн. В. Н. О-й и какой-то преображенский офицер, стоя у портрета Режан, катались от хохота, а многие, не скрывая, выражали мне свое недоумение, как я могу показывать в Петербурге такую безвкусицу. Ответом этим людям послужило то, что через несколько лет на Всемирной парижской выставке Бенару за этот портрет был присужден «grand prix»[1]. Встречая после этого знакомых, я дразнила их и называла слепыми.

Можно сказать, что наша выставка для петербургского общества была пробным камнем. Передвижники затянули его понятия в такую тину, так приучили вкусы к тулупам в натуральную величину и тенденциозной сентиментальной манере, что, конечно, выставка не могла понравиться большинству и быть им оцененной по справедливости. «Импрессионисты», «ориенталисты» и вообще все то, что не подходило к нашему тулупу, возмущало общество, и на меня с Дягилевым посыпались обвинения и насмешки. Меня даже прозвали: «мать декадентства».

---

[1] «Гран-при» (*фр.*).

На выставке, между прочим, фигурировало большое панно Врубеля «Русалки». Зная недружелюбное отношение общества к Врубелю, особенно передвижников, зная, сколько этот человек перенес обид и несправедливостей и как нуждается, я приобрела это панно, имея в своем доме подходящее для него место. Но «Мир искусства» в то же время был принят столь враждебно, что даже и это мое приобретение обрушило на меня целый ряд неприятностей. Отразилось все это в ряде самых неприличных карикатур Щербова, работавшего в «Стрекозе». Он, говорят, искал меня везде, чтобы нарисовать с натуры, но так как видеть меня ему не удалось, то он изображал меня всегда со спины или аллегорически.

Все это были неприятности, доставляемые враждебным лагерем, а этого, конечно, можно было ожидать. Но в скором времени для меня начались неприятности с той стороны, откуда я их совсем не ожидала и, напротив, за все мои труды и помощь была бы вправе ожидать только доброго отношения... Мамонтов поступил со мной в высшей степени недобросовестно. Оказывается, он подписал со мной условие накануне своего краха, который он, конечно, не мог не предвидеть, и потому внесенные им пять тысяч рублей было все, что он сделал для журнала. Таким образом, все расходы по «Миру искусства» пали всецело и исключительно на меня. Не говоря уже о том, сколько неприятностей со стороны мужа навлекло на меня это обстоятельство...

Почувствовалась перемена в отношениях ко мне и со стороны Дягилева. Имея дела с женщиной (с Мамонтовым он, конечно, больше бы считался), он стал вести журнал в направлении, совершенно противоположном моему желанию. Я считала непростительным пользоваться нашим журналом для травли людей, давно заслуживших себе имя, оцененных обществом, много сделавших для русского искусства, как, например, Верещагин, которому надо быть благодарным хотя бы за то, что он ввел в России батальный жанр. Деятельность его не должна была подвергнуться критике в той форме, как это позволил себе Дягилев на страницах «Мира искусства». Это был уже, можно сказать, классик. Отзывы о нем Дягилева шли совершенно вразрез с моими взглядами, ответственность же падала на меня.

После первой атаки Дягилевым Верещагина я горячо спорила с ним, упрекала, что он не предупредил меня, в каком тоне будет писать. Но Дягилев не обратил на мои слова никакого внимания и упорно продолжал в том же духе.

Мое имя, положение были гораздо более известны, чем имя Дягилева, который еще недавно вышел на это поприще. Он один большого значения не имел и не мог бы издавать журнала, а потому все выходки его на страницах «Мира искусства» отзывались всецело на мне, никто не хотел верить, что все это делается без моего ведома и согласия. Все это, конечно, создало мне массу врагов и неприятностей без числа. С некоторыми людьми мне пришлось иметь объяснения самого тяжелого характера, расплачиваясь за чужую вину.

Дягилев становился все смелее и смелее. Понемногу он и его приятели прекратили визиты в «конспиративную» квартиру и стали собираться на квартире Дягилева и там сочинять свои хроники,

вышучивая и высмеивая всех и вся, задевая людей за самые чувствительные струны.

Бороться из-за денег, платить колоссальные суммы и за это получать одни лишь неприятности, как со стороны тех, кому даешь эти деньги, так и со стороны всех недовольных выходками журнала, нести на себе двойную ответственность — все это привело меня, наконец, к сознанию, что я действительно взялась не за свое дело. Но что было больнее всего, это то, что слова мужа о Дягилеве оправдались в полной мере. Не раз приходилось нам объясняться, но это каждый раз не улучшало, а обостряло наши отношения.

Таким образом прошел год, и снова возник вопрос о продолжении журнала. Дягилев приехал ко мне для переговоров, но я сказала ему, что с меня довольно полученных неприятностей и что я оставляю «Мир искусства». Конечно, это ему было неприятно: пользоваться лестью и вниманием всего художественного мира, и здесь, и за границей, и вдруг потерять это положение — это было ударом для него. Но я больше не могла. Взвесив все хорошее и дурное, виденное мною от Дягилева, я нашла, что дурного было больше...

Расставшись с Дягилевым, я не могла еще решиться порвать с «Миром искусства», все-таки это было что-то дорогое, с ним было столько связано, столько передумано... Вот почему года через два, когда Дягилев был очень стеснен в средствах и снова обратился ко мне с просьбой помочь ему (я получила длинное письмо от него, а затем и он сам приезжал ко мне в Талашкино), я опять помогла ему материально, давши пять тысяч рублей.

Спустя несколько лет вновь возник вопрос о моем вступлении в журнал как издательницы. Тогда я выработала новую программу, поставила Дягилеву известные условия, желая прежде всего придать журналу более национальный характер, оставить постоянные и неумеренные каждения перед западным искусством и заняться поощрением своего, русского, в частности прикладным искусством. Я не могла примириться с постоянным раздуванием «Ампира», вечным восхвалением всего иностранного в ущерб всему русскому и явно враждебным отношением к русской старине. И это в единственном русском художественном журнале. В связи с этим я потребовала изменить состав сотрудников журнала и пригласить Н. К. Рериха, очень образованного, уравновешенного и серьезного знатока дела. Также, в связи с изменением в направлении журнала, решено было о выходе из редакции А. Бенуа. Дягилев опять казался искренним и с чувством говорил:

— Да, что ни делаешь, а истинные друзья встречаются только раз в жизни... Много перед вами проходит людей, но преданный, верный друг — один в жизни...

Вскоре вышло объявление в газетах о принятии подписки на журнал с моим участием как издательницы. В списке сотрудников я прочла имя А. Бенуа. Дягилев и на этот раз нарушил наше условие и, как и прежде, не стеснялся со мной. Тогда я немедленно поместила в той же газете объявление, что никакого участия в журнале не принимаю и принимать не буду. Это и было смертью «Мира искусства». С тех пор я уже окончательно порвала с Дягилевым.

В то время, как еще только зарождался «Мир искусства», я позировала Серову для портрета масляными красками. Серов понял мой характер, придал мне непринужденную позу, очень мне свойственную, и казалось, удача будет полная.

Однажды во время сеанса влетел Дягилев и с места в карьер напал на Серова, стал смеяться, что тот пишет даму декольте при дневном освещении. Это было до того неожиданно и с первого взгляда так смело, что Серов смутился и, поддавшись его влиянию, тут же зажег электрическую лампу с желтым абажуром. Эта перемена освещения дала мне желтый рефлекс на лице и совершенно убила удачный колорит портрета. Но, несмотря на желтизну лица, мне все-таки очень нравился этот портрет, и, когда он был готов[1], я повесила его в кабинете мужа в его отсутствие. Вернувшись и увидав его, муж пришел в такое негодование, что приказал вынести его вон и сделал мне снова самую тяжелую сцену, говоря, что предпочитает видеть на своих стенах олеографии, нежели такие карикатуры.

Когда Серов, увидав князя и не дождавшись от него ни одного любезного слова, сам вызвал его на разговор о портрете, князь очень сухо ответил ему:

— Позвольте мне не высказываться. Когда человек молчит, это значит, что он не хочет сказать чего-нибудь неприятного.

С тех пор Серов сделался моим отъявленным врагом, несмотря на то, что я лично всегда ценила его талант и приветливо встречала его. Он никогда не мог простить мужу его слов и совсем не по-рыцарски вымещал их на мне.

Грустная эпопея портретов далеко еще не была закончена. Истории с мужем у меня были также и из-за портретов Степанова, Ционглинского, не говоря уже о Куренном, а из-за бюста Трубецкого, прожившего у нас в Талашкине три месяца и взявшего с меня за маленькую бронзовую статую 4 000 рублей, муж пришел в такое неистовство в своем негодовании, что объявил мне, что больше ни одного портрета, ни бюста не оплачивает и, конечно, не допустит этой бронзы в своем кабинете, и тут же кому-то ее подарил.

Я должна сказать, что от души прощаю ему его неудовольствия и гнев. Но каково же было мне самой после всех мучений от позирования, после всех бесчисленных пыток, трат и жертв не получить ни одного, хотя бы сносного портрета. Это было поистине возмутительно...

У меня и сейчас сохранилось по крайней мере шесть или семь портретов ужасающего уродства, которые я берегу как образцы того, как не надо писать. Все, видевшие меня и их, изумляются, негодуют и верить не хотят, что все это сделано не нарочно.

Когда Дягилев устраивал историческую выставку портретов в Таврическом дворце[2] и объезжал все имения, в которых собирал их, он заехал и в Талашкино просить у меня портрет мужа работы Бона и мой серовский. Я пообещала, чем вызвала большое неудовольствие Киту, так как серовский портрет, забракованный мужем, сделался ее собственностью и висел с тех пор в ее комнате. Правда,

---

[1] Портрет написан в 1898 г.
[2] Выставка открылась в 1905 г.

нет ничего скучней, как посылать на выставку картины или портреты, висящие обыкновенно в ваших интимных комнатах. Они составляют как бы неотьемлемую принадлежность вашей обстановки, и поэтому непривычное пустое место на стене неприятно действует на нервы, колет глаз, в комнате чего-то недостает, как-то неуютно. Киту очень рассердилась на меня, когда я, не предупредив ее, распорядилась этим портретом. Но слово было дано, и я послала его в Петербург.

На открытие выставки я получила любезное приглашение от Великого Князя Николая Михайловича, но к сожалению, не могла приехать к этому времени в Петербург и поручила друзьям посмотреть, хорошо ли повешен портрет. Несмотря на все поиски и тщательный осмотр всей выставки, портрета нигде не оказалось. Началась переписка с Дягилевым, но он на письма даже не отвечал. Тогда я обратилась к Великому Князю с просьбой прислать мне портрет, раз что он на выставке не понадобился. Великий Князь немедленно распорядился о возвращении мне портрета с извинениями. Оказалось, что все время выставки он провисел где-то в кладовой.

XIX

Парижская выставка. Англия. Болезнь. Болье

Однажды в Талашкине Вячеслав получил какую-то депешу и, не сказав мне ни слова, быстро собрался и уехал в Петербург. Вернувшись через неделю, он сообщил мне, что был вызван Витте, который предложил ему быть генеральным комиссаром на Парижской выставке, предполагавшейся в 1900 году. Так как дело было решено без меня и моего совета не спрашивали, то я и не выражала своего мнения. Но меня крайне удивило, что муж решился взять на себя эту должность, так как я знала его нелюбовь к искусству, а подобное предприятие не может обойтись без участия искусства. Своих соображений я мужу не сказала и решила ждать, зная, что без моего вмешательства дело не обойдется.

В то время в моих мастерских уже делались весьма интересные вещи, и я решила приготовить для парижской выставки группу балалаек прекрасной работы, с деками, расписанными Врубелем, Коровиным, Давыдовой, Малютиным, Головиным и две — мною. Балалайки эти составляли целый оркестр.

Все упомянутые художники единодушно отозвались на мое предложение расписать балалайки, и даже Репин, узнав об этом, выразил тоже желание участвовать. Когда же подошел срок, он прислал их мне нерасписанными, сказав одному моему знакомому, что я, вероятно, с ума сошла, вообразив, что он станет чем-либо подобным заниматься. Времени оставалось очень мало. Видя мое отчаяние, Врубель любезно вызвался расписать еще две балалайки и переслать их мне в Париж неполированными, и уж там пришлось отдать их наскоро французским мастерам. Репин и тут остался верен себе. Выходка его меня не рассердила и не удивила, да к тому же все это вышло к лучшему, потому что Врубель дал мне вместо двух четыре балалайки, великолепно расписанные, со свойственным только ему одному колоритом и поражающей фантазией. Я была удовлетворена и награждена — они теперь составляют большую редкость. Сомневаюсь, чтобы Репин мог что-либо подобное сделать.

Коллекция моих балалаек очень понравилась на выставке своей оригинальностью, и я получила массу предложений приобрести весь оркестр, благодаря главным образом гениальным рисункам Врубеля. Впоследствии я этот оркестр поместила в моем смоленском музее.

Как я предполагала, так и случилось. Муж обратился ко мне, прося указать ему художника, могущего выполнить огромное панно для Азиатского отдела, а также за советом по художественным вопросам. Я указала на Коровина как опытного декоратора, а за ним, конечно, потянулись и его постоянные помощники. Боюсь ска-

зать, но, кажется, эскизы и многое другое было сделано его ближайшим помощником и сотрудником, Клодтом.

Русский кустарный отдел, состоявший под покровительством Великой Княгини Елизаветы Федоровны, был организован Головиным с помощью Давыдовой и талантливой, к великому горю рано умершей, Марии Васильевны Якунчиковой-Вебер*.

Место, предоставленное нам, русским, на парижской выставке было крайне невыгодное, и странное дело, так случается всегда: за границей наши церкви, наши посольства вечно ютятся в самых скверных закоулках... Как-то мы, русские, не умеем ни отстоять наших нравов, ни показать наш вкус... Все это я ставила мужу на вид, но и он страдал тем же недостатком и потому русский отдел на выставке не вышел таким эффектным, как он мог бы быть. Я имела лишь совещательный голос и не была действующим лицом, мой голос часто замирал в общем хоре, кроме того, ближайший помощник мужа, представитель русских финансов в Париже, Рафалович, играл двойственную роль и, будто бы отстаивая русские интересы, в сущности, ничего для них не делал. Однако, несмотря на неудачное место, все же некоторые русские отделы были очень интересны.

Небывалой величины персонал Комиссариата, кроме дела, широко пользовался прелестями Парижа, и даже положительные, серьезные отцы семейства так злоупотребили удовольствиями в столице мира, что в конце концов надорвали свои силы, вернулись в Россию больными, а иные даже поплатились жизнью...

Мне на долю выпала самая неблагодарная роль. Как жена главного комиссара я изображала официальное лицо и должна была бывать на всех приемах, балах, предложенных нам французским правительством и иностранными посольствами, и принимать деятельное участие в ответных приемах. Такое времяпрепровождение шло вразрез с моими вкусами и привычками и очень утомляло меня.

Судьба вообще никогда не хотела сделать меня светской женщиной, и это вполне совпадало с моим внутренним чувством. Весь этот шум, тысячи незнакомых лиц, огромный водоворот, в котором я вращалась, и постоянное сознание, что это только фейерверк, мимолетное происшествие в моей жизни, что люди, с которыми мне много приходилось видеться, мало мне симпатичные и интересные, ничего общего со мной не имели, что все это было ненужное и ненастоящее, дело без начала и конца — все это было не по мне, не по душе и сильно разбивало мои нервы.

Сама выставка мало дала мне приятных впечатлений. Я считаю ее вполне неудавшейся. В ней не было ничего оригинального, нового, и, изучая и осматривая ее, я ничего, кроме утомления, не выносила. Начиная с ее расположения и все той же Эйфелевой башни, уже до выставки намозолившей глаза, кончая полным упадком творчества, обнаруженным французской нацией, — все вместе было неприятно. Бедные французы никак не могли вырваться из стиля Людовика XVI, и все наскоро возведенные по-

---

* *Картина М. В. Якунчиковой-Вебер «Колокола», которую очень ценила кн. М. К. Тенишева, находится в настоящее время у кн. Е. К. Святополк-Четвертинской.*

стройки носили на себе отпечаток падения вкуса и свидетельствовали о скудости художественных задач. Противно было видеть этот бесконечный ряд строений, огромных выставочных сараев, с гипсовыми лепными украшениями. Глядя на них, я думала, что, если Франция не сделает усилия и не сорвет этих оков двухсотлетнего копирования, несомненно, великого прошлого, она умрет для искусства и возродиться будет уже не так легко. Даже прикладное искусство (l'art appliqué) и отрасль его, прежде составлявшая славу Франции — «l'art précieux»[1], стоят теперь там очень низко. Не выручил и японский стиль. То, что в японском рисунке наивно, симпатично и легко, пройдя через французский ум, французскую натуру, нашло только тяжелое и томительное выражение. Хотя бы взять, например, громадный парижский дом, известный под названием «Castel Bérangé»[2]. Это — доходный дом в шесть этажей и чуть ли не пятьдесят квартир, где, начиная с лестницы, ковра, стен и кончая обстановкой комнат до мельчайших принадлежностей, все носит на себе отпечаток чего-то болезненного, крутящегося, дающего не то морскую болезнь, не то сплин не только жителям квартир, но и посетителям. Главным мотивом украшений служит волна. На обоях, на мебели, на умывальных приборах — всюду волны и волны, и когда пробудешь там несколько минут, то от них хочется скорей бежать. В ювелирном искусстве произошло то же самое. Вначале в этом деле отличился было Ренэ Лалик. Его золотые вещи носили оригинальный характер, но и он много заимствовал от японцев. С годами же творчество его иссякло, и он перешел на какую-то ноту однообразия и обеднения.

Полный контраст представляла выставка норвежского искусства. Там, видно было, люди искали вдохновения в своем и не бегали за чужими идеями. Чувствовалась связь между искусством и народным творчеством. Все показалось мне свежим, молодым, свободным, много обещающим.

Благодаря выставочному периоду, оторванная от своих занятий и любимого дела, — мне даже совсем мало приходилось заниматься живописью — я изображала из себя манекен. Во мне не родилось ни мысли, ни порыва, ни единого чувства, и от постоянного напряжения, необходимости быть начеку, делать все то, что меня совсем не интересовало, я испытывала только несносное утомление. Недовольная собой и всеми окружающими, ища забвения, я плыла по течению, и жизнь проходила в полном бездействии: от приема к обеду, от обеда к визитам, от визитов на бал или в театр. При этом я отлично сознавала, что это не жизнь, а прожигание жизни.

Дома я ни на минуту не могла сосредоточиться и была рада, что среди выставочных деятелей нашлось два-три человека, с которыми мы сошлись, подружились. С ними можно было по крайней мере хоть душу отвести, и они разделяли со мной эти кажущиеся удовольствия. Моими постоянными товарищами были наш морской агент в Париже, Сергей Павлович Шеин, Феликс Осипович Бер, один из участников сибирского отдела выставки Иван Васильевич

---

[1] Изысканное искусство (*фр.*).
[2] Замок Беранже (*фр.*).

Сосновский, помощник мужа Николай Александрович Вонлярлярский и адмирал Зеленый. Это были наши постоянные гости. Кроме того, у князя часто обедали и завтракали кн. Тарханов, Де-Роберти и Зворыкин, с которыми у него происходили постоянные споры. Зворыкин уже давно жил в Париже и занимался тем, что вел и устраивал всевозможные дела русских, приезжавших во Францию и плохо владеющих языком или просто неопытных за границей. Кроме того, он занимался изучением аграрного вопроса, пользуясь для этого великолепными парижскими библиотеками. Киту и я давно интересовались этим вопросом, и она обыкновенно следила за литературой по этому предмету. Однажды ей попались книги Н. Зворыкина, которые ее очень заинтересовали. Когда же мы приехали в Париж, то узнали, что князь имеет какие-то дела с этим самым Зворыкиным, с которым мы, конечно, тоже познакомились. Князь поручал ему разные мелкие дела, и он в его руках был очень исполнительным и усердным. Образованный, большой спорщик и горячий собеседник, он произвел на нас довольно хорошее впечатление.

14 апреля, в день открытия выставки[1], со мной случилась большая неприятность: я серьезно заболела. Уже утром, одеваясь, чтобы ехать на торжество открытия, я вдруг упала в обморок. Окружающие испугались, наскоро раздели и уложили меня, но через час я нашла в себе силу, чтобы снова одеться, и все-таки поехала. Мое место, как представительницы России, было в ложе президента республики. Кругом были все нарядные дамы. Я была рассеянна — мне было нехорошо. Немного погодя я почувствовала такую сильную боль, что решила уехать, вышла из ложи, с трудом нашла своего выездного, вернулась домой и в страшных страданиях легла в постель. Так как это был первый день Пасхи, то все доктора решили бастовать и праздновать, и потому, куда ни бросались, нигде не находили врача. Наконец пришел какой-то доктор, сделал мне впрыскивание морфия, и я уснула. Но когда я пришла в себя, я была совершенно разбита страшным внутренним страданием. У меня оказался аппендицит, и я пролежала больше месяца, пропустив много празднеств, о чем конечно, не жалела. Но мужу было страшно досадно, что я не разделяла с ним удовольствий, а главное, обязанностей, и потому, как только была в состоянии, я вошла в ряды действующей армии выставочных приемов.

В конце выставки комиссары всех отделов решили ответить французскому правительству большим фестивалем — обедом и раутом. Для представительства были выбраны две дамы: я и жена американского комиссара, очень любезная и милая женщина, но совсем не светская и не говорившая ни на одном языке, кроме английского. Всю тяжесть этого дня она безжалостно взвалила на меня. Обед был на двести пятьдесят человек, и, желая придать ему больше оригинальности, я придумала сделать меню на пергаментной бумаге с виньетками, выполненными нашими художниками. Каждое меню представляло прелестную маленькую акварель кисти Коровина, Головина, Давыдовой, Елиз. Бем, Малютина (двум последним я отправила картоны в Россию) и еще некоторых ху-

---

[1] Всемирная выставка в Париже открылась в 1900 г.

дожников*. Все было готово к сроку, и меню, перевязанные лентами, сразу сделались предметом вожделений, так что, как только вошли в залу приглашенные, на многих столах меню исчезли. Но я предвидела это, и у меня было оставлено в запасе известное количество.

Обед состоялся в отеле «Континенталь», где мы заняли все залы, вытеснив на этот вечер живущих в гостинице. Огромная столовая в стиле Ренессанс, с кофейного цвета стенами, тяжелой позолотой, носившая ресторанный характер, была превращена в изящную сводчатую беседку из трельяжа, вдоль которой шли ползучие растения, усеянные электрическими цветами. Музыка была спрятана за трельяжем, и, если бы не духота в зале, была бы полная иллюзия обеда в саду.

Обыкновенно за официальным обедом около меня, как жены комиссара, сажали крупных представителей, и я часто обедала с главным комиссаром выставки Пикаром, министрами Вальдеком Руссо, Мильераном и другими известными деятелями Франции. Так было и на этот раз. У меня с этими людьми не было ничего общего, и я усердно придумывала темы для разговора, стараясь стать на их точку зрения, помня, что ни о политике, ни о современных событиях в стране говорить нельзя. Кроме того, подобные обеды были для меня очень тяжелой процедурой еще и потому, что я уже давно не ела никакого мяса, да и вообще мало ела, так что в продолжение нескольких часов мне приходилось делать вид, что я ем, размазывая по тарелке и стараясь показать, что принимаю участие в угощении.

После обеда мы перешли в особый зал, где стоял огромный буфет с кофе, ликерами, после чего главный «huissier»[1] президента Лубэ, любезно им уступленный мне на этот вечер, стал у двери, громко выкликая фамилии всех входящих гостей, приглашенных па вечер. Моя американская комиссарша давным-давно исчезла в толпе, и я с ужасом увидала, что мне одной придется пожать две с половиной тысячи рук...

Когда церемония приветствия была окончена, приглашенные разбрелись по залам, где заранее им были устроены: в одной — классический концерт, в другой — театральное представление (играли из Comedie Francais — Berr и m-lle Marie Leconte)[2], в третьей — танцы. Машина была пущена в ход. Видя, что все идет как по маслу, я прошлась по залам несколько раз. В одиннадцать часов с безумной головной болью села в экипаж и приказала вести в Буа-де-Булонь. Со мною было несколько моих друзей.

В полном изнеможении я откинулась на спинку коляски и с наслаждением вдыхала теплый июльский воздух. Мало-помалу я пришла в себя, повеселела, вздохнула свободно, почувствовав, что с плеч свалилась огромная обуза.

Мы вышли из экипажа. Компания была веселая, ободряющая, все были рады вырваться из толпы и сутолоки. Я стала петь. В ле-

---

* *Все эти акварели сохранились и находятся у кн. Е. К. Святополк-Четвертинской.*

[1] «Дворецкий» (*фр.*).

[2] Комеди Франсез — Бэр и м-ль Мари Леконт.

су была полная тишина. Лишь кое-где на скамейках сидели запоздалые парочки, а вдали блестели огни модного ресторана. Почувствовав себя на свободе, вдохновленная теплотой июльской ночи, я все больше и больше давала голоса. Наконец, совсем забывши, что я не у себя, запела полным голосом. Как вдруг, когда мы приблизились к ресторану, послышался громкий взрыв аплодисментов, крики «браво». Мои спутники были в восторге и умоляли петь еще. Я долго с увлечением пела, и когда мы далеко за собой оставили ресторан, до нас все еще доносились крики и рукоплескания.

* * *

Принцесса Мекленбургская, Анастасия Михайловна, изъявила желание слышать балалайки Андреева, приехавшего на выставку, и я устроила у себя специально для нее музыкальное утро. Кроме Андреева с его оркестром, в утре должны были принять участие Фелия Литвин и виолончелист Брандуков. Когда я была занята приготовлениями к этому концерту, пришел ко мне Андреев и, совершенно для меня неожиданно, сказал, что у меня на концерте хотел бы петь Шаляпин. Я тогда же спросила Андреева, зачем Шаляпин приехал в Париж. «О, — ответил Андреев, — он приехал исключительно посмотреть выставку, он здесь туристом...» Зная, как Шаляпин уже обеспечен, приняв на веру слова Андреева, что он путешествует для собственного удовольствия, я поняла его предложение как желание доставить удовольствие Великой Княгине.

Музыкальное утро очень удалось. Приглашенных было много, программа была составлена исключительно из русских произведений. Шаляпин прекрасно пел, не говорю уже о Литвин, которая всегда бесподобна, а балалайки очень понравились принцессе.

Вскоре после этого, желая доставить Андрееву и его товарищам удовольствие, я затеяла устроить им обед, наняв для этого большой павильон «Каскад» в Булонском лесу. Обед прошел очень оживленно и весело, чему много содействовал Шаляпин. После обеда столы были убраны, и балалаечники, чтобы отблагодарить меня, с большим огнем исполнили несколько номеров. Притащили пианино, Шаляпин стал петь с увлечением свои любимые вещи, меня просили петь, и я также охотно пела. Поздно вечером мы вернулись домой, наслушавшись родных напевов.

Обед балалаечников состоялся через три дня после матине[1] в честь принцессы Мекленбургской. Хотя Шаляпин назвался ко мне сам, я все-таки хотела его отблагодарить за участие и перед отъездом преподнесла ему на память небольшую вещицу. Это была булавка для галстука из бриллиантов в виде маленькой урны. Отдавая ее Шаляпину, я сказала, что в эту урну я собрала те слезы, которые он заставил меня пролить своим чудным исполнением. Он был очень растроган и благодарил. Однако, спустя несколько дней, снова приезжает ко мне Андреев и говорит, что Шаляпин очень обижен, не получая платы за свое участие в музыкальном утре. Я очень удивилась и пошла к мужу объяснить, в чем дело. Муж

[1] Утренний прием (*фр.*).

был опытен в обращении с артистами, много имел с ними дела и потому тут же сделал мне серьезный выговор, сказав, что артисты вообще никакого внимания не обращают на подарки, не придают им значения и принимают как должное, а любят плату, и что если бы я не вмешалась, то он бы отлично справился с Шаляпиным и не вышло бы такой неловкости. Затем муж написал письмо Шаляпину, извинился за происшедшее недоразумение, объяснив, что я не поняла слов Андреева и сделала ему подарок, который, очевидно, ему не понравился, а потому он посылает ему деньги, булавку же просит вернуть. Князь вложил деньги в конверт и послал с человеком. Ответа на это не последовало. Муж послал человека вторично, и тогда Шаляпин ответил, что деньги он получил, а булавку оставляет на память.

* * *

Василий Васильевич Андреев, известный балалаечник, с которым я была в самых лучших отношениях, часто бывал у меня, и я вела дружбу не только с ним, но и со всем его оркестром, увлекаясь его исполнением и не пропуская ни одного концерта. Но вот задумал он показать, что на балалайке можно играть все, не только русские песни, но и всякую концертную музыку. Он сделал массу переложений и предложил нечто вроде попурри из опер, пьес Грига, Шумана, Чайковского, Римского-Корсакова и других. Зачем ему понадобились эти в высшей степени уродливые переделки из «Кармен», «Пер Гюнта», «Варум» в переложении для балалайки? Непонятно. Это было плохо, совершенно не в стиле и не в духе этого народного инструмента.

Раз, желая, вероятно, завоевать авторское мнение Римского-Корсакова, Андреев переложил для балалайки какой-то отрывок из оперы «Садко» и пригласил его прослушать. Но вместо поощрения он получил от автора только молчаливое неодобрение. Однако это не расхолодило Андреева, и он в своем ослеплении продолжал исполнять классиков и современных композиторов, принося их в жертву своей фантазии, не говоря уже о том, как расходится такая музыка с самым характером инструмента.

Я еще поняла бы, если бы он делал такие уступки в угоду публике тогда, когда он только что начинал пробивать дорогу балалайке, когда это была новинка, к которой не привыкли, но не тогда, когда он стал господином положения, когда общество признало и полюбило этот инструмент. Для того общества, которое действительно любит и понимает музыку, преподношение Андреевым классических опер и серьезных авторов было только профанацией. Он предпочел пропагандировать пошлость среди невежд. Обладая толпой, найдя к ней доступ, он, как и Вяльцева, не старается поднять ее до себя и вести за собой, а, потворствуя, ломаясь перед ней, угождает ей и удовлетворяется пошлым успехом.

Я высказала ему все это, и, если бы он послушал меня, он ничего не потерял бы в глазах людей, а только выиграл бы. Но он рассердился на меня, и мы с ним так и не поняли друг друга.

* * *

В ноябре 1900 года выставка была закрыта. Началась ломка построек, ликвидация, расчеты. Моя роль была окончена, и мои друзья, тоже освободившиеся от обязанностей по комиссариату, стали меня подговаривать сделать маленькое путешествие, отдохнуть, развлечься. Сперва мы собирались в Италию или в Испанию, но выбор наш остановился на Англии, хотя это был и не сезон в Лондоне, но большинство из нас там никогда не бывало. Таким образом мы пустились в путь: я, Сергей Павлович Шеин, Феликс Осипович Бэр, Александр Васильевич Кривошеин, часто бывавший в это время у нас в Париже, и Иван Васильевич Сосновский. Компания была дружная и веселая. Мы решили как можно лучше осмотреть Лондон.

Переезд совершился при очень благоприятных условиях. На пароходе все были веселы, шутили, сочиняли стихи, шарады, хохотали, вспоминая всевозможные комические случаи на выставке, а их было много, было что вспомнить. По приезде в Лондон начались осмотры музеев и поездки в театр. Дни летели за днями незаметно и очень приятно.

Искусство занимало меня одну, да еще, может быть, Бэра. Остальные им мало занимались, но в особенности Иван Васильевич Сосновский был комичен во время осмотра музеев. Мы вставали рано, немедленно отправлялись в музеи, и к двенадцати часам бедный Сосновский делался грустным, а мы, замечая это, начинали его поддразнивать и говорили: «Давайте, посмотрим еще эти залы...», он же старался склонить нас к осмотру той залы, которая была поближе к выходу. Зато, когда приходили в ресторан, он делался блестяще весел и остроумен, и мы все смеялись и веселились как дети.

В день нашего отъезда Лондон готовился к торжеству. Возвращались бурские герои, и город стал неузнаваем. На всех улицах выстроили трибуны, покрытые красным сукном и коврами, из окон висели ковры, красные флаги, а бушующий ветер, предвещающий ненастье, развевал все эти висевшие материи, придавая городу какой-то сумасшедший вид.

В гостинице нас предупреждали, что переезд, вероятно, будет тяжелый. И действительно, когда мы подъехали по молу к пароходу, мы увидали, как он то выскакивал наполовину из воды, то куда-то окунался, и матросы без всяких разговоров хватали пассажиров и перекидывали их друг другу, пока все таким образом не попали на палубу. Моя меховая тальма, платье, шляпа, прическа — все это был один узел, и я очнулась на палубе в каком-то одурении.

Когда мы отвалили от берега, наш пароход стал взлетать на волны, как ореховая скорлупа. Мало-помалу пассажиры исчезали, а мои кавалеры, чтоб я не захворала, уложили меня в каюте, окружив всевозможным вниманием. Но компания понемногу рассеялась. Иван Васильевич исчез первым, потом моя девушка тоже попросилась удалиться, потом Кривошеин, и только Бэр и Шеин, как истые моряки, были бодры и самоуверенны, а Бэр даже хорошо и плотно позавтракал.

В продолжение четырех часов (вместо пятидесятиминутной переправы) нас бросало так, что голова начинала кружиться. При-

винченные к стене против меня подсвечники с каждым наклоном парохода делали 45 градусов в сторону. К счастью, я не заболела. Вокруг же на пароходе раздавались невообразимые завывания, стоны, икота и все, что дает морская болезнь. Наконец, когда качка стала еще усиливаться, Шеин, боясь, чтобы я не скатилась с койки, привязал меня к ней ремнями, и, спеленутая таким образом, я покорно ждала своей участи.

После отчаянных прыжков и ныряний наш пароход причалил к пристани, и тем же способом, как мы туда попали, нас оттуда вышвырнули. В первую минуту у меня подкосились ноги, и, если бы меня не поддержали, я упала бы на землю. Откуда-то вылез Иван Васильевич, зеленый, с впавшими глазами, измятым воротником и объявил, что страшно голоден, но так как мы и без того опоздали, то едва успели только броситься в поезд, отходящий в Париж, позавтракать не было времени.

В Париже нас встретили перепуганные лица моих домашних. Оказалось, что, по газетам, сообщение между Дувром и Калэ было прервано и наш пароход был последним, вышедшим из Дувра. В газетах было описано много несчастных случаев. Николай Александрович Зеленый, зная, насколько может быть опасен этот переход, в день приезда прибегал каждый час справляться, есть ли о нас известие. Я отделалась только головной болью, не покидавшей меня несколько часов по возвращении.

Переутомление на выставке, чуждый моей натуре образ жизни, нервная сутолока Парижа надломили мое здоровье и силы. По-настоящему мне бы следовало сейчас уехать в Россию, но муж еще не мог покинуть комиссариат, у него шла ликвидация выставочных дел и расчеты. Доктор же, приглашенный мной, решительно заявил, что мне немедленно необходим отдых, и потому муж решил отправить меня в Болье на месяц, пока он не освободится. Киту была в России, и мне пришлось уехать больной и одной, что было очень грустно. Тогда муж попросил Николая Александровича Вонлярлярского сопровождать меня, и я отправилась с ним и двумя горничными. Кроме того, ко мне часто на несколько дней приезжали Шеин, Кедров, а раз вырвался даже Вячеслав.

Сперва казалось, мне стало немного лучше, силы возвращались, и я вернулась в Париж. Но вскоре опять захворала и, пролежав месяц в постели, решила уже прямо ехать в Россию. Муж все еще был несвободен и, чтобы не отпускать меня одну, вызвал Киту, которая тотчас и приехала за мной.

XX

Русская старина

Наконец я могла отдаться своей страсти — коллекционированию русской старины, которой я до сих пор предавалась только урывками, инстинктом, так как любила ее без особых знаний и понимания. Деньги я тратила на приобретение предметов западной старины, в которой гораздо больше смыслила и которой даже сильно увлекалась. Детство мое прошло до того далеко от всего русского, что первые мои шаги в искусстве, первые впечатления, приобретенные на Западе, на три четверти моей жизни оторвали меня от изучения родного искусства, родной старины. Но с годами все чаще и чаще, все более и более русские древности останавливали мое внимание, манили, и все шире и шире открывался передо мной целый, до сих пор неведомый мне мир, и этот мир все сильнее приковывал меня к себе. Я вдруг почувствовала, что все это близкое, свое, родное.

Любя страстно русскую природу, я в душе была всегда чисто русским человеком. Все, что касалось моей страны, меня глубоко трогало и волновало. Среда, в которой я жила, не могла направить меня, но душа моя кричала о чем-то ином, куда-то рвалась, искала разрешения, и я все больше отходила от западного влияния.

За границей все воспето, все изучено, иллюстрировано, издано, нам же русским поучиться негде и не на чем. До сих пор у нас в России, у которой нет ни художественных изданий, где целые периоды русского искусства не нашли своих историков, а произведения выдающихся представителей русского мастерства еще не изданы, — до сих пор находятся люди, издающие за громадные деньги давно прославленные иностранные шедевры...

Что мне иностранные мадонны XIII века? Что мне мраморные капители? Что мне затейливые произведения Бенвенуто Челлини?..

Я дошла до того, что, живя за границей, с ненавистью относилась ко всем искусствам Запада и стала искать людей, противоположных тем, которые окружали меня, людей чисто русских духом, любящих и понимающих русское искусство. Тогда я вспомнила о Сизове.

Профессор Владимир Ильич Сизов был моим старинным знакомым. Однажды, когда он приехал ко мне в Талашкино погостить, я обратилась к нему с моими сомнениями, колебаниями и показала ему всю свою коллекцию русской старины, которую я много лет уже ощупью, просто каким-то чутьем собирала. Он очень поддержал меня и в ту минуту, когда я именно нуждалась в помощи, сочувствии, направил меня и имел большое влияние на всю мою последующую деятельность в этом направлении. Он одобрил мой выбор, нашел, что у меня очень верный инстинкт, что я на верном

пути, что коллекция моя уже сейчас, хотя и не полная, представляет большую ценность, и затем дал мне целую программу, как руководящую нить, которой я должна следовать при собирании, если хочу составить такое собрание русской старины, в котором были бы единство и полнота. Он же посоветовал мне собирать все, относящееся до русской этнографии, а в частности — Смоленской губернии, которая уже сама по себе чрезвычайно интересна, в чем он сам убедился во время своих поисков и раскопок.

Его пребывание у нас, беседы с ним, его советы, его программа, которую он для меня лично составил, имели решающее значение для меня. Это был тот момент, с которого я уже вполне сознательно вступила на эту дорогу и не отступала от нее больше. С этого времени я стала понемногу ликвидировать все приобретенное мною на Западе, превращая все это в деньги и приобретая взамен предметы русской старины.

С Владимиром Ильичом Сизовым у меня раз произошло столкновение на почве нашей одинаковой страсти к археологии. В один из его приездов в Талашкино он предложил мне копать курганы параллельно с ним. Он давно уже был известен своими трудами по раскопкам в Гнездове, верстах в двадцати от Талашкина. Я с радостью откликнулась на его предложение. Так как я сама не могла присутствовать все время на раскопках, то к своим курганам я приставила нашего станового пристава, Неклюдова, страстного археолога. Спустя два дня мне по телефону сообщили, чтобы я была настороже, что в моих курганах была найдена византийская пряжка с эмалью, но что Сизов просил мне этого не говорить, так как сам в продолжение многих лет домогался найти такую вещь, как недостающую в его курганных коллекциях и очень важную для его ученых выводов.

Приехав с раскопок 15 июля (день его Ангела), Сизов молчал о находке, но я не выдержала и попросила его показать ее. Мы сидели за обедом большой компанией. Он неохотно вынул ее из кармана и подал мне. Когда я взяла ее в руки, что-то дрогнуло в моем сердце, археологическая страсть охватила меня и желание иметь эту пряжку поглотило все остальные чувства... Я объявила ему, что пряжки не отдам, так как она найдена на моих курганах. Сизов побледнел. Я тоже сидела вся трепеща, нервно сжимая вещь в руке За столом все замерли, наступило тягостное молчание Даже муж, который всегда умел выйти из неловкого положения, всегда находился в трудные моменты и шуткой или насмешкой давал разговору другой оборот, тоже застыл. Положение становилось страшно натянутым. Я чувствовала, что была права, но как хозяйка дома, особенно еще пригласившая Сизова отпраздновать у нее свои именины, должна была сдаться, зная, что находка эта послужит ему для его славы. Долго, томительно сидели мы, глядя друг на друга. Разговор давно упал, все ждали, что будет.

Я еще боролась с собой, а Сизов, видимо, переставал владеть своими нервами — вот-вот выйдет вспышка. Не знаю, сколько времени прошло в этом натянутом положении, но наконец, переломив себя, с болью в сердце, я рассталась с желанным предметом и передала его Сизову. Но с этой минуты я не могла ни смотреть на него, ни говорить с ним, я его положительно возненавидела в эту

минуту. Мы очень холодно простились с ним, он уехал сконфуженный, но довольный, а я в продолжение двух лет избегала с ним встречи, но потом у меня отлегло на сердце, и мы с ним помирились.

Как раз в это время мне попались под руку фотографии Барщевского, и Владимир Ильич Сизов сказал мне, что Барщевский живет в Ярославле и что он сделал более пяти тысяч клише с предметов русской старины, и мне было бы очень полезно познакомиться с ним. Я немедленно написала Барщевскому, сделав ему заказ шестисот фотографических снимков, и с нетерпением стала ожидать их. Когда, наконец, я увидала их, не могу сказать, что я почувствовала. Во мне закричал какой-то счастливый голос, я увидела то, чего смутно искала столько лет. Это был ответ на все мои запросы. Недоставало только одного: бежать туда самой и глядеть. Я надумала немедленно поехать в Ярославль и Ростов и пригласила себе сопутствовать профессора Прахова, который в то время казался мне авторитетом.

В половине апреля мы двинулись в путь, начав свое путешествие с Москвы, где я уже совсем другими глазами стала смотреть на памятники старины. Теперь я серьезно и внимательно их изучала. С каждым днем в душе расцветали новые цветы. Я буквально трепетала от всех переживаемых впечатлений, все более и более впитывая, проникаясь красотами того, чего раньше не знала, что только предчувствовала. Когда же я приехала в Ярославль, с моей душой сотворилось что-то волшебное — я просто не чувствовала себя и влюбилась во все, что видела перед собой, начав с набожным, не могу иначе его назвать, чувством впитывать в себя красоты нашего прошлого. Ростов тоже меня поразил. Я вернулась из этого путешествия обновленная, богатая новыми чувствами, с переполненной душой. С этого времени я исключительно принадлежала нашей родной старине. Удалось мне осуществить и свою мечту, зародившуюся еще во время нашего свадебного путешествия,— заехать в Киев, который я тогда только мельком, наскоро оглядела. Теперь же поездка туда не только произвела на меня глубокое впечатление, но и показала воочию мне то, что так давно, неясное и неопределенное, жило в моей душе.

Еще в Москве Сизов говорил мне, что им была предложена Историческому музею для покупки очень ценная и старинная икона XIII века, но музей не располагал средствами и, несмотря на желание приобрести ее, должен был отказаться. Икона была в руках каких-то поляков, которые из Москвы привезли ее в Киев, но там, несмотря на все наши поиски, следы ее исчезли. Я вступила в переписку с Сизовым по этому поводу и узнала, что из Киева икона была перевезена в Краков. Я попросила Прахова поехать за ней туда и, давши ему все указания и полный кредит, сама осталась в Киеве, ожидая от него письма. Я со страхом ежеминутно ждала от него телеграммы, и неделя, проведенная в ожидании, показалась мне бесконечной. Наконец я получила известие, что икона найдена и приступлено к переговорам с ее обладателем. Еще прошло несколько мучительных дней... Меня била лихорадка от беспокойства. Фотография иконы лежала перед моими глазами и раздражала меня. Пришло новое известие: Прахов купил икону за 6 000 рублей

и везет ее назад. Не могу выразить, как я была довольна*. С этого дня я стала все больше приобретать и пополнять свою коллекцию, не пропуская случая и не выпуская из рук все то, что могло бы ее обогатить. Давалось это мне не без борьбы...

Муж ненавидел старину, находил, что это решительно ничего не дает науке и, несмотря на свой ум, отрицал даже пользу древних вещей для восстановления картин старины. Меня же он всегда дразнил моей страстью коллекционерства. Садясь на какой-нибудь стул, он никогда не преминет, бывало, сказать:

— Ах, Боже мой, может быть, и садиться нельзя, может быть, кощунство прикасаться к нему?

Иногда он говорил:

— Уберите отсюда эту дрянь, это только заводит пыль и моль.

Или так:

— Боже мой, как противно жить в этой обстановке дряхлости и древности... Эта рухлядь говорит только о том, что наши деды не понимали ни комфорта, ни механики, ни логики...

Подобным выражениям и словам не было конца. Он всегда колол меня этим, а деньги, потраченные на покупку старинных вещей, считал брошенными в огонь, и при этом всегда повторял:

— Что бы делали старьевщики, если бы не было таких самодурок, как ты?

Дошло до того, что я, желая избавиться от лишних пререканий, колкостей и споров, стала прятать все, что приобретала. Мои чуланы, комоды, чердаки, шкафы были складами моих сокровищ.

Моя горничная Лиза, прожившая у меня более двадцати лет, была вполне солидарна с мужем во взглядах, и мне приходилось от нее терпеть постоянные попреки:

— Какая вы барыня? — говорила она, — настоящая барыня нарядная, и шкафы ее заняты только хорошими платьями, а у вас всякая дрянь на первом плане лежит, белья же совсем некуда девать... И чего вы всю эту дрянь копите? Куда все это девать?

В глазах Лизы я не имела совсем авторитета. Когда я занималась живописью, то носила скромные платья, не говоря уже о том, что руки и фартуки у меня часто бывали вымазаны краской и глиной. Лиза говорила:

— Господи, Боже мой, и отчего это вы с утра мажетесь? Я бы, если бы я была на вашем месте, ни о чем бы не думала таком, а все франтила... Вы посмотрите, любая скромная дама, и не такая богатая, как вы, так и та наряднее вас... А что эти старинные вещи, так вот уж как они мне надоели...

Но мужа ожидал новый удар. Моя школа во Флёнове взяла столько моих сил, симпатий и преданности, что я уже смотрела на нее как на нечто стойкое, прочное, вполне установившееся, и мне захотелось увенчать свое создание храмом Божиим. Некоторые практические соображения побуждали меня приступить как можно скорее к осуществлению этой мысли. В наше школьное воспитание

---

* *Эта икона находится в Тенишевском музее в Смоленске.* В настоящее время икона «Богоматерь» итальянского мастера XIII в. находится в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве (*примеч. ред.).*

обязательно входило церковное пение. В то время Флёново принадлежало к Знаменскому приходу, отстоящему от Талашкина в пяти верстах, а само Талашкино к Бобыревскому, тоже в пяти верстах. По воскресеньям и по праздникам мои ученики ходили петь в Знаменскую церковь, а в пасхальную ночь они должны были идти по грязи во всякую погоду, отдыхая в грязной сторожке, переполненной насекомыми, и возвращались домой грязными, усталыми, принося с собой паразитов. Так естественно было с моей стороны желать, чтобы при школе был Божий храм.

Когда я заикнулась мужу о своем намерении, это вызвало целую бурю негодования. Муж был в полном смысле слова атеист, но атеист мирный. Он никому не мешал верить или принадлежать к тому или другому культу, он очень широко смотрел на вещи и отличался в этом отношении большой терпимостью к чужим убеждениям и верованиям. В его собственной семье неверие и повышенная религиозность переплелись в самых странных сочетаниях. Одни были совершенно неверующими, другие — сектантами до фанатизма, как его сестры, ярые пашковки, третьи — православными и настолько глубоко верующими, что целыми семьями уходили в монастырь, так, мать и отец Ладыженские — двоюродные мужа — умерли в великом постриге. Сам муж никогда не судил и не смеялся над верующими людьми, в противоположность своим сестрам, которые, как, впрочем, и все сектанты, отличались страстной нетерпимостью, он никому не навязывал своих взглядов. Но на этот раз я получила от мужа такой отпор, что не знала, как и приступить к этому делу.

Мы часто виделись с семьей смоленского губернатора Сосновского. Василий Осипович, добрый, мягкий, сердечный человек, умел как-то умиротворить каждого. Он часто беседовал с мужем, и между ними были хорошие отношения. Однажды я поведала свое намерение Василию Осиповичу и встретила в нем полное сочувствие моему плану. Я и попросила его быть моим ходатаем перед мужем. Много раз я заставала их обсуждающими этот вопрос, и каждый раз после этого Василий Осипович обнадеживал меня, говоря, что князь привыкнет понемногу к этой мысли и уступит. Мало-помалу мои постоянные просьбы и поддержка Василия Осиповича привели мужа к тому, что он сдался и ассигновал на это дело известную сумму. Я была до глубины души благодарна Василию Осиповичу и приписываю удачу его помощи.

Мы долго искали место для церкви, ездили и ходили вокруг Флёнова, обсуждали этот вопрос со всех сторон и наконец нашли. Это было восхитительное место, лучше которого вряд ли возможно найти для церкви. Оно точно для того и было предназначено. Здесь, рядом со школой, на высокой красивой горе, покрытой соснами, елями и липами, с необозримым кругозором, положено было основание храму во имя Св. Духа. Хотелось дело любви — школу — увенчать неугасимой лампадой — церковью, хотелось, чтобы десница Господня с вершины этой горы из века в век благословляла создание любви — народную школу, где в классах, на полях, в лесу, в огородах, в труде шевелился бы маленький люд, раздавался веселый смех, где совершалось великое дело: из темных дикарей выходили люди...

Я всегда была того мнения, что прикладывать много вкуса, воображения и затрат для постройки личного жилища не стоит. Частное жилище всегда останется частным и ничего не даст обществу. Видят его немногие, да и то, что иногда процветает при одном владельце, большей частью при наследниках забрасывается. Здание же, которое может послужить образцом современного вкуса,— это музей, театр, церковь, т. е. вообще всякое общественное здание.

* * *

За последние годы, изучая русское искусство, я убеждалась все сильней, что русская архитектура, имея перед собой великое прошлое, ничего из него не вынесла, ничем его не обогатила. Заносное же западное влияние, примененное в нашем климате, пагубно отозвалось в этом деле. Я всегда была решительным врагом итальянских вкусов на фоне русской природы. Русского «ампира» я никогда не признавала. Я никогда не понимала, как можно было прилеплять к нашим пузатым, коротким, с тяжелыми крышами постройкам легкие греческие колонны, замысел далеких южных стран, с голубым небом и природой другого характера. Западное искусство, конечно, полезно нам, но только как школа, как средство к развитию, вечное же заимствование приводит искусство к смерти. То же нужно сказать и о копировании. Копия полезна в известных условиях, когда надо что-нибудь изучить, но люди, исключительно копирующие, забывают свое творчество, убивают воображение и индивидуальность. Франция вот уж много лет утомительно пережевывает своих людовиков, и этим рабским копированием она задушила свое творчество и движение вперед. Считаю, однако, что каждая эпоха, даже каждое поколение, может внести что-то новое, сказать свое слово, но не копируя старины, а вдохновившись ею.

Когда я искала форму, создавая мой храм, я уже многое обдумала и глубоко прониклась русской стариной. Мне хотелось создать храм не из драгоценных материалов, а исключительно из местного камня, дерева, местными силами. Из моего путешествия по России мне стало вполне ясно, что храмы на нашем севере создались согласно с условиями и требованиями климата. Все наши крупные праздники бывают зимой, или ранней весной, или осенью. Для крестных ходов в эти торжественные дни наши храмы в древности строились с крытой папертью вокруг церкви...

Прежде чем выработать проект, не доверяя себе, я обратилась к профессору Прахову, думая в нем найти практика. Он взялся сделать мне модель церкви и, поселившись у меня летом в Талашкине, клеил и лепил эту модель. Но Прахов совершенно не понял моей идеи. Модель его изображала грузный колоссальный собор о пяти куполах, напоминающий Владимирский в Киеве и совершенно неподходящий к типу скромной деревенской церкви, причем у него было еще намерение снабдить меня какими-то скверными мраморами, вывозимыми им откуда-то из Италии и рекомендуемыми всем. В бытность мою в Киеве я воочию убедилась в его пристрастии к мрамору на двух церквах: Владимирском соборе и Кирилловской церкви. Мраморный иконостас Владимирского собора не вязался с орнаментами Врубеля и Васнецова, с пышной позолотой, внесен-

ной русскими мастерами, а в Кирилловской церкви подобный же иконостас, да еще из дешевого серого мрамора, положительно резал глаз рядом с древней богатой стенописью.

Увидав то, что предлагал мне Прахов — это в деревне-то строить собор, — я поняла, что ошиблась, обратилась не туда, куда следует, поблагодарила его, уплатила за модель и поручила архитектору Суслову сделать мне проект деревенской церкви. Но и Суслов не понял меня и подкатил мне ни более ни менее, как семиглавый собор!!! Расставшись и с ним, я поняла, что мне придется добиваться самой. Но, не зная, как приняться за это, я взяла в помощники Барщевского, и вот, под мою диктовку, шаг за шагом, по кусочкам мы клеили, ломали, снова клеили, лепили, добиваясь той формы, которая удовлетворила бы меня.

В это время я тяжело страдала мучительной нервной болезнью и едва находила силы утром встать с постели, добрести до моей мастерской, чтобы там, в каком-то духовном самозабвении, умиротворенная, в смирении, целыми днями неустанно работать, живя единственным желанием выразить тот образ, который смутно жил в моей душе. Было сделано две модели. Первую я по окончании совсем забраковала, вторая же все более и более подходила к моему внутреннему чувству, отвечала ему и, наконец, поправленная и дополненная, вылилась в форму, встречавшую одобрение даже у самых равнодушных людей...

Но одной картонной модели мало, чтобы построить, нужны точные размеры, правила конструкции, законы архитектуры — нужен архитектор. Мне, однако, не хотелось приглашать в это дело известных наших строителей, могущих только снова сбить меня, и потому я обратилась к нашему губернскому архитектору В., скромному и не мнящему о себе человеку, требуя от него не вкуса, не фантазии, не творчества, а исключительно знаний и умения составить точный и верный план, строго и верно выполнить модель и построить прочное здание. В. до сего времени не строил ничего подобного, кроме казарм и всевозможных казенных построек, ничего общего с искусством не имеющих. Я была уверена, что выпавшая на его долю оригинальная задача заинтересует, увлечет его, пробудит в нем усиленное рвение, выведя его из скучных однообразных форм и задач.

К сожалению, я наткнулась на человека без честолюбия, без энергии, какого-то перегоревшего и впавшего в такое беспробудное равнодушие, которое ничто уже не могло преодолеть. Мало того, он оказался не только ленивым, но и в высшей степени недобросовестным и непорядочным. Он не только не являлся на постройку еженедельно, как это было условлено, но, чтобы добиться его приезда, приходилось по десяти раз телефонировать на квартиру, давать лошадей, и, когда он наконец приезжал, его присутствие ничего не вносило. Сонный и апатичный, он делал все спустя рукава. В помощники себе он выписал из Петербурга какого-то десятника, пьяницу и дерзкого малого, который злоупотреблял всем, чем только мог, не говоря уже о терпении.

Когда стены были закончены вчерне, вдруг показались трещины. Это страшно испугало и взволновало меня. Я была возмущена таким преступным отношением к делу, такой наглой недобросовест-

ностью. И это инженер, которому вверяются казенные постройки и сотни человеческих жизней!

Отставили В., и пришлось обратиться к специалисту за советом. Мне указали для этого профессора Соколовского, который по моему приглашению приехал из Петербурга. Осмотрев церковь, он не мог окончательно высказаться о том, насколько трещины опасны для дальнейшего строительства, и, сделав пометки на поврежденных местах, посоветовал приостановить работы на год для того, чтобы убедиться, увеличатся ли трещины или останутся без ухудшения. Но сюрпризы не были этим исчерпаны. Делая промеры, Соколовский нашел, что стены выложены очень небрежно, они в разных местах разной толщины, а своды не имели правильной линии. Обнаружилось много и других крупных упущений, за которые я вправе была бы привлечь В. к ответственности. Недобросовестность его была слишком очевидна, чтобы могла быть речь о продолжении с ним дела. Я отстранила его совсем. Все это страшно меня огорчило. Заколотив церковь, я решила ждать, что скажет будущее. Но это было мне нелегко. Я так сроднилась с этой мыслью, так отдалась ей душой, что прерывать работы на целый год мне было очень тяжело.

Барщевский как человек очень вспыльчивый, горячий, несдержанный не был мне помощником в этом деле. Поссорившись с В., он самовольно отстранился от всякого участия в строительстве, а мне как женщине и неспециалисту было невозможно проверять В. и десятника и бороться с ними. Мое хорошее отношение к людям, мое доверие и доброта, как всегда, ценились только на словах, когда же мне была нужна их действительная помощь, я осталась одинокой и не на кого мне было опереться...

Задаваясь постройкой церкви, я намеревалась употребить на это только местные материалы и силы и отчасти уже приступила к выполнению этой задачи. Кирпичи и поливная черепица для покрытия церкви были сделаны у нас. Для внутреннего убранства храма предполагалось разработанное и украшенное резьбой дерево, облачения и ковры — шитые нашими же средствами. Мечтала я также и об эмали. Давно уже, втихомолку, не говоря никому ни слова, я изучала это дело, чтобы внести в мою церковь и личный мой труд.

Работа эмали в произведениях древних мастеров сильно восхищала меня и интересовала. Эмаль так сильно манила и приковывала к себе, что мои работы в портрете и прикладном искусстве, несмотря на достигнутые успехи, переставали меня занимать. Меня не тянуло выставлять и добиваться имени как портретистки — к тому же меня никогда не удовлетворяло то, что я делала. Взявшись за эмаль, я ревниво пряталась от всех и не признавалась никому. Никогда у меня не было намерения выступать перед публикой, и если я желала достичь известного совершенства, то только чтобы послужить моей церкви. Это было моей единственной руководящей целью.

За границей художник или художница, имеющие средства и принадлежащие к известной среде, признаются и обществом, и художественным миром. Но в России, к сожалению, художественные круги враждебно относятся к людям, выходящим из другой среды,

особенно обеспеченным, особенно женщинам. Женщине из общества очень трудно создать себе имя, пробить кору равнодушия, пристрастия или явной недоброжелательности. На нее смотрят как на тщеславную самодурку или подозревают, что труд ее исполнен чужими руками. А в своем кругу она проходит за чудачку, оригиналку, желающую позировать, ей не прощают ее стремлений и судят гораздо строже, нежели обыкновенных профессионалов...

XXI

Болезнь и смерть мужа

По приезде в Петербург я была так счастлива очутиться в России, все было мило и дорого моему сердцу здесь, а Париж с его шумом казался таким далеким, точно в тумане. Остро захотелось мне приняться за работу. Яснее, чем когда-либо, я поняла, что на Западе можно учиться, развивать, расширять свои познания, но творить, созидать, служить чему-нибудь можно только в своей стране, у себя...

Из Парижа я вернулась совсем больной, Вячеслав тоже переутомился на выставке. Лихорадочная, суетливая жизнь, полная мелких забот, для такого делового, положительного и уравновешенного человека была не по характеру. Кроме того, в этой постоянной надсаде, принимая и угощая, он еще злоупотреблял шампанским и с отягченной головой ложился спать, что не раз заставляло дрожать за него и бояться, как бы не случился с ним удар. Но хуже всего то, что это вызывало переутомление сердца, и муж стал страдать страшными сердцебиениями. Не желая меня расстраивать, а может быть, просто по своей привычке все переживать одному, он мало жаловался на здоровье, но я видела, что с ним неладно, что он принимает какие-то порошки, что к нему ездит доктор. Незадолго до Рождества он говорил мне:

— Как ты думаешь провести праздники?

У меня давно уже было намерение поехать в Талашкино, устроить елку школьникам и спектакль, к которому уже шли приготовления и разучивались роли. Когда я сказала ему об этом моем плане, он ответил:

— Вот и отлично... Поезжай в Талашкино, а я сделаю эскападу в Берлин, хочу повидать Лейдена. У меня что-то сердце неладно, а потом я приеду за тобой в Талашкино, и мы вернемся вместе.

Он был весел и, уезжая на поезд, поцеловал меня и сказал:

— До свидания.

Елка наша в Талашкине удалась на славу. Огромное дерево было увешано практичными подарками и массой сластей. Были устроены бочки с зерном, в которых дети наудачу вылавливали сюрпризы. Каждому из учителей и их женам я сделала маленькие подарки, детям служащих тоже были розданы подарки. Спектакль сошел очень хорошо, несмотря на то что было всего три репетиции.

От мужа я получила письмо, что он чувствует себя нехорошо, но надеется скоро за мной приехать. Но вдруг я получаю новое письмо с незнакомым мне почерком. Прочитав его, я остолбенела. Это писал сын князя, проводивший его до Берлина и проживший с ним там две недели. Ему необходимо было вернуться в Пе-

тербург, но он не решался оставить отца одного и описывал болезнь князя в самых тревожных выражениях, говоря, что боится за его жизнь и умоляет меня немедленно приехать в Берлин и заменить его.

Это известие страшно меня взволновало и расстроило, и в несколько часов я собралась в путь в сопровождении Киту и Лизы. Ехала я на неизвестное и, так как не предупредила мужа, не знала, как объяснить ему мой приезд: мне не хотелось выдавать своего беспокойства и пугать его...

В Берлине мы остановились в гостинице, откуда я немедленно поехала в больницу Лейдена. Войдя к князю, я была поражена его видом. Вместо полного, сильного человека я увидала исхудалого, сгорбленного, с тяжелым, прерывистым дыханием. Я едва нашла в себе силы ничем не выдавать своего испуга. Он очень обрадовался мне и разволновался. Ему сейчас же стало хуже. Я же старалась владеть собой и объяснила свой приезд тем, что, не получая писем и покончив все дела в деревне, я захотела прокатиться за границу и вместо того, чтобы ему заезжать за мной, я сама за ним приехала. Тогда понемногу и он успокоился и стал говорить о своей болезни, о том, что очень дурно себя чувствует и в высшей степени недоволен лечением, и вообще пребыванием в Берлине, и тут же прибавил, что собирался дать мне знак, чтобы я приехала за ним и вместе мы поехали бы в Париж, куда он уже написал Зворыкину, своему поверенному, для приискания нам подходящего помещения, так как в то время наш парижский дом был уже продан. Мой приезд ему был приятен и отчасти успокоил его, но он был в таком состоянии, что не только от волнения, но от каждого малейшего усилия или движения сердцебиение его утраивалось.

Желая знать мнение Лейдена, я поговорила с ним наедине и вынесла из его слов такое впечатление, что муж неизлечим, что его недовольство лечением, Лейденом, Берлином и желание переменить место — все это совершенно естественно: больные всегда ищут такого места, где им непременно должно сделаться лучше. Он посоветовал не отговаривать князя и вообще ни в чем не насиловать больного. Еще до моего приезда он отменил всякую диету, которую было назначил сначала, так как считал излишним напрасно мучить такого безнадежного больного. Даже если бы мы не уехали, вряд ли он стал бы продолжать лечить его. Перед отъездом Лейден дал мне некоторые указания, заставил сделать несколько пробных подкожных впрыскиваний для скорейшего облегчения больного и напутствовал нас надеждой, что мы доедем благополучно.

Муж был очень слаб. Высадив его на вокзале из кареты, мы должны были до вагона нести его в кресле, но и это пассивное движение так утомляло его, что он то и дело просил остановиться, дать ему отдохнуть, не идти так скоро... Мы дали знать в Париж, и на вокзале нас встретило такое же кресло.

Мужу, с его самостоятельным, независимым, смелым характером, его всегдашним самообладанием и привычкой самому распоряжаться своей жизнью, было тяжело мириться с положением больного, и даже тут, когда его несли в кресле, несмотря на ужасную слабость, он все-таки старался бодриться и перед отъездом потребовал, чтобы ему надели крахмальное белье и даже цилиндр. Тяжело было

видеть такую натуру надломленной, отчаянно борющейся с недугом и не желающей ему поддаваться...

По настоянию князя мы поселились в моднейшей гостинице, отель Риц, на Вандомской площади, в самый разгар парижского сезона, в марте. Гостиница была переполнена веселящейся нарядной публикой. И это оживление и праздничный шум еще резче подчеркивали наше тревожное, подавленное настроение.

Париж в это время приготовлялся к первому официальному приему английского короля Эдуарда VII после его коронации. Французское правительство готовило ему торжественную встречу, и на нашей «плас Вандом» делались огромные приготовления для иллюминации. Чтобы не затруднять днем усиленного движения, работы велись по ночам. Сотни монтеров протягивали от Вандомской колонны по всем направлениям гирлянды электрических лампочек, развешивались вереницы флагов, и площадь превращалась в очаровательный сад. Для пробы пускали полное освещение, и по ночам площадь бывала залита таким ослепительным блеском, что у нас, несмотря на спущенные толстые шторы, было светло как днем.

День ото дня мужу делалось хуже. Приглашенный к нему знаменитый доктор Бушар делал на нем всевозможные опыты, применяя последние открытия науки. Предписанные им подкожные впрыскивания лишь на минуту прекращали страдания, но потом вызывали галлюцинации, причем муж делался страшно нервным и не находил себе покоя ни лежа, ни сидя. В течение одной ночи его приходилось пересаживать с кровати в кресло и обратно раз по десяти.

Имея неотложные дела в Петербурге, муж просил Киту поехать в Россию с некоторыми его поручениями. В то же время в Париж приехала многочисленная родня мужа и ее частые посещения очень утомляли больного. Моя роль при этом была страшно трудна. Я не могла запретить им посещать мужа, они же не могли не видеть, в каком он положении, и все-таки врывались к нему. Он принимал их приветливо, но каждый раз приказывал об одном — чтобы его никто не беспокоил и чтобы к нему никого не пускали. Когда я удерживала некоторых от посещений, говоря, что муж устал, что ему необходим покой, все думали, что я становлюсь между родными и им, и делали мне всякие неприятности.

Когда лечение Бушара перестало помогать мужу и вера в него пропала, муж сам потребовал, чтобы к нему пригласили Хюшара, а так как эти два светила были на ножах, то Бушар на нас обиделся и перестал ездить. Хюшар придумал такое отчаянное лечение, что уже через неделю совершенно подорвал силы мужа. По его предписанию муж, не терпевший ничего молочного, должен был выпивать через каждые полчаса по четверти молока. Он его не переваривал и тут же возвращал. Это было не только для больного, но и для всех окружающих так мучительно, что я молила Бога, чтобы ему назначили другое лекарство, лишь бы не мучили так последние часы.

Через неделю муж потребовал опять Бушара, но тот, оскорбленный приглашением Хюшара, отказался приехать. Пришлось употребить всевозможные средства, извиняться, уговаривать, чтобы снова привлечь его, и наконец, после долгих упрашиваний и переговоров,

Бушар вернулся к больному. Кроме этих двух докторов, у мужа был еще постоянный врач, следивший за выполнением лечения, за температурой, пульсом и не отходивший от больного днем. Но по ночам я и камердинер мужа Филипп оставались вдвоем. Мы изнемогали от утомления, пересаживая больного всю ночь с кровати на кресло и с кресла снова на кровать. Были ночи, когда казалось, что больше нет сил и мы уроним больного на пол. Тогда я приставила к нему еще нашего шофера.

Между тем торжества по случаю приезда Эдуарда продолжались, и весь этот шум страшно беспокоил больного. Толпы народа ходили до трех часов ночи, с улицы доносились крики, шум, песни. Днем проезжал король со своей свитой, проходили войска с музыкой, и всю ночь после этого муж волновался и был очень плох... Иногда во время обеда в полуоткрытую дверь врывались аккорды скрипок румынского оркестра, внося в комнату умирающего резкую ноту диссонанса — отзвук парижской бурной жизни рядом с неумолимо надвигающейся тайной смерти...

Я так привыкла смотреть на мужа как на человека несокрушимого, что, когда вернулась Киту, я серьезно стала ей говорить, какие меры мы примем, чтобы окончательно восстановить здоровье мужа. Но в глазах ее я прочла удивление. Она объяснила мне, что, увидав князя после месячного промежутка, она поразилась происшедшей в нем переменой и что она ни малейшей надежды не питает... Я все-таки не поверила ей...

Первое время болезни муж интересовался уличной жизнью, приказывал подкатывать себя к окну, следил за движением и оживлением Парижа, это еще забавляло его. Даже были дни, когда нам удавалось одеть его и, спустив на кресле до автомобиля, катать часа по полтора, но скоро он стал уставать от прогулок все больше и больше, припадки сердцебиения стали усиливаться, и доктор признал эти поездки утомительными для него. Часто он стал терять сознание времени и спрашивал, который час, а когда ему отвечали: «Три часа», он спрашивал снова: «Дня или ночи?».

Я совсем не могла себе объяснить одного явления: он требовал, чтобы у него всегда горело электричество. Во всякое время дня и ночи комнаты его были освещены, но он не замечал ни дней, ни ночей, то страдал невероятно, задыхался, то впадал в краткое забытье...

Видя, наконец, что здоровье князя с каждым днем ухудшается, я написала его сыну, прося приехать навестить отца. На другое утро, приготовив мужа к приезду сына, я пропустила его к больному. Князь сперва обрадовался, но очень скоро утомился, потребовал, чтобы его оставили одного, и захотел отдохнуть.

Одна из сестер мужа, княжна Вера Николаевна, ярая «редстокистка», страшно желала обратить мужа в эту веру и побороть его скептицизм. Она при каждом свидании говорила ему:

— Покайся, ты скоро умрешь... Ты грешен, ты можешь умереть без покаяния... Покайся, пока есть время...

Сцены эти продолжались довольно часто. Княжна положительно не хотела считаться с тем, что человек болен и ему нужен прежде всего покой. Пока муж был еще сравнительно не так плох, он очень метко и остроумно отвечал ей, иногда же бывал и очень резок, но

потом споры стали утомлять его, и он вздохнул свободно, когда она уехала.

В Париже осталась другая его сестра, Зыбина, которая держала себя лучше всех, не была назойлива, не приставала к больному и довольствовалась тем, что сидела в соседней комнате часами и по сообщениям докторов следила за ходом болезни.

Мужу всегда казалось душно в комнате, он постоянно задыхался, несмотря на то что комнаты, занимаемые им, были огромны, просторны и имели десять аршин высоты. Поэтому окна в его спальне и гостиной постоянно были настежь. Март того года был холодный и дождливый, я незаметно простудилась и схватила сильнейший кашель, который по ночам доносился до мужа. Когда я приходила к нему, я делала невероятные усилия, чтобы удержаться. Он это заметил и сказал: «Да ты, кажется, больней меня» — и потом обратился к доктору, говоря: «Пожалуйста, посмотрите, что с ней, она больнее меня».

Однажды пришел ко мне лорд Редсток, долго сидел со мной, говорил о Христе, желая заодно, вероятно, обратить и меня. Но это было совершенно лишним, я была для него неподходящим объектом, обращать меня было бы напрасно, я была верующей и без его проповеди. Главная же цель его посещения была иная. Он хотел видеть князя и повлиять на него. После нескольких визитов он взял с меня слово, что я попрошу мужа его принять. Желая исполнить данное слово, я сказала мужу, что у меня был лорд Редсток и что он зайдет узнать о его здоровье. Князь слушал меня молча, потом поднял голову и проговорил: «Гони его в шею». Больше не прибавил ни слова. На другой день я была в большом затруднении, как передать ответ мужа, и все свалила на доктора, сказав, что мужу предписан полнейший покой и малейшее волнение, даже разговоры с посторонними крайне вредны.

Мужу становилось хуже с каждым днем. Последние две недели я жила не раздеваясь, в каком-то тумане тяжелых ожиданий и страшной усталости. А кашель душил беспощадно. Однажды после бесконечной утомительной ночи я ушла к себе на полчаса. Часов в одиннадцать утра ко мне прибежал Филипп, прося скорей идти к князю. Я застала его в кресле с закрытыми глазами. Он тяжело, прерывисто дышал. В комнате было холодно. Занавески были спущены. Электричество горело как всегда. Огромные канделябры на камине и люстре освещали лицо умирающего мужа... Я послала за сыном и сестрой, Зыбиной, которая тотчас же прибежала. Я стала на колени перед мужем и взяла его холодеющую руку. Дыхание его становилось все реже, прерывистей, глаза его не открывались, голова тяжело свесилась на грудь. Рука, лежащая на ручке кресла, была темно-синяя, сам он был бледен... Он так исхудал, что шея его превратилась в ниточку. Вместо могучего, полного жизни и сил человека был скелет...

Мы окружили его, следя за выражением его лица, за малейшим движением, за дыханием, а он все реже и реже втягивал воздух, потом сделал еще одно усилие, вздохнул и остановился...

Я перекрестила его, выпустила руки и, не доверяя себе, спросила стоявшего поодаль доктора: «Неужели все кончено?» Он молча наклонил голову. Я была не в силах побороть охватившее меня

волнение и разбитая, в слезах ушла в свою комнату, чтобы наедине предаться своему горю и оплакивать непоправимую потерю [1].

Сын едва поспел, чтобы принять последний вздох князя. Его с трудом разыскали. Оказывается, он в последнюю минуту бегал по телеграфам.

К вечеру муж лежал на столе в своей комнате. По просьбе хозяина гостиницы панихиды служились почти шепотом. Конечно, случись это с кем-нибудь другим, хозяин гостиницы потребовал бы немедленно увезти тело, но мужа хорошо знали в Париже и, благодаря участливому отношению русского посла, князя Урусова, меня никто не потревожил, а эти вполголоса прочитанные молитвы только придали больше торжественности тяжелым минутам.

Графиня Левашова и многие другие знакомые выразили мне сердечное сочувствие и поддержали в эту грустную минуту моей жизни. А я никак не могла привыкнуть к мысли, что муж, этот колосс, исключительно крепкого здоровья, лишенный нервов, которого я при самых трудных минутах жизни никогда не видала расстроенным, озабоченным, потерявшим самообладание или аппетит, сломан и унесен болезнью...

Чтобы не беспокоить живущих в гостинице, нас просили сделать вынос по возможности тихо и пораньше. В пять часов утра, после короткой панихиды, я в последний раз простилась с мужем, и цинковый гроб был запаян.

Так как после французской выставки князь был награжден орденом Le grand cordon de la Lègion d'Honneur [2], то ему должны были отдать военные почести. В день отпевания все прилегающие к русской церкви улицы были заставлены войсками. Гроб засыпали цветами и венками. Было произнесено несколько прочувствованных речей друзьями и представителями социологического общества, которого муж был членом. Все это тронуло меня до глубины души.

Странно... Муж так любил простоту, не признавал никакой пышности, никаких церемониалов, а умереть пришлось в Париже, где ему устроили такие торжественные похороны, чего никогда не могло бы быть в России.

На другой день после отпевания мы сели в поезд и уехали в Смоленск, чтобы опередить и встретить тело мужа, а с телом поехал Филипп.

---

[1] В. Н. Тенишев умер в 1903 г.

[2] Большая лента ордена Почетного легиона (*фр.*).

XXII

Похороны князя

В Смоленске меня удивило то, что в нашем доме нас ждал наш становой пристав Неклюдов и обратился ко мне с просьбой не ехать во Флёново и не видаться ни с кем из живущих в нем, пока он сам не приедет в Талашкино. Я была в полном недоумении, но голова была так забита приготовлениями и разными заботами, что я не объяснила себе этого требования, мне было не до того. Всю дорогу до Талашкина Неклюдов сопровождал нас, не отставая ни на минуту. Потом только я узнала, что он ехал во флёновскую школу производить обыск и страшно боялся, чтобы я не узнала об этом и не помешала ему, не вступилась бы за кого-нибудь из учеников или учителей.

В день прибытия тела в Смоленск на вокзале собрались родные, друзья и знакомые. Из всей многочисленной родни мужа приехали только сын, сестра Зыбина, ее дочь и племянница с гувернанткой; из друзей — Петровский; депутация от петербургского училища, депутация от Бежецкого завода и знакомые из Смоленска.

У траурного вагона была отслужена панихида, гроб поднят на катафалк, и вся процессия двинулась через город, затем по шоссе через Талашкино во Флёново. Путь предстоял долгий: четырнадцать верст до Талашкина и полторы версты в сторону до Флёнова. Шествие длинной вереницей растянулось по шоссе. Кто шел пешком, кто в экипажах. День был жаркий, томительный. Наконец прибыли во Флёново и поставили гроб в склеп. Во время панихиды набилось много народу — все Флёново и Талашкино хотели проститься с князем.

Несмотря на усталость и душевное состояние, меня все время мучила одна мысль. Моя церковь была не закончена. Когда пришло известие о смерти князя, то стали спешно доканчивать и штукатурить склеп, и только в день похорон были сняты лекала и убраны леса. Стены еще не просохли, и я страшно боялась за них. Своды могли рухнуть и убить всех нас. Я все время дрожала и вздохнула свободно только тогда, когда все кончилось и все оттуда вышли.

Потом состоялся утомительно длинный традиционный поминальный обед. Но наконец и это кончилось. Священники уехали, а я, едва додержавшись на ногах до этой минуты, ушла к себе отдохнуть. Расстегнув жесткий ворот крепового лифа, я прилегла на кровать в полном изнеможении. Некоторые гости, не желая меня беспокоить, потихоньку разъезжались, и до меня глухо доносился шум отъезжавших экипажей. Я понемногу стала забываться... Вдруг за дверью послышались шаги, и в спальню, не постучавши, не спрашивая позволения, без всякого предупреждения, вошли X., У., Z. Это было так неожиданно, что я в испуге и смущении вскочила с

постели, стараясь дрожащей рукой застегнуть лиф и привести в порядок платье, не понимая, каким образом эти люди позволили себе ворваться ко мне в спальню, да еще в такую минуту. Не обращая никакого внимания на мое смущение и неудовольствие, они сразу принялись втроем уговаривать меня пожертвовать в пользу Тенишевского училища дом князя на Моховой, доставшийся мне по завещанию.

В то время, т. е. через месяц после смерти князя, я вообще еще никаких решений и распоряжений предпринимать не могла, я сама еще не знала хорошенько, чем владею. Князь оставил два завещания, одно относительно сына, другое относительно меня. Состояние мужа было разделено на две неравные части, большая предназначалась сыну, меньшая — мне. Но к формальностям не было еще приступлено, ввода во владение еще не было, и я, даже если бы хотела, никакого распоряжения сделать не могла.

Эти три человека, как вороны слетевшиеся надо мной, навели на меня ужас, а они, не понимая моего состояния и не замечая произведенного впечатления, очень настойчиво требовали от меня решительного слова. Они, очевидно, думали застать меня врасплох, воспользоваться моей растерянностью, расстроенными нервами и сыграть на слабой струнке — «в память князя». Они то и дело повторяли эти слова. К счастью, мое душевное состояние было настолько подавлено, что я не была в состоянии принять какое-либо решение. С трудом освободившись от этих назойливых господ, я вырвалась от них, поспешила к оставшимся родственникам и гостям и стала избегать всяких разговоров с ними...

Когда муж умер, у меня решительно не было никого, с кем посоветоваться, а хлопот, дел и разных формальностей было много, сама же я была так расстроена, больна, что не могла думать обо всем. За помощью я обратилась к X., как к лицу, которого постоянно видела возле мужа. Тем более что он ко мне отнесся очень сочувственно и так плакал, как на похоронах родного брата. Я просила его быть моим поверенным.

Родные мужа, которые при его жизни относились ко мне все-таки довольно сносно, теперь, со смертью мужа, сразу отвернулись. Муж в виде материальной поддержки держал у себя их капиталы, выдавая по восьми процентов в год, но так как я не могла взять на себя такого же обязательства, то предложила им возвратить эти деньги и прекратить всякие денежные обязательства между нами. Мои собственные дела были еще далеко не выяснены, откуда же я могла выплачивать им эти восемь процентов, когда сама получала четыре с половиной. Понятно, первой моей заботой было развязаться с этими обязательствами, достигавшими пятисот тысяч рублей. Я собрала все, сколько могла, наличными деньгами и немедленно передала родным мужа, но все это обошлось очень трудно и сложно. Никто не захотел подождать, никто не выказал мне доверия, все вооружились против меня, как против грабителя на большой дороге, и все они завели себе по адвокату, очевидно стараясь защититься от меня, и X. пришлось иметь дело одновременно чуть не с пятью-шестью представителями интересов разных лиц. Но в конце концов мне все же удалось совершенно развязаться с ними после многих неприятностей.

После похорон мужа X. приступал ко мне по крайней мере раз десять, уговаривая уступить дом на Моховой в пользу Тенишевского училища, и даже несколько раз подносил мне для подписи составленное им условие с патетическими фразами и вечным припевом: «В память мужа, в память князя». Когда же я отклоняла это, он раздражался, возвышал голос и наступал на меня чуть не с криком, требуя моей подписи. Я думала, что он горячится просто потому, что близко к сердцу принимает идею покойного князя, лично же мне казалось смешным благотворительствовать богатым, а в память мужа многое уже было сделано на заводах, да и я сама в память мужа пожертвовала в музей Александра III богатейшие этнографические материалы, собранные им за много лет.

Когда строилась петербургская школа, муж преследовал только одну цель — скорей окончить ее и открыть училище. Поэтому дом был выстроен очень непрактично, обошелся очень дорого, и в нем было много совершенно ненужных огромных коридоров, проходных комнат и передних, которые совершенно непроизводительно отнимали много места и не приносили дохода. Чтобы поднять доходность и хоть что-нибудь получать с этого дома на огромный затраченный капитал, я придумала из этих переходов, коридоров и лестниц сделать одно большое помещение для театров с зрительной залой в шестьсот мест, с особым фойе и раздевальной. Нужно только удивляться, как муж, будучи деловым, практичным человеком, мог выстроить такую несуразную постройку, в которой треть всего места была занята ненужными проходными комнатами. Переделки, произведенные по моей мысли, дали возможность, сохраняя школьное помещение, иметь еще доходные статьи в виде театра и аудитории.

Между тем X., чуть ли не ежедневно, приставал ко мне все с тем же, уговаривая на все лады, что я должна, нравственно обязана сделать это в память мужа. Он так задергал меня, что я совершенно не знала, как мне поступить. В конце концов я подписала крайне невыгодный для меня контракт с Тенишевским училищем на девять лет, по которому должна была первый год получать четыре тысячи в год, второй — восемь и с третьего — по шестнадцати тысяч, причем в договор был включен пункт, значение которого в то время я не поняла, предоставлявший училищу право возобновить договор по истечении девяти лет на прежних основаниях, — и это с капитала в полтора миллиона, в которые оценивались здание и место! Я, в сущности, попала в кабалу. Несомненно, будь у меня поверенный, преданный моим интересам, он никогда не вовлек бы меня в такую невыгодную сделку. Я доверилась ему, так как у меня не было никакого опыта в таких делах — мой муж всегда распоряжался сам во всех деловых операциях. Когда же у меня раскрылись глаза на X., то было поздно.

Со дня смерти мужа я не знала покоя. Мне пришлось вести несколько тяжб, так как муж давал деньги взаймы на разные дела, а известно, как трудно получать их обратно. Все дела, которые были очень невыгодными и совершенно бесспорными в мою пользу, X. проводил с большим усердием, но так как он не имел права вести дела сам, то пригласил от себя адвоката И., своего знакомого, и подносил мне двойные счета: ему две тысячи, И. столько же, ему три тысячи, тому столько же. Каждое дело обходилось мне вдвое дороже,

так же как и мой ввод во владение. Но зато в делах запутанных, сложных, где нужно было потратить много сообразительности, где нужно было строгое соблюдение, рачительность, как, например, в деле электрического завода Глебова и К°, в котором муж был первым вкладчиком, Х. не ударил пальцем о палец, допустив даже злоупотребления и небрежность со стороны некоторых служащих, чем чуть-чуть не довел этого дела до полного упадка.

До меня стали доходить слухи, один хуже другого — мнение о Х. всюду было плачевное...* Стали для меня теперь ясны его приставания и уговоры относительно дома на Моховой и все прочие его действия. Я решила расстаться с ним. К этому времени у него уже появилось имение и разные крупные предприятия, это был уже оперившийся человек, для которого мой отказ уже не был чувствительным ударом. Я сыграла в его жизни роль победного коня, на котором он выехал на блестящую дорогу...

После его ухода мне пришлось много биться и возиться с делами. Я нашла массу ошибок и упущений и только тогда стала приводить в ясность состояние, которым я владею. Только расставшись с ним, я поняла, почему, когда я говорила знакомым, что Х. — мой поверенный, они удивлялись, улыбались, а кто-то раз мне сказал, что он стряпчий по делам, и потому стряпал в моих, как в своих...

Когда я была предоставлена самой себе, когда могла устроить жизнь по моему вкусу, я немедленно решила ехать в Талашкино на постоянное жительство. Петербурга я никогда не любила, в Москве у меня не было никаких связей, одно Талашкино оставалось близким, где меня ждала деятельность, которой я могла уже беспрепятственно отдаться. Для ликвидации моего дома на Английской набережной, ненужной мебели и вещей я устроила аукцион. На этот аукцион пустила я и всю ту иностранную часть своих акварелей, которую отверг музей Александра III, за исключением только самых ценных и редких экземпляров, которые можно было выгоднее продать за границей. На аукцион попали и те русские акварели, которые оставил Бенуа, найдя их дурными и уродливыми, и потому не попавшие в музей.

За этот аукцион мне пришлось вынести целую бурю... Аукцион в России — вещь обыкновенная, не говоря уж о загранице, где это очень в ходу. Не раз произведения великих мастеров проходили через такой способ продажи. Но мне подобной вещи почему-то простить не могли... Когда художники увидали свои вещи проданными с аукциона, они все на меня ополчились. На меня посыпался град обвинений, многие были недовольны мной и даже поместили какие-то кислые статьи в газетах на мой счет.

Боже мой, как трудно женщине одной что-нибудь сделать. Ей все ставится в вину, каждый шаг ее перетолковывается в дурную сторону, всякий может ее судить, осудить и безнаказанно оскорбить. А в особенности, если эта женщина решается создавать что-то свое. Как бы ни были благородны ее цели, каковы бы ни были результаты ее деятельности — даже ленивый и тот считает своим долгом бросить в нее камнем...

---

* *Здесь редакцией пропущено несколько строк по причинам, указанным в предисловии.*

XXIII

Талашкино. Погосские

Переехав в Талашкино жить, я говорила себе вполне искренно, что это моя последняя страница. Мне хотелось последние годы жизни посвятить дорогому делу, от которого я нехотя отрывалась ради семейных обязанностей. Теперь ничто не препятствовало всецело отдаться работе и творчеству, и я с новыми силами, с горячим желанием внести лепту в дело народного образования приготовилась к деловой жизни.

У меня на руках было много дела: школа во Флёнове, мастерские в Талашкине, музей, кустарное дело, «Родник» в Москве. Все это поглощало все мои силы. Я работала с утра до вечера и не чувствовала себя, не замечала времени и часто, ложась в постель, не могла уснуть: голова горела от забот, от желания скорее все это привести в жизнь. Но едва одно дело приходило к концу, как уже нарождались другие планы, придумывались все новые и новые улучшения, одна мысль порождала другую, и я не щадила себя, не чувствовала утомления, я только радовалась, что наконец могу отдаться своей любимой деятельности. А задумано у меня было многое, и носилась я с этими мыслями давным-давно, не уклоняясь от своей мечты ни за границей, ни в петербургской жизни, такой, казалось, далекой от деревенских интересов...

Я давно уже задумала насадить в Смоленской губернии кустарный промысел и исподволь, понемногу, вела для того подготовительные работы. Я всегда думала, как бы хорошо было дать возможность крестьянам заработать в зимнее время, особенно женщинам. Ведь крестьянки в длинные зимние месяцы или перебиваются с трудом, проводя время в вынужденном бездействии, или идут на фабрики, в город искать заработка, бросая семью, детей, что всегда гибельно отражается на их здоровье и всем строе семейной жизни. Надумала я воспользоваться сохранившимся еще среди смоленских крестьянок умением вышивать и окрашивать ткани и пряжу.

Старинные крестьянские костюмы нашей губернии очень красивы, но, к сожалению, на них «прошла мода», как говорят бабы, их уже не носят теперь, все больше и больше заражаясь городскими фасонами из скверных фабричных ситцев. Однако у старух сохраняются еще по сундукам все принадлежности старинного убора, которые они даже охотно продают. Но не только старухи, а и молодые девки и бабы умеют вышивать по-старинному и легко снимают какой угодно мудреный старинный узор «строчками». И вот, не навязывая им никаких посторонних вкусов, идей, мы понемногу стали приучать их применять свое искусство к вещам нашего обихода. Нам ни к чему фартуки, «поляки» (наплечные вышивки на руба-

хах), поэтому мы начали с салфеточек, понемногу увеличивая их размеры, вводя все более сложные и богатые узоры. В местных вышивках встречались только яркие красные, синие и желтые нитки, мы предложили исполнять узоры в более мягких, гармоничных тонах. Наши цвета им сначала не нравились, они называли их «мутными», но потом вошли во вкус.

Крестьянки сперва туго поддавались — они вообще консервативны, недоверчивы и ко всяким новшествам неподатливы, брались робко, с неохотой, уходили, возвращались. Приходилось переплачивать, чтобы заинтересовать, привлечь их. Рисковали лишь самые смелые, но зато немного погодя не было отбоя от них, за пятьдесят верст приходили иногда, умоляя дать работу.

Материал весь покупался у баб: сукно, пряжа, холсты. Все это у нас окрашивалось, кроилось, подбирались подходящие нитки и снова шло к ним в работу. Не покидая своей избы, зимой крестьянка, хорошая рукодельница, легко зарабатывала 10—12 и даже больше рублей в месяц, что для них представляло значительные суммы. Между ними были настоящие художницы, мастерицы, с врожденным вкусом, умением и фантазией, тонко видящие цвета и с полуслова понимающие, чего от них хотели. В конце концов мы начали достигать удивительных результатов, и каждая особенно удавшаяся вещь, со сложным рисунком, богатая по краскам, чисто и тонко выполненная, составляла радость и гордость всей мастерской. Мы стали делать уже крупные вещи, драпировки на окна и двери, обивки для мебели, которая выходила из нашей столярной мастерской, скатерти, покрышки на рояли, не говоря уже о мелких, как отделки для платьев, подушек, полотенца, узкие полоски для отделки, продававшиеся на аршины и т. д. Количество баб доходило теперь до двух тысяч, и в конце концов трудно было найти поденщицу или прислугу, так как женщина, живя у себя, зарабатывала гораздо больше, чем на поденщине. Я уже мечтала расширить это дело, завести сношения с заграницей, посылать наши работы в Париж, Лондон, тем более что иностранцы начинали сами интересоваться нашими кустарными промыслами. Пока же для сбыта изделий наших мастерских я открыла в Москве магазин «Родник». Заведывать им я пригласила Погосскую-мать, ту самую даму, которая меня так очаровала в Петербурге при первой моей встрече с нею в кустарном магазине в Пассаже.

Еще в самом начале нашего знакомства Погосская рекомендовала мне свою дочь как опытную в красильном и кустарном деле. Я поместила ее во Флёнове и относилась к ней с полным доверием. На второй год пребывания Погосской-дочери у меня во Флёнове у нас произошла странная история. Как-то раз я получила от нее письмо (она часто писала мне о наших общих делах), стала читать и просто не поверила глазам. Обращение было к какой-то тетке, описывалась жизнь во Флёнове, и тут же говорилось, что, окрашивая нитки и шелк, она часть отдает мне, а часть посылает матери, надувая меня без стеснения. Кроме того, в письме высмеивалась вся моя деятельность, мои поступки, школьные порядки, будто бы ужасные, невыносимая жизнь учителей и т. д. Все это было сказано в таких наглых выражениях, что я пришла в ужас — с кем я имею дело!

В полном недоумении я написала ее матери в Москву, прося ее немедленно приехать. Вечером, когда мы сидели по обыкновению в зале вокруг стола, дверь с балкона отворилась и в сарафане, в платочке на голове явилась Погосская. Она с усмешечкой заявила, что ей надо со мной поговорить с глазу на глаз. Когда мы вышли в другую комнату, она с тем же смешком сказала: «А ведь нам с вами надо письмами поменяться» — и прибавила, что произошло недоразумение, что она написала мне письмо, но по своей привычке сперва надписывать конверты, а потом писать письма, мое письмо послала тете, а теткино мне, и просила вернуть его ей. Я ответила, что очень сожалею, узнав совершенно невольно, какого она дурного мнения обо мне, что к ней я всегда относилась хорошо, стараясь быть ей полезной, и не вижу, какая была причина отплатить мне такою враждой. Письмо же я отказалась ей вернуть до приезда ее матери, которая должна рассудить это дело. Она была, по-видимому, очень недовольна таким оборотом дела, но должна была сдаться. Когда приехала ее мать, я прочла ей это письмо, желая видеть, какое впечатление оно на нее произведет. Мне казалось, что она, наверное, осудит поступок дочери, я ждала, что это огорчит или хоть смутит ее, но я наткнулась на такую же нахальную женщину, как и дочь. Она не видела в поступке дочери ничего особенного, всячески старалась ее оправдать, и я не заметила в ней ни тени сожаления о случившемся. Это навело меня на мысль, что деньги, которые я так щедро валю на «Родник», в плохих руках, и сейчас же послала сделать полную ревизию магазина, в котором оказалось менее чем за три месяца существования уже три тысячи дефицита. Таким образом, мое бедное предприятие с первых же шагов потерпело убытки. Пришлось принять крутые меры и отстранить эту шайку обирающих меня людей. Погосскую я попросила уйти из магазина, а с дочерью тоже решила расстаться, и поручила одному из учителей принять от нее по описи оставшуюся пряжу и краски. Но что же оказалось? Незадолго до того я выписала из Персии несколько пудов ценного красильного материала, так называемой марены, которая дает очень приятные красные тона. При сдаче не оказалось ни одного мотка шелка, а от марены всего несколько фунтов. Но Погосская обошла и учителя, отослав его с каким-то поручением в момент отъезда. Взвалив мешок с мареной на тележку, отвозившую ее на станцию, она увезла с собой и ценную краску. Учитель, которому я указала на промах, допущенный им при приемке, был страшно смущен и немедленно послал ей телеграмму, прося вернуть марену, на что получил ответ: «Ищите там, где лежит».

Погосская уверяла меня, что у нас все окрашивается растительными, нелиняющими красками. Я не имела оснований ей не доверять, так как считала ее вполне порядочной женщиной. Но каково же было мое изумление и негодование, когда мне сказали, что, прибирая после Погосской теремок, в чулане нашли груду склянок с остатками самых дешевых, линючих анилиновых красок, которые можно купить в любой москательной лавке.

Потом только я узнала, что Погосская-мать уже во многих земствах проделала те же штучки, отсылая лучший товар в Англию к своей старшей дочери, живущей там в качестве агента какого-то

магазина. Она надула еще какое-то благотворительное общество, которое поручало ей сбывать кустарные вещи в Лондоне. Несколько лет она получала товар и деньги на содержание магазина, но когда кто-то из членов этого общества, проездом попав в Лондон, захотел побывать в магазине, то на указанной улице под известным адресом такого вовсе не оказалось, его никогда и не было.

Но это было еще не все. Анна Погосская (дочь), как оказалось потом, когда вообще многое для нас раскрылось и стало ясным, помимо крашения, была пропагандисткой свободных мыслей среди учителей и учеников. Молодая, очень вертлявая, обладающая всеми уловками американского воспитания, притом нечесаная, неопрятная, одевающаяся большей частью в сарафан, она играла в народницу, настраивала учителей, осуждала все, что исходило из Талашкина, и очень скоро присутствие ее во Флёнове отозвалось на отношении ко мне учителей, которых я и так уже могла во многом упрекнуть. У нее все были разговоры о равенстве в том смысле, что раз у одного есть что-нибудь, а у другого нет, то надо имущего ненавидеть, смотреть как на врага и, если можно, уничтожить. Со временем эти рассуждения принесли очень пышные плоды. Она часто вела нескончаемые беседы с Малютиным, спорила с ним, в чем-то убеждала, и каждый раз после такой беседы он ходил какой-то странный, озабоченный, чем-то сильно смущенный, сам не свой.

Но тогда я была еще слепа. Я так была поглощена своей работой, что ничего, кроме нее, не видела, а на окружающих людей смотрела только как на своих помощников, сотрудников, разделяющих те же идеалы, что и я. Я так далека была от мысли, что в то время, когда я с такой любовью, с полным самозабвением создавала любимое дело, кругом уже шло глухое брожение, недовольство, недоброжелательство, моя деятельность критиковалась, а создавшаяся атмосфера недовольства должна была привести к полному развалу...

В июле 1904 г., незадолго до истории с Погосской, вставши както раз с постели часов в девять утра, я взглянула в окно и увидела огромный столб дыма над воротами, и в ту же минуту забили в набат, послышались отовсюду крики: «Пожар», забегали люди, поднялась страшная суматоха. Это горел колоссальный сенной сарай, вмещавший до десяти тысяч пудов клевера, который только накануне удалось свезти при отличной погоде, без капли дождя... Это вспыхнуло как порох — золотой порох, ибо для хозяина доброкачественные запасы корма на зиму дороже золота.

И что странно — сарай этот находился на самом бойком месте, между скотным двором и конторой, заперт был со всех сторон на замок, а подворотни заложены досками. Возле проходила дорога, по которой вечно сновали служащие, работники; с другой стороны находился скотный двор, где в ту минуту у скотниц и доильниц кипела работа. Трудно было допустить, чтобы кто-нибудь мог залезть в него и заснуть с трубкой, так как ворота были очень хорошо сделаны и не было никакой лазейки. Мы терялись в догадках и предложениях.

Сбежалась вся дворня, не тушить — тушить было невозможно, — но помогать отстаивать соседние постройки от огня. Помогали все: кто носил ведра, кто действовал баграми, кто заливал накалившуюся крышу окружающих построек. Пришли ученики, вся школа, одна

Погосская не пришла на пожар, и когда я наивно на другой день спросила ее: «Что же вы не пришли утешить, поддержать меня?» — она хихикнула и ответила, что ей здесь нечего было делать...

Наехала полиция, производилось следствие, было несколько лиц под подозрением, но так ничего и не добились. Киту, встретив однажды в поле сторожа сгоревшего сарая, которого долго подозревали в том, что он залег с вечера спать на сеновале и нечаянно заронил огонь, пообещала ему, что он во всяком случае останется в Талашкине, но только чтобы сказал правду, не курил ли он около сарая, не провел ли там ночь, но тот клялся и божился, что ничего подобного не было.

Мы долго доискивались о причине пожара. Мы терялись в догадках и предположениях, но мы еще были слепы, и этот колоссальный пожар отнесли к несчастному случаю...

Расставшись с Погосской, я перевела красильню в Смоленск, приспособила для нее помещение и поручила ее Барщевскому, который очень охотно взялся заниматься ею, тем более что это не составляло ему большого труда — рядом строился мой музей, и он следил за постройкой, а квартира его была в том же доме. Рукодельню и приемку вышивок от крестьянок взяла на себя Леля Сосновская. Когда я предложила ей заняться этим делом, она с радостью согласилась и поселилась у меня в Талашкине. Я давно уже любила этого маленького человечка, относившегося ко мне с теплотой и преданностью. В день похорон мужа она приезжала ко мне утешить меня, окружила меня лаской и старалась быть мне чем могла приятной и полезной.

Рукодельню я поместила в прежней моей художественной мастерской. В этой мастерской работало также несколько бывших моих учениц, которые вышивали под наблюдением художников по их рисункам. Туда же приходили за работой и приносили готовую бабы из окрестных деревень. Леля быстро научилась говорить с бабами их языком, высчитывать с ними ряды ниток для расплаты, названию отдельных швов и узоров, вела книги и предавалась делу с увлечением и любовью целыми днями. За одно это отношение ее к делу я нравственно связана с ней и благодарна ей. В продолжение трех лет она не пропустила почти ни одного дня, никогда не жаловалась на утомление и продолжала заниматься с одинаковым рвением.

Я нашла также незаменимую помощницу в лице одной дворовой женщины, Поли, которая очень быстро поняла, чего я хочу от дела. Это была честная, усердная и очень умелая женщина, понимавшая меня с полуслова. Как крестьянка сама, она отлично умела говорить с бабами, знала все их приемы, иногда маленькие хитрости и понимала толк в пряже, холстах и шитье.

Были между бабами и плутовки. Как-то раз мы видим у одной женщины красивые «поляки», шитые нашим шелком и нитками,— подобных найти было негде, так как в продажу наша окрашенная пряжа не шла. Мы похвалили ее, она же, думая, что мы не догадываемся, с большой отвагой заявила нам: «Теперь у нас такая мода пошла»...

XXIV

Музей. Поиски места для него. Малютин

Князь ненавидел старину. Она раздражала его. При жизни его, выполняя обязанности жены и хозяйки дома, дорожа больше всего семейным миром и избегая раздражать мужа и давать повод для нескончамых насмешек, я прятала свое собрание старинных вещей повсюду, заваливала чердаки и чуланы и даже хорошенько не знала, чем я владею. После его смерти мне захотелось привести в порядок собранные сокровища, и, только вынеся на свет все, что годами лежало в укромных углах, я увидала, что у меня создалась целая богатая коллекция, нуждающаяся в достойном помещении.

Еще при жизни мужа я стала хлопотать о том, чтобы город дал мне какой-нибудь кусок земли, на котором бы я могла выстроить здание для музея. Так как это должен был быть музей русской старины, и в большей своей части смоленских древностей и этнографии, то я задумала поместить его в старинную обстановку, которая так бы гармонировала с содержимым. И вот насмотрела я одну из башен старинного смоленского кремля. Эти башни частью превращены в архивы, частью пустуют и разрушаются за недостатком средств для их поддержания. В одной из них, над Молоховскими воротами, помещается полковая церковь. Не стану говорить о том, кто и как несет на себе обязанности охранения «драгоценного ожерелья земли русской», что делается для этой цели, но только некоторые башни приходят в полный упадок, а это, конечно, очень жалко. Одна из них, под названием «Никольская», в которой был когда-то проезд, остановила мое внимание. Проезд был уничтожен по тесноте и неудобству, а рядом в стене были пробиты широкие ворота и проведена дорога. Башня стояла заброшенной, запустелой, без всякого употребления, и даже без крыши, которую подпалили какие-то хулиганы, гуляя по стене. Зубцы этой башни были наполовину разрушены. По фасаду с Никольской улицы над воротами висела икона под маленьким навесиком. Вокруг иконы было накрашено яркой синей краской, что производило впечатление какой-то грубой заплаты на старой облупившейся кирпичной стене. С двух сторон к башне примыкали стены, а с тылу был пустырь.

Я обратилась к нашему тогдашнему губернатору, Звегинцеву, прося его помочь мне выхлопотать в Археологической комиссии эту башню для устройства там хранилища древностей, беря на себя все расходы по устройству. Смета, составленная городским архитектором В., доходила до сорока тысяч. Я предлагала не трогать фасада с Никольской улицы, а также стен с обеих сторон, но с четвертой стороны, где был пустырь, я предлагала расширить окна, сделавши

наличники одинакового размера. В этом месте стены были двухаршинной толщины, а окна — узкие бойницы. Для того чтобы удовлетвориться башней, не делая надстройки, я предполагала в каждом этаже сделать галерейки, на которых стояли бы витрины, в нижнем этаже тоже поставить витрины во всех направлениях таким образом, чтобы хранитель музея, оставаясь в нижнем этаже, мог бы видеть посетителей снизу и следить за ними. Для того же чтобы дать хорошее освещение, я предполагала сделать стеклянную крышу, не превышающую зубцов башни, чтобы таким образом не портить внешнего облика древнего памятника.

Звегинцев, найдя мою просьбу основательной и радуясь случаю быть мне полезным, а заодно спасти одну из исторических башен, немедленно написал в Археологическую комиссию о пользе такого музея в нашем старинном городе. К сожалению, когда был прислан сюда член Археологической комиссии, я была в Париже при умирающем муже и не могла поддержать своего плана. То же, что было передано мне, глубоко огорчило меня. Был прислан г. Покрышкин, который нашел, что это «кощунство — трогать древние башни», предпочитая, по-видимому, их полное разрушение. Этот же Покрышкин, так «ревностно» отстаивавший древности в Смоленске, был откомандирован однажды в Спасо-Нередицкий храм в Новгород для реставрации и там, не боясь «кощунства», совершенно его изуродовал... Но это не мое дело. Пусть гг. Покрышкины творят безобразия, раз что их терпят. Я только жалею, что благодаря ему и Спасо-Нередицкий храм потерял свой прежний дивный облик, да и от Никольской башни скоро ничего не останется. Итак, в результате, после переговоров с Археологической комиссией, я получила отказ.

Город, к которому я обратилась с просьбой дать мне землю для музея, не нашел ничего лучшего, как предложить мне огромный пустырь, за стеной, в совершенно глухом месте (далеко позади Сосновского бульвара). Это был просто кусок вала и рядом огромная яма. Весь грунт в этом месте был наносный и, чтобы построить там здание, надо было бы вывести фундамент в два раза выше обыкновенного, дабы здание стало на поверхность земли. Чего бы стоили одни земляные работы? Кроме того, отцы города забыли, что кругом немощеное болото, непроходимое осенью, зимой и весной, летом же поднимается столбом пыль, что вредно для музея, так как никакая упаковка не могла бы предохранить от нее вещи. Место было глухое, отдаленное от всего, точно нарочно придуманное для удобства громил и соблазна воров, в котором и простым-то людям жить жутко, а для хранения дорогих, редких предметов совершенно неподходящее. Но что было смешнее всего, это то, что, когда гласные собрались обсудить мое ходатайство, один из них сказал: «Надо еще посмотреть, какой она нам выстроит фасад?» Не знаю, могла ли бы я, при всем желании, сделать что-нибудь хуже тех фасадов, которые встречаются в нашем богоспасаемом городе.

Не видя ни с чьей стороны поддержки, я, было, уже приуныла. Выручила меня Киту, предложив мне построить музей на ее земле, на том месте, где когда-то стояла рисовальная школа. Я, конечно, с радостью согласилась. Таким образом, за Молоховскими воротами, по Рославльскому шоссе, рядом с маленьким домом, в котором мы

всегда останавливались наездами в город, возник музей. Постройка его была задумана самым практичным способом. Я применила на ней весь опыт, вынесенный мной из заграничных путешествий по музеям...

В Смоленске я вообще не видала никакого сочувствия к своей деятельности. Невольно вспомнился мне еще один эпизод, рисующий отношение ко мне городского управления. Как-то раз, сидя на балконе и дружно беседуя с нашим смоленским губернатором, В. О. Сосновским, еще при жизни мужа, мы заговорили о пожарах, которых в том году было очень много. В. О. и говорит:

— Вот я недавно был в Вязьме. Маленький уездный городок, а как хорошо там устроен пожарный обоз. Город на свои средства купил паровую машину, и как великолепно она действует.

На мой вопрос, есть ли такая же в Смоленске, В. О. отвечал, что, к сожалению, никак не может подбить город на эту покупку, городская управа все ссылается на безденежье, и теперь у нас часты пожары, а помочь мы бессильны.

Прошло некоторое время, и разговор этот был забыт.

В это время умер один знакомый мужа, Гольденберг, бывший с ним в крупных делах. Видно, он остался очень довольным результатами этих дел, потому что даже оставил мне по завещанию на мои благотворительные дела четыре с половиной тысячи рублей. Мне сейчас же пришла мысль употребить эти деньги на какое-нибудь общественное дело, и я вспомнила о разговоре с Василием Осиповичем, которому я немедленно сообщила о своем намерении пожертвовать городу хорошую пожарную паровую машину. Так как я ничего в этом не понимала, то просила его взять это дело в свои руки. Конечно, В. О. любезно откликнулся на мое предложение и вызвал с этой целью в Смоленск Густава Листа. Вместе с городским головой они обсудили этот вопрос и пришли к соглашению. Так как Днепр отстоит далеко от центра города, то потребовался рукав в две версты длиной, что несколько увеличило стоимость машины. Я согласилась на доплату, лишь бы только дело было хорошо сделано, и через некоторое время в город торжественно прибыла прекрасная машина с длинным рукавом. Принята она была с благодарностью, и казалось, успех ее был обеспечен, но тут вскоре ушел В. О., а с его отъездом вопрос о машине отошел на второй план, о ней совсем забыли.

Как-то раз произошел большой пожар недалеко от того дома, в котором мы всегда останавливались, приезжая в город. Дело было осенью. Я давно слышала, что машина стоит без употребления, и нарочно пошла на пожар, чтобы убедиться, правду ли мне говорят. Прийдя на пожар, я увидала, что действительно никакой машины нет, а какая-то крошечная жалкая бочка скачет на двухколеске с одного ухаба на другой, наполовину выплескивая воду, и, конечно, ничего залить не может. Тогда я сделала запрос городской управе, почему не употребляется машина, и косвенно через кого-то получила ответ: «Откуда же им взять лошадей для машины, механика и т. д.?» Тон ответа был обиженный, и в нем чувствовался упрек, как это я могла подарить городу машину, не подарив заодно и лошадей, не воображаю ли я в самом деле, что много сделала, подарив городу только машину и больше ничего?

Так с тех пор и осталась машина стоять в сарае и фигурирует только раз в году, в день пожарного праздника, 28 июня. В конце концов, я же почувствовала себя виноватой в том, что сделала этот дар.

* * *

Талашкино совсем преобразилось. Бывало, куда ни пойдешь, везде жизнь кипит. В мастерской строгают, режут по дереву, украшают резную мебель камнями, тканями, металлами. В углу стоят муфеля, и здесь, втихомолку, я давно уже приводила в исполнение свою заветную мечту, о которой даже говорить боялась вслух: делаю опыты, ищу, тружусь над эмалью. В другой мастерской девушки сидят за пяльцами и громко распевают песни. Мимо мастерской проходят бабы с котомками за пазухой: принесли работу или получили новую. Идешь — и сердце радуется.

Руководителем моей мастерской был С. В. Малютин. Тщедушный, маленький, он и был маленьким во всем, кроме таланта. Вначале скромный, податливый, он признавал за мной вкус, опыт, а главное, понимание комфорта, которое в нем совершенно отсутствовало, и потому, когда мы начинали создавать разные вещи домашнего обихода в новом русском стиле, он прислушивался к моим советам и следовал моим указаниям. Сам же он делал вещи совершенно невозможные для жизни — столы с острыми углами, о которые все больно стукались коленями, кресла, которых никто не мог сдвинуть с места, а раз он сделал табурет, с крупной рельефной резьбой на сиденье, необыкновенно неудобный. Этот табурет даже сделался знаменитым, и многие просили его фотографию на память как курьез.

Хотя Малютин был неречист, ребята его отлично понимали. «Столбушечки, красочки, вершочки, зайчики» составляли весь незатейливый обиход его речи. Характер у него был тяжелый. Он решительно нигде и ни с кем не мог ужиться. Болезненная подозрительность, обидчивость и самолюбие не давали ему покоя. Он подозревал всех своих помощников в том, что они заимствуют его рисунки и могут выдать за свои, всегда на кого-то жаловался и всегда считал себя обиженным.

По приезде в Смоленск он поселился с семьей на квартире, но пошли неприятности с хозяином, попросили очистить квартиру. Тогда он устроился у одного мелкопоместного соседа, Крона, в двух верстах от Талашкина, но тоже не поладил. В имении Путято — то же самое. Пришлось выстроить ему дом в Талашкине на шоссе. Чтобы заинтересовать его и привязать немного к Талашкину, дом строился по его рисункам, в русском стиле. Теперь он сам был себе хозяином, ссориться было уже не с кем. К сожалению, новый хорошенький домик скоро превратился в хлев...

Заинтересовалась я его старшей дочерью Ольгой. Бедная девочка в 13 лет еще не умела читать, о чистоте понятия не имела, к правде приучена не была, росла в грязи, невежестве. И таких неумытых ребятишек у него было четверо. Косноязычная жена его, совсем простая женщина, не могла дать им никакого воспитания. Грязь

с нее самой так и сыпалась. Страшно было у них в доме сесть на стул, насекомые так и бегали...

Я позвала Ольгу к себе погостить, обмыла ее и приодела. Наш школьный учитель Соколов стал давать ей уроки, но это стоило ему большого труда. До тринадцати лет она ничему не училась и совсем не привыкла трудиться, была ленива, упряма, но я многое ей прощала ради ее прирожденного таланта к рисованию и удивительного чувства красок. Вместе с талантом она унаследовала от отца и все его недостатки. Прожила она у меня два года. Когда отец снова взял ее к себе, она не выразила никакого сожаления, расставаясь со мной. Дома ей было вольготнее, никто не заставлял ни учиться, ни быть опрятной. Впоследствии я слышала, что она поступила в Московское училище живописи и ваяния, обнаружила большие способности, подражала отцу, но затем я потеряла ее из виду.

У Малютина бывали и светлые минуты. Тогда мы с ним дружно беседовали, он угощал меня «красочками», «столбушечками», «зайчиками», «лисаньками» — это было очень забавно. Пуще всего я боялась его философствований. Это был какой-то сумбур, полное отсутствие логики, некультурность, туман и больше ничего. В сущности, он был очень практичный, хитрый, себе на уме, простой русский мужичок. Я любила его за направление его сказочной фантазии и чудный колорит. Люблю и теперь за это и хочу помнить только хорошее.

В Талашкине против дома стоял старый несуразный флигель для гостей. Мы его превратили в театр. Под руководством Малютина покрыли его резьбой, расписали, наделали декораций, деревянных резных лавок для зрителей. В керамической мастерской обожгли приборы для стенных и стоячих ламп, отделанных кованым железом. Рисунки для ламп сделала я, а железные части выполнили наши кузнецы, и очень хорошо. Говорю так потому, что ведь это делали простые мужики, которые еще недавно и не слыхали ни о каком искусстве.

Малютин написал занавес и одну декорацию, для остальных выписали из Москвы, по совету Малютина, двух молодых художников, окончивших Строгановское училище, Зиновьева и Бекетова. Они были большими приятелями и работали очень дружно.

Наш старый флигель сделался неузнаваемым и ожил. Каждый день в нем происходили репетиции, спевки, а по вечерам зимой устраивался рисовальный класс под руководством Зиновьева для наших ребят, мастеровых и учеников...

Почему Малютин вдруг ушел — я до сих пор не понимаю. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Рассказать все это гораздо легче, чем переживалось. За три года каких только каприз, обид, историй, претензий, жалоб, придирок не пришлось мне разбирать и улаживать! Но я все это терпела и была снисходительна. Бог с ним. Много он мне крови испортил...

XXV

Война. Театр. Лазарет

Присутствие Погосской, ее постоянное перешептывание с учителями и всеми моими служащими, отозвалось и на Малютине. Она стала вести с ним какие-то длинные разговоры, которые всегда приводили его в какое-то беспокойство. Она чем-то его, по-видимому, пугала и, наконец, совершенно его терроризировала. Уход его сильно походил на бегство. Он уехал почти внезапно, не умея и сам объяснить, что такое случилось[1]. Он, видимо, жалел об этом сам, искал выхода, предлагал приезжать из Москвы раз в неделю, сговаривался со мной об условиях, но потом не выполнил ничего обещанного. По всему видно было, что он чем-то подавлен. Его мания преследования еще обострилась, и, уезжая, он жаловался на жену, подозревал ее в желании его отравить. Словом, он уезжал перепуганный и смущенный.

Я думала, что мне будет очень трудно без Малютина, но я быстро нашла ему заместителей. Мой магазин в Москве, завоевавший симпатии художественного мира, особенно молодежи, помог мне завязать сношения с молодыми художниками. Все Строгановское училище интересовалось «Родником», и мне оставалось только выбрать среди молодых художников кого-нибудь на место Малютина. Я пригласила А. П. Зиновьева, очень молодого и даровитого художника, который охотно откликнулся на мое предложение вступить в это дело.

Зиновьев, со своей богатой фантазией и прелестным колоритом, очень подходил к нашему направлению. Он внес приятную ноту разнообразия. Сначала он был робок, но потом развернулся и дал много интересного. По его рисункам было сделано много разной мебели, вышивок и глиняных вещей для «Родника». С его участием расписывалась и отделывалась «русская гостиная» в Талашкине. Некоторые из наиболее удавшихся вещей поступили в музей. Как человек Зиновьев был нелюдим, страшно молчалив, скрытен и не очень мягкого характера. Мы с ним больше помалкивали, и дело шло само собой, да и я уже была не та и не так близко принимала все. Ко мне можно было применить русскую пословицу: «Уходили Сивку крутые горки». Я уже не искала понять Зиновьева, ближе сойтись с ним, войти в его душу, разговориться и найти в нем сочувствие к моим стремлениям — я только требовала дела, всегда была доброжелательна и хорошо относилась к нему, но и только.

Товарищ Зиновьева, Бекетов, приглашенный для помощи в писании декораций, тоже вступил в число моих сотрудников и остался жить в Талашкине. Отношения между ними были презабавные. Зи-

---

[1] С. В. Малютин уехал из Талашкина в 1903 г.

новьев первенствовал во всем, Бекетов был его верным рабом. «Володька, подай... Володька, пойди...» — и «Володька» беспрекословно плясал под его дудку. Зиновьев, бывало, учил его уму-разуму: «Никогда не говори того, что думаешь...»

Совершенно случайно набежал и третий сотрудник, Стеллецкий. Приехал он посмотреть на Талашкино, погостить и остался целый год на хорошем жалованье. Уехал же он от нас с явно враждебными чувствами и ругал нас на всех перекрестках. За что?..

Задачей моей было, по возможности, дать больше образцов, забросать рынок новыми формами, влить свежую новую струю, и потому чем больше было у меня сотрудников и больше инициативы, оригинальности, тем лучше выходили результаты. Мне не хотелось подражать другим мастерским, хотя бы Абрамцевской, которые дадут какой-нибудь один мотив и тысячи раз на все лады повторяют его. Все эти ящички, кубики, полочки, виденные нами на всех выставках и в складе Московского земства, давно уже приелись своим однообразием и недостатком фантазии. Хорошо ли, худо ли я делала, но мне казалось, что надо сказать свое слово, дать что-то новое, и в простом, доступном для среднего кармана материале достигнуть изящества в выполнении, удобства для употребления и оригинальности, гармоничности по форме и замыслу, применяя с декоративной целью такие простые вещи, как холсты, вышивки, камни и металлы...

* * *

Нас постигло тяжелое народное испытание: вспыхнула война. Занимаясь искусством, я всегда была страшно далека от политики, но за эти годы газеты поглотили все наше внимание и сделались первенствующим интересом в нашем доме. Мы жили от почты и до почты. Все живущие в Талашкине до слепоты зачитывались ими, тяжело переживая все наши неудачи и потери. Особенно поразило нас известие о гибели Макарова. Мы просто отказывались верить этому ужасу и оплакивали каждого из наших героев как близкого человека. В день, когда я узнала о сдаче Порт-Артура[1], что бы я ни делала, что бы ни говорила, слезы невольно текли из глаз, ничто не могло меня развлечь, да впрочем, все окружающие были в том же настроении и мрачно смотрели вперед. Точно черная пелена затянула все кругом, и казалось, этому кошмару никогда не рассеяться.

Одно ужасное событие довершило эти тяжелые удары. Кроме многих моих знакомых, убитых на войне, я потеряла большого друга, Сергея Павловича Шеина, геройски погибшего в Цусимском бою. Когда мне принесли это известие, я уже до того была измучена душой, что в первую минуту не была способна воспринять весь ужас непоправимого несчастья... Только ночью, оставшись одна, я пережила боль этой незаменимой для меня потери...

* * *

---

[1] Порт-Артур был сдан врагу в декабре 1904 г.

Еще при жизни мужа, очень забавлявшегося нашими деревенскими представлениями, мы часто устраивали спектакли с участием учителей, учеников и некоторых моих домашних. Имея в своем распоряжении прекрасный балалаечный оркестр, мне захотелось попробовать поставить оперу-сказку, с пением, разговорами и танцами. Для этого я сама написала либретто из сказки Пушкина «Мертвая царевна и семь богатырей», а музыку к нему заказала Николаю Федоровичу Фомину на мотивы русских песен. Даже муж очень заинтересовался этой попыткой, но так как Фомин тянул этот заказ очень долго, почти три года, то музыка была доставлена мне уже по смерти мужа, и только когда прошел год траура, мы приступили к разучиванию оперы, писанию декораций, подготовке костюмов и т. д.

Это была не настоящая опера, а феерические сцены с пением, вроде известной «Аскольдовой могилы». Я ввела два хора и пляску, а чтобы усилить хор, присоединила к школьникам мастеров моих мастерских, несколько любителей и дворовых. Персонал вышел огромный — шестьдесят человек.

Репетиции наши были очень затруднены полевыми работами учеников, приходилось совмещать серьезное дело с удовольствием. На беду и я в это время продолжала еще страдать горлом. Болезнь эта продолжалась целый год и явилась следствием почти полуторагодового страшнейшего кашля, которым я начала страдать во время болезни мужа. В результате сделался полип на голосовых связках, сильно затруднявший мне разговор. Голос был хриплый, я говорила через силу, и режиссерство, которое всецело лежало на мне, очень утомляло меня. Приходилось по нескольку раз каждый день повторять те же указания, самой прочитывать роли, давать верную интонацию, прерывать репетицию, самой всходить на сцену и показывать каждую мелочь. Кроме всего этого, мне пришлось еще взять на себя одну из ролей (царицы), к счастью, очень короткую и без пения, так как никого у меня на эту роль не нашлось. Но как ни трудно было провести все эти репетиции, обучить всех детей, все организовать, я не падала духом. Я всегда была настойчива, и если забью что-нибудь в голову, то выполню непременно.

Репетировать с хором взялся любезный наш сосед, Николай Дмитриевич Бэр, главный хормейстер московской оперы. Репетиции шли отлично. Балалаечным оркестром руководил В. А. Лидин и обучил его превосходно. Он же занялся танцами и сам придумал различные «па» для наших доморощенных балерин.

Немалую задачу представляло найти семерых богатырей. Пришлось набирать отовсюду. Оказались подходящими несколько рослых учителей и учеников, но один нашелся поражающий своим ростом, три аршина без вершка, сын нашего смоленского дворника.

Сарафаны и кокошники были частью взяты из музея, остальные сделали и расписали дома. Мужские костюмы все до одного пришлось сделать самим. Какое оживление, какая спешка царили повсюду. Весь дом принимал участие, кто шил, кто расписывал, кто клеил.

Декорации к этой пьесе писали Зиновьев и Бекетов и сделали их чисто сказочными и по краскам, и по рисункам. Особенно удалась светлица богатырей во втором акте. На этом фоне маленькая

царевна (ее играла Е. В. Сосновская), в белом, вышитом золотом сарафане, в жемчужном кокошнике, и семь великанов в кольчугах и шлемах составили удивительную картину. Королевича Елисея исполнял учитель Дьяконов. Его небольшой тенорок хорошо звучал в главной арии: «Ах, истомился я».

Не обошлось, конечно, без курьезов. Чернавку играла Т. Захаревич, тупая провинциальная скороговорка с апломбом, жена полухудожника, мнящего себя «непонятым». Он был приставлен мной к красильне в помощь Барщевскому, в пьесе же играл царя. Все актеры, с которыми я потратила немало времени, все же более или менее поддавались моему влиянию, слушались моих указаний, всех можно было обработать, только с одной «Захаревной», как ее называли, я ничего не могла поделать. Она не играла, а как-то бросалась с растопыренными руками, точно кур загоняла, реплики подавала быстро, выпаливая их единым духом. Учила я ее плясать, учила, но чем дальше, тем хуже выходило. К счастью, ее роль была комической и ее врожденная несуразность прошла за что-то искусственное. В день спектакля она имела успех.

У нее была еще одна черта, она была страшно дерзкой и задирой (конечно, не со мной — меня она в плечико целовала) и постоянно ссорилась с другими, мне же приходилось разнимать. Во время наших репетиций, конечно, не обошлось без ссор и взаимных обид. Захаревич состояла в непримиримой вражде со Стеллецким. В одной пляске он должен был взять ее за подол сарафана и с ней кружиться, но это ему все как-то не удавалось, и на одной репетиции она, кажется, угостила его ногой... Стеллецкий играл безмолвного шута, сам выбрав эту роль...

На представление собралось много народу. Подкатывали помещичьи экипажи, иные с большим треском и грохотом. Говорят, было много соседей, но я ни с кем почти не знакома, это отнимает слишком много времени. Во время антрактов по саду разгуливали расфуфыренные дамы, увивались кавалеры, а перед началом каждого действия князь О., наш ближайший сосед, как в Петербурге, прислонясь спиной к рампе, с биноклем, важно обозревал публику. Вообще, все было как следует, билеты брались с бою, платились двойные цены, масса публики стояла в проходах, а в ложе сидел губернатор. Украли в суматохе чьи-то калоши, и это тоже как следует.

Представление сошло блистательно, оркестр играл превосходно, и я от души благодарила Лидина. Спектакль состоялся 6 августа 1904 года, т. е. в год войны, и потому я сделала его платным, а сбор поступил в пользу вдов и сирот воинов, погибших на войне.

Еще одна подробность. На представление явилась наша ручная галочка. Она привыкла прилетать во время репетиций и на этот раз влетела в окно, что очень позабавило публику. А в пьесе принимал участие Булька, он лаял в третьем акте за сценой в роли верного пса, и этот милый актер отлично исполнил свою роль. Булька, красивый черный маленький бульдог, с удивительно симпатичной тупой рожей, огромными толстыми свисшими губами, круглыми большими глазами, умный, преданный, но очень своеобразный пес. Вначале прозванный Коровиным Налимом, он потом был переименован в Бульку и отзывался на оба эти названия одинаково. Когда я в постели или больна, Булька недоволен и никогда не зайдет

в мою комнату, но когда я встаю и надеваю ботинки, за дверью слышится лай и Булька является. Его несоразмерно с туловищем огромная голова и различные выражения, которые он принимал, имели что-то человеческое. Его считали за нечто совсем особенное, а иные просто думали, что это оборотень и что в нем человеческая душа...

* * *

После ухода Малютина дом на шоссе сперва пустовал, а потом, во время войны, я устроила в нем лазарет на десять кроватей. Заведывала им Луиза Васильевна Лишке, одна наша старинная знакомая, помещица, человек добрейшей души, которая рада была потрудиться ради хорошего дела. Кроме того, была сестра милосердия и наезжал наш земский доктор. Солдаты попадались из разных губерний, были молдаване, куряне, туляки и наши смоленские, к которым из дальних уездов приходили жены и родственники на свидание, и встречи эти были трогательны. Раненые скоро поправлялись на хорошей пище, воздухе, при внимательном, сердечном уходе заведующей. Дом стоял окруженный зеленью, кругом были рощи, невдалеке протекала Сожь. Раненые удили рыбу, ходили за грибами, а по вечерам заводили граммофон. Я часто навещала их, играла с ними в дурачки, расспрашивала о войне, о семейных делах. Всем уходящим на родину княгиня* и я давали денежную помощь. Выписываясь, они, растроганные, благодарили и некоторое время писали нам с мест...

---

* *Кн. Е. К. Святополк-Четвертинская.*

XXVI

Моя горловая болезнь. Поездка по Северу. Операция

После спектакля кашель мой становился все хуже, хрипота усиливалась, голос был до того неприятен, что я просто стеснялась разговаривать с новыми людьми. Это начинало мне надоедать, а окружающих сильно беспокоить. На беду к нам заехал в Талашкино родственник покойной Ю. В. Якобсон, моей антикварши, с которой я много имела дела, когда собирала старину, известный петербургский горловой доктор Александр Васильевич Якобсон. Осмотрев мое горло и покачав головой, он ничего не сказал, но зато, когда он уехал, я стала замечать на всех столах медицинские книги с загнутой страницей, ясно говорившие мне, что в доме царит паника. Страницы, попавшие мне на глаза, трактовали о горловой чахотке. Киту была страшно расстроена и умоляла меня ехать на зиму в Аркашон. Уже завязалась переписка с какими-то господами, отдающими там виллы в сосновом лесу, и я почти сдавалась, видя нравственное угнетение окружающих, как вдруг мне пришла блестящая идея: не поддаваться страху и выслушать сперва мнение других авторитетов. Чтобы разубедить моих домашних, чтобы показать, что я лично нисколько не испугана, я задумала поездку в Кириллов-Белозерский.

Потащив за собой целую компанию, Лидина, Зиновьева, Барщевского и др., я поехала в Москву, а Киту должна была тоже приехать туда, чтобы уже вместе пуститься в дальнейший путь. Я отлично видела, что Киту сопровождает нас, только боясь за мое здоровье, и я очень была тронута ее самоотвержением, зная, что она предпочла бы не расставаться с Талашкиным, где в это время начиналась уборка полей.

По приезде в Москву я пригласила к себе на консультацию доктора Преображенского, который осмотрел мое горло и нашел у меня полип, сидящий глубоко внутри гортани на голосовых связках. Предписав мне покой, он сказал, что полип настолько созрел, что можно приступить к операции. Но я заявила ему, что мне сейчас подвергаться операции неудобно, так как я в Москве проездом и собираюсь в путешествие по Северу. В первую минуту он пришел в ужас, но потом успокоился и на прощание сказал: «Только не простужайтесь».

Как и в первую мою поездку, Ярославль и Ростов очаровали меня, а Кириллов-Белоозерский, куда мы 48 часов ехали по Шексне на скверном пароходике, поразил меня своим величественным монастырем. Это — каменная крепость, построенная нашими предками для обороны целого края, со стенами, по которым могли бы проехать три тройки в ряд. Но монастырь этот в настоящее время в упадке. Там царит тупой разжиревший настоятель, которому бы только есть да спать, и десяток монахов, видимо, сильно пьющих

и не имеющих в себе никакого смирения, я уже не говорю о святости. Один лишь иеромонах...* произвел на меня большое впечатление. Он выделяется среди них, как голубь между коршунами, и совсем не ко двору этой братии. Он мечтал преобразовать монастырь в монашескую трудовую общину, где все работают наравне, ведут хорошее хозяйство и служат примером для края. Кроме того, он был ярым, страстным коллекционером древностей, понимал старину, и в его келье, которую мы посетили, находился настоящий маленький музей. Но все эти поползновения на упорядочение строя монастырской жизни, понятное дело, были приняты его братией в высшей степени недоброжелательно, его и боялись, и ненавидели.

Из Кириллова на двух тройках, в каких-то допотопных тарантасах, набитых сеном вместо сиденья, в котором мы потонули, уткнув носы в колени, отправились мы за 18 верст в Ферапонтов монастырь. Лет сто тому назад этот монастырь был богат землями и угодьями, потом земли были отобраны, постройки пришли в ветхость и половина храма совершенно разрушилась. Уцелевшую половину превратили в приходскую церковь.

За год до нашего приезда эти развалины и храм были превращены в женский монастырь, и мы застали уже в нем целый муравейник: семью монашек, восстанавливающих древнее убежище, в котором патриарх Никон провел в ссылке последние годы своей жизни. Некоторые постройки дошли до такой ветхости, что в них опасно входить, а потому кельи выстроены новые, рубленые. К счастью, стенная живопись в храме была не тронута, и еще ни одна пошлая и неумелая рука реставратора не осквернила ее.

Нас приняли очень приветливо, угощали, все охотно показывали, и мы расстались с монашками друзьями под очень приятным впечатлением от монастыря.

От Кириллова до Ферапонтова монастыря мы встретили по крайней мере три громадных озера дивной красоты. Некогда весь этот край был покрыт густыми и непроходимыми вековыми лесами. В них, скрываясь от преследований, селились русские люди в потайных глухих углах, сообщаясь между собой заветными тропинками. Они сплачивались в братства, молились, выходили на бой со зверьми, ловили рыбу и жили как в очарованном царстве... Теперь же эти чащи вырублены, долины и холмы оголены. Огромные, бесконечные берега озер пустынны, земля заброшена, дикость и запустение везде...

В деревнях, которые встречались на нашем пути, высокие избы, большей частью двухэтажные, почерневшие и суровые, но в них чувствуется простор и царит чистота. Высокие, иногда покривившиеся крылечки с остатками резьбы говорят о прошлом благосостоянии. Все деревни тянутся в одну линию, и у крестьян нет, повидимому, потребности посадить деревцо возле дома, развести сады. Все эти черные дома вырезываются на сером фоне северного неба как какие-то угрюмые, строгие коренастые грибы. Так и кажется, что, сидя недалеко друг от друга, они думают о чем-то далеком, смотрят на что-то давно прошедшее, наверно, знают заговоры, былины и предания и тайны седой старины...

---

* *Пропуск в рукописи.*

Народ там очень приветливый, словоохотливый. Женщины все почти побывали в городах, мужское же население поголовно уходит на промыслы. По дороге мы останавливались в двух-трех деревнях, и мне удалось купить у некоторых старух полотенца со старинными узорами.

На обратном пути мы осмотрели город Череповец, так как пароход стоял два часа, да и город очень невелик, всего одна улица, зато на ней имеется музей. Хранитель его, какой-то заспанный, точно выцветший человечек, прибежал к нам впопыхах и стал нам все показывать. Среди нескольких интересных вещей мы узрели массу всякой дряни и хлама. Между прочим, свято, под стеклом, хранился окурок сигары Великого Князя Владимира Александровича, посетившего музей проездом. Хранитель жаловался нам на свою горькую долю. Он, оказывается, получал всего пятнадцать рублей в месяц и квартиру.

Вернувшись на пристань, мы застали удивительную сцену. Стеллецкий, стоя на берегу, зарисовывал в свой альбом мужика, въехавшего с бочкой в реку и, пока лошадь пила, наполнявшего бочку водой. Какой-то пьяный пристал к Стеллецкому и, собрав вокруг себя группу слушателей, стал их вооружать против него, крича и ругаясь, что это японец, приехавший снимать планы Череповца, предатель, шпион, что его надо бить. Настроение толпы делалось все угрюмее, и, пожалуй, скоро она не прочь была бы проявить свои враждебные чувства к «японцу», как явились мы со всей компанией. Стеллецкий, завидя нас, бросился к нам, ища защиты. Конечно, не будь нас, с ним могла бы произойти немалая неприятность, но, когда увидали, что он не один, толпа начала расходиться. Один только пьяный еще стоял на крутом берегу, кричал и ругался, показывая кулаки.

На обратном пути через Москву я снова видела Преображенского, который пришел в восторг от моего полипа, найдя его совершенно зрелым для операции. Мы условились, что он приедет ко мне в Смоленск для совершения этого неприятного дела. В половине ноября, в присутствии одного из наших смоленских врачей, он сделал мне операцию, и очень удачно. Целый месяц мне было приказано молчать, но, когда потом я снова заговорила, ко мне вернулся прежний голос, а спустя немного я стала петь по-прежнему и от болезни не осталось никаких следов.

XXVII

Кража в смоленском доме

Однажды поздно вечером в марте мы сидели, по обыкновению, в талашкинской зале и читали газеты, как вдруг послышался отчаянный трезвон в телефон. Мы невольно насторожились, точно ожидая какого-нибудь несчастья. Из города сообщили нам: в мою городскую квартиру забрались воры, всю перерыли, взломали все вещи, разбросали, а когда сторож Василий вошел в комнату, то они чуть-чуть его до смерти не убили. Одного удалось задержать, а двое убежали. Что украдено, с точностью сказать еще нельзя, потому что квартира в сильном беспорядке.

Это известие нас всех сильно всполошило, особенно меня, так как у меня там хранилось несколько очень ценных старинных и редких вещей, которые я как-то не успела еще сдать в музей. Я бросилась к телефону сама, еще раз расспросила обо всем, но там, очевидно, от испуга и волнения все потеряли голову, ничего толком нельзя было добиться. Я хотела было тотчас же ехать сама, но было уже поздно, на дворе стоял сильный мороз, все домашние воспротивились этому. Я велела все же немедленно запрячь сани и послала в город Лизу, которая одна знала, где хранятся мои самые ценные вещи, а также и те музейные редкости, за которые я так испугалась. Она быстро собралась и укутанная, как эскимос, покатила в город, а мы, конечно, и думать забыли о сне и решили не ложиться до ее возвращения. Телефон звонил ежеминутно, сообщали дополнительные сведения, волновались мы все ужасно.

Приехав в город, Лиза телефонировала нам и успокоила меня относительно одного только: мои музейные вещи были целы, воры до них не добрались. У меня немного отлегло на сердце. Наконец часа через три вернулась Лиза и уже все обстоятельно рассказала. Я по телефону приказала оставить квартиру в том виде, как ее покинули воры, чтобы самой видеть, как все было.

На другой день, рано утром, я отправилась в город. Действительно, картина была ужасная. Весь дом был перевернут вверх дном, и все вещи в таком беспорядке, как если бы встряхнули коробку с конфетами. Все было раскрыто, смято, опрокинуто, разбросано; шкафы, комоды, ящики были взломаны, даже постели были перерыты, матрасы перевернуты и подушки на полу. У меня была там красивая заграничная мебель с очень крепкими замками, которые ворам, очевидно, не удалось открыть, поэтому они повалили ее на пол и разломали заднюю или боковую стенку, но, конечно, ничего не нашли. Не было оставлено ни одной шкатулки, ни одного маленького стенного шкафика, все было раскрыто. На полу остались лежать узлы со столовым серебром и моими принадлежностями с туалета, которые воры не успели унести.

Квартира, занимаемая мною, была в нижнем этаже и соединялась с верхним, где жил Василий, внутреннею лестницей. Он имел обыкновение каждый вечер с фонарем в руках обходить весь дом и осматривать двери и окна. Сходя с лестницы в этот вечер, он вдруг увидел, что парадная дверь настежь, а в комнатах кто-то ходит. Поняв, что дело неладно, он крикнул: «Кто тут?» — и в ту же минуту был свален с ног какими-то людьми, бросившимися из комнат к выходу. Василий уцепился за одного и стал кричать, но тот с силой несколько раз ударил его по голове электрическим фонарем и вступил в борьбу с ним. На крики Василия сбежались люди, двух грабителей удалось задержать, а третий убежал.

Когда немного опомнились, бедного Василия повели в соседний с нами Красный Крест и сделали ему перевязку. Я увидала его с забинтованной головой, из-за перевязки виден был только один глаз, вид его был ужасный, и он был очень перепуган. Разговоров и толков было выше головы.

К счастью, рана Василия оказалась неопасной, он скоро поправился, а из вещей пропали только золотая табакерка с крупным жемчугом, пара серег, французские игральные карты, футляр которых ворам не понравился, он был оставлен открытым. Жаль мне было одного шкафа очень тонкой работы с красивой резьбой, который оказался сильно поврежденным, а резьба попорченной.

Но что смешно: воры, очевидно, остались очень слабого мнения обо мне, они не нашли ничего ценного, по их понятиям, и даже в самом заповедном, по их мнению, месте, как матрасы и подушки, не оказалось никаких зашитых драгоценностей. А между тем на окне стоял предмет, который один мог бы их долго кормить и поить — это был в натуральную величину серебряный топор с деревянной ручкой в красивом бархатном футляре, употреблявшийся при закладке русского павильона на парижской выставке 1900 года и поднесенный участниками выставки покойному мужу [1]. Футляр они открыли, а топор бросили на пол, вероятно, сочтя меня самодуркой, что держу такие простые вещи в бархатных футлярах.

Пострадала еще горничная Киту. У нее из комода вытащили тридцать рублей, которые она собиралась в следующий приезд в город положить на книжку.

Как и надо было ожидать, из полицейского управления один вор бежал, другой был поставлен на очную ставку с Василием. Василий тотчас же узнал его и говорит:

— Да, да, это тот самый, который бил меня по голове... Ведь вы меня чуть не убили... Я отец шести человек детей, разве это можно? У бедной девушки трудовые деньги украли...

— А вы мне пальто разорвали. Денег у меня нет, полиция отобрала.

Денег у него действительно не оказалось в кармане, зато, к счастью, нашли мою старинную табакерку с жемчугом и старинные же серьги.

---

[1] В настоящее время топор хранится в Смоленском государственном объединенном историческом и архитектурно-художественном музее-заповеднике.

Потом и последний вор убежал из участка. Вся эта шайка — смоленские обыватели, хорошо всем известные, особенно полиции, которая каждого из них в лицо знала. В день грабежа городовой, стоявший на посту недалеко от нас, видел этого благодетеля и говорил ему:

— Хлебников, что вы тут вертитесь, вам тут не место.

Конечно, у меня перебывало много полиции, допрашивали всю прислугу, много говорили, но так ничем и не кончилось. Эти мошенники отлично умеют ладить с полицией, так все благополучно и скрылись.

XXVIII

Первые беспорядки в школе

В школе появились очень странные симптомы недовольства среди учеников, началось какое-то брожение, которого я никак не могла себе объяснить. Многое от меня скрывали, но один факт за другим стал выплывать наружу, и первое, что я узнала, сильно меня встревожило. Мне пришли сказать, что учителю Дьяконову, чем-то не угодившему ученикам, во время всенощной был брошен в голову камень в то время, как он дирижировал хором. Сперва я не придала этой дурной шалости глубокого значения, хотя Дьяконов был страшно возмущен, но потом начался ряд других шалостей, о которых прежде не было слышно. Так, однажды мальчики забросили куда-то шубку ученицы Селиверстовой, долго ее не могли найти, но когда, наконец, она нашлась на шкафу, разорванная и в пыли, то виноватого не оказалось. Я начала присматриваться внимательнее к поведению учеников, хотя все еще всецело приписывала эту распущенность нерадивости и равнодушию заведующих и самих учителей.

Вызванного на войну ратником ополчения, хорошего и очень добросовестного преподавателя Щедринского заменил несимпатичный и совсем неподходящий Трубников, молодой человек с вызывающим и фатоватым видом, который с первых же шагов стал держать себя очень странно и каждый день часами пропадал по окрестностям, один, на велосипеде. Новый управляющий Абрютин, заместитель ушедшего также на войну Масленникова, был ленивый и апатичный человек. Бывало, когда бы ни приехать в школу, он всегда спал, и в одиннадцать утра, и в два дня, и в четыре — его никогда не было видно при деле.

Мне давно уже надоели все эти господа-агрономы с дипломами и аттестатами. На деле они оказывались невежественными до того, что некоторые, например, никогда не слыхали о божаевском четырехпольном севообороте, и мне с Киту приходилось просвещать их, а главное — все они совершенно не отвечали своему назначению и если интересовались чем-нибудь, то всего меньше своей специальностью, которую выбирали не по призванию, а совершенно случайно или же просто для того, чтобы избавиться от воинской повинности...

Вот я и выбрала управляющим Петра Петровича Затворницкого, честного труженика, обожающего сельское хозяйство и работающего над ним более тридцати лет. Он служил у нас когда-то в Хотылеве управляющим, потом был переведен в лесное имение мужа, а когда оно по завещанию мужа перешло к его сыну, я вызвала его в Талашкино и предложила быть управляющим школой.

Петр Петрович относился к школьному хозяйству как к своему собственному, и как человек, знающий цену времени и труда, того же требовал от учеников. Он работал весь день, вставал со светом, всегда был в поле на всех работах. Нашим учителям, порядочно избалованным, такое рвение сильно не нравилось. Мелкие души не могут ни сами честно относиться к делу, ни видеть такое отношение в других. Кроме того, замешалось ложное самолюбие. Некоторые учителя, получившие большее образование, чем Затворницкий, считали себя обиженными и ниже своего достоинства иметь над собой человека, не имеющего ни одного из их дипломов. Уже назначение его сильно их раздражило, и поэтому с первых же дней Затворницкий встретил во Флёнове дружное, сплоченное недоброжелательство и недовольство. Эти ничего не делающие люди не могли его оценить и явно враждебно относились к нему, что, конечно, замечалось и передавалось детям. Его указания, распоряжения, советы при детях критиковались, авторитет его всячески подрывался, но Затворницкий, не обращая внимания на это нерасположение к себе, боролся с ленью и нерадивостью, показывая всем пример усердной, любовной работы. К сожалению, умы моих школьников были заняты совсем другим. В школе давно велась пропаганда, раздавались прокламации, читалась нелегальная литература, нашлись лица, которые только этим и занимались. Однако открылось это гораздо позднее.

Неудачная война вызвала грозу над нашей страной. Принадлежа всецело искусству, никогда не занимаясь политикой, я всегда была далека от всех этих вопросов и не предвидела, что Россия вдруг очутилась на пороге крупных переворотов и страшной стихийной бури. Когда вспыхнула революция[1], я была застигнута врасплох и совершенно не подготовлена к этому тяжелому испытанию. Из окружающих меня одни были так же далеки от действительности, как и я, другие втайне, может быть, сочувствовали наступающим событиям и даже участвовали в революционном движении, а потому, конечно, не стали меня ни о чем предупреждать...

Однажды, когда я была в Смоленске, вся с головой поглощенная внутренней уборкой и устройством музея, мне доложили, что пять учеников желают меня видеть. Они объявили мне, что у них в школе забастовка из-за того, что Петр Петрович хочет исключить одного ученика, а они требуют возвращения своего товарища, иначе все уйдут из школы. К старшим примкнули малыши, и в школе царил полный разлад. Я, конечно, сказала, что без Затворницкого ничего решить не могу.

Приехал П. П. и объяснил в чем дело. Я работала с ним единодушно и, конечно, поддержала его. Мы с ним переговорили, и в тот же вечер он вернулся во Флёново, где, за исключением двух-трех учеников, никого уже не было.

Когда мальчики, побросав книги, вернулись к своим родителям, те, оказалось, очень дурно их приняли. Причина забастовки не встретила в среде родителей никакого сочувствия, детей даже выгнали вон, сказав, что не желают кормить их. В продолжение суток ребята ходили голодные, слонялись повсюду и наконец вернулись в школу с повинною.

---

[1] Революция 1905 г.

Мы решили строго отнестись к ним и обставили это как можно серьезнее. Вызвали родителей и детей одновременно с заведующим и учителями. Не желая говорить с ними ни в школе, ни у себя, я приказала всем собраться в конторе. Когда мы с Киту пришли к ним, то еще у ворот меня встретили родители на коленях, несмотря на то, что лежал мокрый талый снег — дело было в марте. Я строго велела им встать, говоря, что только перед иконой и можно становиться на колени, и мы все вошли в контору для переговоров. Я обратилась сперва к родителям и объяснила им непростительное поведение учеников, всю бессмыслицу забастовки, забастовки против чего же? — против куска хлеба, против знаний, которые им дает школа, против самих себя, потому что этим они только себе и своим родителям приносят вред, а никак не мне, так как у меня всегда желающих учиться будет много, и на место каждого из них уже теперь просится множество детей. Закончила, сказав им, что строго наказываю виновных и исключаю их из школы.

Родители и ученики слушали, по-видимому, с большим смущением, особенно были огорчены родители, они все уже хорошо понимали выгоды, какие школа дает их детям. Трубников же и некоторые другие учителя держали себя очень странно во время этого объяснения. Когда я, чтобы подействовать сильней на учеников, сказала, что если так будет продолжаться, я закрою школу, так как не вижу в ней никакой пользы, Трубников тут же при всех заметил мне, что я «не имею права этого делать». Он в присутствии детей старался умалить значение их поступка, извинял их, выставляя меня как какого-то безжалостного, бессердечного человека, несмотря на то, что я всегда была очень снисходительна к ученикам и относилась к ним как к родным. Со стороны учителей я не встретила ни малейшей поддержки, все они явно были на стороне учеников, и решение мое было принято ими с нескрываемым неодобрением. Один Петр Петрович и мои близкие понимали меня и видели, как трудно и тяжело мне было принять такие строгие меры. В Смоленске многие даже прямо советовали мне закрыть школу, но на это у меня не хватило духу. Я надеялась, что этот урок пойдет на пользу, и я не послушалась этих советов.

На душе у меня было очень нехорошо, жаль было мальчиков, хотя я старалась показать только строгость. Из тех, которые должны были быть исключены, я все-таки приняла обратно и простила некоторых, других же пришлось неумолимо удалить, так как присутствие их вредно отражалось на товарищах и они являлись настоящей заразой в школе.

Между мной и учениками чувствовалась натянутость. Они глядели волками, учителя избегали меня, каждое посещение школы производило на меня тяжелое впечатление. За занятия принялись снова, но без прежнего рвения, и часто бывало, что ребята не были готовы к звонку — вещь неслыханная в прежнее время. Учителя подавали пример, на дежурства не ходили, обработка полей шла плохо, кое-как, и стоило только Затворницкому отойти от работы, как ученики садились где-нибудь в стороне, валялись, болтались и окончательно отбились от рук.

Во время забастовки трое учеников старших классов оказались настолько скомпрометированными, что губернатор потребовал у ме-

ня их удаления. Каждый ученик, проживший у меня шесть-семь лет, был дорог мне, как родной. Я знала его способности, недостатки, семейные обстоятельства, привыкла к нему, интересовалась ходом его занятий, и потому предложение удалить юношу за два месяца до окончания им курса было для меня едва ли не более сильным ударом, чем для него. Несколько лет учения, трудов — все насмарку... Мне до того было жаль их, что, несмотря на их дурное поведение, на мое недовольство, я позвала их к себе, отчитала как следует и, взявши с них клятвенное обещание вести себя хорошо до окончания курса, поехала в Смоленск похлопотать за них. Я просила за них губернатора, объясняла, что это заблуждение, неопытность, что они не имели дурных намерений, что попались совсем нечаянно, благодаря несчастным обстоятельствам. Мне пришлось раза три съездить из-за этого в город, умолять губернатора простить их, беря всю ответственность на себя. Двух из них мне удалось отстоять, но своими хлопотами я навлекла на себя известную тень, точно я покрывала пропаганду в своей школе. Я не могла не чувствовать неловкости своего положения и видела, что на меня стали коситься и подозревать во мне прикосновенность к левым партиям.

Я лично признаю за каждым человеком право на известные убеждения, уважаю свободу личного мнения, но считаю преступным и недопустимым, чтобы учитель, перешагнув порог школы, занимался с учениками политикой, а не наукой. Я всегда говорила учителям, что в своей среде они могут читать и говорить что угодно, быть каких угодно взглядов, направлений и убеждений, так как взрослый человек сам знает, к чему ведут его поступки, какие последствия они могут иметь и какую ответственность он берет на себя, но трогать умы детей, в особенности крестьянских детей, едва вышедших из состояния дикаря, это преступление из преступлений: «Если кто соблазнит единого из малых сих...»

Со времени забастовки уже не было покоя со школой. Каждый день я узнавала что-нибудь неприятное. До меня стали доходить слухи, что уволенные ученики собираются по ночам в школе, влезают в окна общежития мальчиков и проводят ночи с ними в чтении и беседах. Меня это сильно встревожило. Так вот что было причиной поздних вставаний и вялой, неохотной работы! Но никакие меры, никакие уговоры не помогали, и все шло день ото дня хуже и хуже.

Вскоре стали появляться прокламации в огромном количестве. В партах, среди книг на столах, в шкафах, на полу, в саду, в телегах кто-то рассыпал их щедрой рукой. Конечно, от учеников их отбирали, уничтожали, приносили мне в Талашкино, но они продолжали сыпаться как из рога изобилия. Не раз в кармане учеников находили прокламации с непонятными для них словами. Увидев одну такую бумажку у одного мальчика, я спросила его, что такое «гильотина», «плутократия», на что он, потупившись, не мог ничего объяснить. В этих бумажках часто попадалось слово «социалист», которое было настолько непонятно им, что они, переписывая друг у друга прокламации, заменяли его словом «специалист», которое хорошо было им знакомо, ведь у нас старший класс назывался «специальным» и они знали, что готовятся быть специалистами по сельскому хозяйству... Хуже всего то, что некоторые малыши, тоже

переписывавшие, боясь, что товарищи зачитают драгоценный лист, подписывали на нем свое имя и фамилию, а потом, конечно, теряли и выдавали себя с головой, попадались сразу. Вот до чего все это было наивно, несознательно, ребячливо и глупо...

Среди листков попадались и стишки, оканчивающиеся словами:

— И на первой осине повесим
Дворян, попов и царя...

Была, конечно, и марсельеза на слова: «Вставай, поднимайся, рабочий народ», и много других — словом, весь обычный репертуар революционных прокламаций.

* * *

В конце мая, сидя за обедом, мы увидели в окно огромное зарево. Горела деревня Тычинино, в двух с половиной верстах от Талашкина. Эта злосчастная деревня горела уже много раз. В ней жили зажиточные мужики, хорошие, работящие хозяева, а рядом с ними было и несколько спившихся дворов, завидовавших им и состоявших в непримиримой вражде с ними. Каждый раз это был поджог.

Я немедленно распорядилась собрать наш пожарный обоз. Рабочие лошади были на полях, но их скоро отпрягли и через полчаса наш обоз уже двигался к Тычинину. Я с моими близкими тоже поехала на пожар. Там мы заметили каких-то странных типов, «интеллигентов», с суковатыми палками-дубинками в руках, разговаривавших о чем-то между собой. Там же находился и Трубников, приехавший на велосипеде. Последнее время он только и делал, что разъезжал на велосипеде по всей округе и часто пропадал из школы. Он как-то очень скоро исколесил все окрестности, со всеми перезнакомился, везде побывал.

Моя школа тоже была в сборе, и число помощников было таким образом увеличено на пятьдесят-шестьдесят человек. Машины были пущены в ход, и мы отстояли деревню. Кроме наших машин, было еще две: помещика Аматова и из села Уколова, откуда приехал священник. В легком подряснике, весь облитый водой, закоптелый, черный, он работал как пожарный, не щадя себя. Вообще съехалось много народу, и помощь была оказана существенная.

На другой день в нашей единственной газете «Смоленский вестник» появилась заметка о том, что в Смоленском уезде выгорела деревня Тычинино и что ни один из соседних крупных помещиков не выехал на помощь с пожарными машинами...

* * *

Учитель Трубников все более и более наводил на себя подозрения своим поведением, поддерживая полную распущенность и возбужденное настроение среди учеников. Все, что было предписано Петром Петровичем, он находил лишним, внушал постоянно, что они не для того учатся в школе, чтобы приводить в порядок школьный дровяник, школьный огород, убирать инструменты. Забыл он, вероятно, что хороший хозяин должен сам смотреть за всем и что

важно именно научить мальчиков бережно обращаться со своим имуществом.

Убедившись, наконец, в пагубном влиянии Трубникова на учеников, в том, что он безусловно вреден и для всей школьной семьи, я попросила его удалиться. На это он дерзко ответил, что не уедет. Подобное объяснение повторялось между нами раза три, и я не знала, как от него отделаться. Постоянно его видели шепчущимся с учениками по углам, постоянно какие-то секретные разговоры, и после этого они становились совершенно невыносимы.

Как-то летом мы поехали во Флёново посмотреть, как там будут бреднем ловить рыбу в озере. Довольно далеко от берега, почти на середине озера, стояла ученическая купальня, к которой с берега вели длинные мостки с перилами. Когда мы целой компанией подъехали к озеру посмотреть на результаты ловли, вдоль мостков стояли почти все ученики и, свесившись над перилами и грызя яблоки, наблюдали за ходом дела. При нашем приближении ни один из них не шевельнулся, чтобы снять шапку и поздороваться, как будто меня не было. Они угрюмо, исподлобья смотрели на меня, избегая встречаться глазами, о чем-то переговаривались между собой, но ни один не сказал мне «здравствуйте». Прежде, бывало, завидев издали наш экипаж, они сбегались гурьбой встречать меня, все приветливо смотрели, охотно останавливались поговорить, бойко отвечали на вопросы.

Невдалеке стоял Трубников и нагло смотрел на меня. Очевидно, эта сцена была подстроена им. Я была так потрясена этим приемом, что вся в пятнах скоро уехала домой. Мне невыразимо больно было видеть моих питомцев, мною созданных, к которым я всегда любовно относилась, почему-то так непонятно отвернувшихся от меня. Я была так наивна, что, даже когда слово «революция» было уже ходовым словом и приходили уже слухи о разных, происходящих то тут, то там народных возмущениях, погромах помещичьих усадеб, я еще не догадывалась, что у меня в школе тоже происходит «революция». Даже как-то раз в школе, в присутствии учителей, когда речь зашла о разных беспорядках, я сказала: «Что мне бояться революции? Если даже придут крестьяне с кольями, я пойду в школу, окружу себя моими ребятами и скажу: „Ну, берите нас безоружных“». Но эти слова никого не тронули, и в глазах их я подметила какое-то жестокое выражение. Все это было очень наивно с моей стороны, и как они, должно быть, смеялись надо мной, когда я ушла...

Не зная, как отделаться от Трубникова, я обратилась к полиции и попросила удалить его как вредное лицо, на что как попечительница имела полное право. Он и тут долго не соглашался, но пристав не отошел от него, пока не уложили на тележку все его вещи и не отвезли его на станцию. Впрочем, не ручаюсь, что он в тот же день уехал. Совпадение ли это или есть тут какая-нибудь связь, но на следующее утро у нас вспыхнул грандиозный пожар.

XXIX

Смутное время

Приехал к нам погостить Николай Константинович Рерих с женой[1], и я была им очень рада. Мы давно делали планы, как мы поедем на наши днепровские заливные луга, отстоящие всего верстах в десяти от Талашкина, куда мы всегда очень любили ездить пикником. Днепр в этом месте делает крутой поворот, образуя большую губу. С его высокого берега, частью покрытого старыми корявыми дубами, открываются здесь необозримые дали, необъятный простор. Воздух дивный, необыкновенной чистоты. Внизу чудное пространство зеленого ковра. Человеческого селения никогда не было на этих лугах. Часы, проведенные там, обыкновенно вливают в душу что-то примиряющее, здоровое и бодрящее.

Ранней весной мы ездим туда собирать крупные пахучие ландыши, растущие в изобилии лиловые ирисы и фиалки. Летом до косьбы пестреют всевозможные полевые цветы, и нередко любуемся мы на целые выводки аистов, плавно кружащихся в голубом небе или важно разгуливающих по лугам.

Во время сенокоса приходят толпы баб из соседней деревни Немыкари, в живописных ярких костюмах, увешанные богатыми монистами, крестами, бусами и кораллами. Заднепровские деревни дольше сохранили свой наряд, и мне удавалось иногда во время наших поездок покупать у них фартуки, рубашки, старинные шейные украшения, которые они тут же охотно снимали с себя.

Все мои домашние очень любили луга, и каждая поездка была истинным удовольствием для всех. Ехали мы обыкновенно всем домом, на трех экипажах, а на тележке посылались вперед люди с самоваром и чайными принадлежностями. Нагулявшись вдоволь, мы располагались на высоком мысу над рекой, под старым развесистым дубом, и пили чай на траве, что всегда казалось особенно вкусным. Возвращались только поздно к обеду, надышавшись и точно опьянев немного от дивного воздуха.

Мы давно говорили Рериху о днепровских лугах, и он был ими очень заинтересован, особенно как художник, одаренный тайными видениями, умеющий проникать духовным взглядом в далекую старину, редкий по богатству творческой фантазии. Ему эти луга, наверно, рассказали бы свою древнюю сказку, а он передал бы ее в каком-нибудь вдохновенном произведении с присущим ему талантом.

Я давно знала Рериха. У меня с Николаем Константиновичем установились более чем дружеские отношения. Из всех русских художников, которых я встречала в моей жизни, кроме Врубеля, это

---

[1] Рерих впервые посетил Талашкино в 1903 г.

единственный, с кем можно было говорить, понимая друг друга с полуслова, культурный, очень образованный, настоящий европеец, не узкий, не односторонний, благовоспитанный и приятный в обращении, незаменимый собеседник, широко понимающий искусство и глубоко им интересующийся. Наши отношения — это братство, сродство душ, которое я так ценю и в которое так верю. Если бы люди чаще подходили друг к другу так, как мы с ним, то много в жизни можно было бы сделать хорошего, прекрасного и честного...

Мне хотелось оказать Николаю Константиновичу такой прием в Талашкине, чтобы оно ему понравилось, чтобы он полюбил его, и тем привлечь его еще больше к нам. Из чувства эгоизма мне хотелось, чтобы ему тут было хорошо, и втайне я надеялась, что когда-нибудь он с семьей поселится по соседству. Мне всегда не хватало общения с человеком, живущим одними со мной художественными интересами. Кроме того, Николай Константинович страстный археолог, а я всю жизнь мечтала с кем-нибудь знающим покопаться в древних могильниках, открыть вместе страницу седого прошлого. Всякий раз, что я находила при раскопках какой-нибудь предмет, говорящий о жизни давно исчезнувших людей, неизъяснимое чувство охватывало меня. Воображение уносило меня туда, куда только один Николай Константинович умел смотреть и увлекать меня за собой, воплощая в форму и образы те давно прошедшие времена, о которых многие смутно подозревают, но не умеют передать во всей полноте. Я зову его Баяном, и это прозвище к нему подходит. Он один дает нам картины того, чего мы не можем восстановить в своем воображении...

В день приезда Елена Ивановна Рерих, утомленная дорогой, ушла к себе в десять часов, а мы с Николаем Константиновичем сидели на балконе, выходящем в сад, в дружеской беседе. Но мало-помалу разговор наш стал падать, мы сделались рассеянными, наблюдая за небом, которое вдруг, несмотря на поздний час, стало светлеть, становиться все алее и принимать красноватый оттенок. Я заметила, что освещение идет из-за дома, и, обеспокоенная, поднялась с кресла, говоря: «Не пожар ли это?» И как бы в ответ послышались крики: «Пожар», забили в набат все талашкинские колокола в разных местах, забили в гонг, которым нас обыкновенно сзывают к столу... Мы бросились в залу, которая выходила на другой балкон во двор, и в окна увидали все деревья и здания усадьбы резкими черными силуэтами на фоне огромного яркого зарева. Мы выскочили на улицу, весь дом поднялся в смятении, все бросились бежать, крича друг другу: «Где пожар? Что горит?»

Дом опустел в один миг, но я не потерялась. Переловив всех собак, заперла в своей комнате, чтобы их в суматохе не передавили, и потом побежала на пожар. В первую минуту я ужаснулась, горело в стороне конского завода. Мысль, что, может быть, уже горят наши бедные лошади, до того взволновала меня, что я в уме решила, хоть с опасностью для жизни, выносить жеребят. Пробегая мимо кучерской, я столкнулась с нашим кучером, англичанином Холлем, и мы продолжали идти рядом, ослепленные пламенем.

Холль — прекрасный слуга, исполняющий свои обязанности с редкой добросовестностью, преданный человек, страстно любящий лошадей. При мысли, что горит конский завод, он страшно испугался

и впопыхах надел лосины, в которых он едва двигался. Мы с полуслова поняли друг друга и, задыхаясь, бросились на зарево. Видя, что я шатаюсь и по близорукости спотыкаюсь о камни, он сперва поддержал меня слегка, но я ухватилась за его руку, и мы торжественно под руку прибыли на пожар, точно с прогулки мирная парочка, что потом нам показалось комичным. Так, даже в самые драматические моменты нередко проскальзывают смешные черточки.

Холль так разволновался и пришел в такой гнев, что на следующий день слег в постель, с ним чуть не сделался удар. К счастью, однако, горел не конский завод, а два близ него стоящих сенных сарая, накануне набитые свежим сеном. Чтобы у нас не было никакого сомнения в наличности злого умысла, подожгли оба сарая одновременно. Они отстояли довольно далеко один от другого и были разделены глубоким, заросшим травой рвом. Это был несомненный поджог. Тушить сено невозможно, и потому мы предоставили сараям догорать, и все свои силы направили только на охрану конского завода, самого близкого строения к огню.

Елене Ивановне так и не удалось хорошенько отдохнуть. Она еще не ложилась, как поднялся шум и суматоха, и она снова вышла к нам. Мы все были так взволнованны, что почти до рассвета не расходились. Досадно было, что день приезда моих друзей омрачился такой крупной неприятностью.

Странное совпадение. Пожар случился в день выселения Трубникова, заставившего меня своим вызывающим поведением и отказом уехать добровольно прибегнуть к помощи полиции. Все учителя были страшно возмущены способом его удаления, но я действовала по убеждению, зная, что это вредный человек. Настроение вообще у всех было дурное. Даже никто из крестьян не пришел на пожар, а те немногие, которые явились, больше из молодежи, стояли вокруг пожарища с замкнутыми, равнодушными лицами, тупо глядя на огонь, не принимая никакого участия и не помогая.

Конечно, явилась немедленно полиция производить дознание. Стали разыскивать поджигателей. Найдены были какие-то следы под мостом, лесничий в вечер пожара встретил каких-то двух людей, бросившихся от него со всех ног,— из этих мелких признаков надо было выделить какие-нибудь осязательные данные, чтобы раскрыть все. Но это было не так легко. Поджоги в то время случались чуть не ежедневно и во многих имениях по нескольку раз. Мы переживали страшное время. Каждый вечер, сидя на балконе, мы замечали зарево то с одной, то с другой стороны, то в двух местах сразу. У нашего ближайшего священника, отца Владимира Дьяконова, преподавателя флёновской школы, за одно лето было четыре пожара, один за другим. Его жгли систематически, настойчиво выживая из наших мест. Кому-то он очень мешал.

Отец Владимир был тип мягкого, скромного, тихого священника, глубоко верующего. Он говорил просто, но хорошо и имел на свою паству и школьных учеников прекрасное влияние. Вероятно, это влияние шло вразрез с тем настроением, которое искусственно прививалось во Флёнове, и отца Владимира нужно было во что бы то ни стало удалить. Его и стали жечь. Сперва глубокой ночью сгорел дом — отец Владимир переехал с семьей в ригу; но среди белого дня загорается рига — семья переезжает в баню; через несколько

дней ночью загорается баня, и они едва успевают выскочить сами и спасти детей. Когда же они переехали в сарай, то ночью вспыхнул и сарай, и таким образом они остались без крова, в одном платье. Матушка, перепуганная насмерть, бежала в Смоленск с детьми, заявив отцу Владимиру, что ни за что не вернется обратно. Ему пришлось ликвидировать все дела и просить о переводе, но так как он не мог уехать тотчас, то мы предложили ему приют во Флёнове. Он согласился на это со страхом, боясь навлечь на нас пожары. Все население флёновское бежало от него, как от чумы, и никто не хотел спать с ним под одной крышей. Но мы приняли его и всячески успокаивали его, обещая самый тщательный надзор за домом, где он жил. Когда он пришел к нам после четвертого пожара, на него было жалко смотреть. Он был нравственно убит, вид у него был ужасный, исхудалый, и руки нервно тряслись... Нелегко ему было пережить столько потрясений...

Потом ему дали место в тюремной церкви в Смоленске. Там он сумел себя очень хорошо поставить. Говорят, арестанты и даже самые опасные преступники подпускали его к себе, некоторые стали охотнее ходить в церковь и на исповедь. Я отношусь с величайшим уважением к нему и, насколько можно в наше время говорить о святости, применяю это слово к таким людям, как отец Владимир. Но таких священников очень мало. Я больше не встречала в деревне таких, а следовало бы, чтобы их было побольше. Может быть, многое в эти смутные годы повернулось бы иначе на Руси...

Дня за два до нашего пожара у нас появился странный тип. К нам приехал представиться известный в губернии сыщик Ц., разговорчивый, хитрый и очень бывалый человек. С первого же знакомства он очень нас развлек своими рассказами из своей богатой приключениями карьеры, о раскрытых им преступлениях, о разных бытовых сценках, виденных им по глухим деревням, о крестьянских обычаях и нравах. Уезжая, он забросил фразу, которая потом вспомнилась мне: «Пожалуйста, если я только понадоблюсь вам, я тут как тут». Вскоре произошел пожар, начались поиски поджигателей, но дело не подвигалось вперед. Подозрения падали на многих, но ничего определенного не было. Наш становой пристав принимал значительный вид, делал нам страшные глаза, говорил таинственным шепотом, но никаких результатов мы не видали, и дело, казалось, должно было уже заглохнуть за неимением прямых улик. Как вдруг в Талашкино, командированный губернатором, явился Ц., якобы для следствия по этому делу. Он поселился у нас и сделался нашим постоянным гостем. Он бродил по соседним деревням, куда-то исчезал, за кем-то следил, посещал ближайшие пивные и винные лавки, все уже и уже стягивая кольцо своих наблюдений, с приемами настоящего Шерлока Холмса. За это время жизнь в Талашкине приняла совсем необычный характер.

История с поджогом взволновала все умы и отняла у нас покой, а после того как я в саду подняла угрожающее письмо, настроение сделалось еще тяжелее. В письме было сказано: «Вас хотят убить за то, что добром, что делаете, мешаете смутчикам мужиков мутить». Написано было на обрывке бумаги грубым безграмотным почерком. Это письмо мы нашли утром около балкона, гуляя как-то с Л. Сосновской в саду. Оно было совсем мокрое от утренней росы

и уже наполовину стерто, так как было написано плохим карандашом на лоскутке скверной бумаги.

Я не бумажки испугалась, я верю, что мой час настанет, когда это будет указано свыше, но окружающих это сильно напугало, и с того дня жизнь моя приняла совершенно особый характер. Я перестала куда-либо ходить одна. В Смоленск стала ездить тоже в сопровождении кого-нибудь. В Талашкине завелись ружья, револьверы, вокруг дома поставили яркие спиртовые фонари, и в усадьбе стали ложиться не раньше четырех часов, когда уже рассветет и пробудится деловая жизнь в экономии.

Мысли и чувства мои были очень странные... Я чувствовала, что что-то уходит из рук, ускользает помимо моей воли, и мало-помалу вырывается из сердца самое дорогое, близкое. Отрава влилась в душу, голова была пуста...

Ц. между тем действовал, перенося свои подозрения с одного на другого, и наконец остановился на одном молодом человеке, И-ве, бывшем моем ученике, проживавшем хозяином у себя на земле. Он обратил на себя внимание тем, что водил постоянно компанию с разными подозрительными людьми, с которыми его часто видели вместе. Между этими последними были также прежние мои ученики, покинувшие школу и перешедшие в разные другие сельскохозяйственные училища, в том числе и наш маслодел Богданов, окончивший у меня и посланный мной для усовершенствования в Вологодскую молочную школу Буман, откуда он и поступил к нам на службу, да еще два-три конторщика, тоже из бывших моих учеников, и какой-то крестьянин соседней волости, известный своею смелостью и уже несколько раз посидевший в тюрьме за поджоги.

Не спросясь меня, Ц. арестовал подозреваемого им молодого человека и не нашел ничего лучшего, как посадить его под арест в нашем флигеле, рядом с занимаемой им комнатой вместе с урядником. И вот начались ежедневные допросы, подстерегания малейшего шага или слова этого человека, подлавливание его в разговорах. Действия окружавших его знакомых тоже не упускались из вида. Раз было замечено, что один из наших конторщиков, бывших его приятелей, подошел к окну флигеля и стал делать какие-то знаки. Стали следить и за этим конторщиком.

У нас у всех было такое состояние, как будто покойник в доме. Мне очень все это не нравилось, и я об этом говорила Ц., но он умолял не мешать ему, грозя мне опасными для меня последствиями и настаивая, что я рискую, может быть, жизнью, если не дам ему довести дело до конца.

На беду, в это время присутствовал наш постоянный пианист А. Д. Медем, человек, кажется, равнодушный к переживаниям и неудачам других. У него появился возмущенный вид, дававший понять, что это варварство и произвол — задерживают невинного человека, допрашивают, не имея на то никакого права, берут на себя какие-то полицейские обязанности, допуская держать арестованного человека во флигеле. О музыке, о прежних дружеских беседах и отношениях не было и помину...

Как и во время войны, вечера в зале были заняты чтением газет, наполненных теперь известиями о поджогах, грабежах, убийствах, разорении культурных гнезд и имений. Бессонные тревожные

ночи, поздние сидения, сон урывками, а днем постоянное сознание, что около вас живет человек, может быть, невинный, а может быть, и поджигатель,— все это страшно издергало мои нервы, измучило душу. Я исстрадалась, извелась до того, что мне хотелось, чтобы случилось что-нибудь ужасное, что покончило бы со всеми этими мучениями и развязало бы нам руки. Я говорила: «Мне до того душно, что я сама подожгу дом, чтобы все было сметено сразу»... Было непереносимо сидеть и ждать, что завтра, может быть, сожгут еще что-нибудь, и так без конца...

Раза два я входила к нашему узнику, надеясь, что он мне скажет правду. Я напоминала ему годы детства, наши хорошие отношения, мою к нему ласку и заботы, прося его сознаться и обещая выпустить его, лишь бы только не подозревать невинных. Но каждый раз он уверял меня, что он невинен, благодарил за принесенную пользу, и я уходила от него, ничего не добившись.

Неизвестность, напряженное настроение дома, замешанная прислуга — все это вместе до того измучило меня, что несколько дней спустя я потребовала от Ц., чтобы он или выпустил на свободу человека, или увез его в тюрьму, но дольше держать его у себя я не хотела. Все во мне было возмущено. Ц. очень на меня рассердился, сказав, что я препятствую не только успеху дела, но и становлюсь поперек его карьеры, так как ему всегда удавалось раскрывать такие запутанные дела, что он раз даже ухитрился раскрыть преступление, совершенное много лет назад, и привести подозреваемое лицо к полному сознанию. Но мне не было дела до его славы и репутации, я больше не могла выносить этого положения и, войдя в комнату к узнику, открыла дверь и сказала, что если у него и есть на совести что-нибудь, то пусть идет с миром домой. Перед уходом он написал мне письмо, в котором благодарил за доброе отношение к нему.

Ц., несмотря на эту неудачу, не угомонился и продолжал тайно расследовать это дело. По мере добываемых улик приходил ко мне с требованиями уволить то одного, то другого из служащих, которых набралось таким образом очень много. Он говорил мне, что они ненадежны, сильно замешаны в этом деле, не перестают сноситься с подозрительными людьми и что если я оставлю их, то он не ручается ни за что. Он открыл будто бы какие-то романтические отношения между нашей экономкой, некоторыми девушками и молодыми людьми из подозрительной компании и был очень настойчив.

Я была просто в отчаянии. У нас люди живут обыкновенно подолгу, были прослужившие по двадцать, тридцать лет, и отказать одному из таких старожилов из-за одного подозрения было несправедливо. Дело же было осенью, а к зиме всякий рабочий и служащий больше дорожит местом, старается удержаться или пристроиться получше, а тут вдруг без предупреждения человека увольняют — это было бы очень обидно. Некоторых служащих мы с Киту положительно отстаивали грудью, что страшно сердило Ц. Других же пришлось отослать, потому что Ц. категорически заявил, что он ни за что не отвечает, если они останутся в усадьбе, и что может произойти что-нибудь гораздо худшее. Так пришлось отослать сторожа, женатого на девушке, родившейся и выросшей в Талашкине, безропотной молодой женщине с кучей детей, часто терпев-

шей побои от мужа. Им я не дорожила, но Дуню нам было жаль. Уход каждого служащего мучил меня, точно совершенное преступление. Уволенных Ц. заменял своими. Казалось, как будто мы сами находимся под подозрением и наблюдением. День за днем отношения наши с Ц. обострялись, и, не скрывая уже, при многих служащих, вслух я говорила о своем душевном настроении...

Вдруг я получаю письмо от моего бывшего маслодела, уволенного по настоянию Ц., того самого, которого он подозревал в соучастии с арестованным. В этом письме было: «Ваше сиятельство. Мне неотложно нужно с вами переговорить. Я в настоящую минуту нахожусь в конторе. Прошу Вас, вызовите меня к себе для разговора сердитым голосом по телефону. Прошу Вас быть одной». Я недоумевала. В чем дело? Что за таинственность? Посоветовавшись с Киту и близкими, я решила принять маслодела и выслушать его. Все советовали не оставаться одной, и потому, когда его провели в мой кабинет, Л. Сосновская и Лидин поместились рядом, у двери в спальне, готовые ежеминутно войти ко мне, если бы этот человек обнаружил какой-нибудь злой умысел.

Наш маслодел был очень красивым молодым человеком, кровь с молоком, среднего роста, очень начитанный, способный юноша. Он вошел довольно смущенный, бережно закрыв дверь за собой. Оглядевшись кругом, не видя никого, кроме меня, он скоро оправился. Я спросила, что ему от меня нужно. Он сказал, что слышал, как меня мучит отсылка многих невинных людей из Талашкина, и, желая прекратить гонения, пришел спросить меня, что я сделаю тому человеку, который поджег. Я ответила:

— Даю вам слово, что я ничего ему не сделаю, пусть это останется на его совести... Вы знаете, что последнее время я жила, исключительно желая быть полезной моим окружающим. Если в деревне была нужда, если падала лошадь или корова у мужика, я сейчас шла навстречу, никогда не отказывая в помощи. Цель моей школы вы отлично знаете, вам знакомы отчеты школы, и вы не раз слыхали от меня, что в Талашкине все без исключения я по духовному завещанию оставляю в пользу флёновской школы. Для чего же был этот поджог? Запугать меня? — конечно, не разорить, потому что вы сами понимаете, что для человека состоятельного потеря двух сараев с сеном не есть разорение... Напугать? Оттолкнуть от дела, заставить бросить его?.. Несмотря на слова Трубникова, говорившего, что я «не имею права» закрыть школу, я в своем праве закрыть ее в каждый момент, потому что она содержится на мой счет, и условие с Министерством в силе только до тех пор, пока я вынимаю деньги из кармана. Чего же достигнут, если я закрою ее? Какую пользу принесет это окружающему населению? Я уеду за границу и буду жить там для себя, все же заработки, которые имеют окружающие крестьяне, прекратятся с моим отъездом...

— Да, ваше сиятельство, это верно и это очень жаль, что так случилось... Но вы должны дать мне слово, что тот человек, который сделал это, ничего от вас не потерпит...

— Я вам уже дала слово. Кто же он? И-в?

— Да...

— А вы его сообщник?

— Да...

— За что же? Зачем?

— Это было сделано «пренцэпэально».

— Мне очень больно слышать, что поджог у меня сделан рукой одного из моих учеников, одного из тех, о которых я заботилась и болела душой как о родных... Это рана, которая никогда не заживет... Я этого не заслужила... Но я вас благодарю, что вы сняли у меня камень с души и дали возможность прекратить преследование ни в чем не повинных людей, которое страшно тяготило меня. Теперь, по крайней мере, я избавлена от излишних подозрений... А вы подумайте, что вы сделали. Вы поступили дурно против меня, а больше всего против своих же братьев-крестьян. Подумайте хорошенько об этом, и вы со временем, может быть, пожалеете... Прощайте.

Когда Ц. узнал, что со мной говорил маслодел, он страшно заинтересовался и стал домогаться, чтобы я все ему рассказала, но я передала ему только часть разговора и не назвала имени поджигателя. Впрочем, даже если бы я и не дала слова, то все-таки не выдала бы его, потому что слишком сильно чувствовала нравственную связь с каждым из своих учеников и никогда бы не была в состоянии поднять руку на бывшего своего питомца. Пусть сама судьба вызовет его еще на какое-нибудь дурное дело и покарает, но я этой роли на себя не возьму...

Ц. уехал от нас весьма недовольный результатом дела. Немного погодя, когда я была в Смоленске по делам музея, ко мне пришел судебный следователь для допроса по поводу поджога. Это был молодой человек с сильным «либеральным» оттенком, который ловко меня допрашивал, стараясь в разговоре заставить меня проронить что-нибудь уличающее. В конце разговора я должна была подписать, что никого не подозреваю и назвать не могу. А в соседней комнате сидел Ц. и сильно волновался, ожидая, что я проговорюсь, может быть, этому господину, и он таким образом узнает правду. На этом дело о поджоге у нас и кончилось.

Настала глубокая осень, и в Талашкине все опустело, друзья и гости разъехались. Но мне надо было еще довести школьный сезон до конца, назначить акт, выдать аттестаты окончившим, а также и тем, кто оставался для прохождения специальных классов — это давало льготу по воинской повинности. Как ни трудно было вести школу в это время, но мне все-таки хотелось дать этим людям кусок хлеба, чтобы затраченные труды их и годы учения не пропали даром. Между тем работы исполнялись учениками хуже, чем возможно себе вообразить. Для уборки небольших флёновских полей пришлось в первый раз взять наемных рабочих и с ними закончить все то, с чем обыкновенно ученики очень легко справлялись.

На акт во Флёново я не поехала. Во-первых, я сердилась на всю школу, на преподавателей, а во-вторых, я так страдала, так близко принимала все, так была измучена, что, вероятно, нервы мои не выдержали бы, я расплакалась бы там при всех и тем была бы только смешна людям, у которых не было ни сострадания ко мне, ни сожаления о том дорогом деле, которому я себя посвятила и которое они губили.

И хорошо сделала, что не поехала. Предчувствие меня не обмануло, меня ожидала большая неприятность. На этом акте произошел

еще один случай, глубоко оскорбивший меня. Когда Затворницкий передал аттестат Кириллу Васильевичу, одному из тех учеников, которые были на плохом счету у губернатора и полиции и за которых я несколько раз ездила в город хлопотать и отстаивать, просить, чтобы не губили юношей и дали бы им возможность только окончить школу,— он, вместо благодарности за эту последнюю попытку дать им выход, открыть перед ними дорогу, в присутствии всех схватил аттестат, разорвал его на куски, бросил на пол и сказал: «Вот вам аттестат...»

Этот удар был последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. После акта я закрыла школу. Подождала, чтобы законопатили церковь и закрыли ее на зиму, отпустила всех мастеров и столяров, закрыла мастерские и стала готовиться к отъезду. Я чувствовала, что в Талашкине мне делать больше нечего, и каждый день, проведенный в этом запустении, в этом вдруг замолкшем улье, который иначе и представить себе нельзя было, как кипящим жизнью и деятельностью, только еще больше растравлял меня... С тех пор Талашкино мне постыло, сердце оторвалось от него.

За последнее время в моих мастерских царил разлад. Из-за малейшего пустяка рабочие возмущались, выражали недовольство, происходили какие-то объяснения, целой гурьбой уходили, чтобы отстоять одного, снова возвращались, но становились на работу неохотно. Работа не клеилась, стоило только отвернуться, как все бросают работу, о чем-то кучкой разговаривают. Я видела — дело валилось из рук.

В рукодельной обстояло не лучше. Крестьянки перестали приходить за работой, с трудом сдавали старую, вышивали неряшливо. Иные приходили точно тайком, какие-то запуганные, ничего от них добиться нельзя было. Но стороной мы слыхали, что в некоторых деревнях, как, например, в Гевине, творится неладное. Не только мужики, бабы, но и малые ребята ходят с красными флагами, повыбрасывали вон из избы иконы, орут какие-то песни, а тех, кто не подражает этому, всячески терроризируют. Пришлось прекратить работу и здесь. Привели все в порядок, уложили в ящики оконченные работы и закрыли мастерскую совсем. Было не до работ...

Нет сомнения, что это была стихийная буря, пролетевшая над Россией, что многое свершилось под ее влиянием, что много людей было захвачено ею даже против воли, но все же я скажу, что моя школа разрушилась от преступного и безнравственного отношения учителей... Потом стало известно, что они всей душой были в движении,— у нас выписывались огромные тюки прокламаций и раздавались ученикам...

Преступники, преступники... Слепые, бессовестные люди... Это те, которые ратуют за народ, кричат о благе народа — и разрушают с легким сердцем то немногое, те редкие очаги культуры, которые создаются единичными тяжелыми усилиями отдельных лиц. Разрушают то, что было сделано для этого народа с любовью, инициативой и большими денежными затратами. Сами-то они что могут дать народу? Да и любят ли они его действительно? Не есть ли это просто желание показать себя, играть какую-то роль? И вот берутся учить тому, чего они сами еще хорошо не понимают, до чего сами еще не доразвились. Завтра человек захочет стать химиком — он им

не будет, не будет он им и через месяц, год, два, нужно работать много лет. Политика — та же наука. Она требует зрелого, развитого и подготовленного ума, огромной начитанности, разностороннего образования. У нас же в России почему-то думают, что политикой могут заниматься поголовно все, начиная с гимназистов, школьных учителей и учеников сельскохозяйственных школ, головы которых забиты брошюрами и политическими программами... Разрушить легче, чем создать, а потому отношение учителей к созданному культурному очагу было преступно. Они навеки будут проклинаемы мной...

Я поняла, что у нас преподавателями в большинстве делаются люди не потому, что это их призвание, что это дело им нравится, манит эта деятельность, а просто потому, что они неудачники. Они пробуют силы то на одном, то на другом и, когда ничто не удается, с горя идут в учителя, тем более что это дает льготу по отбыванию военной службы,— надо же как-нибудь пристроиться, но не для того, чтобы своим трудом внести немного света в жизнь народа.

Перед закрытием школы я как-то указала им, что учительская библиотека завалена журналами по всем отраслям педагогики, сельского хозяйства, литературы и наук, но ни один из них даже не разрезан... Языком, видно, болтать гораздо легче, чем делать ежедневно серьезное дело. Они даже ничего не читали, не следили за успехами своего дела, не старались образовываться. И эта кучка невежественных и бессовестных людей разрушила гнездо, где из народа, за который они будто бы так ратовали, создавались люди.

Нет, пока не будет в России учителей по призванию, до тех пор в России школы не будет. Двум богам служить нельзя, и напрасно эти господа, не видящие дальше своего носа, думают, что, действуя против существующего порядка, они этим что-нибудь создадут. Никогда... Создали бы, может быть, но только тогда, когда бы сами сделались настоящими людьми с вкоренившимся чувством долга, с честным отношением к делу, с честными намерениями. Но, к сожалению, честь — понятие, недоступное для многих, и не приобретается ни в какой школе...

* * *

В Талашкине мне больше нечего делать. Мы переехали в Смоленск и собираемся отправиться за границу. По вечерам — газеты, газеты, газеты... Мы просто слепли от них.

Началась железнодорожная забастовка. Долго не было ни почты, ни телеграмм. Мы чувствовали себя оторванными от всего мира, одинокими, заброшенными, а со всех сторон приходили вести одна хуже другой. Люди на полдороге останавливались, задерживались на станциях, в незнакомых городах, где застала их забастовка, и никто не мог сказать, долго ли им придется так просидеть. Станции были переполнены пассажирами, и положение людей, ехавших налегке, было поистине ужасным: без денег, без провизии. Некоторые наши знакомые, соседи из ближайших станций, доехавши до Смоленска, должны были на несколько дней застрять здесь. Князь В. Н. Оболенский, приехавший с соседней станции, передавал нам разговор с одним железнодорожным служащим. На вопрос его:

«Почему дальше не едем?» — получил ответ: «Начальство приказало остановиться, телеграмма есть». Он не поверил и попросил показать телеграмму. Из нее нельзя было понять, откуда идет это распоряжение.

Состояние духа у всех было пришибленное, тяжелое недоумение мучило всех. Что же дальше будет? В Смоленске полная растерянность. Никто ничего не знал. Говорили, что в случае возникновения каких-нибудь беспорядков нет достаточно войска, чтобы, если понадобится, силой поддержать порядок, потому что два полка вызваны в Москву, остальные части охраняют правительственные места и казенные учреждения, продовольственные склады и арсенал. Говорили, что запасы провизии в военных складах на исходе, а по случаю забастовки нельзя ничего подвезти, грозит недостаток провианта для солдат. По городу разъезжали патрули. На Блоне[1] и в других местах собирались сходки, преимущественно молодежи, говорились какие-то речи, шумели, потом расходились толпами. Появились какие-то типы в черных рубашках, с дубинками, с длинными волосами, которые разгуливали с дерзким, вызывающим видом. Банды в несколько таких человек, среди которых преобладала еврейская молодежь обоего пола, врывались в магазины, в присутственные места и делали попытки срывать занятия и торговлю. Кое-где их слушались, во многих же других местах, как, например, в казенной палате, в жирардовском магазине и других, они получили такой энергичный отпор, что пришлось кубарем катиться с лестницы и спасаться бегством. Наш самый крупный магазин колониальных товаров Ланина демонстративно закрылся на несколько дней, что не помешало ему, однако, сперва распродать двойной запас товаров с большой прибылью, так как во всех домах торопливо делались запасы, ведь грозили, что закроют все магазины, электричество, воду. Мы тоже накупили свечей, провизии, налили воды в ванны и во все резервуары. В прокламациях, которые распространялись повсюду, нам грозили еще худшим. Из Петербурга не было никаких вестей, приходили только стороной зловещие слухи о том, что делается там. Эти несколько дней, что не было никаких известий ниоткуда, показались нам бесконечными. Мы не спали спокойно ни одной ночи. Из деревни приезжали и рассказывали о пожарах и грабежах. Мы дрожали и за Талашкино, и за музей, который я только что кончила устраивать. Уже были развешены все предметы, расставлены в витринах, музей наконец принимал свой настоящий вид. В это время по городу распространился слух, что на Ярцевской бумагопрядильной фабрике Хлудова взбунтовались рабочие и идут всей толпой, в шесть тысяч человек, на Смоленск грабить и бесчинствовать, разбивать казенные лавки. Тут же был пущен другой слух, что из тюрьмы бежали арестанты, чтобы присоединиться к рабочим. Все это оказалось потом сплошным вымыслом, но очевидно, в программу революционеров входило производить панику. Нам в то время все это показалось весьма правдоподобным, так как беспорядки происходили тогда повсюду, погромы и грабежи были обычным явлением. В Ярцеве громить было нечего, это крошечное местечко, слишком тесное для русского разгула, но

[1] Блон — название сквера в центре Смоленска.

после того как была бы опустошена винная лавка, пройти в таком возбуждении шестьдесят — семьдесят верст рабочим было бы не трудно, имея такую приманку, как смоленские магазины и винные склады. К счастью, это был только слух, но в ту минуту он поразил нас всех как громом. Я в отчаянии бросилась к столу и написала нашему губернатору, прося его дать охрану для музея.

Я столько сил, труда положила на этот музей, перенесла ради него столько борьбы, принесла ему столько жертв! Это действительно было всецело создание моих рук, и я любила это дело тем больше, чем с большим трудом удалось осуществить эту мою мечту... В музее я знала каждую вещь, и каждая имела свою историю, ведь большинство из этих вещей лишь после долгих поисков, трудов и усилий перешло в мои руки. Я не могла нарадоваться, налюбоваться моим музеем теперь, в готовом и устроенном виде. Все эти вещи много лет лежали у меня по кладовым, сараям, темным шкафам и чуланам, и вот наконец они увидели свет, собрались все вместе в специально для них созданном помещении. Мы с Барщевским работали не покладая рук, с раннего утра до темноты. Все витрины наполнены, все предметы поставлены так, чтобы каждый из них был в подходящей для него обстановке...

Меня брал ужас при мысли, что толпа хулиганов набросится на музей, в окна полетят камни, витрины и хрупкие вещи разлетятся в куски, толпа ворвется внутрь и начнет ломать, рубить иконы, уничтожать все то, что я годами с такой любовью собирала... Войска из Смоленска были отозваны в Москву, а единственный городовой, стоявший около Молоховских ворот, после убийства городового на Козловской горе, был переведен в тот участок. Случись что-нибудь около нас, мы были бы беззащитны, место было глухое и пустынное. Я с волнением ждала какого-нибудь ободряющего слова от губернатора, но вместо этого получила удивительный ответ: «Многоуважаемая княгиня, я ни за что не ручаюсь, и все может случиться». У меня так и опустились руки...

Я отлично понимаю, что если бы пришла шеститысячная толпа громить город, то губернатор один, почти без войска, ничего не мог сделать. Но одно его успокоительное, обнадеживающее слово в такой тревожный момент было его обязанностью, его долгом. Это придало бы всем нам бодрости, и мы с большей твердостью пережили бы эти тяжелые дни. Его ответ дал простор самым ужасным тревогам. Мы после этого положительно потеряли голову. Чего же еще было ждать? Чтобы пришли и перебили всех нас? Ждать, чтобы на глазах разгромили все? Если губернатор ни за что не ручается и ничего не знает, то на что же надеяться? Откуда ждать помощи? Я стала думать о том, как бы увезти куда-нибудь музей в безопасное место. Мы начали строить всевозможные планы, предположения, но именно в это время разразилась железнодорожная забастовка и движение остановилось. Последняя надежда рухнула.

Потянулись дни, казавшиеся годами. Наконец, когда, переволновавшись и измучившись, мы уже стали терять надежду на то, что когда-нибудь кончится это положение, мы получили из Петербурга телеграмму, что есть надежда на скорый отход поезда за границу и что наш поверенный, заручившись для нас билетами, едет к нам в Смоленск с тем, чтобы проводить нас до границы.

Собравшись налегке, не уверенные в том, доедем ли мы до границы, мы двинулись в путь: я, Киту, ее мать кн. Е. И. Суворова, Лидин, две горничные, Булька, все с крошечным багажом. Заперпись в купе, я горько плакала, прощаясь с Россией, не зная, увижу ли я ее снова... Позади осталось все, что я любила, вся моя работа, все, чем жила и с чем думала дожить до последнего часа своей жизни, чему хотела послужить до конца... Позади одни сожаления, разбитые надежды, страх и чувство горькой обиды... Впереди — туман, неизвестность... Точно жизнь кончилась, и не за что было уцепиться самой маленькой надежде...

В каждом вагоне было по два солдата. Из вагонов третьего класса неслись песни и крики. На каждой станции были слышны споры, брань, истерики. Публика, заждавшаяся на станциях, почти с бою брала вагоны. Поезд тянулся медленно, уже не по расписанию, а как Бог даст. Да и не могло быть уверенности в исправности пути. Приехав в Двинск, мы пересели в норд-экспресс. Нас уверяли, что он дойдет только до Вильны (в сущности, никто ничего не знал), и мы уже стали строить планы, как в Вильне найдем лошадей и поедем до границы. Однако в Вильне мы узнали, что поезд проследует дальше. Наконец, переваливши границу, мы вздохнули свободно, почувствовав себя в тихой и благоустроенной стране и обретя твердую почву под ногами...

XXX

Париж 1905—1908

Во все время путешествия мы были так подавлены, в голове такой сумбур, в душе такая пустота, что, подъезжая к Парижу, мы ни о чем не думали, ни о чем не позаботились и, когда поезд остановился, не знали, где мы будем жить. Мне было все безразлично. Только вопросы носильщиков, куда везти вещи, точно разбудили меня. Я приказала везти нас в первую попавшуюся гостиницу. В отель Риц я не хотела ехать, мне он напоминал слишком много тяжелых моментов, болезнь и смерть князя. Нас привезли в отель Бедфорд, недалеко от Мадлен. Был шестой час вечера, и, когда мы, всей нашей компанией, ввалились туда, оказалась всего только одна свободная комната, в которую нас и посадили, обещая, что к вечеру освободится, может быть, помещение. Усталая, разбитая, без воли, без желаний, не думая ни о чем, я так и села в кресло в шляпе, как на станции железной дороги, точно ожидая поезда.

Было уже двенадцать часов вечера, когда нам пришли сказать, что нашлись еще комнаты, где мы могли пока переночевать. Все мы были настолько измучены, что эта необычайная неприветливая обстановка, приезд без всяких удобств, отсутствие заранее приготовленного для нас помещения — ничего нас не удивляло. Мы точно превратились в автоматов и делали, что нам говорят, не попробовав даже поискать другой гостиницы, мы точно плыли по течению, не зная, куда идем.

Спустя несколько дней мы прочли в газетах, что в Строгановском музее в Москве брошена была бомба, принесшая большой вред. Это было для нас последним ударом, этого мы не предвидели. Я стала опасаться того же для своего музея. Раз что не могли охранить казенный музей в Москве, то чего же было ожидать в Смоленске после того, что сам губернатор не ручался ни за что. Раз что в Москве казенное учреждение не могло быть ограждено от такого безобразия, то чего же ожидать в маленьком провинциальном городе без охраны и войска? Я немедленно написала Барщевскому письмо, чтобы он тотчас же уложил все самое ценное в ящики и послал в Париж ко мне, в музее оставил бы только грубые деревянные доски, сани, экипажи, грубую утварь — все, что не составило бы интереса для громил. С подобными указаниями я послала в Смоленск и Лидина, прося его помочь Барщевскому. Не могу сказать, что я пережила за это время, каждую минуту ожидая из Смоленска каких-нибудь дурных известий. Когда, наконец, вещи приехали в Париж благополучно, нервы не выдержали, вся надсада, в какой я провела последние два месяца, выразилась в сильнейшей нервной болезни, заглушившей все душевные страдания

и продержавшей меня между жизнью и смертью в постели два месяца, в полном нравственном отупении.

Когда я стала немного поправляться, доктора потребовали, чтобы я поехала в теплый климат. Ехать далеко мне не хотелось, и мы выбрали Сан-Ремо. Поселившись на берегу Средиземного моря, в тихом спокойном месте, где проживают большей частью семейные люди, где нет ни игорного дома, ни модных гуляний, где одна только природа привлекает людей, я стала быстро оправляться под лучами живительного мартовского солнца, набираться сил и возвращаться к жизни...

Мы все время были в переписке с нашими друзьями и знали все, что делается в России. Несмотря на чудный климат и природу, мы болели за родину, с нетерпением ожидая известий, и с волнением распечатывали письма из Талашкина и Смоленска. Ничто не могло отвлечь нас от всего того, что переживала теперь Россия.

Между тем с новыми силами стала возрождаться и энергия, стали оживать заветные мечты — заняться эмалью и снова погрузиться в искусство, оставив свою общественную деятельность, которая дала мне столько разочарований и огорчений...

Я твердо решила по возвращении в Париж заняться эмалевым делом. Но для этого необходимо было иметь хорошую удобную мастерскую и вообще устроиться не в гостинице. Нам удалось по возвращении из Сан-Ремо приобрести за довольно сходную цену дом у одной американки, покинувшей Париж. Надо было жить экономно, так как грозила неизвестность — переворот мог принести большие сюрпризы. Бумаги наши страшно падали, и во Франции паника была ужасная, ведь все самые маленькие рантье держали ценности в русских бумагах. К нам не раз обращались с вопросом, что мы думаем о положении дел в России. А что мы могли думать, когда мы сами потеряли огромные деньги, продавая бумаги?

Когда по возвращении в Париж нам удалось купить дом и устроиться по-настоящему, то я совсем приободрилась, почувствовав себя снова «дома», и с новой энергией принялась за работу. Мне не хватало дня, я проводила за работой по восемь—десять часов, не сходя с места, увлекаясь делом и не чувствуя утомления. Все меня радовало, все доставляло удовольствие — и моя мастерская, и уютная домашняя обстановка. И только где-то глубоко в душе какая-то тупая боль напоминала о далекой родине, переживающей тяжелую болезнь. Издалека, страдающая, она была мне еще дороже. Днем кипучие занятия, напряженный труд отвлекали меня от тяжелых дум, но зато поздно вечером, в бессонные ночи мысли снова возвращались на родину, вспоминались любимые места; уголки родного Талашкина, старый дом; весь оживленный, многолюдный мирок Флёнова, оставленные старые люди; любимые животные — и сердце ныло по старому, тревога закрадывалась в сердце: устоит ли все это? Придется ли снова увидеть? Или не сегодня-завтра придет известие, что старый дом сожгли, старое гнездо разорено, конский завод разграблен, лошади искалечены... Ведь все, что мы читали в газетах, было далеко не утешительно, иногда ужасно. Мы читали о погромах, поджогах, все культурное исчезало с лица земли родной, разрушались создания человеческого духа... Все это отзывалось у нас в душе страшной болью, мы постоянно жили под гнетущим

ожиданием получить известие из Талашкина, что и оно сметено... Дрожа за участь всего живого, за несчастных животных, которых мы воспитывали, мы приказали нашему кучеру перевезти в Германию партию молодых лошадей из конского завода и там распродать. Моих же самых любимых трех лошадей я велела привезти в Париж, не желая вдруг узнать, что они искалечены, что вырваны у них языки, как это случилось в некоторых имениях.

Итак, понемногу и любимые собаки, и заветные вещицы, памятные предметы, портреты — все это перекочевало в Париж. Мой дом на улице Октав Фелье сразу наполнился предметами, напоминающими Россию, создалась домашняя обстановка, точно мы уже давно жили там, а сложившаяся жизнь дала полную иллюзию, как будто мы живем у себя в деревне. К тому же дом наш был построен на совершенно новом, почти пустынном участке, отстоявшем в десяти минутах ходьбы от Булонского леса. Кругом еще не было домов, со всех сторон видна была зелень. Земля эта принадлежала графу Франквиллю, ярому клерикалу, принимавшему у себя священников, идя вразрез с политикой правительства. Чтобы обессилить его как-нибудь, так как граф Франквилль представлял крупного владельца, ему на эту землю были наложены такие огромные налоги, которые его совершенно разорили. Он решил в конце концов разбить ее на участки, провести улицы и распродать для постройки. Когда я поселилась рядом, еще не было ни одной постройки и против наших окон тянулись пустынные улицы, заборы, среди них виднелись остатки парка, с одной стороны липовые аллеи, с другой — здания оранжерей и масса фруктовых деревьев. Через несколько лет все это исчезло, но тогда картина была прелестная, это была настоящая деревня. Весной благоухала сирень, и даже пели соловьи...

* * *

Заехавши однажды к Лалику, моему старинному знакомому, известному ювелиру, я сказала ему, что работаю над эмалью, просила его взять меня к себе в учение, забыть, что я его постоянная покупательница, светская женщина, и верить, что я готова как мастеровой исполнять все, что он скажет. Он сперва стал отказываться, но потом пожелал видеть образцы моей работы. Со мной был Лидин, и я поручила ему съездить домой и привезти две-три вещицы, сделанные еще в России. Увидавши мои опыты, Лалик долго молча осматривал каждую вещь и наконец сказал, что мне учиться решительно нечему и если бы я стала учиться у него, то только потеряла бы свою индивидуальность — самое дорогое для художника. Потом посоветовал продолжать хорошенько работать в моей мастерской, а затем выставить всю мою работу на одной из предстоящих выставок. Его неожиданная похвала очень меня ободрила. Я никак не думала, что уже достигла чего-нибудь. До сих пор я не доверяла себе. Его слова открыли мне глаза.

Прежде чем начать работать, я объехала все те места, где можно что-нибудь найти в продаже, но оказалось, что таких мест очень мало. Эмалевое дело во Франции совершенно упало. Эмаль еще применяют ювелиры, но в небольшом количестве, и притом они употребляют прозрачную эмаль двух-трех условных цветов, опаковой же (непрозрачной) эмали положительно нигде нет. Производят

эмаль те же фабриканты, которые делают хрусталь и стекло, большей частью трех-четырех цветов неодинаковой плавкости, и притом самых пошлых несуразных тонов. Изредка, чтобы угодить покупателям, составляют какой-нибудь новый тон и продают его в крошечных долях в течение целых годов. При таком положении дела мне стало совершенно ясно, что ничего нового создать нельзя, не увеличив запаса и качества красок.

Был у меня старый давнишний знакомый, художник Жакен*, известный, впрочем, не столь как художник, но как неустанный искатель, с тревожным умом, который всегда производил какие-то опыты, исследования. Чего-чего только он в своей жизни не переделал... Когда он занимался живописью, то, несмотря на достигнутые результаты, не мог удовлетвориться масляными красками и добивался старинного писания воском, искал особых матовых красок, потом занимался гравюрой, тоже стараясь восстановить старинный способ гравировки по дереву в красках, потом долго увлекался керамикой, добиваясь способа делать по самым огнеупорным глинам цветную поливу, что обыкновенно очень трудно удается. Это был очень симпатичный, милый человек, с живым умом, никогда не перестающий чем-либо увлекаться. Когда я предложила ему заняться совместно созданием новых красок для эмали, то эта мысль его страшно увлекла и заняла, хотя он и не был как химик как следует подготовлен к эмалевому делу. Мы ретиво принялись за работу. Иногда, домогаясь получить какой-нибудь определенный тон, мы составляли его по двадцати раз, терпеливо начиная всю работу сначала. После многих трудных опытов и усилий мы стали достигать желанных результатов, и мне наконец удалось обновить свою палитру. Мало-помалу являлись желанные тона, и чем дальше, тем работа становилась легче. В конце концов я получила больше двухсот тонов непрозрачной эмали, выдерживающих сильнейший огонь и не боящихся никаких кислот **.

Мне захотелось восстановить забытый и заброшенный еще с XIII века способ изготовления так называемой «выемчатой» эмали, по-французски — «chemplevé». Способ этот очень труден, потому что нужно приготовлять большие площади вынутого, выдолбленного металла, оставляя между этими площадями выпуклые части, составляющие контуры рисунка. Эти выпуклости иногда так узки, что едва составляют границы для двух различных тонов, которые не должны сливаться между собой, иначе вся работа пропадает. Эмалевое дело настолько заброшено, что не только красок, но нет и инструментов, кроме самых примитивных, так что мне пришлось многое придумать самой. Постепенно моя мастерская превратилась в механическую, с электрическим двигателем, гальванопластическими ваннами для золочения, размалывающими, полировочными, выпиливающими машинами и всевозможным материалом для обработки металлов.

Когда я принялась за эмаль, я наткнулась на множество затруднений, так как до сих пор не существует никаких руководств

** Умер в Париже в 1932 г.*

*** Рецепты этих тонов сохранились и находятся у кн. Е. К. Святополк-Четвертинской.*

для эмалевого дела, специальный язык утрачен, все приходилось самой воссоздавать, каждой принадлежности придумывать название, но все эти трудности не страшили меня, а все больше разжигали мое любопытство и нетерпение добиться каких-нибудь осязательных результатов. Жакен, мой верный друг, подбодрял и поддерживал меня, говоря, что с такой настойчивостью нельзя не достичь хороших результатов. Дело у нас кипело. Часы, проведенные в мастерской, были благодатны для меня, они отрывали и отвлекали меня от тяжелых мыслей, тревоги за будущее и грустных воспоминаний. К концу года у меня накопилось несколько предметов, которые заинтересовали многих знакомых художников и ученых, вообще весь тот небольшой, но симпатичный кружок понимающих искусство и сочувствующих мне людей, которыми мне удалось скоро себя окружить.

Наконец, я решила выступить в Национальном обществе изящных искусств, где бывает очень серьезная передовая выставка. В это общество очень было трудно попасть, потому что оно интересуется главным образом живописью и мало места уделяет прикладному искусству, так называемому «art precieux». Не имея никого знакомого в этом обществе, несмотря на то что Лалик любезно предложил мне выставить мои произведения на суд жюри под его именем, я все же решилась самостоятельно послать мои вещи, и велика была моя радость, когда пришли мне сказать, что я была принята единогласно *. Спустя некоторое время я была в одном доме. Хозяин, указывая мне на одного господина, сказал, что это г. Нок, один из членов жюри, через которое прошли мои работы, и прибавил, что это гроза всего общества, что его называют «апашем» за его крикливость, так как всякий раз, когда появляется новый кандидат в члены общества, он всегда против того, чтобы пускать людей состоятельных, а в особенности иностранцев, говоря, что они отбивают хлеб у художников, которые только живут искусством, что довольно своей семьи и не нужно посторонних элементов. Я подошла к этому господину и поблагодарила его за участие и прием, оказанный мне их обществом. Этот «апаш» оказался премилым, общительным, очень образованным и умным человеком, ставшим скоро моим приятелем, и настолько «ручным», что даже научился приезжать к нам запросто, «на огонек», как у нас в России, чего довольно трудно добиться от французов, которые придают огромное значение этикету, светским правилам, визитам и т. д.

Накануне открытия выставки министр изящных искусств, г. Дюжарден-Бомец, обходя залы выставки в сопровождении всех членов общества и нескольких художников, остановился перед моей витриной, долго любовался ею и, как мне потом передавали, громогласно воскликнул: «Вот, господа, я давно говорю, что эмалевое дело во Франции падает. Посмотрите, мы дожили до того, что иностранцы приезжают учить нас». Он тут же выбрал из моих вещей блюдо для Люксембургского музея и поручил одному члену

---

* *См.: "L'Art russe. Les emaux champleve de la Princesse Marie Ténichev. Texte par Denis Roche. 20 pl. en couleurs. Ed. J. Povolozky. Paris".* (Русское искусство. Выемчатые эмали княгини Марии Тенишевой. Текст Дени Роша. 20 цветных ил. Изд. Ж. Поволоцки. Париж. — *Фр.*).

общества переговорить со мной о цене. Успех этот был мне очень дорог, и я не только продать, но подарить готова была им это блюдо, но они заплатили мне ту цену, которая была выставлена на вещи при отсылке ее на выставку. С этого дня общество и художественная печать признали мое искусство, и отзывы обо мне были настолько благоприятны, что ко мне обратились некоторые любители, и я продала коллекционерам несколько вещей.

Так я создала себе имя. Во Франции было мое крещение, и я бесконечно останусь ей благодарна. Прием, оказанный мне французами, был такой сердечный, меня так обласкали, что я никогда не забуду этого и навеки останусь нравственно связанной с ними*. Многие старые знакомые сами разыскали меня и навещали, все, точно сговорившись, старались своим отношением смягчить мое тяжелое душевное состояние, страх за родину, которого я не могла скрыть. Это всеобщее сочувствие, дружеское отношение скрасили мне те тяжелые три года, которые нам пришлось провести за границей. Однажды я получила от одного очень известного эмальера, Тесмара, произведения которого можно встретить в самых лучших музеях, предложение работать вместе. Это очень польстило мне, доказав еще раз, что в среде художников я действительно завоевала себе имя**.

Параллельно с эмалевым делом мне хотелось поработать и для России, насколько это было возможно в новых условиях. Разместив в моем доме коллекцию предметов русской старины, вывезенную из музея, я показывала ее любителям, коллекционерам, художникам, людям, интересующимся русским прошлым. Некоторые из них пришли в такой восторг от виденного, так увлеклись им, что стали повсюду кричать и расхваливать мой музей. Прослышав об этом, ко мне потянулись луврские хранители, представители «Прикладного искусства», и в конце концов мне было предложено министром изящных искусств Дюжарден-Бомец, тоже посетившим мои коллекции, выставить их в залах Лувра, в отделении «Прикладного искусства». Мне были предоставлены четыре колоссальные залы и все витрины в pavillon Marsans[1]. Я, конечно, согласилась. Мне доставляло большую радость показать французам, какая у нас есть прекрасная старина, тем более что французы совсем никакого понятия о ней не имеют и вряд ли допускали что-нибудь самобытное, оригинальное и богатое в прошлом русского искусства.

Для убранства зал, в помощь себе, я выписала Барщевского из Смоленска. Нам удалось очень живописно распределить все предметы, так что выставка действительно производила большое впечат-

---

* *Кн. М. К. Тенишева была избрана "Membre associé de la Société des Beaux Arts à Paris" и "Membre de l'Union des Arts Decoratifs de Paris"* (действительным членом Общества изящных искусств в Париже и членом Союза декоративно-прикладного искусства в Париже. — *Фр.*).

** *Несколько лет спустя (в 1914 г.) кн. М. К. Тенишева выставляла свои эмали в Риме (l'exposition d'Art précieux à Castel Saint Angel* — Выставка изысканного искусства в замке Святого ангела. — *Фр.) и получила от итальянского Министерства народного просвещения "Diplome d'Honneur"* (Почетный диплом. — *Фр.*). *Тогда же она была избрана почетным членом Римского археологического общества.*

[1] Павильон Марсан (*фр.*).

ление и очень заинтересовала французов. Это была самая выдающаяся выставка всего сезона, и о ней много и долго говорили. Ее посетило семьдесят восемь тысяч человек. Открытие состоялось очень торжественно. Г. Берже, главный директор «Прикладного искусства», сказал очень прочувствованную речь, поздравил меня с удачной мыслью показать Франции сокровища нашего прошлого и благодарил за эту мысль, давшую им возможность еще ближе узнать и оценить искусство дружественной страны. Слушало его речь по крайней мере несколько сот приглашенных на открытие и, когда он кончил, раздались рукоплескания и поздравления по моему адресу. После этого мне был предложен обед и поднесена от французского правительства великолепная группа севрского бискюита Буше *, а Барщевскому был присужден орден «palme academique» [1].

Приехав в Париж разбитой, больной, в тяжелом, угнетенном состоянии, думала ли я, что судьба, забросив меня снова сюда, в этот шум и круговорот, заставит фигурировать в больших собраниях, на выставках, среди людей новых, чужих, часто ненужных, облекшись снова в модные платья? Я стремилась всегда к тишине, уединению, но удалось мне оценить эту тишину и вполне воспользоваться ею только последние три года моего вдовства. И вдруг судьба вырывает меня из родной обстановки, как растение с корнем, и бросает в другую, совершенно противоположную среду...

К весне следующего года нас с Киту непреодолимо потянуло в деревню. Мы обе страдали втайне, скрывая друг от друга тоску по родине. Мерещились дорогие картины простора русской деревни, слышались песни, доносились как будто запахи, а между тем вести все еще были неутешительны. Еще не только близкие, но и равнодушные люди не советовали ехать, говоря, что нас могло встретить только разочарование и большие огорчения. Было тяжело и больно за родину... Кажется, ее еще больше любили, идеализировали и жалели, кажется, умерла бы за нее, лишь бы спасти от тяжелого недуга, когда брат на брата шел, когда близкие люди переставали понимать друг друга. Казалось, все бы забыла, все простила, лишь бы вернулось опять все прежнее и снова бы все ожило и расцвело...

В конце лета мы собрались далеко за город, в деревню, ища что-нибудь, что имело бы общее с нашей деревней. Мы поселились в Салис де Беарн. Несмотря на то что он почти в двух шагах от Испании, местами он напоминает Смоленскую губернию своими долинами, волнистыми линиями лесов, и мы наслаждались там на просторе, стараясь забыться, вспоминая с грустью покинутое гнездо...

На следующий год я надумала показать Парижу талашкинские произведения и познакомить его с кустарными работами наших крестьянок **. Я выписала все оставшиеся у меня на руках после

---

* *Кн. М. К. Тенишева тогда же получила звание "Officier de l'Instruction Publique en France" См.: "Les Archives biographiques contemporaines", III-me serie (p. 387).* (Деятеля народного образования во Франции. — Современный биографический архив, III том, с. 387. — *Фр.*).

[1] Пальмовая ветвь (*фр.*).

** *См. альбом: Broderies des Paysannes de Smolensk exécutées sous la direction de la Princesse Ténichev. Librairie centrale des Beaux-Arts. Paris.* (Вышивки смоленских крестьянок, выполненные под руководством княгини Тенишевой. Центральная библиотека изящных искусств. Париж. — *Фр.*).

закрытия «Родника» и мастерских вышивки и деревянные изделия, наняла залу на «рю Комартен» (Societé des artistes moderns[1]) и устроила выставку, носящую национальный характер. Кроме того, я пригласила участвовать Рериха, который выставил несколько картин, Билибина, приславшего несколько акварелей, Щусева и Покровского, давших талантливые эскизы церквей.

Оставалось несколько дней до открытия, как вдруг на меня напал страх. Я не была избалована успехом подобных предприятий у себя на родине, и мне снова почудилось, что эта выставка возбудит обидные насмешки, иронические улыбки, недоумевающие взгляды, что она встретит полное непонимание моих намерений, меня снова будут критиковать и ругать газеты... Снова заныли у меня те же места в душе, вспомнилось, что все мои попытки и начинания в России объяснялись только фантазерством, честолюбием, капризами избалованной женщины. Я снова пережила все эти обвинения. Испытав во Франции необычайный успех в других предприятиях, я не хотела бы подставлять спину под новые удары. Мне сразу стало так страшно за свое смелое предприятие, что в самую последнюю минуту я уже хотела дезертировать, была готова заплатить за залу, но только чтобы отказаться от выставки. Тут уж меня поддержали окружающие, предсказывая успех, и не дали мне отступить.

На открытие я разослала приглашения, и приехало много любопытных, которые давно слышали о моих планах. Успех выставка имела с первого дня, вещи понравились, заинтересовали и художников, и профанов, раскупались очень бойко, так что я с радостью убедилась в неосновательности своих страхов. Вся пресса единодушно заговорила о нашей выставке в самых лестных выражениях. Среди покупателей промелькнуло множество известных лиц, художников, коллекционеров, любителей, артистов, как, например, Сара Бернар и художник Кларен, который так восхитился моей выставкой, что протрубил о ней всюду и один привел много публики. Не было дня, чтобы он не являлся на выставку и не уносил с собой какой-нибудь вещицы. Торговля шла так бойко, что скоро ни одного предмета не осталось. Я, конечно, не выручила затраченных денег, даже части их, но, несмотря на это, мне был очень приятен сочувственный прием нашему родному искусству.

Меня просили устроить вторую подобную выставку, но, к сожалению, у меня не хватало больше материала, так как подобная же выставка в Праге совершенно истощила мои запасы, возобновить же их было уже невозможно, да и негде, потому что мастерские мои больше не работали и «Родник» был закрыт. В Праге к моей выставке отнеслись не только сочувственно с художественной стороны, но настолько же оценили в ней проявление национального чувства, увидали в ней желание послужить своей родине. Несмотря на то что меня там не было, я получила оттуда от разных, совершенно незнакомых мне людей самые лестные, сочувственные письменные и газетные отзывы.

Из всего того, что мне писали за эти годы французы, англичане и чехи, можно было бы составить целую книгу похвальных отзывов.

---

[1] Общество современных художников (*фр.*).

Я свято берегу все эти письма, в которых часто встречаются просьбы разрешить зарисовать некоторые из моих вещей на выставке в Лувре или сделать снимки с разных предметов нашей старины. Одни эти письма, доказывающие нарастающий интерес и восхищение иностранцев перед русским искусством, русской стариной, составили бы целую кипу. Конечно, я всегда давала эти разрешения.

Обе мои парижские выставки сильно отразились на модах и принадлежностях женского туалета. Год спустя я заметила на дамских туалетах явное влияние наших вышивок, наших русских платьев, сарафанов, рубах, головных уборов, зипунов, появилось даже название «блуз рюсс» и т. д. На ювелирном деле также отразилось наше русское творчество, что только порадовало меня и было мне наградой за все мои труды и затраты. Было ясно, что все виденное произвело сильное впечатление на французских художников и портных. На улице Комартен, где была наша выставка талашкинских изделий, перебывали не только любители, артисты и любопытные, но также фабриканты материй и вышивок, ищущие всюду каких-нибудь новых мыслей и узоров.

Вскоре после того Общество изящных искусств просило меня прочесть его членам лекцию о том, как развилось мое дело, какова была его история. Я, конечно, не могла отказать, и в назначенный день в том же помещении выставки собралось множество специалистов в различных отраслях прикладного искусства. Это общество обыкновенно делает экскурсии по всем выставкам в сопровождении своего президента, дающего объяснения. На этот раз президент обратился ко мне лично с просьбой помочь ему и поправлять его, если в его речи будут какие-нибудь неточности, так как он недостаточно знает все отрасли русского искусства и русского стиля. Я очутилась лицом к лицу с многочисленной публикой. Я дала им самые подробные объяснения и отвечала на все задаваемые мне вопросы, которыми они забрасывали меня в продолжение двух часов. Приятно было видеть все эти серьезные, внимательные лица, которые тесным кольцом окружали меня со всех сторон. Они очень любезно меня встретили и всячески поощряли и ободряли меня, когда же я, наконец, кончила, они горячо благодарили за проведенные ими с пользой часы и проводили шумными аплодисментами.

* * *

Как ни много было у меня неожиданностей в Париже, но все-таки я никогда не думала и не предполагала, что мне придется пойти по следам Дягилева. Мне рассказывали, что он познакомился с директором «Опера Комик» г. Каррэ и наобещал ему, как говорится, турусы на колесах и, между прочим, даровую партитуру «Снегурочки» и свое участие в постановке этой оперы. Но по-видимому, у него на уме было что-то совсем другое, так как когда Каррэ, серьезно поверив Дягилеву и сделав массу приготовлений для постановки этой новой для Парижа русской оперы, выпустил анонсы о предстоящей новинке, то вдруг обнаружилось, что Дягилев ничего из обещанного не выполнил. Очутившись в таком затруднении, Каррэ,

как мне передавали, стал всюду искать способа со мной познакомиться, в надежде, что я, может быть, смогу ему помочь. Это было в то время, когда я устраивала выставку талашкинских изделий. От художника Кларена он услыхал обо мне и попросил его нас познакомить. Раз как-то, когда я была на моей выставке, Кларен пришел с ним, представил его мне, и тот сразу же обратился ко мне, прося моей помощи и поддержки. Потом он приехал ко мне домой и рассказал подробно все, что проделал с ним Дягилев. Конечно, даровой партитуры «Снегурочки» он не получил, а должен был заплатить за нее десять тысяч франков, кроме того, Дягилев создал ему еще всевозможные затруднения, не дав ни рисунков декораций, ни костюмов.

Каррэ просил меня быть его помощницей при постановке «Снегурочки», а когда я показала ему все свои коллекции, где множество старинных роскошных костюмов, он пришел в полный восторг. Желая загладить поступок Дягилева и чтобы показать Каррэ, что с русскими можно иметь дело, я охотно согласилась взять на себя наблюдение за костюмерной частью. Мне был предоставлен неограниченный кредит. Так как подходящей материи для костюмов достать было негде, то я сделала все сарафаны шитыми сверху донизу, и обошлось это, конечно, недешево. Кокошники, ожерелья, шугаи, мужские костюмы — все прошло через мои руки, а корона царя Берендея была сделана мной собственноручно в моей мастерской, так как та, которую сделал сперва театральный ювелир, была неудовлетворительна. В память наших дружных усилий я подарила эту корону театру.

Несмотря на то что все шло прекрасно, не обошлось, конечно, в таком огромном и сложном деле без шероховатостей. Желая помочь Каррэ, я достала ему эскизы декораций Рериха, сделанные им из дружбы ко мне. Эта услуга была принята, однако, как вмешательство в ту область, где считал себя непогрешимым театральный декоратор Жюссон, самолюбивый, обидчивый и избалованный человек. Он не желал, чтобы его учили, сказал, что не допустит никакого вмешательства в свои дела, и тщательно скрывал все декорации до генеральной репетиции. Каррэ не посмел ему противоречить и на все мои вопросы о декорациях отвечал уклончиво или уверял меня, что все идет прекрасно. Каков же был мой ужас, когда на генеральной репетиции я увидала в первом акте турецкие минареты, на избах ползучие розы, в долинах пирамидальные тополя и лес из каштановых деревьев!!.. Я не могла скрыть своего негодования и обрушилась на Каррэ. Он был смущен, расстроен, но дело было непоправимо. Затем во дворце Берендея я увидала массу бамбуковых табуреток с красными кисточками и не могла удержаться, чтобы не крикнуть на весь театр, что это невозможно. На этот раз мой вопль был услышан, Каррэ тотчас же подбежал ко мне с записной книжкой, записал все, что я ему сказала, и немедленно заказал подходящую мебель.

Второй шероховатостью была сама примадонна «Оперы Комик», г-жа Каррэ. Легкомысленная, малообразованная, с бедным по металлу голосом, она попала в примадонны лишь благодаря своему положению жены директора. Французы от нее открещиваются, и не проходит недели, чтобы ее где-нибудь в газетах не продернули.

Но она широко пользуется своим положением и влиянием на Каррэ и не допускает ни хороших певиц-сопрано, ни даже постановки тех опер, в которых ей нет роли.

В «Снегурочке» г-жа Каррэ так же, как и Жюссон, решила действовать по-своему и сама придумала себе костюм, но не смогла справиться с кокошником. Все эскизы, представленные главным театральным костюмером и рисовальщиком Фурнери, были ею забракованы, а своего чего-либо создать она, как видно, не смогла. Однажды, часов в девять вечера, когда у меня сидели гости, мне сказали, что приехал Каррэ и просит уделить ему несколько минут для переговоров. Я попросила его в кабинет и, выйдя к нему, застала его с женой. У нее в руках было что-то странное. Оказалось, вместо русского девичьего кокошника ей сделали нечто вроде турецкого тюрбана. Кроме того, вещь была сама по себе возмутительна по безвкусию и плохому исполнению. Со слезами на глазах г-жа Каррэ стала просить меня помочь ей. Я, конечно, согласилась, и на другое утро ко мне по приказанию Каррэ приехали театральные мастерицы. Поработав с ними часа два, я добилась от них красивого, изящного кокошника, вышитого жемчугом. Во всем же остальном г-жа Каррэ действовала по-своему. И Снегурочка появилась в первом действии в голубом, во втором — в зеленом, с какими-то длинными мочалками, парике вместо традиционной русской косы, с Берендеем она здоровалась за руку на английский лад (шэк-хендс), и вообще Каррэ придала этой роли почти комический, опереточный, а не невинный и трогательный характер, как это должно было быть. Впрочем, ожидать от нее чего-либо другого было трудно. Сомневаюсь, чтобы она была способна на другое отношение к роли.

Постановка «Снегурочки» обошлась дирекции в двести тысяч франков и имела огромный успех, несмотря на все нелепости, которые бросались мне в глаза, но которые французская публика просто не заметила. Я не посещала этих представлений, было слишком противно видеть все эти несуразности.

Итак, три года, проведенные в Париже, не прошли даром в смысле служения России. С ней я связана неразрывно, и если бы судьба не выжила меня из родины и не занесла в Париж, то я о нем и не вспомнила бы. Я навсегда осталась бы в Талашкине, как и предполагала, и никакие прелести заграницы не оторвали бы моего сердца от родной страны. Но я счастлива и горда, что именно на мою долю выпало познакомить Запад с нашей стариной, с нашим искусством, показать, что у нас было трогательное и прекрасное прошлое. Лично я, благодаря выставкам, познакомилась со многими интересными людьми, выдающимися представителями французской мысли и культуры. Знакомство мое с византологами Милле и Диль дало повод газетам и журналам называть меня «неовизантийкой».

Познакомившись с несколькими серьезными музыкантами, я устраивала у себя музыкальные вечера, на которых, кроме Грига и Шопена, исполнялись главным образом вещи наших русских композиторов. Я пустила в ход несколько русских романсов, дотоле не известных французской публике и быстро вошедших в моду. Теперь они поются везде и так же известны, как и трио Чайковского, которое вошло в репертуар камерной музыки.

За зиму у нас набралась компания из восемнадцати человек, которые составили оркестр балалаек и играли на моих вечерах, и наши любимые родные напевы стали скоро очень популярными и очень нравились французам. Но, к сожалению, среди участников было несколько любителей, а любители — самый опасный народ, не работающий, а потому успехи наши были медленные, времени же уходило много. На следующую зиму я прекратила балалайку.

Зимой захватывала работа и всевозможные интересы, но к весне делалось ужасно мучительно, тоскливо, тянуло в деревню. Тоска по родине делалась невыносимой, да и неизвестность мучила: уцелеет ли Талашкино? Привычка к деревенской жизни летом делала то, что в конце концов мы стали мечтать поселиться где-нибудь в окрестностях Парижа и с этой целью объехали на автомобиле очень много красивых имений...

XXXI

Возвращение в Россию. Рерих. Храм. Бекетов. Болезнь. Возвращение музея в Смоленск

Два месяца тому назад, после двух с половиной лет пребывания за границей, мы вернулись в Талашкино[1]. Сердце замирало, когда мы сели в поезд, чтобы ехать на родину. Какой-то затаенный страх, неизвестность пугали воображение. А минутами становилось даже весело, любопытно. Ведь ехали-то мы домой, к себе, туда, где столько оставлено труда и любви. Норд-экспресс шел быстро, все ближе и ближе мы становились к родным местам, и в голове толпились воспоминания, мелькали лица, страницы прошлого, то веселые, то грустные, то страшные... Все смешивалось в голове, перепутывалось, а где-то в душе тревожно поднимался вопрос: что я увижу?..

Петербург с его сутолокой, лица приятные и равнодушные, деловые разговоры — весь калейдоскоп, вызываемый пребыванием в столице. Потом Москва — та же сутолока, те же разговоры. Все это отодвинуло еще Талашкино и все старые образы с ним. Но настал день отъезда из Москвы в деревню. Тут к нам примкнул Николай Константинович Рерих.

Мне кажется, как особенно чуткий и тонкий, он только из дружбы ко мне, из желания облегчить мои первые минуты в Талашкине вызвался сопровождать нас. Я только забросила слово, а он откликнулся. Слово это — храм... Только с ним, если Господь приведет, доделаю его. Он человек, живущий духом, Господней искры избранник, чрез него скажется Божья правда. Храм достроится во имя Духа Святого. Дух Святой — сила Божественной духовной радости, тайною мощью связующая и всеобъемлющая бытие... Какая задача для художника! Какое большое поле для воображения! Сколько можно приложить к Духову храму творчества! Мы поняли друг друга, Николай Константинович влюбился в мою идею, Духа Святого уразумел. Аминь. Всю дорогу от Москвы до Талашкина мы горячо беседовали, уносясь планами и мыслью в беспредельное. Святые минуты, благодатные...

Приехали второго июня. День был солнечный, веселый, природа и люди радостно приветствовали нас. Старые друзья, вековые дубы и липы пышно нарядились в изумруды, да и все кругом было пышно, нарядно, будто вправду для нас и сирень благоухала, разросшись до небес.

Первое время тупая боль, заглушенные сомнения сменились успокоительной надеждой. Но скоро я поняла, чего боялась, садясь в Париже в поезд, отчего сжималось сердце, на душе скребло, отчего голос шептал: «А что я увижу? Что найду?» Я поняла — с чем я когда-то расставалась и что нашла. Нашла кладбище. Мудреная цепь расковалась...

---

[1] В 1908 г.

Рерих уехал, а с ним, как дым, рассеялось очарование, предстала холодная действительность, голая правда. Мне до боли стало жаль всего, не только хорошего, но даже всех пережитых мучений. Я поняла, что нет возврата к прошлому, я поняла, что кругом все отжило, потеряло смысл, мне показалось, что я никому и ничему не нужна. Тяжело мне стало, невыносимо больно. И день ото дня делалось все хуже. Я духом упала...

А тут еще несчастный Бекетов. Он встретил меня здесь обиженный, одинокий. По его словам, Зиновьев «наступил ему на сердце», оскорбил. А раньше они были неразлучными друзьями. Три недели он все плакал, а я утешала его и сама тайком утирала слезу. Впрочем, каждый из нас оплакивал свое горе. Несмотря на мою ласку и старания развлечь и утешить его, Бекетов продолжал тосковать и немного погодя покончил с собой. Я провожала его на кладбище. Похоронили мы его в Бобырях, рядом с Гоголинским, и на его могиле я горько плакала от сознания человеческой несправедливости.

Нервы не выдержали потрясения — я заболела. Ко мне снова вернулась тяжелая нервная болезнь, которой я страдала не раз. Долго я лежала, и боль притупила душевные страдания. Пережитая тяжкая физическая болезнь притупила нравственную, и, когда я стала, наконец, поправляться, мне стало легче и на душе, болезнь унесла с собой и нравственные мучения. Когда я выздоровела, мне показалось, что я проснулась после тяжкого кошмара.

Я рада пробуждению. Теперь я примирилась и с горечью утраты всего, что было мне дорого, и кажется мне, что есть что-то впереди. Теперь я могу спокойно жить в Талашкине, меня меньше тревожат призраки прошлого и жгучие сожаления. Хочу верить в будущее, хочу верить, что все к лучшему, что Царство Божие внутри нас.

За все это время, со дня приезда в деревню, было одно обстоятельство, которое утешало меня — настроение Киту. После долгого отсутствия из Талашкина, ее колыбели, ее снова охватили все интересы, пробудилась прежняя энергия. Она счастлива. За эти годы мы наслышались и начитались таких ужасов, столько узнали о многих культурных хозяйствах, снесенных с лица земли, что не верилось, будто здесь все по-прежнему. Слава Богу, Талашкино уцелело! Настоящими врагами у нас были не те крестьяне, которых хотели очернить, которым хотели навязать какую-то ненависть, которой никогда не было. Напротив, они держали себя по отношению к нам гораздо лучше, чем во многих других местах, и особенного враждебного чувства ни одной минуты не проявляли.

За границей я очень мучилась за Киту, ей не хватало деятельности, и хотя она как преданный друг принимала горячее участие во всех моих занятиях и помогала мне во всех начинаниях, но это все-таки было не то, что она любила и что составляло главнейший интерес ее жизни. Она всю жизнь любила деревню и хозяйство, и этого ничто не могло заменить ей в Париже. Но она безропотно пережила все испытания и трогательна была в своем смирении. Зато ей теперь хорошо. Она счастлива. По приезде сюда, когда охватили мою душу, точно пожар, жгучие сомнения, я с трудом боролась с этими чувствами, старалась не показывать своих мучений — жаль было мне омрачать ее хорошие минуты. Ведь она больше меня потру-

дилась здесь и вложила души в благоустройство Талашкина, создав ему репутацию хорошего культурного хозяйства. Поля, скот, молочное хозяйство, лошади — все, чем славится Талашкино, дело ее рук.

Я же теперь живу на кладбище. Куда ни взглянешь: направо — бывшая мастерская, налево — замолкший, заглохший театр, свидетель былого оживления и веселья, там за лесом — бывшая школа. Театр пустует, в нем склад ненужной мебели, запас материалов. В школе тоже половина классов пусты, сиротливо глядят со стен картины, пособия, коллекции. Мне больно это, но я гляжу на все, как на роковую Волю свыше. Должно быть, это так надо. Пролетела буря, нежданная, страшная, стихийная... Затрещало, распалось созданное, жестокая, слепая сила уничтожила всю любовную деятельность. Все разметала, разогнала, разрушила, школьных птенцов разнесла, мастеров разогнала... Натешилась, утихла буря, но замолкло все, кругом все умерло, не слыхать смеха и пения, оживления и стука. Там, где была школа,— тишина. А над ней, высоко на горе, стоит одиноко на вершине венец дела любви — храм. Во время заката уныло гляжу я с балкона на пламенеющий крест, горю, страдаю и по-прежнему люблю...

* * *

Когда, после двух лет пребывания за границей, мы стали подумывать о возвращении в Россию, я послала Лидина вперед и поручила ему побывать у губернатора и конфиденциально, от моего имени, спросить его, считает ли он своевременным вернуть мою коллекцию в Смоленск. Н. И. Суковкин остался верен себе. Он принял Лидина неприязненно, грубо, как просителя, как лакея, остановил на пороге кабинета и, не подав руки, сорвался с места, забегал, крича:

— Скажите княгине, что я ей не городовой, что мне нет дела до частной собственности. У меня банки и разные казенные учреждения, которые я обязан охранять, а до обывателей мне нет дела.

Это было неприятно, но что делать? Он никогда не отличался любезностью. Я все-таки решила все вернуть обратно и, благодаря любезному содействию Николая Алексеевича Хомякова, привезла весь мой музей без пошлины на границе и снова установила на прежнем месте...

* * *

У нас сгорела земская больница в Горбове, отстоящая от Талашкина в четырех верстах. Через несколько дней после пожара ко мне приехал С. П. Карташев, товарищ председателя Смоленской уездной земской управы, с просьбой уступить им под больницу мой дом на шоссе, бывший Малютина, а потом лазарет. Я с удовольствием пошла навстречу этой просьбе и отдала им дом в безвозмездное пользование. Карташев уехал, по-видимому, очень довольным, что так быстро и просто удалось избавиться от затруднения искать подходящее помещение для больницы, что не так легко. Уезжая, он обещал по нашей просьбе обратить внимание на земский мост на большаке, который давно стоял провалившимся, и сказал, что в неделю все будет сделано. Но конечно, мост так и остался стоять, также я никогда не увидала и какого-то старинного кресла, обещанного для моего музея. Все это были одни слова.

Перед отъездом, за чаем, Карташев рассказывал нам разные случаи из революционного периода в Смоленске. Разговор этот, как и разговор с Ярошевичем, был записан стенографически...

Вскоре в домике на шоссе расположилась больница. Потянулись со всех сторон больные. Мы старались, как могли, оказывать всяческое содействие и помощь больничному персоналу, но... я почему-то заслужила его нерасположение. Доктор, фельдшерица-акушерка принадлежат, очевидно, к числу тех «интеллигентов», которые видят в человеке с достатком врага, представителя ненавистного им класса «капиталистов», и считают необходимым чуждаться его и враждебно относиться к нему даже тогда, когда ничего, кроме доброжелательства и пользы, от него не видали, вероятно, тоже «прэнцэпэально»... И странное дело, есть масса людей со средствами, которые никогда не только пальцем о палец не ударят, не плюнут ради общественной пользы, а тут лезешь сейчас же с помощью и с сочувствием и только видишь взгляды исподлобья, недоброжелательство и злостную критику...

* * *

Среди моих учениц была одна, Маша Доронова, здоровая, сильная девушка, очень способная. Она прекрасно кончила курс нашей шестиклассной сельскохозяйственной школы, и самые большие успехи она оказала по садоводству и огородничеству.

По окончании школы я послала ее на мой счет в молочную школу Буман, Вологодской губернии, чтобы она усовершенствовалась в своих знаниях. Она оправдала мои надежды и отлично там занималась.

Еще когда она была во Флёнове, Ярошевич не раз отличал ее успехи и, видимо, интересовался ею, а затем, через несколько лет, сделавшись сам управляющим сельскохозяйственной школой, женился на ней. Я часто получала от нее благодарственные письма за возможность продолжать свое специальное образование, а когда она сообщила мне о предстоящем замужестве, послала ей свое благословение и денежный подарок.

Ярошевич, покинув мою школу, сделался управляющим сельскохозяйственной школой д-ра Анисимова в Витебской губернии. Однажды, после женитьбы, он приехал во Флёново посмотреть школу и просил позволения явиться ко мне. Я приняла его и была рада увидать старое знакомое лицо, поговорить с человеком, с которым вместе работала, который видел все мои усилия, которого я отстаивала и который был свидетелем многих моих разочарований. Мы сидели в зале и долго разговаривали о школе, вспоминая прежних учителей, перебирая разные эпизоды и огорчения. Я рассказала ему, как в конце концов была вынуждена закрыть школу. Мы и не подозревали, что разговор наш оказался дословно, стенографически записанным гостившей у меня в то время Л. Сосновской. Рассказы Ярошевича ярко рисуют, как смутное время отразилось на нашей школе и что там творилось под влиянием «движения» девятьсот пятого года*...

---

* *Здесь в рукописи большой пропуск.*

XXXII

История с Жиркевичем

Незадолго до революции я познакомилась с военным следователем Жиркевичем. Я видела его однажды в моем музее, и затем он прислал мне свою книжку в стихах, которую я перелистала, но не нашла ничего интересного. В стихах, написанных без малейшего признака таланта, он описывает свое детство. Из них я вынесла одно только впечатление, что автор в детстве был очень жестоким мальчиком... и больше ничего. И вдруг, много времени спустя, я в Сан-Ремо получаю от него письмо в таком тоне, как будто мы были с ним давнишние и хорошие знакомые. Он спрашивает меня, правда ли, что я увезла музей, и надолго ли, просит возвращаться скорее и не отнимать у Смоленска этих коллекций, говоря, что теперь в России хорошо и т. д., и т. д. Просил он также прислать ему мою фотографию, что тоже показалось мне очень странным. Я имею обыкновение всегда отвечать на письма, но так как я совсем мало была знакома с Жиркевичем, то, чтобы не отвечать серьезно на все его вопросы,— мне не хотелось рассказывать совершенно постороннему человеку о своих делах и намерениях — я решила ответить в шутливом тоне и послала ему фотографию домашней работы, где я снята под вековым масличным деревом с масличной веткой в руках. На обороте я написала, что приеду в Россию тогда, когда там все успокоится и наступит полный мир.

Жиркевич не угомонился и снова написал мне, предлагая приобрести у него хоругвь из какого-то монастыря в Вильне и каких-то, как он выразился, идолов. Покупать вещи заочно, да еще от мало знакомого человека — очень опасно, можно даром бросить деньги и нажить неприятностей без конца. К тому же в ту минуту я далека была от мысли пополнять мою коллекцию, до того ли было в это смутное время, когда мы все были в неизвестности относительно исхода беспорядков, когда я каждый день боялась услыхать, что музей разграблен. Я замедлила немного с ответом. Не получая его от меня, Жиркевич обратился с письмом к Киту, говоря, что писал мне, предлагая хоругвь и «идолов», и просил ее спросить меня, хочу ли я приобрести эти вещи. Она ответила отрицательно, зная, как я мало была расположена тогда что бы то ни было покупать. Жиркевич замолк. Я никак не думала, что эта неудавшаяся попытка завязать со мной коммерческие сношения создаст мне из него врага, с которым мне придется считаться несколько лет.

Когда мне приходилось задерживаться по делам в Смоленске, иногда на несколько месяцев, иногда целую зиму, я жила очень тихо и уединенно. У меня было очень мало знакомых. Кроме губернатора, предводителя дворянства, князя В. М. Урусова и архиерея — лиц официальных, с которыми приходилось иметь дело по

школьным и деревенским вопросам, у меня был маленький кружок лиц, бывавших у меня запросто. Зная, что я собираю старину для музея и особенно интересуюсь смоленской стариной, эти лица, узнав, что в архиерейской ризнице продаются старинные вещи, поспешили меня об этом уведомить. До меня давно доходили эти слухи. Барщевский вообще был очень неловок в покупках, не умел разыскивать ни поставщиков, ни людей, владеющих стариной, ни торговаться когда надо, и я не раз попрекала его тем, что предметы из архиерейской ризницы уплывают в чужие руки, распродаются на слом и сплав, гибнут, а между тем для них лучший, прямой путь — мой музей. Но он как-то безучастно отнесся к моим словам.

В один из моих приездов в город ко мне от архиерея пришел студент М. И. Крылов, прося разрешения переговорить со мной. Он сообщил, что Его Преосвященство, желая избавиться от некоторых ненужных старинных предметов, предлагает мне осмотреть ризницу и выбрать то, что мне подойдет. Дело было в октябре, стоял мороз и уже лежал снег. Я отправилась в собор с Барщевским и Лидиным, закутанная по-зимнему, в шубе. Нас повели в зимнюю архиерейскую церковь. Так как нас, бедных женщин, за грехи в алтарь не пускают,— а ризница за алтарем, — то сторожа стали выносить оттуда старое облачение и разные вещи и целыми охапками валить на пол. Раньше это была теплая зимняя церковь, но с тех пор как стали отапливать большой собор, в ней перестали служить, и все было запущено, грязно, пыльно. Мне просто больно было смотреть, как разные люди, пришедшие, как и я, смотреть на эти вещи, раскидывали их ногами, разворачивали, а сторожа все продолжали выносить и кидать на пол вороха священных предметов. Одно уже это заставило меня скупить все то, что я считала кощунством попирать ногами.

Я выбрала несколько саккосов — подобные им были когда-то здесь же проданы на выжиг — и одну митру, поновленную, из новой серебряно-золоченой парчи, вышитую жемчугом, которую все равно продали бы на вес. Финифтяные иконки, украшавшие эту митру, были не только не старинные, но очень грубой работы, а вместо камней нашиты были простые цветные стекла. Меня на ней прельстило несколько дробниц, украшенных эмалью.

Кроме нас, в соборе вертелось несколько человек: два еврея из Киева — одного из них, Золотницкого, закупающего по всей России старину, я знала — и два наших серебряника, Лукьянов и Васильев. Барщевский, видя, что я ценю в митре только лалы, обратился к Лукьянову и сказал:

— Эх вы, в прошлом году вы ведь здесь целую кучу таких вещей на слом купили. Таких лал у вас много было. Куда вы их дели?

— И не говорите, Иван Федорыч, я их сплавил. А кабы я только знал, что их сиятельство покупают такие вещи, я бы им первым предложил купить,— отвечал с сожалением Лукьянов.

Вещи от архиерея мне были доставлены в дом накануне отъезда за границу после одиннадцатидневной забастовки в 1905 году. Привезены они были казначеем и соборным протоиереем, с которыми я немедленно же расплатилась. Когда я сказала Киту, что из моего кармана вылетело несколько тысяч, она всплеснула руками и чуть

не назвала меня сумасшедшей. Я и сама сознавала, что это действительно сумасшествие, но страсть к старине все превозмогла. Я так боялась, что эти предметы уйдут в руки Золотницкого или пропадут у Лукьянова, что совсем забыла о том, какое время мы переживали и как могли повернуться события. Я уехала почти без денег, так как сношения с банками были очень затруднены и замедлены...

Наш соборный староста (управляющий акцизными сборами) В. П. Озмидов предложил мне приобрести серебряную кружку рижского дела, восемнадцатого века. Она была пожертвована соборному причту на поминовение души одного из представителей рода Энгельгардт, коренных смоленских помещиков, а так как я собирала смоленскую этнографию и все, что относилось к крестьянскому и старинному помещичьему быту, то, несомненно, предмет, идущий из старинной семьи Энгельгардт, представлял для музея интерес. Озмидов продал эту кружку за четыреста рублей, и деньги пошли на починку соборной крыши, незадолго до того сорванной бурей. Несколько дней спустя он сам привез мне ее в музей и передал мне расписку в получении денег.

Между тем Жиркевич, недовольный отрицательным ответом Киту, очень рассердился и, вероятно, чтобы отомстить мне за отказ, поместил в газетах какое-то странное обвинение: будто я расхитила церковный исторический музей, а расхитивши, вывезла все мои старинные коллекции за границу с корыстными целями, упрекал меня в святотатстве, облил целым потоком грязи, не считаясь со мной как с женщиной, забыв, вероятно, что он принадлежит к порядочному обществу. И вот в продолжение двух лет не было ни одной газеты, от крайней левой до крайней правой, не говоря уже о периодических журналах, где бы на меня не взваливали самой грубой клеветы, самых бесцеремонных обвинений, перевирая, искажая и путая факты до невозможности.

Более всего меня обидело, когда в одной из газет я прочла, что Жиркевич советовал смолянам, в случае если я подарю городу музей, отказаться от этого дара. Меня очень интересовало мнение смолян по поводу этой статьи. Я несколько месяцев ждала, чтобы хоть один человек из смолян, знавший и мой музей, и мою деятельность вообще, возвысил голос в мою защиту и заявил, что смоляне не нуждаются в советах Жиркевича и не разделяют его дурного мнения обо мне. Но русские люди тяжелы на подъем, равнодушны и совершенно не интересуются подобными вопросами. Напрасно я ждала этого слова, никто и не подумал об этом, никто не выразил мне ни малейшего сочувствия. Тогда, обидевшись на смолян, я сама ответила в одной газете, что если Смоленску мой музей не нужен, то я всегда найду, куда его поместить.

Ко мне поступило несколько запросов. Таганрогское городское управление просило меня пожертвовать им мою коллекцию для создания музея имени Чехова. Екатеринбургская городская управа прислала целую кипу бумаг и постановлений, из которых видно, что они согласны построить здание для музея по моим указаниям, планам, чертежам и требованиям, лишь бы только я им пожертвовала музей. С.-Петербургское Общество поощрения художеств предоставляло в мое распоряжение огромное помещение со стороны Мойки. Кроме того, французское правительство тоже ухаживало за

музеем, предлагая мне любое помещение в стенах своих музеев. Один крупный американский собиратель из Нью-Йорка делал мне очень заманчивые предложения, от которых пахло миллионами, но я отказала ему наотрез. Тогда он обратился к Киту, прося повлиять на меня, но я и ее серьезно просила оставить этот разговор и не соблазнять меня. Итак, если бы я не поборола себя, мои коллекции давно были бы в другом городе, где их встретили бы более сочувственно и лучше оценили бы. Видно правда, что нет пророка в отечестве своем.

Мне было больно и обидно за мое любимое родное детище, ради которого я принесла столько нравственных и материальных жертв. Вспомнилась мне моя борьба с мужем... Мне было больно, что моя страна была мне мачехой, тогда как на Западе меня встречали открытые объятия...

Мне не легко было заглушить в себе чувство горечи и обиды. Долго я урезонивала самое себя, долго болела душой, но наконец, после многих бессонных ночей и сильной внутренней борьбы, я сказала себе, что храмы, музеи, памятники строятся не для современников, которые большей частью их не понимают. Они строятся для будущих поколений, для их развития и их пользы. Нужно отбросить личную вражду, обиды, вообще всякую личную точку зрения, все это сметется со смертью моих врагов и моей. Останется созданное на пользу и служение юношеству, следующим поколениям и родине. Я ведь всегда любила ее, любила детей и работала для них как умела, и теперь должна побороть дурные чувства и остаться при первом побуждении. Мне было и больно, и сладко переломить себя, но я была счастлива, что разум восторжествовал над сердцем...

Странная произошла вещь во время газетной травли меня, а заодно и преосвященного Петра, имевшего слабость продавать из своей ризницы старинные предметы, которые он не ценил совершенно. По правде сказать, я не оправдываю действий владыки Петра, и будь я на его месте, ни одного бы предмета оттуда не выпустила, особенно зная, с какой целью они покупаются. Со своей же стороны, раз эти вещи продавались кому угодно, на уничтожение и слом, я считала не только вполне возможным, но и обязательным приобрести вещи для смоленского музея и тем сохранить их и спасти от рук перекупщиков и серебряников или от полного разрушения в той же ризнице и церковных подвалах, где все равно их съели бы мыши. Я сравнительно еще поздно узнала об этом, а сколько уже вещей было продано в разные руки и навсегда потеряно для науки и истинных ценителей церковной старины!

В то время в Смоленске у владыки Петра был кружок сочувствующих лиц, желавших как-нибудь выгородить его из неприятного положения, создавшегося благодаря статьям Жиркевича, который не щадил красок и для него, и избавить от того шума, который поднялся во всех газетах. Владыку удалили из Смоленска, по этой ли причине или другой — я не знаю, но огорченные друзья, думая помочь ему, обратились ко мне с просьбой вернуть им купленные мною предметы за какую я хочу цену. Я знала, что если верну эти вещи, то они все равно опять исчезнут, но под впечатлением этих писем и особенно просьб Софьи Платоновны Волковой и Озмидова пожалела владыку Петра и велела Барщевскому отправить вещи

моему нотариусу Штраниху с тем, чтобы он передал их в ризницу под расписку, совершенно официально. Штраних немедленно написал соборному протопопу заявление о принятии вещей, но, не получая ответа, попросил Барщевского сходить на архиерейский двор узнать, в чем же дело. Из переговоров выяснилось, что мы им ужасно надоели, а казначей сказал:

— И чего вы все всполошились? Зачем было обращать внимание на все эти нападки? Право, чего вы беспокоитесь? А знаете ли, вы еще многого у нас не видали, не посмотрите ли? У нас много вещей продается.

Получив после долгого ожидания такой ответ, я решила уже окончательно взять эти предметы и снова поместить в музее. Одновременно с этим я послала Штраниху другое заявление о том, что я оставляю вещи у себя, так как их отказывается принять ризница.

Абсолютно не прав был Жиркевич, указывая на меня как на главную покупательницу в церковно-археологическом музее, так как ни одна вещь из этого музея ко мне не попала. Митра Никона, на которую он напирал в своих обвинениях (которую я якобы похитила из музея), и по сю пору хранится в церковном хранилище при соборе, если только ее действительно не украли, а рукопись Мазуркевича, тоже приписываемая моему музею, находится по слухам в библиотеке смоленской духовной семинарии.

Удивительно, как может человек решиться обвинять в похищении, не имея никаких серьезных данных! За такое обвинение бьют, стреляются на дуэли, если дело между мужчинами, но как легко, как безнаказанно сходит подобный поступок, раз дело идет о женщине, за спиной у которой не стоит ни муж, ни брат...

Можно себе представить, какой же это должен был быть следователь, в обязанности которого входит полное беспристрастие, если он мог только из чувства личной досады позволить себе такие поступки, как в целом ряде газетных статей с бессовестной перетасовкой фактов, без всяких оснований изливать клевету на женщину, только чтобы выместить свою неудавшуюся с ней сделку. Как же он распоряжался фактами в своих судебных делах, как должен был вести и направлять следствие.

XXXIII *

Дом на Английской набережной. Лазарет в Смоленске

Мой дом в Петербурге, по Английской набережной, с июля 1914 года, т. е. с начала войны, был занят солдатами. До войны главную часть дома занимало Суворинское театральное училище, но как вышло, что училище в один прекрасный день оттуда улетело, а на штучных итальянских паркетах, сделанных из розового дерева, перламутра и слоновой кости, очутилось 600 солдат, это знает только тот, кто это дело и состряпал. Я знала, что лазаретами были заняты не только частные дома, но даже и дворцы, а солдатами... этого я не слыхала.

Контракт с училищем был многолетний, на десять лет, и в момент этой перемены декорации оставалось еще 7 лет аренды.

Шли месяцы, писались просьбы, заявления, началась усиленная беготня управляющего в Главный штаб и другие учреждения... напрасные надежды — платы за занятое помещение я не получала. Материальное положение мое становилось критическим. Жизнь с каждым днем становилась дороже, и я решила во что бы то ни стало продать этот дом.

Кого-кого я только не приурочила к этой продаже. Тут были комиссионеры-евреи, крещеный люд разного облика и положения, знакомые дельцы и даже друзья, которым хотелось выручить меня из беды, но дело от этого ни на йоту не двигалось вперед. Я же тем временем сидела почти без средств. Тогда мы с Киту отправились в Петербург.

В Смоленске нас посадили в поезд с беженцами из Польши, состоявший из сорока товарных вагонов, в открытые двери которых видны были целые обстановки: стулья, кровати, дети, собаки и всякий домашний скарб. Был еще один вагон-микст, в котором мы и расположились.

Было еще тепло, деревья желтели, мимо нас плавно проходили грустные, такие близкие сердцу наши русские картины...

Мы тащились без конца, останавливались чуть ли не у каждого телеграфного столба, часами стоя в тупиках, пропуская воинские, товарные и пассажирские поезда. Во время таких стоянок наши спутники беженцы выскакивали из своих квартир-вагонов и возвращались из леса лишь после многократных сигнальных свистков паровоза, нагруженные множеством грибов.

Это путешествие носило какой-то особенно интимный характер, все пассажиры разговорились между собой, и нам было даже весело. Наша компания состояла из Киту, меня, моей дочери Мани,

---

* *Между этой главой и предыдущей в рукописи большой пропуск в несколько страниц.*

Ольги, двух ее гувернанток, В. А. Лидина, С. С. Четыркина* и трех девушек.

Наш вагоновожатый был, вероятно, в своем деле новичком. Он не знал ни одной станции, ни времени остановок или прибытия.

Ну и наделал же нам беды этот самый новичок! Почему-то ночью ему вздумалось открыть окно в коридоре нашего вагона и, по всем вероятиям, в это окно влетел горящий уголек от паровоза.

Меня разбудила Киту усиленным стуком в дверь. Помню, что мне уже очень не хотелось вставать и как-то спалось особенно сладко. Но настойчивый стук наконец меня отрезвил, и я увидала... впрочем, я ничего не могла видеть в моем наполненном густым и едким дымом отделении...

Ужасное чувство задыхаться в дыму! Глаза плачут рекой, в горле горит, и грудная клетка как будто отказывается подняться, чтобы втянуть воздух, что-то давящее и одновременно дурманящее!

С трудом и ощупью я нашла мою собачку, дорожный мешок, набрала еще каких-то вещей и едва протолкнулась в дверь моего отделения. Когда я с трудом открыла ее, предо мной на полу коридора горел костер, через который мне пришлось перешагнуть.

В вагоне царило смятение, все уже были на ногах. Надо было во что бы то ни стало остановить поезд, позвать на помощь. Дышать уже делалось невозможно, и окон не удавалось открыть. Мы друг друга не видели, толкались и разом все говорили.

Вдруг я вспомнила, что в конце вагона находилось так называемое служебное отделение. Бросившись туда, я нащупала чьи-то ноги, которые я с яростью принялась тянуть. Одновременно с этим Четыркин разыскал ручку тормоза и всею тяжестью навалился на нее. .

Поезд понемногу остановился, и в тишине ночи раздались чьи-то недовольные голоса: «Что там еще случилось?» В эту минуту нам удалось, наконец, открыть дверь вагона. Соскочив на путь, шатаясь, я подбежала к паровозу, крича: «Скорее, скорее, горим!»

Во время тушения пожара мы слышали, как один кондуктор сказал: «Если бы еще десятью минутами позже, все бы там остались, никто бы не уцелел».

Через некоторое время, еще взволнованные, оживленно обмениваясь пережитыми страхами, мы снова двинулись в путь...

В каком ужасном виде нашла я свой дом! Все, что представляло в нем ценное — дорогие художественные украшения, резьба, паркеты,— мои даровые постояльцы немилосердно испортили и при устройстве нар в деревянные панели стен безжалостно вбили тысячи гвоздей. Мраморные подоконники были разбиты, бронзовые позолоченные дверные ручки вырваны, языки и головы скульптурных кариатид отломаны, паркеты облиты жиром и водою, и так грязны, что их можно было бы принять за простой пол дурно содержащегося стойла. Положительно, если бы через это помещение прошел бы ненавистный немец, то оно осталось бы в лучшем состоянии!

Два раза мы с Киту ездили в Петербург с целью наладить продажу этого дома. Я часами сидела у телефона, вела переговоры, но

---

* *Один из членов-сотрудников экспедиции полковника Козлова в Монголию.*

все это ни к чему не привело. Мало-помалу мои комиссионеры отпали, переписка прекратилась, и на продажу дома я почти перестала надеяться. Весною 1915 года я даже пожертвовала, после долгих хлопот, 1400 рублей с тем, чтобы выселить солдат и снять нары. Деньги взяли, солдаты действительно выехали, но не ради моих хлопот, а просто настало время переезжать в лагеря, и я только на минуту была в иллюзии, что отделалась от непрошеных гостей.

Не тут-то было! Сейчас же после солдат в это помещение ввалился целый штаб генерала Ф. и занял ни больше ни меньше, как четыре квартиры!

Когда, спустя 10 месяцев, генерал Ф. выехал, домом тут же завладело какое-то справочное бюро с генералом К. во главе. Я узнала, что справки, выдававшиеся там, были настолько точны, что написанное надо было понимать в обратном смысле. Например, если на бумажке сказано, что воин находится в плену или ранен — читай убит. Подобное случилось с моим знакомым Н. Шевцовым. В течение двух месяцев справлялся он о судьбе сына и наконец получил ответ — убит, а он оказался живехонек!

Впрочем, слава этого прекрасно организованного и полезного учреждения вполне и прочно установилась. Стоит оно, вероятно, казне немало денег со своим персоналом в количестве нескольких десятков здоровеннейших, гладких и сытых деятелей, и придумано оно, вероятно, было тоже для «обороны от воинской повинности»...

В это время мой второй петербургский дом, на Моховой улице, из-за непомерной дороговизны топлива почти ничего не приносил. Я сидела почти без средств.

В сущности, какая это была несправедливость со стороны правительства разорять ни в чем не повинных людей, как я!..

Но меня еще ожидало одно тяжелое разочарование.

С первого дня объявления войны в июле 1914 года я решила устроить в Смоленске лазарет для тяжелораненых на тридцать кроватей. Мне удалось узнать о начале войны еще за два дня до официального ее объявления. Я тотчас же телеграфировала одному хорошему знакомому, петербургскому врачу, чтобы он купил для меня все необходимое оборудование лазарета.

Спустя неделю лазарет уже был устроен, и 12 августа прибыла туда первая партия раненых. Хирургом я пригласила по рекомендации проф. Цейдлера одну из лучших его учениц, Н. В. Сергиевскую, а помощником ее А. Г. Гржибовского.

Для того чтобы мой лазарет мог обслуживать и другие, я достала рентгеновский кабинет и для большего удобства поместила его тут же в своей квартире. В Смоленске другого кабинета в то время не было, и мы сняли с раненых других лазаретов более 3000 снимков.

Лазарет помещался в смоленском отделении Московского археологического института, как раз над моей квартирой, и таким образом, я могла день и ночь там работать и следить за тем, чтобы раненым было как можно лучше. Его посетил Государь и остался им очень доволен, выразив мне свою благодарность.

Свой автомобиль я предоставила исключительно для раненых. В Смоленске перевозочных средств для раненых не было устроено,

и этот автомобиль за 13 месяцев перевез 631 человека в разные лазареты. В любой час ночи, стоило только нам позвонить по телефону, и автомобиль без отказа выезжал на железную дорогу. Так как у нас не было в то время хорошего шофера, то В. А. Лидин с большой охотой и тоже без отказа исполнял эту роль. Чтобы не рисковать порчей автомобиля, я его перестала сама употреблять.

И этот-то, необходимый для всех смоленских лазаретов автомобиль реквизировали! Это случилось именно в момент, когда я поехала в Петроград хлопотать об уплате мне за полтора года военного постоя в доме на Английской набережной, в тот самый раз, когда мы все чуть-чуть заживо не сгорели в вагоне. Депешу о том, что автомобиль реквизирован, я получила в день приезда в Петербург. Итак, едва только я уехала, как со мной сделали самую кричащую несправедливость...

В скором времени наш лазарет, как и все частные лазареты в Смоленске, был закрыт ввиду приближения немцев, а дом был отдан авиационному отделу. То, что меня духовно поддерживало в течение этих тринадцати месяцев войны, безжалостно и сразу было вырвано из моих рук. Я вдруг и сразу окунулась во все ужасы общего развала...

XXXIV

Зима 1915—1916 годов. Диссертация. А. И. Успенский

Мы решили прожить зиму 1915—1916 годов в Москве. После закрытия лазарета мне больше нечего было делать в Смоленске. Кроме того, мою квартиру занял Великий Князь Александр Михайлович, переехавший в Смоленск со всем своим авиационным штабом.

Общее настроение тогда было ужасное. Измена Мясоедова, Сухомлинова и других тяжелым камнем легла на душу каждого из нас. Наше грандиозное и в то же время позорное отступление из-за недостатка снарядов, падение одной крепости за другой и, наконец, последний удар, взятие Варшавы, все это убивало всякую надежду...

Я как-то застыла, съежилась и замолкла. Мне было все равно где жить. Состояние было такое, что казалось, что и жить-то не хотелось...

В Москве мы наняли старый деревянный особняк. Перевезли туда часть моих вещей и начали жизнь, по условиям и обстановке похожую на беженскую. Вначале мы были растеряны, но у нас в Москве есть и родственники, и знакомые, радушно и ласково нас принявшие.

В течение этой зимы мне удалось ближе познакомиться с некоторыми слоями современного московского купечества и изучить их нравы. Попала я в высшее купеческое общество и могу сказать, что купеческие дамы в большинстве гораздо симпатичнее мужчин. Они благообразны, молодые очень нарядны, приветливы, общительны и, несмотря на крикливость, все же производят впечатление добродушных женщин. Мужчины же не то. Дельцы, отцы семейств — надуты, мешковаты, весьма неразговорчивы, холодны и почти неучтивы, а вид у них такой, как будто бы они людей ни во что не ставят, им они не нужны и, чего доброго, денег попросят взаймы.

Молодежь, та очень забавна, она вся обязательно с бритыми лицами, одета по строгим правилам последней английской моды, но почему-то кажется скорей смешной и напоминает какой-то маскарад. Несмотря на желание что-то из себя изображать, эти молодые люди ни по своему воспитанию, ни по манерам или разговору не дают ни на секунду иллюзии, что вы находитесь в культурном обществе. Наоборот, перед вами только прилизанные, prifрантившиеся приказчики, с развязными, гостинодворскими манерами, вроде П. А-ва. Между ними есть красивые юноши, с мужественными лицами, рослые, говорящие даже на иностранных языках, как, например, Г-в, которого я встречала чаще других. Но все-таки по своей грубости он остался тем же плохо воспитанным парнем из любого лабаза, несмотря на его бритую физиономию и безукоризненное платье новейшего покроя.

Та часть московского купечества, с которым я столкнулась, живет очень богато, в больших хоромах, даже дворцах. Теперь у них пошла мода на классику, и без колонн снаружи и внутри архитектор не смеет сунуться со своим проектом, иначе лишится выгодной работы. Без колонн теперь купечеству как-то не живется, поэтому в самых узких и грязных московских переулках вы всюду натыкаетесь на дома с толстыми несуразными колоннами, подпирающими тяжелые фронтоны с массою снега на крышах.

Колонны обозначают дом богача, уж это без ошибки. Затем они говорят о том, что здесь можно хорошо покушать, служат, так сказать, вывеской, а купец это любит, чтобы хорошая вывеска была на его заведении.

Кушает он, несмотря на дороговизну продуктов и войну, много и хорошо. Но он не эгоист, он любит это делать в большой компании. У него открытый дом, и подают на обедах всего так много, что хоть в карман клади и домой уноси. Я непременно так сделаю в первый же раз, что снова попаду на такой обед, возьму полрябчика, ведь теперь они стоят три рубля штука.

На многолюдных званых обедах поражает пестрота приглашенных. Там можно видеть и генералов, и каких-то прапорщиков, и разных тыловых героев, и актеров, каретников, суконщиков, приказчиков, докторов, одних или с их почтенными половинами. Нельзя себе представить, чтобы на Западе к званому обеду какой-нибудь молодой человек решился бы приехать в цветном галстуке и кофейном пиджаке, а в Москве очень просто, все можно, и никто в вину этого не поставит. Такой господин однажды был моим соседом за столом справа, и так пил, так много пил, что после обеда прохода не давал одной даме, уже не первой молодости, и все повторял: «Нет, скажите же, пожалуйста, сколько вам лет?»

Мой сосед слева был еще интереснее. Уже немолодой, со взъерошенными волосами и проседью в бороде, он молча сел за стол, но после нескольких стаканов язык его развязался. Он избрал своим объектом мою племянницу В., которую он видел впервые. К концу обеда, да и после, он без умолку повторял крикливым голосом: «Ты Вера! Ты Вера моя... Вера!.. Что может быть выше Веры!» Что он пьян, это было ясно, но кто его знает, может быть, он пустил в своем роде и остроумие, потому что моя племянница действительно огромного роста...

Купечество живет, по-видимому, больше напоказ — колонны на фасаде, колонны в парадных комнатах, а в общем всюду холодно, чинно и неуютно. Мне лично никогда не хотелось бы жить ни в одном из таких домов. В них отсутствует душа. Напрасно вы стали бы искать в них ту интимную комнату, ту «святая святых», в которую уходишь отдохнуть, найти себя, сосредоточиться, взяться в свободную минуту за начатую книгу или оставленную работу, комнату-друга, которую обставляешь заветными и любимыми вещами, накапливающимися годами, даже отчасти вытесняющими вас, где уютно и особенно хорошо дышится, думается и живется. Таких комнат купечество, видимо, не понимает.

В их гостиных царствует одно тщеславие и бездушие. Вы видите там дорогие предметы, чинно расставленную мебель и безделушки, ценные обивки, ковры, а в спальнях — простые металлические кро-

вати, рыночную мебель, криво задернутые и смятые занавески и хаос, делающий впечатление неопрятности.

Когда я в последний раз посетила Щукинский музей, вскоре после того, как сам Щукин умер, то после массы действительно очень редких предметов старины, наполняющих этот музей, мне показали его бывшую спальню, обстановку, в которой он когда-то жил: ореховый умывальник с мраморной доской, ореховые диван и кресла рыночной работы, с красной обивкой — обыкновенные принадлежности любой гостиницы...

Вот они, московские эстеты! Все для видимости, весь блеск лишь там, где надо поразить, только до указанной черты, а там дальше, за порогом, там мещанский простой задворок...

Чем больше я присматриваюсь к московским богатым купцам, тем яснее для меня, как мало среди них искренних любителей искусства, вроде Остроухова или С. П. Рябушинского, как редко кто из них по-настоящему любит и понимает те вещи, которыми себя окружает. Большинство московских коллекционеров в искусстве ничего не понимает, и гоняются они за старинными вещами исключительно, чтобы быть как все, по моде, и обладать тем, чем можно похвастаться. У них считается хорошим тоном быть коллекционером живописи, фарфора, старинной мебели, редких книг, которые не читаются, а иногда просто лошадей, автомобилей или орхидей. Играет, вероятно, немалую роль и то, что слава тонкого ценителя, собирателя или мецената стушевывает, покрывает приятной дымкой прозаического суконщика или кожевника.

Вот и получается, что в их обширных хоромах наряду с греческими колоннами фальшивой нотой звучит всюду поповский фарфор, тяжелая и громоздкая мебель красного дерева или карельской березы, построенная когда-то доморощенными столярами в глуши русских помещичьих деревень. Претенциозность таких обстановок и одновременно нагромождение вещей современной безвкусицы, с предметами нередко сомнительного достоинства, неприятно поражают глаз, делаеся скучно от такого случайного набора вещей.

Подобный собиратель, как мне рассказывали, не рискует ездить по антикварам один, он таскает обыкновенно с собой какого-нибудь знатока-советчика из неудачных актеров, музыкантов или какой-либо другой профессии понаторевших на этом деле людей. Попробуйте, однако, убедить такого «знатока», что не все то красиво, что только старо!..

Ни в одном городе я не чувствовала так «бряцание деньги», как в Москве. Назойливое напоминание, что здесь люди богаты, сыты и самодовольны, отовсюду лезет на вас и наполняет собою всю атмосферу. Точно все всегда справляют чьи-то именины. Кстати, сохранился тут и старинный азиатский обычай: встречаются москвичи — целуются, а смотришь — это даже не друзья, просто едва знакомые люди. Эта манера целоваться со всяким встречным страшно поражает иностранцев, они никак в себя от этого прийти не могут.

Если вы не в силах себя настроить и взвинтить до такой степени, чтобы всегда куда-то лететь, катить по узким улицам как попало, потрафлять на обеды, шуметь, громко говорить, если вы не слепо следуете самой идиотской моде, не сорите деньгами и не

бросаете пыль в глаза, вы чувствуете себя в этой среде не на уровне общего настроения и совсем, совсем чужой...

Что сталось с прежней, милой, уютной Москвой, где люди жили когда-то среди садов, в которые весной залетали даже соловьи и так трогательно пели, будто в деревне? У меня все это сохранилось в памяти от моего далекого детства.

Теперь же какой-нибудь нажившийся Тит Титыч решит тряхнуть мошной, приказывает архитектору построить ему большущий доходный домину, не считаясь с шириной узкого-преузкого переулка, и давит эта махина все окружающее, небо подпирает, темно от нее в этом задушенном переулке, превратившемся в какой-то коридор, и хочется бежать оттуда, так там неуютно.

За малым исключением, что ни дом, то стоит возмутительный урод, оскорбляющий глаз и чувство!

На мой вопрос, как могло городское управление допустить такое безобразие, мне отвечали, что между гласными Городской думы как раз много таких домовладельцев. Поэтому понятно, что вопрос о максимуме высоты домов в Москве основательно погребен и давно забыт.

От прежней, дедовской, Москвы остались здесь еще трогательные церковки, когда-то первенствовавшие своими пестрыми, разнообразными главками и позолоченными крестами среди окружавших их строений, не дерзавших подняться выше своей святыни.

Теперь эти церковки приходится искать среди затирающих их, возмутительных по своей архитектуре, уродливых семиэтажных домов «нового стиля», вернее, немецкого безвкусия и безобразия. Немецкое растление русских умов не пощадило и нашей архитектуры, внедрившись в нее с такой же наглостью, как и во все остальное.

Удивительно! Что же это случилось с русскими людьми? Куда девались их зодчие?..

Но вот где до сих пор еще действительно отдыхает глаз — это Кремль. Как вечный символ нашего величия, высится он, окутанный призраками прошлого, и всегда одинаково благородный. Мы очень любили с Киту гулять и любоваться с высоты его террасы ярко-огненным закатом морозного дня и удивительной гармонией и благородством его зодчества. Хорошо там, просторно и особенно дышится легко!

Мы растерялись в Москве, новый облик улиц, среда, в которой мы очутились, нам были чужды, а между тем я помню, раньше та же Москва имела для меня особенное обаяние. Вероятно, волна событий выбросила нас лишь на такой берег, где пищи для ума и сердца не нашлось. Но мне хочется верить, что когда-нибудь я найду ту тропинку, которая приведет меня к настоящему творческому сердцу Москвы, и что это сердце пригреет меня, поднимет мой дух и приобщит к своей коренной семье...

* * *

В ту зиму в Москве у меня случились два очень приятных события.

Однажды в январе, сидя за обедом, я получила письмо с красивым светским почерком на конверте, а в нем предложение про-

дать мой дом на Английской набережной в Петербурге, да еще с просьбой сделать это без вмешательства комиссионеров. Восторг мой был неописуем, и я тотчас же настрочила ответ.

Завязалась переписка с председателем правления Богословского горнозаводского общества А. А. Половцевым. Мы обменялись взглядами, но не сошлись. Остановились на том, что каждая из сторон может по желанию возобновить переговоры.

Неудача в этот раз меня не огорчила, я уже привыкла вести переговоры по продаже этого дома, которые ни к чему путному не приводят, но факт, что Половцев меня сам первый запросил, что дело это не навязано каким-нибудь комиссионером, бегающим с предложением выгодной ему аферы, а чистое дело, ободрило меня, и я решила выжидать. И действительно, в декабре месяце А. А. Половцев снова заговорил о доме, прислал уполномоченного, и в результате мы совершили купчую крепость.

Тем временем, чтобы не пропала эта зима в бездействии, я решила во что бы то ни стало закончить мою давно уже начатую работу, которую я хотела представить Московскому археологическому институту как диссертацию. Однако вполне ее довести до конца в такое время оказалось невозможным. Последняя ее часть так и осталась лишь в виде отдельных заметок и записей. Что же касается первых трех, то и тут пришлось сильно сократить иллюстрационную часть. Около двухсот фотографических снимков с эмалевых предметов, которые я должна была получить из-за границы, так и не пришли, вероятно затерявшись в дороге после объявления войны. Заказать же теперь в заграничных музеях новые было невозможно, и я решила приложить к своей работе попросту снимки, сделанные из книг, в надежде когда-нибудь заменить их настоящими, сделанными с натуры.

По приезде в Москву я почему-то думала, что наш профессорский археологический мир, с А. И. Успенским * во главе, привлечет меня в свою среду, что у нас по-прежнему установится дружеское общение, как это бывало, когда они приезжали в Смоленск читать свои лекции. Лелеяла я надежду, что у нас найдется достаточно общих интересов, и я примкну к институтской жизни.

Я все поджидала, что господа профессора найдут нужным сделать мне предварительный визит, как это делается всюду в Европе, и с этого, как кажется, и завязываются обыкновенно между людьми отношения. Но, вероятно, это все относится к той области законов общежития, которая незнакома нашему миру ученых. Кроме профессора Мальмберга, никто обо мне не вспомнил, а А. И. Успенского я видела у себя на минуту лишь один раз.

С А. И. Успенским мы неоднократно переговаривались по телефону, встречались несколько раз в институте при торжественных случаях, и каждый раз он меня, по установленному и довольно странному обычаю, с рвением, трижды лобзал при встрече и прощании, а затем — ничего.

Мы даже не имели с ним десяти минут, чтобы побеседовать спокойно о наших общих делах, а у меня так много было что сказать и предложить...

---

* *Директор Императорского Московского археологического института.*

Вообще, за последние два года, наши отношения с ним свелись почти на нет. Я не понимала, занят ли он через меру, взял ли он на себя свыше сил всевозможных обязательств или сердится на меня? Но за что? Совесть моя чиста, и я до сих пор ни в чем не могу себя упрекнуть по отношению к нему.

Несмотря на создавшееся положение, мне как-то не хотелось начинать скучных объяснений, да, кроме того, меня еще удерживало от объяснений здоровье Александра Ивановича. Оно было неважно, и болезнь у него была серьезная — почки. Мне даже пришлось однажды доставить его к нему домой из института в отчаянном состоянии, он сразу расхворался на одном из заседаний Совета.

Итак, я тихо засела в своем углу за работой над моей диссертацией. Работа шла успешно, и я видела уже тот день, когда я поставлю последнюю точку.

Наконец 1-го мая мне был назначен день защиты диссертации. На нее съехалось 15 профессоров. Держали меня около трех часов. Официальных оппонентов было два: А. И. Успенский и А. П. Калитинский *. Александр Иванович очень расхвалил мою работу и не высказал никаких возражений. Но зато другой оппонент буквально въелся в лежавший перед ним экземпляр диссертации, останавливаясь почти на каждой ее странице. Возражал он больше всего против моей арийской теории. Несколько вопросов задали и профессора Мальмберг** и Филиппов***.

Вначале я волновалась, но затем овладела собой и говорила с уверенностью и отстаивала свои основные взгляды. Совет профессоров признал мою работу, которую я окрестила названием «Эмаль и инкрустация»****, достойной золотой медали, а меня наградил званием Ученого Археолога и пригласил меня занять в институте кафедру по истории эмалевого дела.

Вот это и было моим вторым приятным событием за прошлый сезон. После того мы в скором времени уехали в Талашкино.

* * *

А. И. Успенский давно мечтал купить себе небольшое имение в Смоленской губернии, и я очень одобряла эту мысль в надежде, что летом он будет свободней и мне удастся с ним чаще видеться. Действительно, имение он купил, но при этом его изрядно поднадул и предорого с него содрал его же любимчик Л., можно сказать, щедротами Александра Ивановича сделавшийся человеком. Мечты же мои, что мы будем видеться, навещать друг друга, так и не сбылись.

Что-то для меня непонятное произошло в наших отношениях. А. И. как будто бы меня избегал, чуждался, и даже когда из имения приезжал в смоленское отделение Арх. института, находившееся в нашем доме, ни разу не говорил со мною по телефону.

---

* *Профессор и секретарь Совета Императорского Московского археологического института.*

** *Профессор Императорского Московского университета.*

*** *Профессор Императорского Московского университета.*

**** *Эта работа увидела свет уже после смерти княгини. См.: «Кн. М. К. Тенишева, Эмаль и инкрустация», Прага, 1930.*

Как я себе ни ломала голову, какая могла быть причина этому охлаждению, откуда идет зло, что вызвало с его стороны такое ко мне отношение, я ничего не могла придумать.

Меня это обстоятельство сильно огорчало. Я никогда не думала, что после того, как я подошла к А. И. с таким чувством доверия, с каким я это сделала, так просто, по-человечески отозвалась на его просьбу пожертвовать институту мой музей, который, по его же словам, должен был упрочить существование, а главное, значение этого института,— мы, как будто после того, как дело было сделано, стали чужими.

Нас связывал музей и все, что было вместе передумано и пережито вокруг него. Помню акт в Смоленске в 1910 году, когда А. И. публично объявил о моем даре, и наши дружеские пирушки по этому поводу. Затем через год на таком же акте в Москве *, в присутствии чуть ли не всего ученого мира Москвы и многочисленной публики, было огромное торжество вручения мне золотой медали, переданной мне Вел. Кн. Александром Михайловичем. Помню посещения музея Царской Семьей в 1912 г., когда Государь по моей просьбе сделал и Институт, и Музей Императорскими, помню и восторг, и речи, казавшиеся такими искренними, и товарищеский обед в тот день. Все, все это, казалось бы, должно было незыблемо скрепить наши отношения...

Мне было горько думать, что когда вопрос шел о моем даре институту, А. И. был ко мне хорош, бывал в Талашкине со всей своей семьей, и даже привозил с собой некоторых профессоров, много и часто мне писал, а когда мне случалось наездами бывать в Москве, всегда завтракал и обедал со мной. Тогда казалось, что между нами прочно установились дружеские отношения навсегда...

20 ноября 1914 года Государь, будучи в Смоленске, посетил мой лазарет. Оставшись им очень доволен, он благодарил меня, милостиво обласкал и наградил медалями моих раненых.

А. И. тоже открыл в Смоленске лазарет под флагом «Зеленого Креста». Он надеялся на посещение Государя и просил меня быть там в это время.

После того как из моего лазарета уехал Государь, я пришла в «Зеленый Крест». Вскоре нам дали знать, что за недостатком времени Государь на этот раз в лазарет не приедет. В ожидании Высокого Гостя, сидя за чашкой чая, А. И. вдруг сказал мне, что на меня обижен за то, что я кому-то говорила, будто он «ненастоящий ученый». Меня это сильно тогда взволновало. Я была уверена, что никогда ничего подобного не говорила, и ясно было, что тут кто-то интригует и хочет меня с ним поссорить. Я стала просить, настаивать, чтобы узнать имя того, кто мог сказать ему такую возмутительную ложь. Он долго упирался и наконец назвал Барщевского.

Мне было легко оправдаться от такого глупого обвинения. Было слишком неправдоподобно, чтобы я могла доверять свои мысли такому человеку, как Б., не говоря уже о том, что мне и в голову не пришло бы сказать то, чего я сама не думаю. Я дала А. И. слово

---

* *В этом же году Смоленское городское управление избрало кн. М. К. Тенишеву Почетной Гражданкой г. Смоленска.* (В 1911 году. — *Примеч. ред.*)

в том, что говорю правду. Мне показалось, что он поверил моей искренности, успокоился, и мы расстались друзьями.

Этот инцидент был мною окончательно забыт. С той поры пришлось столько пережить, что не только мелочи окружающей жизни, но и мои личные дела и желания отошли далеко на последний план.

Прожитая в Москве зима показала мне, что А. И. совершенно ко мне переменился, и я приехала в Талашкино с тяжелым чувством. И вот мне предстал Барщевский, и я поняла, что зло идет от этого маленького человечка.

Он влачил когда-то в Ярославле нищенское существование, едва зарабатывая для своей семьи 50 рублей в месяц в качестве надсмотрщика работ при Губернской земской управе. В свободное от занятий время он делал снимки с памятников нашей старины на севере. Эта преданность к ней показалась мне трогательной, я вытащила его оттуда и пригласила заведовать моими собраниями русской старины в Смоленске.

С момента передачи музея Археологическому институту Барщевский, служивший у меня уже лет двенадцать, принял со мною совершенно другой тон. Я заметила в нем непомерную важность, а полученный им от А. И. институтский значок почетного члена сделал Барщевского неузнаваемым.

Звание почетного члена дает мужчинам право на чин статского советника, но должна сказать, что в данное время иметь этот значок не делает особой чести, уж слишком он опошлился, красуясь, к сожалению, на всяких проходимцах, так как А. И. без разбора сорил им направо и налево.

Барщевскому этот значок шибанул в нос, как шампанское. Он обзавелся форменной генеральской тужуркой и проникся олимпийским величием. Все это было бы только смешно, если бы его величие ограничивалось лишь особой походкой и осанкой, которые появились у него одновременно с генеральской тужуркой. Но ему захотелось быть независимым директором музея. Между тем на дороге стояла я как попечительница музея. И вот началась сложная и тонкая интрига...*

Не хочу давать моему сердцу озлобиться на А. И. Несмотря ни на что, я всегда буду его уважать за то, что он создал институт, стоивший ему многих забот и огромных трудов. Как всякий человек, созидающий что-либо большое, несет он тяжкий крест, борясь с завистью и неприязнью. К сожалению, я это хорошо знаю по своему личному жизненному опыту...

Поразительно, как человек вынослив! Сколько его душа способна впитывать горечи всякого рода! Какая трата сил требуется для каждого нового испытания, а за дверью стоят, выжидая очереди, новые удары... и все же человек жив... Как часто за эти годы я думала, что больше жить не стоит, что счастлив тот, кто раньше убрался на покой...

---

* *Здесь недостает нескольких страниц в рукописи. Что же касается И. Ф. Барщевского, то с приходом к власти большевиков он был назначен директором музея, см.: «Научные известия Смоленского государственного университета», т. 3, вып. 1926 г.*

XXXV

1916 год

Боже, какой во мне разлад! Какая щемящая тоска! Тяжелое разочарование мало-помалу охватило меня, и я не в силах справиться с собой. С каждым днем это чувство растет, с каждым часом что-то отрывается, до боли терзая душу. Чувствую нашу гибель, мы падаем куда-то в пропасть, мы завязли в такую пучину, где умирает все — и лучшие чувства, и надежды на будущее. Всего еще два года тому назад, в начале этой страшной войны, я безгранично верила в нашу мощь, честь и патриотизм. А теперь?!.. Глубокая вера моя потрясена во мне до глубины...

Давно, давно, еще задолго до войны, я с отвращением отошла от того круга людей, который присвоил себе название «высшего общества», и поняла всю пустоту, глупую напыщенность, ограниченность и... продажность большинства его представителей. Но Россия не вся же состоит из такого сорта людей, должны же быть и другие, более культурные люди или просто, наконец, люди долга. Но куда же в эту тяжелую годину девались они? Где искать их? Неужели в момент катастрофы и эта благомыслящая часть русского общества оказалась бессильной, и настолько малой, что растворилась в океане беспринципности и всякой продажной дряни?

День за днем газеты приносят нам обличительные столбцы, не сплетен, о нет, а отталкивающих фактов, преступных деяний лиц, принадлежащих к всевозможным слоям общества. Пусть были бы нашими внутренними врагами необрусевшие инородцы, не скрывающие своих симпатий к Германии, — это еще понятно, они не русские, нам не друзья и работать в нашу пользу не имеют никакой причины, но на газетных столбцах колют нам глаза чисто русские имена. Мне они мерещатся написанными кровью! Разве нужно быть каким-то особенно культурным человеком или принадлежать к какому-нибудь особому классу общества, чтобы любить свою родину, честно служить ей и исполнять перед ней свой долг?..

Меня всегда коробит шутливая снисходительность по отношению к коренным недостаткам нашего русского характера, которые обыкновенно, в виде утешения, объясняют «славянской натурой». Что это такое за «славянская натура»? Говорят, что особенностями этого нашего характера являются доброта, мягкость, доверчивость, добродушие, мечтательность и снисходительность. Без сомнения, такие черты были бы очень симпатичными, если бы они проявлялись в здравых границах благоразумия, в противном же случае они легко становятся недостатком, наносящим не только ущерб близким, но и вред обществу. В преувеличенной мере эти самые свойства легко вырождаются, и доброта превращается в слабость, мягкость — в бесхарактерность, доверчивость — в безалаберность, добродушие —

в шаткость, мечтательность — в лень и, наконец, снисходительность — в беспринципность. Из всех наших сословий, я думаю, лишь крестьянство и духовенство еще сохраняют в чистом, неискаженном виде эти стороны характера. Если крестьянин добр, то в меру, доверчив он относительно, т. е. весьма себе на уме и осторожен, он совершенно не мечтателен и вовсе не ленив, в особенности работать на себя, добродушен с близкими или с теми, которых давно знает и которых уважает. Крестьянин, конечно, не пропоец, а хозяин, здоров душой, нормален, уравновешен, практичен, далеко не глуп, подчас даже весьма наблюдателен и остроумен, и если он до сих пор остался темным невеждой и грубым, то это, конечно, вина не его.

А что же случилось с верхами? С так называемыми образованными сословиями? Случилось то, что они дали нам ряд поколений, лишенных патриотизма и презрительно и недоброжелательно относящихся ко всему русскому. Русское общество веками понемногу теряло свое достоинство, стало стыдиться самого себя, и в наши дни у большинства окончательно исчезло сознание русской национальной идеи. Наша интеллигенция, за малым исключением, вышла обезличенной, отрекшейся от всего своего, с чужими, навеянными идеями и напичканная вкривь и вкось утопиями западной материалистической философии, которая у многих ребром легла в спутанных и еще недозревших мозгах. Этот, даже весьма многочисленный сорт «интеллигентов» в других условиях был бы даже забавен, с его болезненной заботой проходить за ультрапередовых и по своей нетерпимости, переходящей в род какого-то сектантства, выражающегося в том, что те, кто имеет смелость не быть слепо с ними заодно или проявить самостоятельные убеждения, для них парии, которых без разбора валят в один и тот же мешок «ретроградов».

Не раз приходилось мне иметь дело с так называемыми передовыми людьми, знала я и людей с очень крайними убеждениями. Но ни разу мне не удавалось с ними договориться. Все эти либералы, социал-демократы и проч. — пустые краснобаи, не лучше других. Их громкие фразы о благе человечества лишь корка, под которой скрывалась обида неудачника или мелкая душонка, или все тот же карьеризм, в котором они обвиняли других. Я так часто видела, что слова их не сходились с делами... Усиленная пропаганда антимилитаризма, интернационализма и других «измов» ослабила патриотический дух, вернее, уничтожила это вполне естественное чувство. Тлетворные порождения атеистического духа капля за каплей, систематически и упорно в течение столетий разрушали духовную сторону нашего общества, находя подходящую почву в многочисленной полуобразованной его части, и воспитали его так, что оно теперь не в силах стряхнуть с себя этот гибельный для него гнет.

Мы больны, мы очень тяжко больны! Наша якобы молодая нация, не дойдя еще до зари своего рассвета, успела уже подгнить у самого корня и, как ветхий организм, разлагается! Страшно! Больно до слез, обидно...

Растление принесло свои блестящие плоды, взрастив такие плевелы, как Мясоедов и тысячи таких же преступников среди дворян, купцов, общественных деятелей и других людей, теми или другими поступками оплевавших Россию и нанесших несмываемое оскорбле-

ние нашей национальной гордости. Теперь, когда ежедневно в газетах появляются обличительные статьи о постыднейших поступках, вредящих нашему успеху на войне, теперь-то немцы могут сколько угодно нас презирать... Мы этого вполне достойны! Сунулись воевать, а пушек нет, снарядов нет, ружей нет, да и вообще нет ни порядка, ни стойкости, ни согласованности...

Неужели же у нас нет талантов, организаторов, а главное, патриотов и честных людей, способных в минуту такого бедствия сплотить вокруг себя единомышленников и, пока еще не поздно, дружной работой идти нога в ногу с нашей армией? А время не ждет, и развал, устарелый, давнишний развал принимает грандиозные угрожающие размеры...

Впрочем, я несправедлива. У нас не все так худо шло. Наряду с нашими давно устарелыми, инертными правительственными учреждениями ярко выделяется и процветает одно, деятельность которого доведена до полного совершенства, блестяще оправдывая затрачиваемые на него миллионы — это балет. При нашем общем неустройстве, будто в насмешку, именно такую сложную затею сумели поставить на должную высоту.

Но почему же так усиленно и исключительно поощряется у нас балет. Из любви к искусству? Из глубокого сознания, что государству необходимо поддерживать и развивать всякое проявление художественного творчества народа? Увы, нет! Не в искусстве здесь дело.

Присматриваясь много лет к публике, посещавшей балетные спектакли, слыша постоянно суждения о балете в обществе, я поняла, что не искусство Терпсихоры влечет туда большинство завсегдатаев, а нечто совсем иное. За исключением небольшого числа увлеченных искусством людей, балет поощряется всеми слоями нашего столичного общества из побуждений, ничего общего не имеющих с самим балетным искусством. К балету у нас в столичном обществе установилось совсем недопустимое отношение, пагубно влияющее на подрастающее поколение. Вокруг балета осел и выкристаллизовался особый слой «почитателей и поклонников таланта», образующих какой-то род специфической академии с неписаным, но строго выполняемым уставом, члены которой с неизменным постоянством и рвением поддерживают «священный огонь всесильного Ярилы». Тлетворный дух ее царит среди сильных мира и разлагает и губит души идущих им на смену. Там, в первых рядах, можно видеть всю соль наших руководящих классов, десятками лет восседающих генералов и сановников. Могу сказать, что из года в год мне бросались в глаза все те же знакомые головы, и видно было, как они старели, опускались, и чем дальше, тем становились противнее и пошлее. Но еще противнее было видеть там завсегдатаями нашу золотую молодежь — пажей, лицеистов и правоведов — юношей, принадлежащих к избранным семьям общества. Эти вылощенные, с ватными грудями балбесы вместо наук и строгой подготовки к жизни пресерьезно и обязательно околачиваются там на каждом представлении.

Бывая много раз за границей, я знаю, как там поставлена молодежь. Молодые люди там, как общее правило, в театры ходят мало. разве на праздниках, а вот, например, воспитанники школы Сен-Сир (то же, что у нас Военная академия) так завалены рабо-

той, что им нет положительно времени отвлекаться от своих занятий. Их светлые мундиры начинали мелькать там и сям в Париже лишь во время «concours hippiques»[1], в которых эти юноши принимают участие...

Родина, религия, долг давно уже сделались у нас только словесной формой. В эту торжественную одежду облекается большинство наших так называемых государственных деятелей в тех случаях, когда нужно им прикрыть свое духовное убожество или затушевать свои низменные, мелкие и эгоистические страстишки.

Война на деле показала, что способных генералов, как Алексеев, Брусилов или Лечитский, у нас едва ли найдется несколько человек, но и им бездарности завидуют, их затирают и хода не дают. Это теперь-то, когда мы изнемогаем от недостатка талантливых и энергичных вождей...

Но чего же ждать от убожества, нарядившегося в генеральские мундиры, в звездах и лентах? Что делали они в мирное время, как жили и относились к своим обязанностям? В Петербурге всем известно, как живут эти господа. Я знала много таких с большим положением господ и всегда поражалась их тупости, пошлости и главное — феноменальному невежеству. Как раз мне вспомнился сейчас анекдотичной глупости, очень известный в петербургском обществе свитский генерал А. Н. Н. В это время много писали в газетах о научных открытиях французского ученого Пастера, имя которого гремело на весь мир. Как видно, до этого генерала не докатилась молва о сем ученом муже, и в беседе со знакомым генерал Н. однажды спросил: «Что это за пастор появился, о котором стали говорить?»...

Наше общество сверху донизу заражено тунеядством, и это хроническое ничегонеделание теперь, во время войны, является преступлением пред родиной и предательством. Можно ручаться, что немецкие генералы были совершенно иначе подготовлены к настоящей войне, чем наши, и должно признать, что немцы все делают основательно...

* * *

Все проходит, пройдет и эта небывалая война, будут написаны отчеты, изданы книги, будут, в конце концов, известны и имена всех предателей и обнародованы их несмываемые преступления перед родиной. И на моих глазах, в моем личном опыте произошли факты, пусть и не крупные, но все-таки характерные для того, чтобы понять, куда мы шли и чего стоили...

Уполномоченным по заготовке кислой капусты для армии состоит профессор А. А. Ячевский, главный пункт которого находится в Калужской губернии. Ему нужно было на этот год заготовить 12 миллионов пудов кислой капусты, и он объездил с этой целью некоторые крупные экономии ближайших к его пункту губерний с предложением хозяевам насадить, кто сколько может, этой капусты. Мы, конечно, охотно откликнулись на его предложение, и было решено уступить ему безвозмездно десять десятин в поле около самого шоссе, так как, по его словам, ему были обещаны для пере-

[1] Скачки (*фр.*).

возки капусты на станцию Смоленск казенные грузовики. Для посадки и ухода за капустой он выхлопотал солдат из команды выздоравливающих, и казалось бы, что все вполне налажено и обещает дать хорошие результаты. Увы, на деле вышло не то.

Капуста в Талашкине удалась, ее вышло на десяти десятинах около 18 тысяч пудов, но вот охранять ее и снимать оказалось очень трудно. Команды часто сменялись. Нередко приходили такие больные и ослабевшие солдаты, что с ними даже командировались фельдшера. Бедняги с повязками на руках и ногах, бледные, хромые, усталые, одетые часто в какие-то рубища, без сапог, они не были в силах работать. Другие же команды состояли из подбора лентяев, грубиянов и озлобленных, к сожалению не без основания, людей.

В сентябре, когда настало время снимать капусту, к нам в Талашкино приехал А. А. Ячевский. Пора было хлопотать о способе перевозки, и с этой целью Ячевский отправился в Смоленск к главнокомандующему Минского округа, штаб которого находился в нашем городе. На другой день Ячевский вернулся в Талашкино озабоченным, видимо, недовольным. Оказалось, что куда он ни бросался, кого ни просил, ему всюду были отказаны грузовики под разными предлогами, и более всех проявил возмутительное равнодушие к его законным требованиям всесильный в данное время хозяин округа.

Не могу описать, какое возмущение поднялось у нас в душе при виде такого отношения к делу, касающемуся армии. Да кто же, в конце концов, эти стоящие во главе люди — друзья или враги? И вы думаете, что действительно не было свободных грузовиков для перевозки этой несчастной капусты? Впрочем, это правда — грузовики были заняты, и даже очень — перевозкой пианино для каких-то дам и разного домашнего скарба с квартиры на квартиру каким-то неизвестным лицам. Кроме того, грузовиками пользовались еще, чтобы кататься и давить до смерти глупых прохожих, растерявшихся перед бешено мчавшимися под гору этими истребителями рода человеческого. Так была убита 20-летняя молодая женщина, дочь нашего соседа по смоленскому дому, капитана Беляева, который с начала войны находится на фронте, равно как и муж убитой. Но эти картины в Смоленске обыденны, и им не ведется счета.

Положение, в котором очутился несчастный Ячевский, было действительно безвыходным. Что тут делать, как беде помочь? Мы вместе думали и наконец пришли к тому, что придется обратиться к одному местному еврею, Вельке Жиц, без участия которого все равно ничего не выйдет. Спустя несколько дней обратились на ближайшую станцию от Талашкина по Риго-Орловской дороге, но вагонов там не добились, пришлось везти капусту на следующую станцию той же дороги, Рябцево, отстоящую в 12 верстах. Возчиков на такое количество капусты было трудно найти, мужики заломили баснословную цену. Пока мы думали и торговались, дороги окончательно испортились от непрерывных осенних дождей. Наступили морозы, надо было торопиться, так как капуста начала гнить, но собирать ее и увозить не хватало рук, команду почему-то отняли, охранять было некому, мы же не могли ею заниматься из-за недостатка служащих, поэтому понемногу ее стали красть. Сколько ее дошло до места назначения, по правде говоря, не знаю. Вот как делаются у нас дела!

Не хотелось глядеть на несчастных, измученных крестьянских кляч, дымящихся, издерганных, вытягивающих из последних сил из непролазной грязи возы с истрепанными кочнами кое-как наваленной на них капусты. Эта жалкая картина хорошо начатого и плохо окончившегося дела назойливо говорила, что, пожалуй, это всюду так, и делалось стыдно и обидно...

В первые два года войны в газетах и обществе говорили о всем что угодно, но только не о земледелии. Этот вопрос как будто был вычеркнут из памяти людей, как будто эта отрасль в государственном организме настолько ничтожна, что на нее не стоило поднять глаза. Беспрерывно отнимая в течение трех лет у деревни ее работников, лошадей и скот, наше правительство, по-видимому, было в приятной иллюзии, что деревня — это какой-то неиссякаемый источник всяких благ, из которого надо только умело тащить всеми неправдами все, что можно. Ну и тащило же наше правительство из него с большим умением! Так тащило, так разорило и обессилило его через разных уполномоченных, интендантство, реквизициями и всевозможными постановлениями, что в данное время земледелие наше гибнет. Если правительство не опомнится и не придет ему на помощь радикальными мерами, то в скором времени дело это будет непоправимо.

Прочла в «Новом времени» заметку под названием «Курские уполномоченные». Оказывается, в Курске теперь стало семь уполномоченных по снабжению населения различными продуктами, и в то же время в Курске нет ни масла, ни дров, ни муки?! У нас в Смоленске дело продовольствия обстоит не лучше. Такая же неурядица, отсутствие жизненных продуктов, хвосты у лавок в двадцать и больше градусов мороза. Как будто нельзя реквизировать в городе в десяти различных пунктах помещения, чтобы оградить людей от мороза и не заставлять их терять время в ожидании очереди. Не надо забывать, что в этих хвостах стоят несчастные матери семейств, бросившие своих детей дома на произвол судьбы, что между стоящими видны детские головки 8—9 лет, дрожащие, посиневшие от холода старухи. Весь этот люд иногда уходит неудовлетворенным за неимением достаточных запасов, и после пяти-шести часов стояния лавку запирают у них перед носом...

Зимой 1915—1916 годов, живя в Москве, мы получили из Талашкина неутешительные вести. Наш недавно нанятый управляющий, латыш Абел, призывного возраста, стал без удержу пьянствовать. Эти вести учащались, но ехать в Смоленск зимой нам было невозможно: моя квартира была реквизирована для великого князя Александра Михайловича, дом Киту не отапливался, равно как и талашкинский дом. Чтобы избежать действительной службы, Абел пустил на флёновский хутор бесплатно конский Красный Крест. Там тотчас же завелось пьянство и безобразие, но всего хуже — там завелся сап. Павших лошадей, не закапывая, попросту бросали где попало, и на эту добычу сбегались собаки со всей округи.

Сено, солому, древесный уголь для кузницы, запас сухих досок, гвозди, сани — словом, все, что можно было взять из экономии, наш управляющий отдавал без разбора Красному Кресту, чтобы только как-нибудь пристроиться к этому учреждению и оттянуть время службы в действующей армии.

Имением он совершенно перестал заниматься, завел гончих собак, якобы в угоду уполномоченному Красного Креста, князю Аматуни, устраивал грандиозные облавы с завтраками, закусками и винами. Для отвода глаз приглашал участвовать в этих попойках талашкинских служащих. Как потом выяснилось, все делалось без ведома князя Аматуни, и он ни разу не присутствовал на этих торжествах.

Наконец, Абел до того допился, что однажды въехал верхом на лошади в свою квартиру, по деревянной витой лестнице, во второй этаж конторы, а лошадь затем пришлось спускать за хвост.

Весною, по приезде в Талашкино, Киту, не теряя ни минуты, взялась за хозяйство. Надо было спасать то, что напортил Абел, подтянуть служащих, изгнать пьянство и вообще наладить расшатавшуюся машину. Работа предстояла трудная, неблагодарная. Служащие были набраны новые. Я до этого времени никогда не вмешивалась в управление имением, но теперь, видя затруднения, в которых находилась Киту, стала ей как могла помогать.

В скором времени к нам приехал из Минска князь Аматуни выяснить положение о Красном Кресте и Абеле, который уверил князя, что он для нас «так же необходим, как воздух». Это нас очень забавило. В результате Абеля забрали на военную службу, и этот лгунишка наконец нас покинул.

Бессовестное отношение Абеля к интересам нашего хозяйства долго давало себя помнить и послужило толчком к дальнейшему его расстройству.Так, за прошлую зиму не было заготовлено дров для экономии и, когда настали холода, пришлось собирать в лесу, в парке и усадьбе полом, которого, конечно, для такого имения оказалось слишком мало. Торф, который был заготовлен, Абел в наше отсутствие распродал военному ведомству.

Урожай 1916 года вообще в Смоленской губернии оказался ниже среднего, да кроме того, земля талашкинских полей с осени была плохо обработана, а на одном озимом, видимо, украли семена, так как колосья ржи торчали друг от друга на аршин. Затем Абел не вспахал двенадцати десятин, предназначенных для овса, необходимого для конского завода.

За время нашего отсутствия в имение приезжали какие-то чиновники из министерства земледелия. Абел их принимал, угощал и сам угощался, но они отметили не тех коров, которые составляют главную ценность нашего стада. До войны у нас было стадо в 150 голов, но после нескольких реквизиций осталось лишь меньше половины. Таким образом, удобрение, которое необходимо для нашей губернии, уменьшилось, а достать искусственное уже в этом году было невозможно.

В прежнее время мы из молока выделывали масло и продавали его в Петербург, но с войной мы стали поставлять молоко в лазареты и лишь небольшое количество продавать в Смоленске частным лицам, потому что отказать им в молоке у нас не хватало духу. Сначала мы хотели было, чтобы не осложнять расчетов по продаже молока в розницу, все количество доставлять только в лазареты, но это решение оказалось невозможно осуществить, потому что нас забросали письмами с раздирающими душу мольбами. В одном какая-то дама писала, что у нее брат лежит с простреленным желуд-

ком, которого она только поддерживает нашим молоком, другая пишет, что если мы откажем ей в молоке, ее больной ребенок умрет... И таких стонов было без конца.

В июле у нас пронесся слух, что в интендантских складах сгноили 5 тысяч пудов мяса, а затем тут же была объявлена в нашем уезде реквизиция скота. По разверстке на нашу долю приходилось двадцать коров, и как раз через два дня после этого объявления приехал в Талашкино чиновник агроном, чтобы отобрать реквизируемый скот.

Ну, и приняла же я этого чиновника!!.. С яростью, но искренно, как чувствовала, высказала все, что я думаю... Мой агроном подобру-поздорову, разыскав своего извозчика, покатил обо всем доложить по начальству. В результате у нас забрали не двадцать, а десять коров.

Расстаться с ними нам было очень жаль, каждая из них давала в день около пуда молока, и я уверена, что их ни в каком случае не зарезали, а попросту обменяли на обыкновенный скот, так как известно, что молочная корова на мясо не годится. Отбирая десять коров для реквизиции, мы все-таки пожалели расстаться с молочными животными и отдали четырех двухлетних нетелей. А незадолго до этого вышел из министерства земледелия циркуляр, гласящий, что телят запрещается резать, иначе тому, кто это сделает, угрожает штраф в три тысячи рублей. Итак, недельного теленка резать нельзя, а двухлетнюю телку, как видно, можно — вот так логика!

Наш веселящийся конский Красный Крест, засевший во Флёнове, представлял весьма неприятное соседство. Неделю спустя после нашего приезда мы узнали, что в течение двух последних дней там застрелили 9 лошадей, зараженных сапом. Так как и прошлой зимой было убито много таких же лошадей, то это доказывало, что здесь очаг болезни. От нас это обстоятельство, понятно, постарались скрыть, но пожаловались сами крестьяне. Заведующий конским двором Саркисов даже не знал, куда вообще зарывали павших лошадей, и нам самим пришлось указать ему место, где были кое-как закопаны последние девять лошадей. Мы заставили как можно лучше дезинфицировать это место, углубить яму и ее обезвредить.

Саркисов и его персонал, в составе около 150 человек, жили во Флёнове припеваючи. К этим господам на дачу съехались их жены с семействами. Песни с утра до ночи так и лились со всех сторон, пьянство и разгул царили вовсю, и окружные деревни окончательно развратились.

Слухи ходили, что овес продавался на сторону, а здоровых лошадей употребляли для веселых кавалькад или катания в колясках. Между прочим, одна из лучших пар от бешеной езды в Смоленск настолько была замучена, что этих лошадей пришлось тут же застрелить.

О священном долге перед родиной или патриотизме вокруг нас и речи быть не могло. Эти чувства были в загоне и при общем бесшабашном настроении казались почти смешными, каким-то абсурдом.

Чем далее, тем более изнемогали мы от затруднений в хозяйстве. За два года войны все наши прежние служащие были призваны, а

далеко не полный состав новых представлял какой-то сброд всех национальностей и наречий. Управляющим пришлось взять поляка-беженца, человека, казалось, недурного, но нераспорядительного, видимо растерявшегося в новых для него условиях, да еще и с плохим здоровьем. На конюшне вместо двенадцати конюхов остался один, в саду тоже один рабочий, да и тот калека, бухгалтером в контору взяли человека с простреленной грудью, малокровного беднягу, отпущенного воина. На скотном дворе картина была не веселее. Скотники новые, скотовод новый и тоже калека с изуродованной на войне ногой. Куда ни глянешь — дело замирает из-за недостатка рабочих рук. Прежнего когда-то оживления и дружной работы больше в Талашкине не осталось.

На нашу беду прошлое лето выдалось отчаянное — непрерывные дожди немилосердно портили все. Рассчитывать на помощь крестьян было нельзя, так как их в округе почти никого не осталось. Пришлось перебиваться с небольшим числом рабочих, очень неверных людей, то и дело перебегавших с места на место.

Летних работ некому было делать не только у земледельцев, но и само земство, железные дороги и всевозможные организации нуждались в тех же рабочих руках. То и дело в «Смоленском вестнике» можно было читать, что нужны чернорабочие от 3 до 5 руб. в день, а с лошадью и 10. Понятно, что после таких объявлений рабочие, не долго думая, покидали свои места и шли туда, где им было выгоднее, а Талашкино тем временем все пустело и пустело.

Во время жнивья в прежние годы женщина получала за десятину 4 руб. 50 коп. и не было отбоя от предложений, в этом же году крестьянки наотрез отказались ходить на поденщину и сказали, что жать и по 20 руб. за десятину не пойдут.

Были у нас сельскохозяйственные машины, но даже при жнейках и косилках без опытных рабочих трудно обойтись. На беду Абел за зиму машины не привел в порядок, а наших хороших кузнецов и механиков забрали на войну, поэтому пришлось все наскоро чинить и налаживать тут же во время страдной поры.

Такой лихорадки, нервного напряжения, с каким в этом году производились сельскохозяйственные работы, я не запомню. Трудно оценить те усилия, которые пришлось приложить в борьбе не только с недостатком рук, небывалой дороговизной необходимых материалов, железа или гвоздей, но тут как будто само небо шло наперекор этим усилиям, посылая непогоду.

В эту тяжелую годину страшной войны Киту и мне казалось, что наш святой долг по силе возможности бороться с трудностями минуты. Честный патриот и преданный своей родине человек должен все претерпеть, чтобы не сдаться. Стойко превозмогая ежедневно нараставшие препятствия, мы подбодряли друг друга как могли. Но были и такие дни, когда я замечала у Киту усталость, глаза ее делались грустно-задумчивыми, и видно было по ней, что руки ее опускались...

В один из таких дней она зашла ко мне в комнату и говорит:

— Сейчас приходил управляющий. Он в отчаянии — барометр упал на бурю, а сено на Бохоте сухо, его надо собирать в копы, и он боится, что оно попадет под ливень... А кому его убрать? Нет людей.

Подумав немного, она добавила:

— Он ездил во Флёново, просил прислать команду из Красного Креста, обещал по 50 коп. за полдня, но они не пришли. Тогда он снова поскакал туда узнать, в чем дело. Оказывается, солдаты отказались и не придут. Знаешь, что мне пришло в голову? Устрой-ка через твою Лизу, чтобы все домашние взялись за грабли и вышли на сенокос.

Конечно, я сейчас же с Лизой сговорилась, и, не теряя ни минуты, она кликнула клич. Мысль эта нашим людям показалась очень забавной, все с радостью отозвались, и через час во главе целой рати женщин Лиза орудовала среди нашего большого луга, в полверсте от усадьбы. Тут были кухарки, прачки, судомойки, доильщицы, садовницы, какие-то родственницы служащих, бледнолицые, не успевшие еще загореть горничные, портниха, нянька управляющего, наши гости — словом, все, что могло держать грабли в руках. К вечеру наш луг покрылся рядами высоких копен, и мы вздохнули с облегченным сердцем, видя наше сено спасенным.

Таких случаев у нас за это лето было два, и оба раза из-за отказа команды прийти нам в нужную минуту на помощь. Это, вероятно, благодарность за то, что Красный Крест даром пользовался нашим гостеприимством, окончательно сгноил полы школьного здания и разворовал все яблоки и овощи во флёновских садах и огородах. Когда в Талашкино как-то приехал из Минска отдохнуть на денек А. В. Кривошеин, я ему рассказала об инциденте с санитарами и командой Красного Креста. Он был очень возмущен их грубой неделикатностью.

В июле, после нескончаемых просьб, нам, наконец, дали 14 человек военнопленных — 11 хорватов и 3 чехов. Пришли они изнуренные, голодные, оборванные, прямо взятые из боя, некоторые без шинелей, и нам пришлось их с ног до головы одеть. Их передала нам Губернская земская управа с условием держать их до января 1917 года, а затем отпустить по окончании положенного времени с обувью, стоящей теперь безумных денег, и с теплым платьем.

Очень пригодились они нам для полевых работ. Люди попались все тихие, знакомые с земледелием и, по сравнению с нашими рабочими, гораздо культурнее, чистоплотнее и сознательно относящиеся к делу. В конце сентября не по сезону стало холодно, пришлось им купить и тут же раздать теплую одежду, калоши, шапки, шарфы. Их одеть нам обошлось около тысячи рублей.

Мы успокоились за судьбу нашего хозяйства, собирались уже приступить к молотьбе, как вдруг, в один из рабочих дней в Талашкино явился урядник с требованием немедленно отправить военнопленных в воинское присутствие. Конечно, пленных сейчас же сняли с работ, пришлось бежать в поле выпрягать из плугов лошадей и перепрягать в телеги, послали во Флёново за старостой. Поднялся шум, разговоры и приготовления отвлекли остальных рабочих от дела, и этот день уже пропал для полевых работ. Военнопленные у нас уже прижились, они были грустны, но покорны.

Управляющий сразу же укатил в Смоленск узнать, в чем дело и нет ли тут недоразумения. Телефон с городом работал весь день, и я безрезультатно звонила к губернатору и в другие места. Около десяти часов вечера, когда мы сидели за вечерним чтением, вдруг

по тому же телефону из Смоленска нам сообщают, что военнопленных нам вернули обратно, что они уже у нас в смоленском доме, а лошади ушли в Талашкино, поэтому спрашивают, где накормить людей, так как они весь день не ели, и вообще как с ними поступить.

Мы ничего не могли понять из этой дурацкой комедии. Кто мог дать такие приказания и кто их тотчас же отменял — неизвестно. Куда мы опять ни звонили, кого ни спрашивали, верно ли то, что снова можем получить военнопленных, получался один ответ: «Приказано» — и только. Ясно было одно, что у нас много хозяев, а путного, как видно, нет ни одного.

По своей бессмысленности это обстоятельство напомнило мне переполох, наделанный во всей земледельческой России идиотским воинским призывом, сделанным к 15 июля. В деревнях и экономиях этот приказ вызвал вопли отчаяния. Такое распоряжение мог дать лишь лютый враг или дурак неисправимый. Ведь в то время стоял еще урожай нынешнего года на полях, и в такую минуту оторвать от земли последних рабочих значило не только проиграть войну, но и уморить с голоду все русское население. К счастью, там, где-то на верхах, вовремя очуялись, и последовала отсрочка этого призыва, уж слишком громко в один голос вся Россия закричала.

По возвращении наших военнопленных работа в Талашкине пошла своим чередом. Прошла неделя, мы доделали начатые работы и опять серьезно заговорили о молотьбе, как снова приказ военнопленным хорватам немедленно явиться в город. На этот раз, к сожалению, они окончательно покинули Талашкино. Итак, без предупреждения и объяснений у нас оставили лишь трех чехов и отняли 11 человек, необходимых для сельских работ.

С этой минуты я, не отрываясь от стола, стала писать и телеграфировать во все министерства, но из-за постоянной смены министров, для смеха названной «чехардой», мои письма попадали в руки то уходящему, то едва вступившему в должность. Все эти господа очень вежливо мне на них отвечали, но сделать ничего не могли.

Из всех министров, к кому я обратилась, один только А. А. Риттих потрудился мне разъяснить мои права. Из его ответа видно было, что со мною поступили крайне несправедливо, должны были взять 30 процентов военнопленных, согласно постановлению Совета Министров, а отняли у меня 70 процентов. На основании ответа Риттиха, чувствуя свою правоту, я нашего губернатора и, в полном смысле слова, ничтожного вице-губернатора буквально завалила разными просьбами и заявлениями, но дело от этого ни на йоту не подвинулось вперед.

Впервые за это лето я стала слышать от Киту такие рассуждения:

— Нет, эта борьба мне делается не под силу, все из рук валится. Тяжело...

А в другой раз:

— Меня повар уверяет, что у него есть на Талашкино богатый покупатель. Все равно придется когда-нибудь с Талашкиным расстаться, и если теперь хозяйничать невозможно, то после войны будет вдвое труднее, ведь мне не 20 лет. И для кого же так хлопотать?..

Эти настроения я обыкновенно приписывала разным досадным неудачам, считая их мимолетными, так как на деле Киту проявляла, можно сказать, настоящий героизм, стойкость и удивительную находчивость. Из всех неожиданнейших затруднений и осложнений она умела выходить победительницей, и всегда так просто, без жалоб и лишних слов. У нее рождалась инициатива, упорство в проведении своего решения, и все у нее как-то ладилось и сглаживалось само собой. В душе своей я не раз ей удивлялась. Поэтому я не придавала никакого значения какому-то покупателю, в особенности по рекомендации нашего повара, известного лгуна и фантазера.

Однажды я спокойно работала у своего окна, на дворе свирепствовала первая вьюга наступившей сразу зимы, окна до половины завеяло снегом, и сквозь прихотливые его узоры я вдруг увидала огромные розвальни, подкатившие к нашему подъезду, из которых не вышла, а положительно вывалилась целая компания до головы занесенных снегом господ. В доме поднялась беготня, а через некоторое время в мою комнату вошла Киту и с значительным видом сказала:

— Это покупатель. Что мы ему скажем? Я ведь тебе давно говорила о нем. Теперь этой компании надо обогреться, а когда они придут в гостиную, ты тоже приди туда.

Киту ушла. Оставшись одна, я не могла собрать мыслей, моему удивлению не было конца. Откуда это... зачем... как это так, продать Талашкино?!.. Все это меня ошарашило.

Покупатель оказался весьма состоятельным человеком, некий Кардо-Сысоев. Он приехал к нам со своим братом и двумя евреями комиссионерами. Поселились они во флигеле и в течение трех дней знакомились с имением, которое им, видимо, очень понравилось. Предложили они очень хорошую цену, но мы попросили их отложить окончательное решение до первого декабря.

После их отъезда как будто тяжелый камень свалился с моей души, будто я пережила кризис тяжкой болезни близкого мне существа. Но перелом позади. Оно спасено, наше старое и вечно милое гнездо — у нас у всех тут же одновременно созрело сознание, что с Талашкиным мы не в силах расстаться.

* * *

За последнее время с большой настойчивостью начали, наконец, кричать и газеты о нуждах сельского хозяйства, и этот вопрос, к счастью, выплыл на поверхность. Мы с Киту решили написать А. А. Риттиху и 20 ноября послали ему письмо, где, между прочим, я писала: «Защита сельскохозяйственных интересов представляется мне в настоящее время как самое главное дело в России. Удесятеренные барыши фабрикантов и мануфактуристов представляют поразительный контраст с жалким положением сельских хозяев, разоряющихся дотла во имя спасения отечества.

Недостаток рабочих рук, колоссальные затруднения при сенокосе, закрытие мастерских и даже кузниц, отсутствие искусственных удобрений, убыточные реквизиции и т. д., и т. д. — все это грозит в будущем неисправимым бедствием как для тыла, так и для фронта.

От правильного разрешения этих вопросов зависит будущее благополучие России. Надо не забывать, что если трудно распределить запасы, то еще труднее создать нужные на будущее.

Война, принявшая затяжной характер, внесла опустошение в самый основной элемент нашего дела — не хватает рабочей силы. Отсюда, естественно, появилась острая необходимость заменить живую силу механической. Спрос на сельскохозяйственные машины увеличился, но увы, ввоз их сократился.

Значительные недосевы, наблюдаемые всюду, — лучший показатель того, насколько наше сельское хозяйство дезорганизовано. Если не будут приняты со стороны государства самые решительные меры ему в помощь, то продовольственный вопрос примет угрожающий характер.

Раз борьба идет на истощение, то неужели не ясно, что обеспечение страны достаточным количеством питания, доставляемым именно нашим сельским хозяйством, получает исключительное значение. Теперь уже победит тот, у которого не только пушки и снаряды, а у которого продукты сельского хозяйства будут в достаточном количестве...»

На мое длинное воззвание пока ответа от Риттиха не последовало, да и что он может мне сказать в утешение?..

* * *

Крестьянская семья — это та самая страстотерпица, на которую обрушилась вся тяжесть настоящей войны.

Если у крестьянина пять сыновей, то пятерых и берут в солдаты, если же он еще не стар, то зачастую призывают и сына, и отца почти одновременно.

В деревне остались лишь дряхлые старики, бабы да малые ребята. Надо прибавить еще, что остались только многосемейные бабы, робкие, а пошустрее девки да бабы побросали свою землю и ушли на заработки в города. Деревня окончательно осиротела, осиротела и крестьянская семья.

Что найдет хозяин-воин, вернувшийся домой после войны? Он ничего хорошего не найдет!

После нескольких реквизиций в деревнях почти не осталось скота, и недавно писали в газетах, что площадь обработанной земли в этом году сократилась уже на 30 процентов. Что же нам покажет статистика на будущий год?

Итак, нет скота — нет и удобрения; нет удобрения — нет урожая, другими словами, нет смысла попусту ковырять тощую землю...

Говорят, в деревне деньги завелись. Да, это верно, солдатки получают паек на себя и на детей, да кстати, этих денег некому теперь и пропивать, ведь гениально придуманное пресловутым г. Витте систематическое спаивание русского народа, к счастью, запрещено. Вот уж поистине нерукотворный памятник сам себе водрузил...

Горожане думают — на что крестьянам деньги? Ответ прост, вот цены на разные предметы за текущий месяц: смола, раньше стоившая 1 руб. 10 коп. за пуд, теперь дошла от 3 до 4 руб.; деготь с 2 руб. поднялся на 6 руб. за пуд; веревки с 4 руб. 50 коп. на 9 руб.;

сало поднялось с 8 на 28 руб. за пуд и дороже; железо с 2 руб. на 12 руб. за пуд; гвозди с 3 руб. 50 коп. на 40 руб. за пуд. Прежде необходимый для крестьян ситец стоил 12 коп., теперь же 40 и 60 коп. за аршин, а сатинет вместо прежних 40 коп. в настоящее время стоит 1 руб. 30 коп. аршин. Сапоги, которые продавались когда-то на базаре по 7 руб. за пару, теперь и за сорок не найдешь.

Если у крестьянина и завелась деньга, так ее всеми неправдами стараются у него из рук вырвать. Твердые цены установили только на хлеб и на скот, т. е. на то, что крестьяне производят, а на то, что они покупают, нет твердых цен, и с них дерут за все три шкуры.

Конечно, в крестьянской среде есть и кулаки-мироеды, и бесшабашные головы, но что это перед нашим купечеством? Просто, можно сказать, детская игра...

Однажды зашипело на земледельцев «Утро России», бессмысленно обрушившись на «аграриев» за то, что мужики во время осеннего бездорожья не подвозят своего хлеба в достаточном количестве. По-видимому, «Утро России» не имеет никакого понятия о настоящей русской деревне, о ее невылазных дорогах, мостах и расстояниях. Вероятно, оно не слыхало, что у крестьян лошадей почти не осталось, во дворах хозяйничают одни бабы, что оторваться женщине от дневных работ и ехать, нередко с грудным ребенком, за 30—40 верст, оставив свою хату и скотину на попечение малышей, невозможно.

«Утро России» не знает, что крестьянка только что недавно вышла из-под побоев, что, предоставленная сама себе, плохо грамотная, она только что теперь начала самостоятельную жизнь.

Недавно один мужик-краснобай, продавая нам свиную тушу, назвал ее «интеллигентным товаром» и как раз коснулся вопроса о крестьянках. «А что женщины! — сказал он. — Они не могут теперь вздвигать товара. Я и сам не могу в своем хозяйстве ореола сделать».

Так какого же «ореола» требует «Утро России» от простой, забитой и неопытной бабы?! Да где же этому «Утру России» все знать! Им кажется, что баба может доскакать верхом на помеле до ближайшего базара с мешком ржи на горбу.

В «Русском слове» от 26 ноября напечатано: «В Москве много детей 1-й гильдии, работающих на оборону от воинской повинности»... Да, действительно, московские купчики облеклись в мундиры и все до одного каким-то чудом оказались пристроенными к всевозможным организациям, и все без исключения околачиваются в Москве. Они шатаются по ресторанам, выставкам, театрам, по гостям и домам, где хорошо кормят, — словом, соединяют приятное с полезным, потому что наравне с военной службой они одновременно тут же обделывают свои дела...

А вот по сравнению с ними крестьянин... Не зная даже слова «патриотизм», он отдал родине все, что имел: своих сынов, свою последнюю скотину, свой посильный труд в лице копошащейся бабы с подростком на одинокой нивке, наконец, он отдал самое дорогое — свою жизнь!

Часто я видела — проводят они своего хозяина или сына и тихо так, без лишних жалоб или возмущения, идут каждый к своему делу, только разве выглядит кто-нибудь из них немного понурее, как-то медленнее, устало возьмется за работу, да и все.

Это — то особое смирение, к которому именно призывал нас Христос!

Господи, если по Твоему великому милосердию Ты нас и пощадишь от гибельной руки врага, то знаю я, что только ради них, этих смиренных духом, потому что на весах Твоего правосудия не мы достойны пощады, а они, эти чистые сердцем, безропотно несущие все тяготы грозно свершающегося над миром Страшного Суда Твоего...

* * *

В этом году мы засиделись в деревне, но пока еще не проходило дня, когда бы мы могли сказать с уверенностью, что хозяйство наше наконец достаточно наладилось и можно спокойно уехать. Впрочем, по правде говоря, нас никуда и не тянет...

Зимой на фронте нельзя ожидать каких-либо успехов, когда и летняя кампания ознаменовалась только одними победами генерала Брусилова в Галиции, правда, большими, но далеко еще не приближающими развязки войны.

Полное и необъяснимое бездействие на остальных фронтах угнетающих образом вот уж более года ложится на общее настроение, и даже выдающаяся доблесть Брусилова понемногу была забыта.

Черный маразм — уныние мало-помалу охватило все умы, и одновременно с этим начали распространяться страшные слухи о какой-то измене, темных силах и оскорбительном для нас сепаратном мире.

На какие факты могли опираться эти слухи? Откуда шли они? Кто их создавал? Неизвестно...

Нет ни слов, ни сил, чтобы возмущаться тем, что творится немцами над несчастными гражданами Бельгии и Польши. Там объявлен принудительный набор, и мы с тоской и мучительным напряжением ожидали хотя бы одного слова, сказанного сверху по поводу этого возмутительного дела. Но время шло, и ни единого звука не пришло нам в утешение. После оброненных как-то Вел. Кн. Николаем Николаевичем нескольких слов об автономии Польши мы хотели слышать, мы хотели прочесть, что Польша будет и должна быть свободна. Этого требует справедливость!..

В тишине зимних деревенских вечеров за чтением газет обыкновенно складывалось наше настроение. После прочитанного, нередко между строк, мы расходились по своим комнатам то в более повышенном, то в угнетенном настроении духа.

За последнее время, в связи со всевозможными прискорбными фактами и чудовищными слухами, нервы мои сдали, я похудела, потеряла и сон, и аппетит...

* * *

Наконец-то нашлись у нас мужи, и Россию, может быть, можно еще спасти! 1 ноября раздались с трибуны Государственной думы честные речи графа В. А. Бобринского и Пуришкевича, а затем и в Государственном совете графа Олсуфьева и других. Эти речи с их

беспощадной правдой ужасны, пролитый свет на действительность страшен!

Казалось, что наша настоящая, прежняя русская душа умерла навсегда... Но велик Господь!.. Россия еще жива. Жив, жив русский человек!..

Да будет благо вам... Вы, сказавшие в эти черные дни давно желанную правду, вы тоже совершили подвиг мужества, кликнули клич, и со всех концов нашей измученной родины на этот зов дружно отзовутся миллионы голосов! Мы с вами, в добрый час!

И радостно, и страшно...

* * *

Как я ожидала, так и произошло — клич кликнули, и все отозвались как один человек, от высших слоев общества до самой глухой деревни. Нашлись даже и среди женщин смельчаки, вроде княгини Васильчиковой, которая решилась написать всю правду тем, кому главным образом ее следовало знать.

И что же на все это? Репрессалии, отставки и наперекор здравому смыслу назначения, вроде Протопопова...

Темные силы пуще заработали. Атмосфера все больше и больше сгущается, зловещее, глухое недовольство растет. Дальше идти некуда, темные силы довели Россию до порога гибели. Верно сказал один из самых старых сенаторов, Таганцев: «Родина в опасности!»

До чего мы дожили! Религия поругана, духовенство запугано, ум, способности людей обесценены, отброшены, как ненужный хлам, и на поверхность всплывают одни авантюристы за другими...

Однажды дошла в Талашкино из Англии газета, и гувернантка Ольги в недоумении долго вертела огромной бумажной простыней с портретом Распутина почти в натуральную величину на первом листе, задавая неделикатные вопросы на этот счет. Как это оскорбительно! Не могу переварить такой обиды, нанесенной нашей русской народной чести. Пока я жива, никогда не прощу сделанного нам оскорбления и останусь непримиримой к тем, чьей властью была допущена эта несмываемая и неслыханная обида!

Участницами этого негодяя замешаны матери семейств, вдовы и девицы всех сословий и общественных положений. Все это сбившиеся с истинного пути психопатки. Мужья, отцы и близкие должны были давно уже принять самые радикальные меры для искоренения подобного зла в самом зародыше его возникновения и не дать этому грандиозному скандалу разрастись в вопрос государственной важности. Но они попустительствуют этому постыдному делу, в семьях этих заблудших не нашлось никого, кто бы оградил такое существо от омерзения. Наоборот, это поощряется, и вокруг хлыстовского ядра происходит нарастание всевозможных льстецов, предателей и продажных людей без совести, преследующих исключительно своекорыстные цели и пролезающих за взятки через всесильного Распутина на разные ответственные и прибыльные места. Какая вакханалия, разнузданность, а главное, какой позор!..

* * *

Утром газеты принесли нам следующую новость: «Убийство Григория Распутина!» Слава Всевышнему! Довольно, наконец, позора, довольно унижения, пережитого с той минуты, как на чью-то потеху завелся на верхах этот порочный фетиш!

Все, живущие в России, от темной хаты и до пышного дворца, знали давно, кто он, чем держится и чего стоит. Не было человека, который не возмущался бы этой грязной хлыстовщиной, развратившей часть нашего общества, да еще какого сорта часть общества!..

Авторами этой великой заслуги перед родиной называют Вел. Кн. Дмитрия Павловича, князя Ф. Ф. Юсупова, в доме которого все произошло, и не чуждого к тому же делу, как думают, Вел. Кн. Николая Михайловича.

У всех надежда, что со смертью Распутина главный корень зла, может быть, будет устранен, но у меня на душе очень тяжело, будущее и страшно, и темно...

Как после смерти богача остается наследство, так и нам оставил Распутин крупное наследство... Как оказывается, к этому позору руку приложили и некоторые наши преосвященные епископы! Так вот кто виноват, что Распутин вознесся на такую высоту! Вот чем занимались святители и ученые академики! Первыми подняли руку на церковь и предали ее поруганию!

Неужели сила веры в самих служителях нашей церкви настолько мала, настолько слаба, что приходится пристегивать в помощь каких-то юродивых и посредством лжеучения, извращений, кликушества и разных фокусников стараться удерживать вокруг себя растерянную, изверившуюся паству?

Да разве это вера, да разве это православие?

Забыли, что Христос изгонял бесов, не потворствовал кликушеству, а исцелял одержимых и тут же пресекал зло. Забыли и предостережения о лжепророках. Все забыли...

Такое духовенство или само неверующее, продажно, или же оно невежественно в делах веры, слепо и не ведает, что творит. Во всяком случае, и те и другие одинаково преступны, как перед своим саном, церковью, так и перед русским православным народом. Они, несомненно, служат орудием какой-то адской подпольной махинации для уничтожения монархии и православия в России..

Верно сказал сенатор Таганцев: «Родина в опасности!»...

Теперь осталось всего лишь 5 часов до конца этого злосчастного года. Что-то нам сулит 1917 год?

Господи! Пошли нам на землю успокоение!! Дай нам с честью выйти из этой ужасающей войны!

Боже, пощади нас и избави от позора!..

Княгиня М. К. Тенишева

ВПЕЧАТЛЕНИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

Редактор Н. Г. Обновленская
Оформление художника Г. П. Губанова
Художественный редактор Л. Е. Миллер
Технический редактор В. Г. Лошкарева
Корректор Г. П. Жукова

Сдано в набор 10.09.90. Подписано к печати 25.12.90. Формат 70×100[1]/16. Бумага офсетная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая, ил. — офсетная. Усл. печ. л. 26,0. Усл. кр.-отт. 27,63. Уч.-изд. л. 23,35. Изд. № 762. Тираж 100 000 экз. (1-й завод 50 000). Заказ № 5194. Цена 10 р. Издательство «Искусство», Ленинградское отделение. 191186. Ленинград, Невский пр., 28, при участии Ленинградского отделения РППО «Союзбланкоиздат». 191011, Ленинград, наб. канала Грибоедова, 20.

Ленинградская типография № 3 Головное предприятие дважды ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского производственного объединения «Типография им. Ив. Федорова» Государственного комитета СССР по печати. 191126, Ленинград, ул. Звенигородская, 11.

10 р.

«Гордость всей России» —
говорили о Марии Клавдиевне Тенишевой
современники.
«Настоящей Марфой-Посадницей»
называл ее Н. К. Рерих.
Русская княгиня, отдавшая свое богатство
на просвещение народа;
творец, художник, просветительница,
создавшая в Смоленске уникальный музей
русской старины.
Воспоминания княгини Тенишевой
охватывают период
с конца 60-х гг. прошлого столетия
до новогодней ночи 1917 г.
В них запечатлелись
бурные события рубежа веков,
важнейшие вехи культурной жизни:
открытие Русского музея,
Всемирная выставка в Париже,
издание журнала «Мир искусства»,
встречи Тенишевой
с талантливейшими людьми эпохи:
Репиным, Чайковским, Врубелем,
Трубецким, Бенуа, Серовым.
На родине воспоминания княгини Тенишевой
издаются впервые.